



Мангалочий дворик,
Как дым твой горек
И как твой тополь высок...
Шахерезада
Идет из сада...
Так вот ты какой, Восток!

АННА АХМАТОВА

**Галина
Козловская**

Шахерезада

**Тысяча и одно
воспоминание**

ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ XX ВЕКА

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Table of Contents

[Annotation](#)

[Галина Козловская Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание](#)

[Наталья Громова «В своих воспоминаниях я сильнее времени и смерти»](#)

[Татьяна Кузнецова, Наталья Чудова Поиски и находки](#)

[Часть первая Воспоминания](#)

[Дни и годы одной прекрасной жизни](#)

[Три мальчика на киевских холмах](#)

[Поющие селения Украины](#)

[Когда зазвучал город безмолвствующих колоколов](#)

[Режиссерский дебют в Театре Станиславского](#)

[У четырех прудов](#)

[День, прожитый в солнечной прелести\[40\]](#)

[Сорок лет в солнечном краю](#)

[В Ташкент не по своей воле](#)

[Начало](#)

[Симфоническая сюита «Лола»](#)

[Как создавалась опера «Улугбек»](#)

[Михаил Герасимов](#)

[Постановка оперы «Улугбек»](#)

[Максимилиан Штейнберг](#)

[Анна Ахматова](#)

[«Шахерезада»](#)

[Быт военного времени](#)

[Победа. Ждановское постановление](#)

[Бухара. По прочтении Айни](#)

[«Сказание о юном Афдале-лучнике и злом Чингизе» или](#)

[«Калиостро в Петербурге»](#)

[Еще музыка](#)

[Новое здание Узбекского театра оперы и балета](#)

[Дирижер Узбекской филармонии](#)

[Об учениках](#)

[Голос Индии](#)

[«Вилла восьми тополей»](#)

[Великий чародей](#)

[«У соленых озер»](#)

[«Приношение памяти Ахматовой»](#)

[«Тановар»](#)

[Радости и печали жизни](#)

[Распад](#)

[Конец](#)

[Восточный полдень Анны Ахматовой\[108\]](#)

[Портреты Ахматовой](#)

[Ярость поэта](#)
[Война. Добро и зло](#)
[О писателях](#)
[Как плачут статуи](#)
[Пенициллин](#)
[Судьба одной книги](#)
[Музыка и жизнь](#)
[Встречи в Ленинграде](#)
[Московский дом](#)
[Землетрясение](#)

[Часть вторая Переписка и воспоминания современников](#)

[Татьяна Кузнецова. история в письмах](#)
[Была ли Марина Цветаева верующей?](#)
[Бесцеремонное вторжение](#)
[Меня приглашают в Ташкент](#)
[В потоке первых впечатлений](#)
[Короткая поездка в Самарканд](#)
[Назад в Ташкент, в райские кущи сада](#)
[Отъезд](#)
[Снова в Москве. Переписка Продолжается](#)
[Последнее письмо из Ташкента. Ее уход...](#)

[Александр Мелик-Пашаев](#)
[Воспоминания](#)
[Письма Галины Козловской Минне Шмелькиной](#)
[Письма Владимиру Сосинскому](#)
[Собака в космосе\[163\]](#)
[Переписка с Ирмой Кудровой](#)
[Вместо предисловия](#)
[Теодор Левин](#)
[О Галине Козловской](#)
[Письма Валериану Герусу](#)
[Письма Евгению и Елене Пастернакам](#)
[Два письма Михаила Давыдова Галине Козловской](#)
[Переписка с Геннадием Абольяниным](#)
[Письма Анне Фэвр-Дюпэгр](#)
[Моим обретенным глинам](#)
[Снега](#)
[Ива](#)
[Кольцо царя Соломона](#)
[Письма Людмиле Чудовой-Дельсон](#)
[Неотправленное письмо Генриху Нейгаузу](#)
[Письма Валерию Молдаверу](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)
[59](#)
[60](#)
[61](#)
[62](#)
[63](#)
[64](#)
[65](#)
[66](#)
[67](#)
[68](#)
[69](#)
[70](#)
[71](#)
[72](#)
[73](#)
[74](#)
[75](#)
[76](#)
[77](#)
[78](#)
[79](#)
[80](#)
[81](#)
[82](#)
[83](#)
[84](#)
[85](#)
[86](#)
[87](#)
[88](#)
[89](#)
[90](#)
[91](#)
[92](#)

[93](#)
[94](#)
[95](#)
[96](#)
[97](#)
[98](#)
[99](#)
[100](#)
[101](#)
[102](#)
[103](#)
[104](#)
[105](#)
[106](#)
[107](#)
[108](#)
[109](#)
[110](#)
[111](#)
[112](#)
[113](#)
[114](#)
[115](#)
[116](#)
[117](#)
[118](#)
[119](#)
[120](#)
[121](#)
[122](#)
[123](#)
[124](#)
[125](#)
[126](#)
[127](#)
[128](#)
[129](#)
[130](#)
[131](#)
[132](#)
[133](#)
[134](#)
[135](#)
[136](#)
[137](#)

[138](#)
[139](#)
[140](#)
[141](#)
[142](#)
[143](#)
[144](#)
[145](#)
[146](#)
[147](#)
[148](#)
[149](#)
[150](#)
[151](#)
[152](#)
[153](#)
[154](#)
[155](#)
[156](#)
[157](#)
[158](#)
[159](#)
[160](#)
[161](#)
[162](#)
[163](#)
[164](#)
[165](#)
[166](#)
[167](#)
[168](#)
[169](#)
[170](#)
[171](#)
[172](#)
[173](#)
[174](#)
[175](#)
[176](#)
[177](#)
[178](#)
[179](#)
[180](#)
[181](#)
[182](#)

[183](#)
[184](#)
[185](#)
[186](#)
[187](#)
[188](#)
[189](#)
[190](#)
[191](#)
[192](#)
[193](#)
[194](#)
[195](#)
[196](#)
[197](#)
[198](#)
[199](#)
[200](#)
[201](#)
[202](#)
[203](#)
[204](#)
[205](#)
[206](#)
[207](#)
[208](#)
[209](#)
[210](#)
[211](#)
[212](#)
[213](#)
[214](#)
[215](#)
[216](#)
[217](#)
[218](#)
[219](#)
[220](#)
[221](#)
[222](#)
[223](#)
[224](#)
[225](#)
[226](#)
[227](#)

[228](#)
[229](#)
[230](#)
[231](#)
[232](#)
[233](#)
[234](#)
[235](#)
[236](#)
[237](#)
[238](#)
[239](#)
[240](#)
[241](#)
[242](#)
[243](#)
[244](#)
[245](#)
[246](#)
[247](#)
[248](#)
[249](#)
[250](#)
[251](#)
[252](#)
[253](#)
[254](#)
[255](#)
[256](#)
[257](#)
[258](#)
[259](#)
[260](#)
[261](#)
[262](#)
[263](#)
[264](#)
[265](#)
[266](#)
[267](#)
[268](#)
[269](#)
[270](#)
[271](#)
[272](#)

[273](#)
[274](#)
[275](#)
[276](#)
[277](#)
[278](#)
[279](#)
[280](#)
[281](#)
[282](#)
[283](#)
[284](#)
[285](#)
[286](#)
[287](#)
[288](#)
[289](#)
[290](#)
[291](#)
[292](#)
[293](#)
[294](#)
[295](#)
[296](#)
[297](#)
[298](#)
[299](#)
[300](#)
[301](#)
[302](#)
[303](#)
[304](#)
[305](#)
[306](#)
[307](#)
[308](#)
[309](#)
[310](#)
[311](#)
[312](#)
[313](#)
[314](#)
[315](#)
[316](#)
[317](#)

[318](#)
[319](#)
[320](#)
[321](#)
[322](#)
[323](#)
[324](#)
[325](#)
[326](#)
[327](#)
[328](#)
[329](#)
[330](#)
[331](#)
[332](#)
[333](#)
[334](#)
[335](#)
[336](#)
[337](#)
[338](#)
[339](#)
[340](#)
[341](#)
[342](#)
[343](#)
[344](#)
[345](#)
[346](#)
[347](#)
[348](#)
[349](#)
[350](#)
[351](#)
[352](#)
[353](#)
[354](#)
[355](#)
[356](#)
[357](#)
[358](#)
[359](#)
[360](#)
[361](#)
[362](#)

[363](#)
[364](#)
[365](#)
[366](#)
[367](#)
[368](#)
[369](#)
[370](#)
[371](#)
[372](#)
[373](#)
[374](#)
[375](#)
[376](#)
[377](#)
[378](#)
[379](#)
[380](#)
[381](#)
[382](#)
[383](#)
[384](#)
[385](#)
[386](#)
[387](#)
[388](#)
[389](#)
[390](#)
[391](#)
[392](#)
[393](#)
[394](#)
[395](#)
[396](#)
[397](#)
[398](#)
[399](#)
[400](#)
[401](#)
[402](#)
[403](#)
[404](#)
[405](#)
[406](#)
[407](#)

[408](#)
[409](#)
[410](#)
[411](#)
[412](#)
[413](#)
[414](#)
[415](#)
[416](#)
[417](#)
[418](#)
[419](#)
[420](#)
[421](#)
[422](#)
[423](#)
[424](#)
[425](#)
[426](#)
[427](#)
[428](#)
[429](#)
[430](#)
[431](#)
[432](#)
[433](#)
[434](#)
[435](#)
[436](#)
[437](#)
[438](#)
[439](#)
[440](#)
[441](#)
[442](#)
[443](#)
[444](#)
[445](#)
[446](#)
[447](#)
[448](#)
[449](#)
[450](#)
[451](#)
[452](#)

[453](#)
[454](#)
[455](#)
[456](#)
[457](#)
[458](#)
[459](#)
[460](#)
[461](#)
[462](#)
[463](#)
[464](#)
[465](#)

Annotation

Галина Козловская (1906–1997) – писательница, мемуаристка. Красавица, чьим литературным талантом восхищался Г. Уэллс, в юности блистала за границей. Но судьба поджидала на родине, в Москве: встреча с молодым композитором Алексеем Козловским, ссылка в Ташкент в 1935-м. Во время войны гостеприимный дом Козловских был открыт для всех эвакуированных.

С радушного приема началась дружба с Анной Ахматовой. Собеседники и герои мемуаров «Шахерезады» (так в одном из стихотворений назвала Галину Козловскую Анна Андреевна) – Марина Цветаева, Борис и Евгения Пастернаки, Фаина Раневская, Корней Чуковский, В. Сосинский, А. Мелик-Пашаев... А еще – высокий строй души и неповторимый фон времени.

Галина Козловская Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание

© Козловская Г. Л., Дубровин Б. В., 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

* * *

Наталья Громова «В своих воспоминаниях я сильнее времени и смерти»

Ташкент. Конец 1941 года. Небольшой двухэтажный дом на улице Карла Маркса, где живут эвакуированные писатели, скоро станут называть «Ноевым ковчегом». По выщербленным и стертым ступеням поднимаются две молодые женщины. Они подруги с юных лет. Одна – Евгения Владимировна Пастернак (первая жена поэта), вторая – Галина Лонгиновна Козловская, случайная обительница этих мест. С волнением постучали они в дверь с окошком, на котором была

выведена надпись «Касса». Из-за двери слышался голос. Когда дверь открыли: перед ними в пустой каморке на старом стуле сидела, кутаясь в шубу, Анна Андреевна Ахматова.

В отличие от хлынувших во время войны в Ташкент деятелей науки и искусства, Галина Козловская оказалась здесь не по своей воле. Этот восточный город еще в двадцатые годы стал местом ссылки московской и ленинградской интеллигенции. Сюда в 1936 году она приехала с мужем, композитором Алексеем Федоровичем Козловским, как оказалось, навсегда.

«С первых же дней эвакуации из разных городов к нам в дом хлынуло множество друзей, подчас почти незнакомых... Всех надо было встречать, поить, кормить, устраивать на ночлег, искать квартиру, хлопотать о прописке. В наш адрес шли письма из разных городов – от друзей тех, кто уехал и не знал, где будет их пристанище. Люди страшились потерять друг друга. Мы с радостью делали всё, что могли, чтобы помочь им всем», – писала Галина Козловская.

Галина Козловская с подругой пришла к Ахматовой в одну из первых недель ее жизни в ноябрьском холодном Ташкенте. Анна Андреевна, которая уже успела пережить месяцы блокады, перелет в Москву, переезд в Казань, потом пароход в Чистополь, наконец остановилась в Ташкенте. Друзей и знакомых здесь было мало, и доброжелательная молодая женщина, которая прекрасно знала ее стихи, к тому же жительница этих мест, расположила к себе Ахматову.

На празднование нового 1942 года Козловские пригласили Анну Андреевну к себе. «Алексей Федорович, встретив ее на пороге, поцеловал обе руки и, взглянув ей в лицо, сказал: «Так вот Вы какая». «Вот такая, какая есть», – ответила Ахматова и слегка развела руками». Этот новогодний вечер в гостеприимном доме Козловских положил начало дружескому общению и долгим беседам. Анна Андреевна говорила: «Вы оба наделены божественным даром дружбы». Козловские не только открыли ей город, но и стали для нее близкими друзьями до последних дней жизни.

Как в трапезной – скамейки, стол, окно С огромною серебряной луною. Мы кофе пьем и черное вино, Мы музыкою бредим... Все равно... И зацветает ветка над стеною. В изгнании сладость острая была, Неповторимая, пожалуй, сладость. Бессмертных роз, сухого винограда Нам родина пристанище дала.

Во многом эта дружба была связана с личностью Алексея Козловского. Ахматова говорила про него: «Наш Козлик – существо божественного происхождения». А его друг, сценарист В. С. Виткович, в книге «Круги жизни» писал о Козловском:

«Невысокий, плотный, стремительно поворачивавшийся к собеседнику, поблескивавший глазами, всегда взметенный, шуткой отвечавший на шутку. Удивительная память! Цитировал наизусть целыми страницами Гоголя и Толстого, Пушкина и Пастернака. Знал великих композиторов прошлого, будто близких друзей...

За шутливостью Алексея угадывалось нежное сердце, которое стыдилось быть напоказ. Ведь именно, чтобы не быть напоказ, – буйство шуток и нескончаемая изобретательность в совершенно детских проделках».

С 1943 года Ахматова жила на улице Жуковской вместе с Надеждой Яковлевной Мандельштам. Там написано это стихотворение. И там они много вечеров проводили с Козловскими, разговаривая о музыке, которой пронизана ее «Поэма без героя».

Все небо в рыжих голубях, Решетки в окнах – дух гарема... Как почка, набухает тема. Мне не уехать без тебя – Беглянка, беженка, поэма.

Ахматова писала («Проза о поэме»): «Борьба с читателем продолжалась всё время. Помощь читателя (особенно в Ташкенте) тоже. Там мне казалось, что мы пишем ее все вместе». Козловская отзывалась: «Ей важен был наш живой, горячий, постоянный душевный отклик. С того дня она стала приходить к нам, то каждый день, то через день или дня через три, и всякий раз приносила написанное накануне. Судьбе было угодно сделать нас свидетелями рождения удивительного произведения искусства, и мы про себя называли его «наша поэма»».

Позднее Ахматова посвятила Козловскому одно из самых восточному жарких стихотворений:

В ту ночь мы сошли друг от друга с ума, Светила нам только зловещая тьма, Свое бормотали арыки, И Азией пахли гвоздики.

И мы проходили сквозь город чужой, Сквозь дымную песнь и полуночный зной, – Одни под созвездием Змея, Взглянуть друг на друга не смея.

То мог быть Стамбул или даже Багдад, Но, увы! не Варшава, не Ленинград, – И горькое это несходство Душило, как воздух сиротства.

И чудилось: рядом шагают века, И в бубен незримая била рука, И звуки, как тайные знаки, Пред нами кружились во мраке.

Мы были с тобою в таинственной мгле, Как будто бы шли по ничейной земле, Но месяц алмазной фелукой Вдруг выплыл над встречей-разлукой...

И если вернется та ночь и к тебе В твоей для меня непонятной судьбе, Ты знай, что приснилась кому-то Священная эта минута.

Существует версия, что стихи эти посвящены Юзефу Чапскому. Однако в письме к Александру Межирову Галина Козловская дала ключ к этому стихотворению:

«Мне кажется, что теперь я имею право рассказать о тайне и обстоятельствах его возникновения. В один из жарких дней последнего лета Анна Андреевна пришла к нам и собралась уходить уже поздно. У меня на столе стояли белые гвоздики, необычайно сильно и таинственно настойчиво пахнувшие. Анна Андреевна всё время касалась их рукой и порой опускала к ним свое лицо. Когда она уходила, она молча приняла из моих рук цветы с мокрыми стеблями.

Как всегда, Алексей Федорович пошел ее провожать. Это было довольно далеко, но все мы тогда проделывали этот путь пешком. Вернулся домой он нескоро и, сев ко мне на постель, сказал: «Ты знаешь, я сегодня, сейчас, пережил необыкновенные минуты. Мы сегодня с Анной Андреевной, как оказалось, были влюблены друг в друга, и такое в моей жизни, я знаю, не повторится никогда. Мы шли и подолгу молчали. По обочинам шумела вода, и в одном из садов звучал бубен. Она вдруг стала спрашивать меня о звездах. (Алексей Федорович хорошо знал, любил звезды и умел о них рассказывать.) Я почему-то много говорил о Кассиопее, а она всё подносила к лицу твои гвоздики. От охватившего нас волнения мы избегали смотреть друг на друга и снова умолкали».

Продолжением той ночи – стали стихи.

Его исповедь я запомнила дословно, со всеми реалиями пути, чувств и шагов. <...> И я, ревнивейшая из ревнивиц, испытала чувство полного понимания и глубокого сердечного умиления.

Несколько дней Анна Андреевна не приходила. Алексей Федорович ходил потерянный, затем она пришла, и всё пошло по-прежнему. И пока она была в Ташкенте, никакого стихотворения не было, хотя я уверена, что оно было, написанное тотчас, по свежему следу. Так точны все реалии жизни, так дословно рассказанные мне Алексеем Федоровичем, что мне кажется, вряд ли оно было написано потом, много лет спустя. Хотя, кто знает, быть может, гений поэта – это его ничего не забывающая память?

И когда годы спустя Алексей Федорович впервые прочел эти стихи, он ошеломленно опустил книгу и только сказал: «Прочти». Я на всю жизнь запомнила его взгляд и оценила всю высоту и целомудрие этого его запоздалого признания. <...>

Но их обоих нет, не станет когда-нибудь и меня, а тайна должна кем-то храниться, раз они были и прожили свою пленительную жизнь».

Спустя годы, когда не будет в живых ни Ахматовой, ни Козловского, Галина Лонгиновна напишет одни из самых ярких воспоминаний о тех тяжелых и счастливых временах. Прекрасным литератором, умным читателем она была для своих друзей и адресатов замечательных

писем, но с появлением в печати отрывков воспоминаний Галины Лонгиновны о ее писательском даровании узнали многие.

Кроме литературного, Галина Лонгиновна обладала и музыкальным талантом, прекрасно пела, в том числе и песни на стихи Ахматовой, музыку к которым написал ее муж. С ним она познакомилась еще совсем юной, когда приехала в Москву. Здесь в литературных кругах ее рассказы не нашли того отклика, который имели за рубежом, где прошла ее юность, и она на годы перестала писать. Но зато встретила человека, которого полюбила и с которым ей было невероятно интересно. В 1926 году она вышла за него замуж.

Алексей Козловский был талантливым композитором и дирижером и подавал огромные надежды. В 1934 году свою комнату в московской коммуналке они обменяли на домик в подмосковной деревне Степановское, однако им не удалось спрятаться от НКВД, и в 1936 году Козловского вызвали на Лубянку и предложили покинуть Москву. Вероятнее всего, положение самой Галины (так же как и ее отца, депутата Государственной думы, дружившего со многими старыми большевиками) было в те годы тоже опасным. Супруги уехали в ссылку в Ташкент.

Это был тяжелый удар по восходящей музыкальной карьере Козловского. Но оказалось, что на новом месте им открылся удивительный мир Востока, который они сумели горячо полюбить.

Они стали сочинять вместе: он – музыку, она – либретто. Первым значительным их детищем стала опера «Улугбек», поставленная в Ташкенте во время войны. За этой оперой последовали другие произведения.

Творческий союз в 1977 году прервала смерть Алексея Козловского.

В письме к Владимиру Брониславовичу Сосинскому Галина Лонгиновна писала о муже: «Алексей Федорович был последним из художников, живших в мире утонченного, изощреннейшего гармонического слышания, и все самые сложные его творения зиждутся на основе безупречной формы (данной самой природой) и этой услышанности всех деталей и всего в целом».

И вдруг подытоживает: «Поверьте мне – я не буду «бедной вдовой», я буду гордой женой». Она борется за сохранение его музыкального наследства. Решает написать воспоминания о Козловском, Ахматовой, о жизни в Ташкенте.

«Приехав в столицу Узбекистана, я встретила женщину, поражающую в свои семьдесят с лишним лет не просто уникальной образованностью, но интенсивно интеллектуальным существованием, – пишет о ней Ирма Кудрова. – За год до моего приезда в Ташкент Алексей Козловский ушел из жизни, и вдова тяжело переживала вдруг подступившее одиночество. Вскоре после нашей встречи она начала писать мемуарный очерк о муже. На страницах ее воспоминаний читатель встретит имена выдающихся людей: Анны Ахматовой, Бориса

Пастернака и его первой жены Евгении Пастернак, с которой Галина Лонгиновна дружила с молодости, Фаины Раневской, Корнея Чуковского, Алексея Толстого и многих других».

В эти годы разрастается переписка Козловской, в круг которой входят и отечественные, и иностранные корреспонденты – музыканты, писатели, журналисты. В ней она не только делится воспоминаниями, но и блестяще анализирует стихи и прозу Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, Набокова, создает незабываемые образы современников.

«У меня очень сложные отношения с Мариной Ивановной. Я люблю колдовскую магию ее стихов, для меня бесспорна ее гениальность, поэтическая бездонность и сила, и как художник она давно стала неотделимой частью моей души. Но когда я соприкасаюсь с ней как с женщиной и человеком, что-то во мне начинает двоиться, возникает какое-то внутреннее сопротивление, что-то во мне вызывает отталкивание, и я с ужасом чувствую даже признаки нелюбви. <...>

Я спрашиваю себя: почему всё в Анне Андреевне – ее стихи, ее душа, вся она, какая она была, и в женской, и в человеческой сути, с гордостью великого поэта России, очень знавшая и понимавшая свое значение, – почему она так навсегда поглощала вас только чувством любви. Эта любовь-восхищение устремлялась к ней навстречу, клалась к ее ногам в светлом порыве, и принимала она ее в свои добрые руки и при этом смиренно. Карала она в жизни только тупиц и пошляков». (Из письма И. Кудровой.)

Галина Лонгиновна Козловская умерла в 1991 году. В последние годы жизни, пришедшиеся на время перемен, она успела запечатлеть черты многих замечательных людей из мира искусства и литературы, с которыми дружила ее гостеприимная семья.

«Будем считать, что мы – как деревья, которые качает ветром Времени, – писала она В. Б. Сосинскому. – Но мы еще живем, и можем еще многим одаривать юные души тех обездоленных поколений, на которые часто смотришь с грустью».

Наталья громова

Татьяна Кузнецова, Наталья Чудова
Поиски и находки

Существуют два правила.

Первое – личные архивы после смерти человека часто пропадают.

Второе – если есть люди, желающие сохранить память о нем, случаются невероятные совпадения (Юнг называл это синхронистичностью – смысловым упорядочением случайных событий).

Галина Лонгиновна Козловская и при жизни, и после смерти сама притягивала в свое существование удивительные, на грани мистики, события.

И вот за годы работы составители этой книги с радостью, неожиданно обретали все новые и новые, казалось бы, утраченные навсегда или недоступные материалы.

Одно из самых важных приобретений – это полный текст воспоминаний Г. Л. Козловской. Мы получили его из рук Елены Данииловны Шубиной, а ей, в свою очередь, передал ее друг, историк Михаил Алексеевич Давыдов (1939–2013). Еще будучи молодым аспирантом, он познакомился с Борисом Сергеевичем Кузиным, известным биологом, другом О. Э. Мандельштама, и его женой Ариадной Валериановной Апостоловой, кузиной Галины Лонгиновны. От нее он узнал о Галине Лонгиновне Козловской и ее необыкновенной судьбе. Написал ей письмо, она ответила, и их переписка продолжалась до смерти Козловской.

Среди других источников сведений о Галине Лонгиновне оказалась и научная библиотека Московского университета. Там, в отделе устной истории, хранятся записи беседы В. Д. Дувакина с ней и ее мужем, происходившие на кухне у Л. Г. Чудовой-Дельсон в 1974 году. В неопубликованной части беседы (от 22 августа 1974 г.) Галина Лонгиновна рассказывает о себе, о своей родословной, о жизни за границей и возвращении на родину в СССР, о высылке с мужем в Ташкент. Родословная Козловской действительно уникальна: «сложный гибрид – помесь казачьей, украинской и турецкой крови, причем все антиподы, враждующие между собой племена и народы». На вопрос, а как с еврейскими корнями, она отвечает: «Никак, ни капли. Хотя фамилия моего отца была Герус, но он из воронежских крепостных графа Бутурлина. Почему-то носил греческую фамилию».

Историю рода по материнской линии удалось проследить дяде Галины Козловской, историографу Всевеликого войска Донского, П. Н. Краснову. Прапрадед, донской казак, в 1790 году брал Измаил, командовал полком Черноморских казаков.^[1] Когда они верхом на лошадях ворвались в Измаил, то в одном из переулков он увидел мечущуюся девочку лет тринадцати. Он скинул бурку и накрыл ею девочку. А по казачьим обычаям то, что накрыто буркой офицера, – его военная добыча. Когда все кончилось, он вспомнил про девочку, вернулся и нашел ее. Она так и просидела под этой буркой среди пламени и резни. Дитя оказалось совершенно необычайной красоты, и он привез ее на Дон, воспитал и позднее женился на ней. Молодая

жена приняла старообрядческую веру и умерла девятию годами восьми лет, во время молитвы, стоя на коленях.

Галина Лонгиновна слышала этот рассказ от матери (урожденной Клавдии Апостоловой, умершей в 1941 году в возрасте семидесяти пяти лет) – она еще успела застать свою прабабку-турчанку.

Отец Галины Герус – Лонгин Федорович – был профессиональным революционером, членом социал-демократической партии. После первой русской революции его арестовали, и в год рождения дочери (1906) он сидел в тюрьме. Но когда Геруса выбрали во II Государственную думу (февраль 1907 года) от социал-демократической фракции, он, очевидно, подпал под амнистию. «Отца вынесли на руках на вокзал», – говорит Галина Лонгиновна.

Как известно, II Государственная дума просуществовала менее четырех месяцев (с 20 февраля по 2 июня 1907 года) и, согласно царскому манифесту, была распущена. Герус был настроен весьма радикально, призывал к вооруженному восстанию солдат Преображенского полка, за что ему грозила пожизненная каторга. Спаситься ему помог не кто иной, как писатель Леонид Андреев. Он снабдил его деньгами и паспортом и помог устроиться в Финляндии. «Потом папа вернулся все-таки тайком, – говорит Г. Л., – повидаться с мамой и со мной, новорожденной».

Газета «Русское слово» от 30 (17) июня 1907 г. сообщает: «Бывшие депутаты. Из Выборга сообщают, что, по имеющимся у местного губернатора сведениям, русское правительство вошло с ходатайством к финляндским властям о выдаче бывших членов Государственной думы – Озоля, Салтыкова, Алексинского и Геруса, проживающих в одной из гостиниц в Териоках».

По словам племянника Г. Л. Козловской Андрея Геруса, его дед Лонгин Федорович эмигрировал в США. Там в 1912 году в Чикаго родился его отец Валериан. После революции с женой и двумя детьми вернулся в Россию. В 1922 году был направлен за границу, в течение нескольких лет работал полпредом и торгпредом СССР в Турции, Англии, США, Канаде. В 1936 году по настоятельному совету тогдашнего наркома по иностранным делам СССР Литвинова резко сменил род своей деятельности, уехав работать учителем в школу в городе Ростове-на-Дону. Это спасло жизнь и ему, и семье. Затем переехал в Москву, работал в издательстве. Перед войной умерла его жена.

Но вернемся к рассказу Галины Лонгиновны.

До двенадцати лет она училась в американской школе, в 1917 году, когда семья вернулась в Россию, отец сам занялся ее образованием и к четырнадцати годам подготовил к поступлению в университет.

Когда начался голод в Поволжье, Советское правительство направило Л. Ф. Геруса как человека, жившего за границей, в Константинополь для выполнения заказов на поставку в страну

продовольствия и первых сельскохозяйственных машин. Семья прожила в Антее (под Константинополем) девять месяцев (1922-1923 годы), после чего перебралась в Англию.

«Я мечтала, – говорит Галина Лонгиновна, – что поеду в Оксфорд и буду учиться у Киплинга, который был деканом литературного факультета. Это была моя мечта, но она не осуществилась. Потому что мы с мамой уехали и, кроме того, я срезалась на бакалории по математике, в которой была абсолютной бездарностью».

После этого с ней стал заниматься один английский литератор, друг Оскара Уайльда, под руководством которого девочка написала свой первый рассказ на английском языке. Рассказ этот так понравился ее учителю, что он решил показать его Герберту Уэллсу, и тот захотел с нею встретиться. Но «я, дура, предпочитала играть в теннис с молодым дураком и трижды обманывала Герберта Уэллса. Наконец, встреча состоялась. Он мне показался ужасно приземленным, лицо, как бифштекс, неодушевленное. Я не любила его и как писателя...» Кроме незаурядного дарования девушка обладала удивительной красотой, о чем через много лет с грустью вспоминала в письме к Сосинскому.

«Когда моему отцу Христиан Георгиевич Раковский сказал, что его дочь – самая красивая девушка в Лондоне, я это знала по той радости, с которой несла себя через дарованную мне жизнь – в юном и беспечном удовлетворении, когда я считала, проходя по улицам, сколько людей обернулось мне вслед. Я читала себя в глазах людей и всегда любила и ценила это свое торжество. Именно оно несло мне счастье и много любви, всю жизнь бывшей моим уделом. Я знала великую власть над многими мужскими судьбами, и жизнь приучила меня быть владицей».

Мне надо бы петь ей гимны. Даже когда женщине самой природой положено стать смиренной и признать отречение, я знала такие взлеты, перед которыми замирала в суеверном изумлении.

Но вот моя сила покинула меня. Осталась вся острота чувства жизни, вся полнота ощущения акмея существования, – а могущество исчезло».

Но в 1925 году семья снова возвращается в Советский Союз. Галина Козловская начала пробовать себя на поприще отечественной словесности, но «братья-писатели» упрекали ее в оторванности от реальной жизни, в полном отсутствии интереса к современной теме. Галина Лонгиновна вновь взялась за перо только в Ташкенте, написав либретто к опере А. Козловского – «Улугбек». «Это очень трагическая и одновременно очень яркая история – такой ренессансный тип Востока»,

– говорила Галина Лонгиновна. Во время войны оперу поставил С. М. Михоэлс, а декорации написал художник А. В. Николаев (Усто Мумин).

Либретто Галины Козловской с восторгом приняли композитор Сергей Никифорович Василенко и его друг, литературовед Сергей Константинович Шамбинаго.

В Ташкенте Галина Козловская познакомилась с Ахматовой, встреча с которой была поистине судьбоносной. Так получилось, что этот восточный город, в который ссылали отверженных, стал ее судьбой, а жизнь в нем – богатым событиями и откровениями временем.

Воспоминания Г. Козловской охватывают почти весь двадцатый век. В предисловии к своей книге Галина Лонгиновна пишет: «Мне хотелось отметить ту поэзию в самой жизни, которая лепит и творит художника, определяет развитие его духовной жизни».

Однако «Ворошить воспоминания – опасная штука. Столько всего всплыло – человеческой низости, негодяйства, унижения, – что у меня не хватает сил и такта обойти столь многое. В сущности, надо обойти жизнь и прикрывать ее срам фиговым листком радужного оптимизма. Пока писала о днях приезда и о первых годах... влюбленности в Восток, было легко, хотя под ними был айсберг ссылки. Но молодость и увлеченность приносили много радости. Зато потом – потом я просто не знаю, как мне плыть. Ворошу дневники и свои воспоминания и много плачу, и болит душа и сердце. Если бы я знала, что будет так тяжело, я бы не взялась», – из письма к брату, Валериану Герусу, в апреле 1986 года о ташкентском периоде.

В дополнение к уникальным воспоминаниям в книге собраны страницы, посвященные мемуаристу ее друзьями: Теодором Левиным, Александром Александровичем Мелик-Пашаевым и Ирмой Кудровой.

Мы сердечно благодарны всем, кто помогал нам и предоставил материалы для книги: А. Н. Богомяковой, А. В. Герусу, Б. В. Дубровину, И. В. Кудровой, Т. К. Левину, А. А. Мелик-Пашаеву, Е. Б., Е. В. и П. Е. Пастернакам, А. Б. Сосинскому, А. Фэвр-Дюпэгр, Е. Д. Шубиной, Культурному центру «Дом Цветаевой» Новосибирской областной научной библиотеки; особая благодарность инициатору создания этой книги – Наталье Александровне Громовой.

Татьяна Кузнецова, Наталья Чудова

Часть первая

Воспоминания

Дни и годы одной прекрасной жизни

Откуда пришла музыка

Пять человек в семье Алексея Федоровича Козловского были музыкантами, людьми, одержимыми музыкой.

Музыка пришла к ним из девятнадцатого века от прадеда, Антона Онуфрия Шиманского. Во времена первого польского восстания^[2] он был в рядах варшавских патриотов, потерпевших поражение, и вынужден был бежать во Францию, чтобы спастись от сибирской каторги. Шиманский был виолончелистом высокого класса и выступал в столицах Европы под именем Бартолоччи. В Париже, где Шиманский прожил немало лет, он нашел дружескую поддержку Шопена. Их отношения отражены в переписке Шопена, и через годы он вспоминает об Антеке Шиманском с нежностью и любовью.

Внучка Шиманского Ольга окончила Варшавскую консерваторию. В молодости Ольга много концертировала. Она же стала учительницей своей сестры Софьи, матери Алексея Федоровича, и дала ей удивительную технику, то, что французы называют жемчужной игрой. По вечерам мать неизменно играла с сыном в четыре руки. До глубокой старости она каждый день подолгу играла для себя из своего большого фортепианного репертуара.

Если сестры-пианистки имели хороший вкус и высокую музыкальную культуру, то для детей Софьи Григорьевны – Дмитрия, Сергея и Алексея – музыка стала страстью. Двое старших одновременно с университетом окончили Киевскую консерваторию как пианисты.

Музыкальная жизнь Киева тех дней была богата и разнообразна. Прекрасный симфонический оркестр, великолепные дирижеры – и свои, и гастролеры, замечательная опера, множество сольных концертов знаменитых пианистов и певцов. У братьев возникли дружеские связи со многими музыкантами, и чем шире становился круг знакомств и чем больше они слушали чужое исполнительство, тем больше хотелось собственного творчества. И вот возник их двухфортепианный дуэт, вскоре ставший известным в Киеве. Когда нельзя было достать готовые переложения симфонической музыки, братья делали свои, и даже

некоторые произведения Дебюсси и Равеля впервые прозвучали в их исполнении, до того как получили свое воплощение на симфонической эстраде. В их доме всегда звучала музыка – симфоническая, оперная, камерная. Многие музыканты приходили слушать братьев и сами спонтанно играли, пели, спорили, проходили стадии восхищения тем или иным композитором.

В наши дни трудно представить себе, чтобы главный дирижер Киевского оперного театра после спектакля «Борис Годунов» пришел, как это делал Арий Моисеевич Пазовский, в дом к двум молодым музыкантам и там заново проигрывал бы и прослушивал «Бориса Годунова», не замечая, как наступало утро.

В обстановке такой одержимости и рос Алексей Козловский. Взрослые часто не замечали, как ребенок забирался под один из роялей и, слушая, незаметно засыпал. Лишь потом мать уносила его в постель. Кто знает, быть может, с этих дней он сохранил пристрастие к особому рода гулким звучностям и к звучности оркестра, когда дирижер находится как бы внутри него.

Так с первых дней своей жизни он вобрал в себя огромный мир музыки разных времен и разных народов. В пять лет он отстукал матери на рояле сочинение из трех нот, но в семь лет попросил ее записать музыкальную пьесу, удивив своим чувством формы и красотой мелодии. Даже и в старости он иногда, забавы ради, ее играл. Мать стала учить его игре на рояле, а братья – как записывать музыкальную мысль на нотной бумаге.

Алексей рос, и расширялся мир его игр и увлечений. От каштанов у дома и песочной площадки город раздвигался всё дальше и шире. Он разбегался по холмам и крутоярм и нырял в таинственные заросли оврагов – город прекрасный, древний, не имеющий себе равных по красоте особого рода зодчества: в единстве рук человека и природы, заверченный, как произведение искусства. Узнавались дальние обзоры Днепра и призывы паровозных гудков из Дарницы. Узналось, что там, за мостом, лежат степи и леса и что есть лес заветный, звонкоголосый, где проживаются все радости лета.

Узнал будущий композитор и ночной Подол в огнях, когда его, семилетнего, брали на концерты. На утренние репетиции симфонических оркестров братья брали его почти всегда, и тогда, весь поглощенный чудом свершаемого, он почти ничего не видел вокруг. Но зато ночью – что это было за место, так совершенно описанное Пастернаком в его гениальной «Балладе», посвященной Нейгаузу^[3], в которой так точно всё – «недвижный Днепр, ночной Подол... // Бессонный запах маттиол». И как кульминация ночи и музыки – момент, когда братья подводили его к подножию Святого Владимира^[4], чей крест горел в ночи огнями и был виден далеко из-за Днепра. Когда потом, много лет спустя, он прочел пастернаковские строки, то словно ступил в свое детство, и музыка, слышанная в детстве, всегда жила в

едином потоке самых заветных его воспоминаний. Как он сожалел, что не пришлось ему поговорить об этом с поэтом и вспомнить эти счастливые мгновения!

У Алексея был друг, долго и плодотворно влиявший на его развитие. Этот друг – сестра его матери Елизавета Григорьевна. Она хорошо знала астрономию, математику, литературу, историю. Благодаря ей он на всю жизнь сохранил пристрастие к звездам и всегда увлеченно показывал и рассказывал чудеса звездного неба. Вероятно, поэтому он любил древнего правителя Улугбека, бывшего замечательным астрономом, и впоследствии воспел его в своей опере. Увлёкся историей Древнего Рима и Египта. Египет он знал блистательно от древнейших времен и мог впоследствии позволить себе дерзость спорить с профессиональными египтологами о стилях искусства разных династий.

Перед самой революцией 1917 года он еще захватил три класса так называемой классической гимназии, где обязательно изучались в большом объеме греческий и латинский языки. Так, урок истории должно было отвечать на латыни. Рим он любил, наверное, больше всего за латынь. К Древней Греции был равнодушен и лишь к концу жизни в ней что-то понял, да и то через вторую часть «Фауста» Гёте.

Интересно, что в тех самых стенах Второй гимназии, где ученики прилежно трудились над приобретением лингвистических познаний, вскоре разыгрались драматические события Нового времени. Ее классы и ее лестница стали той исторической сценой, где у Михаила Булгакова происходит действие в романе «Белая гвардия» и в пьесе «Дни Турбиных»^[5].

Елизавета Григорьевна с детства приучила Алексея Федоровича много ходить, и он не мог жить без прогулок, без многочасовой ходьбы – сначала чтобы знакомиться с новыми местами, потом – для сочинительства. Произведение рождалось от начала до конца в движении и лишь дома фиксировалось на нотной бумаге и иногда проверялось у рояля. Это с ранних лет изошрило его слух и память. К десяти годам он изумлял взрослых уникальным слухом и феноменальной памятью и в музыкальных кругах Киева стал считаться удивительным явлением.

Алексей Козловский обладал абсолютным слышанием оркестра и восприятием звуков и тональностей в цвете. В детских дневниках, которые он вел с десяти-одиннадцатилетнего возраста, он пытается не только зафиксировать цветом слышимые им тональности, но даже рисует форму, в которой видит услышанное. Юношей-подростком он был взят на учет Академией наук и заполнял присланные ему цветные анкеты.

Благодаря необыкновенной музыкальной памяти Алексей не только знал всю ткань множества оркестровых произведений, но и мог рассказать, как то или иное место исполнял тот или иной дирижер и

почему это было хорошо или плохо. Его зрительная память фиксировала все особенности дирижерской техники, и он на всю жизнь сохранил поразившие его исполнительские традиции Сафонова – дирижера симфоний Скрябина. Поэтому никто из музыкантов не удивлялся, когда он, мальчик, приходил с двумя юношами, своими братьями, и слушал неотрывно долгие репетиции или концерты.

Когда ему подарили игрушечный театр, величиною со стол, с декорациями и освещением, он увлеченно, до самозабвения, создавал всё новые и новые декорации к операм. Его мало занимали фигуры, но ему нужно было поэтичное театральное освещение, для того чтобы, установив декорации к мизансценам, он мог за дирижерским пультом продирижировать любимую музыку.

В лесу возле деревни Звонковой [под Киевом – *примеч. ред.*], где семья обычно проводила лето, была поляна, окруженная мощными соснами наподобие амфитеатра. Посреди поляны долго сохранялся пенек, на котором одиннадцатилетний мальчик наизусть дирижировал про себя, для себя все симфонии Скрябина. Это с тех дней пошло у него дирижирование наизусть. Он говорил, что наизустное дирижирование без партитуры перед глазами дает чувство свободы, раскованности.

Интересно, что до Первой мировой войны эту мирную украинскую деревню на берегу тихой реки Ирпень облюбовал известный украинский дирижер Виноградский. В историю русской музыки он вошел как человек, открывший композитора Калинникова. (Алексей Федорович впервые исполнил его Симфонию № 1 и всячески до самого конца поддерживал и помогал, даже воевал за него с самим Римским-Корсаковым.)

Вот черточка давно забытых нравов: когда Виноградскому на репетиции не хватило нескольких минут (а задерживать оркестрантов в то время категорически воспрещалось), Виноградский, выбросив руки, закричал: «За каждую лишнюю минуту плачу вам, каждому, по золотому!» И заплатил изрядный куш. За ним потянулась в те годы в Звонковую музыкальная и художественная элита Киева. Жила там и великолепная пианистка Штосс-Петрова, прозванная высокопарными критиками за свою красоту Аспазией. Один музыкальный энтузиаст привозил на дачу два рояля, чтобы братья Козловские могли давать концерты.

К одиннадцати годам^[6] Алексей Федорович поступил в Киевскую консерваторию к молодому тогда профессору Болеславу Леопольдовичу Яворскому^[7] – по классам композиции и специального фортепиано. Пришел он с рядом законченных произведений, со славой исключительной одаренности.

Главное, что он вынес из консерватории тех дней, – это счастье прослушанного им грандиозного Баховского семинара^[8] Яворского, вторично прослушанного позднее в Москве. В нем Яворский увлекательно раскрывал и сам, и с помощью Швейцера^[9] глубины

произрастания музыкальных символов Баха. Каждый, кому выпадало счастье прослушать эту удивительную концепцию, оставался на всю жизнь обогащенным. Оставленные Марией Вениаминовной Юдиной воспоминания^[10] – свидетельство тому.

Второе, что раскрыл Алексею Федоровичу Яворский, – это Лист, которого в семье недооценивали. Яворский дал такие ракурсы трактовки и так распахнул все грани артистичной личности Листа, что увлек им Алексея Федоровича на всю жизнь, и тот сумел не одного исполнителя заразить энтузиазмом, уничтожить снобистские предубеждения и за раскрытие глубин h-moll-ной сонаты получить их благодарность.

Яворский не стал известен широкой публике из-за рокового непреодолимого недуга – страха эстрады. Но все знавшие его ученики и близкие свидетельствуют о его гениальном исполнении Шопена и Листа. Алексей Федорович говорил, что никто другой из величайших, слышанных им, не достигал такой пронзительной силы шопеновской духовности, выраженной польским словом «Żal»^[11], его нежности, его печали и его великой мощи, которую дано донести очень немногим.

Теорию ладового ритма Яворского его ученик хотя и изучил, но для себя отверг, не принял. За что нервный и несправедливый учитель часто обижал и травмировал строптивого ученика.

Три мальчика на киевских холмах

В это время возникли три дружбы с тремя сверстниками, занявшие большое место в жизни Алексея Федоровича.

После смерти Александра Николаевича Скрябина его вдова Татьяна Федоровна переехала из Москвы в Киев с сыном Юлианом^[12]. В годовщину смерти Скрябина^[13] Дмитрий и Сергей Козловские сыграли Татьяне Федоровне на двух роялях свое переложение произведений великого композитора – «Божественной поэмы» и «Прометея». Алексей и Юлиан сразу подружились. Они ревниво оберегали свою дружбу от вмешательства взрослых. Алексей, для которого Скрябин был в то время всё поглотившим кумиром, испытал потрясение и подлинное горе, когда узнал, что Юлиан признает только последние опусы отца. Сын великого композитора был весь во власти небывалых, сложных звучностей и гармонии и властно увлекал своего нового друга. Кто знает, чем бы всё это кончилось, если бы не внезапная, нелепая и трагическая смерть Юлиана.

Он утонул, купаясь в Днепре, у самого берега, попав в одну из тех коварных ям, о которых поется: «Глубоки омуты днепровские». В поисках исчезнувшего мальчика прибежали домой к Козловским в надежде, что он у них. Так, как зарница, промелькнула необычайная

человеческая жизнь, гениальный росточек скрябинского гения. Алексей Федорович был всю жизнь убежден, что, останься Юлиан жив, он был бы лидером современного авангарда, и, уточняя, добавляя, что, скорее, это был бы совершенный выразитель космического века^[14].

Вторым другом был антипод Юлиана – мальчик из очень богатой семьи, уверенный, веселый, легкий, – Дима Дукельский^[15]. Он имел прирожденную технику, считал себя европейцем и знатоком современной французской музыки, писал музыку блестяще и остро. Он мало кого уважал из взрослых и лишь к ровеснику Алексею относился с большой нежностью, даже преклонением. Поднимаясь первый раз по лестнице (вполне приличной) к Козловским, он, в своей буржуазной невоспитанности, воскликнул: «Боже, и как это такой гениальный музыкант живет в таком бедном доме!» А в «бедном доме» жили одно время напротив – Яворский, этажом ниже – Генрих Нейгауз^[16], а позднее – Феликс Михайлович Блуменфельд^[17] (родственник Нейгауза). И всё же прелестное и беззлобное чувство юмора роднило их, все виды «непочтения» Димы нравились и забавляли, французы, оркестр, его чудеса были предметом искреннего увлечения, нешкольного изучения и сравнений.

Но был еще и третий друг, которого он любил нежнее и сильнее первых двух, – худой молчаливый подросток чуть постарше, его звали Валя Леше. Он жил с вдовым отцом в скромном уединенном доме и писал музыку, учась и не учась. Но то, что он писал, было насыщено такой глубиной и недетской мощью, что Алексей Федорович всегда говорил, что ему словно пришлось прикоснуться к эманации какого-то бетховенского духа.

Если спросить, что дал конкретно каждый из трех друзей, ответить было бы трудно, но это общение стало важным пластом в художественном формировании Алексея Козловского: разбудило критическое отношение к творчеству, сознательный подход к искусству.

Был еще один эпизод в жизни тех дней, который, несмотря на свою краткость, имел большое нравственное влияние на формирование критического взгляда на самого себя. В один из дней Алексей Федорович ждал в консерватории прихода на урок Яворского и что-то играл. Отворилась дверь, и застенчиво и робко вошел человек. Он был бедно одет, на зеленом поношенном френче ярко выступали синие пятна выцветших подмышек. Человек сказал, что он слышал о нем, и спросил, не мог бы Козловский сыграть ему какое-нибудь свое сочинение. Как баловень судьбы, мальчишка охотно стал играть, несколько снисходя к застенчивому посетителю.

Алексей Федорович не сразу узнал, что это был Николай Дмитриевич Леонтович, и с запоздалым стыдом вспоминал свою «раскованность» и не мог себе простить, что он глядел на гениального художника, ничего у него не расспросил и не узнал. Хоровое письмо

Леонтовича уникально и неповторимо. Он нес в себе то, что было в Мусоргском и то, что ни с чем не спутаешь. Потом всю дальнейшую жизнь Алексей Федорович избегал показывать свои сочинения не только малознакомым людям, но даже друзьям. Так появилось свойство характера, отличавшее его от многих композиторов и поэтов.

Поющие селения Украины

Жить в Киеве становилось всё сложнее и труднее. У Козловских дома уже давно недоедали. В спальню матери при обстреле Киева влетел петлюровский снаряд, всё искорежил и уничтожил почти все носильные и теплые вещи. Занятия в гимназии прекратились, так как ее занимали то госпитали, то военные части. Город переходил из рук в руки, стало по-настоящему голодно, и семья замерзала.

Богатая мать увезла Диму Дукельского в Париж^[18], где он позднее был обласкан Рахманиновым, еще позднее – Стравинским. (Спустя годы Алексей Федорович узнал, что Дукельский жив, что, переехав в Америку, он стал жить «двойной» жизнью: взяв фамилию Дюк^[19], стал одним из королей джаза, писал много для эстрады и очень разбогател; для души же, под другим именем, издавал авангардную музыку.)

Любимый Валя Леше умер от голода, в тифозном бреде. Его отец потерял рассудок и также умер от истощения. От Вали не осталось ничего, ни одной строчки.

В сумрачный холодный зимний день семья, погрузив на саночки вещи, спускалась к вокзалу, думая, что покидает Киев ненадолго, но, как оказалось, навсегда.

Ветер трепал афиши на круглых тумбах. На одной из них Алексей увидел, что из-под многочисленных позднейших объявлений, приказов и сообщений вдруг обнажилась давняя афиша – «Концерт композитора и пианиста А. Н. Скрябина», и давняя обида вспыхнула вновь. Его не взяли на концерт Скрябина, любимого божества. У него болело горло, и взрослые утешали: «Ничего страшного, в следующий раз». Но следующего раза не было. Скрябин умер.

После многодневных причудливых и опасных, в духе тех дней, приключений – одной из тех железнодорожных эпопей, которые многократно описаны в нашей литературе, – они очутились наконец на Каневщине в селе Масловке^[20].

По Украине всё еще носились тачанки разных «батек» и банд, бесчинствовали, жгли, убивали и скрывались в снежной мгле, оставляя погоне знаменитый лозунг на задках тачанок: «Хрен догонишь!» А тут вдруг открылись бескрайняя тишина, и снега, и потонувшие в них огоньки деревенек, и высокое, совершенно гоголевское небо в звездах и лунном сиянии. А местом жительства стал покинутый «Охотничий

замок» барона Тричелля, в котором приехавшие из Киева преподаватели организовали «Народную гимназию»^[21] (ставшую впоследствии знаменитым Масловским институтом^[22]). И потянулись к ним крестьяне и их дети, и несли (вместо жалованья) мешки белой муки, сахар, овощи, масло и всякую снедь – всё, кроме соли, которой не было на много верст вокруг.

Всё было фантастично: и этот переезд, и это неправдоподобное изобилие еды без крупы соли, и эти здоровые, доброжелательные люди, и этот причудливый маленький замок с чучелами кабаньих и оленьих голов, с комнатами, в которых завывал ветер, со стенами в остатках бесценных обоев, с пиршественным столом, сделанным из среза ствола огромного дерева в бронзовой оправе. Наверху, в башнях и на чердаке, был завал старых вещей, среди которых жили горностаи и куницы, выбегавшие на крыши, чтобы играть при лунном свете. Дом стоял среди огромного прославленного парка, который до революции помещик засадил деревьями и кустарниками из разных стран, – создание это было известно на всю Украину. (В годы Отечественной войны всё это сожгли до основания.)

И вот в этом уголке земли начались самые счастливые годы отрочества. Совершился кардинальный перелом в жизни: элитарную среду киевской интеллигенции с ее утонченной культурой сменило тесное общение с деревенскими подростками, ежедневное соприкосновение с народным бытом, юмором и музыкой. Исключительная певучесть украинского народа общеизвестна. Когда-то оперный режиссер Андрей Павлович Петровский за артистичность, легкость сценической подвижности и прекрасные голоса назвал украинцев итальянцами России.

Братья Козловские довольно быстро раздобыли в окрестностях фортепьяно и фисгармонию и к всеобщей радости организовали хор. Через некоторое время этот хор уже пел отрывки из классических опер с солистами, такие как сцены из «Фауста», «Князя Игоря», «Руслана и Людмилы». Сначала в шутку, а потом всерьез они назвали это начинание «Масловской филармонией». Давались концерты, где братья выступали солистами-пианистами со сложными (без скидок) произведениями мировой классики и выступали с большими программами хора и солистов. На эти концерты съезжались в любую погоду на санях и телегах заранее оповещенные жители даже отдаленных сел и мест.

Масловский институт если и не дал нашей стране знаменитых певцов-исполнителей, но зато подарил несколько академиков и всесоюзных лауреатов – ботаников, селекционеров и агрономов. Они всю жизнь вспоминали это время своей молодости, с благодарностью – братьев-музыкантов, приобщивших их к настоящей музыкальной культуре.

Там же Алексей Козловский написал свой хор на стихотворение Т. Шевченко «Заповіт» и впервые услышал публичное исполнение своей музыки. Впоследствии это произведение было исполнено на могиле Шевченко и, говорят, потом пелось многими хорами Украины.

Молодой композитор с увлечением окунулся в стихию народной музыки. Вместе со своими юными друзьями, одетый в такую же деревенскую одежду и часто босиком (за неимением сапог), он обходил окрестные селения и записывал песни. Часто возвращался с бесценным уловом. Это были не известные большинству обывателей украинские песни типа «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечериці», а самобытные творения богатого народного лирического и музыкального гения. Однажды он записал песню у столетнего старика, который на другой день умер. Позднее он сделал обработку этой песни – «Ой, з-за гори, да ще й з-за лиману»^[23].

Переход из отрочества в юность ознаменовался большим творческим подъемом. Алексей сочинял и совершенствовал свою фортепианную технику. Новые произведения писались чаще всего при коптилках, на грубой серой бумаге, чернилами, сделанными из дубовых орешков, а нотные станы расчерчивались самодельным инструментом (сейчас эти произведения находятся в Музее им. Глинки в Москве). Однажды мать повезла его в Киев, чтобы показать написанное сыном Феликсу Михайловичу Blumenfeldу (которому друзья-кучкисты дали прозвище Синкопа за хромоту). Феликс Михайлович долго и внимательно всё смотрел и проигрывал, дважды сыграл «Весеннюю сонату» по Чюрленису^[24], был растроган и ласково-нежен с молодым композитором. Он дал самую высокую оценку его музыки и, целуя руку матери, сказал: «Берегите его, это редкое дарование».

Вскоре брат Сергей увез Алексея в Москву под предлогом показа ему Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и там, без ведома матери, оставил его у Б. Л. Яворского для продолжения учения^[25].

Когда зазвучал город **безмолвствующих колоколов**

Брат уехал, и Алексей Федорович впервые остался один. Москва сначала показалась ему чужой и неприветливой. Он тосковал по семье, по прелести и поэзии Масловского парка, по оставленным друзьям и юношеским романам, а в особенности по братьям Дмитрию и Сергею, которые были первыми адресатами его музыки.

Скоро главным средоточием его радостей стали Большой и Малый залы Консерватории (в Малом зале он позднее, первый в Москве, сыграл Пятую сонату Сергея Прокофьева, жившего тогда еще за рубежом).

Большой театр, его оркестр, певцы, хор и удивительный дирижер Вячеслав Иванович Сук, стоявший во главе всего этого, стали пламенной любовью Алексея Козловского. Всё, что Алексей любил в музыке, представало перед ним в самом совершенном воплощении. Там он впервые понял гармонию музыкального и театрально-декоративного единства, которое до этого было для него чем-то не важным и второстепенным. Его ослепляли гениальные оперные концепции режиссера Лосского – грандиозные движения поющих масс, их красота, пластичность и слитность с музыкой.

Однажды Алексей Федорович увидел Вячеслава Ивановича Сука, едущего на извозчике, он шел следом за ним, смотрел на него с обожанием и не смог преодолеть робость и сказать ему, что он чувствует... Думал ли тогда Козловский, что будет время, когда Сук будет к нему ласков, добр и станет поддержкой в дни его дирижерского дебюта?

Способностью любить и преклоняться перед любимым мастером и художником Козловский был наделен в высшей степени. Недаром Константин Сергеевич Станиславский, когда взял его в свой театр^[26], назвал его «наша струнка» за мгновенность отклика на подлинное и прекрасное. Это до старости не утраченное свойство душевного склада сделало его жизнь полной; о таких людях говорят: «Какой счастливый человек!»

В годы учения Алексея Федоровича в Большом театре ставился «Лоэнгрин» (еще с Собиновым) и, позже, «Мейстерзингеры». Ни одного спектакля не пропускалось. Став обладателем партитуры оперы «Мейстерзингеры» первого издания, Алексей Федорович и еще несколько композиторов забирались в самую верхнюю ложу Большого театра, так называемую «кукушку», и там, освещая карманным фонариком партитуру, следили за оперой. Не раз приходил капельдинер с просьбой убрать фонарик, так как луч, падая в оркестр, мешает оркестрантам видеть ноты. Однажды по какому-то случаю на всех стульях были разложены рекламные листовки. Молодые фанатики-вагнерианцы сделали из них «голубей» и пустили вниз, в оркестр. Оркестранты прочитали: «Чего, черти, столько купюр понаделали?» – и, смеясь, смотрели вверх, а Алексей Федорович потрясал массивной партитурой Вагнера. Алексей Федорович так любил и так знал эту оперу, что говорил: он уверен – если бы единственный экземпляр партитуры сгорел, он бы восстановил его по памяти. Но, несмотря на долгое увлечение Вагнером, он, конечно же, всю жизнь был «вердистом». Когда молодой Мелик-Пашаев поставил «Отелло» Верди и вел оперу с разительным блеском и подъемом, Алексей Федорович в антракте ушел в темный угол аванложи и заплакал от восторга и потрясения.

Незабываемы были многие премьеры Большого театра. На спектаклях, которые вел Сук, как-то: «Сказание о невидимом граде

Китеже» или «Саломея» Рихарда Штрауса, – дирижерский пульт всегда был украшен цветами. Когда шла «Хованщина», публика устраивала долгие овации хору, которым руководил Авранек. После каждого спектакля «Китежа» до утра бродили по спящему городу, вновь и вновь переживая услышанное и увиденное. Однажды в то время случилось Алексею Федоровичу ехать в поезде на юг. Какой-то человек на верхней полке напел «Хор калик переходящих» из «Китежа». Алексей Федорович просвистел продолжение, пассажир пел дальше, пока оба, обрадовавшись, не заговорили.

Такова была сила впечатления, производимого спектаклями Большого театра не только на музыкантов, но и на чутких слушателей того времени, когда музыка и опера были событием в духовной жизни человека.

Вся свежесть революционных исканий московских театров того времени, с их дерзновениями, ошибками и взлетами, поразившими весь мир, захватила молодого музыканта – Театр Мейерхольда, Камерный театр Таирова, Театр революции, Вахтангова и особенно близкий и восхищавший всего сильнее Второй художественный театр^[27] с Михаилом Александровичем Чеховым во главе. Великий Михаил Чехов был загадкой и потрясением, в нем таилась какая-то непонятная магнетическая сила. Она заставляла зрительный зал подчиняться мгновенно и отдаваться во власть этого неповторимого хриплого голоса. И если он посылал в зал такую энергию, потрясавшую сердца зрителей, то сам после спектакля «Эрик Четырнадцатый» Стриндберга, где играл больного безумного короля, болел несколько дней, и иногда его даже увозили в клинику для нервных больных.

Молодежь тех дней довольно прохладно относилась к Малому театру и главному МХАТу. Лишь появление там булгаковских «Дней Турбиных» с ослепительным составом молодых исполнителей – Яншина, Соколовой, Прудкина и других – покорило москвичей всех поколений.

В эти же годы большую роль в жизни молодого Козловского играет поэзия, чужая и собственная. Собственная вначале была несамостоятельная, но постепенно она приобрела свежесть и свое лицо и стала потребностью самовыражения. У него была поразительная память на литературное слово. Он мог читать наизусть целые главы прозы Лермонтова, Толстого, особенно – любимого Гоголя. Тютчев, Пушкин, Лермонтов были частью его бытия. Непонятно, когда и как он стал тончайшим знатоком технических тайн стихотворных форм и стилей, особенностей не только русской и европейской поэзии, но и восточной, древнегреческой и латинской. Здесь его познания и чувство были на редкость изощренными, удивляли поэтов, и они побаивались его безошибочного слуха.

Но если до Москвы чаще всего он жил поэзией прошлых веков, то здесь он вдруг открыл для себя других поэтов, захвативших его. Первым открытием стал Велимир Хлебников. Минувя математику и

философские рассуждения, Алексей Козловский шел прямым к его гениальному чувству поэтического слова и магии образа. Вторым поэтом, который увлек его дерзостью и озорством, был молодой Николай Заболоцкий. И хотя Алексей Федорович ценил ясность и стройность зрелого и позднего Заболоцкого, но в душе жалел об утраченном пыле и своеобразии его ранних стихов.

Стихи Маяковского он не любил, кроме некоторых строк, и убедительно объяснял почему. Затем вдруг в его жизнь ворвался Пастернак, ворвался со всеми своими ливнями и ветрами, чтобы стать навсегда любимым, нужным, всегда изумлявшим.

Позднее, когда Алексей Козловский уже работал дирижером в Театре Станиславского, готовился к постановке «Севильский цирюльник» Россини, и поэту Павлу Антокольскому был заказан эквиритмический перевод^[28] оперетты. У Алексея Федоровича установились с ним особые, шутейно-дружеские отношения. Однажды, импровизируя, Антокольский запнулся, не находя рифмы для следующей фразы. Алексей Федорович внезапно назвал рифму, и поэт ее тут же принял. С тех пор у них установилась игра. Встречаясь, не только в театре, но и на улице, поэт щелкал пальцами и произносил фразу – музыкант должен был тут же произнести продолжение с рифмой. Поэт продолжал, и так они сочиняли смешные и порой бессмысленные, но забавлявшие их стихи.

Годы учения в созданном Болеславом Леопольдовичем Яворским Первом московском музыкальном техникуме при Московской консерватории для Козловского не были счастливы. От природы властный и нетерпимый, Яворский был фанатиком своей теории ладового ритма и требовал от учеников такого же к ней отношения. В горделивом самоутверждении он говорил: «Я перевернул мир, но мир об этом не подозревает». Чем старше становился ученик, тем труднее были отношения с учителем. Учитель обнаружил, что ученик в глубине души не стал ревностным адептом его учения, и этого ему не простил. Он стал мстить, подвергая язвительному осмеянию всё, что ученик любил в музыке, постоянно и с возрастающей жестокостью.

Для Козловского школа Яворского обернулась школой завоевания независимости и открывания своего пути. Он вынес из своих испытаний величайший урок, усвоил незыблемое правило: никогда, ни при каких обстоятельствах не давить, не навязывать ученикам своих вкусов и пристрастий. Всю жизнь он был бережен к их юности и доверию.

Я встретила с Алексеем Федоровичем в период, когда мучительные отношения с учителем приводили его в состояние отчаяния. Но вскоре наши долгие и счастливые прогулки по заснеженным переулкам Арбата заслонили всё остальное. Они вывели нас на одну, единую, общую дорогу жизни, по которой мы шли вместе больше полувека.

Окончив Музыкальный техникум и поступив в Консерваторию, Алексей Федорович сразу распрямился душой: с каждым из новых профессоров у него сложились свои хорошие, легкие отношения, в основе которых лежало взаимное уважение.

По композиции он стал учеником Николая Яковлевича Мясковского. Человеческая личность прославленного симфониста отличалась сдержанностью и некоторой закрытостью от постороннего вторжения. С ним были невозможны веселость, запальчивость или малейший намек на какую-либо фамильярность. На его красивом лице обычно видна была сосредоточенность с оттенком скорбной отстраненности, и каждый понимал, что это душа глубокая, закрытая для людей, «не тронь меня». Алексей Федорович никогда не видел, чтобы он кому-нибудь выказывал предпочтение, но в его ровном, уважительном отношении к окружающим было что-то такое, что всем хотелось показать себя с лучшей стороны. У него была удивительная улыбка при грустных глазах.

Когда Алексей Федорович пришел к нему впервые, Мясковский спросил: «У кого вы учились инструментовке?» – тот ответил: «У Вагнера, Берлиоза, Глинки, Римского-Корсакова и Дебюсси». Мясковский кивнул и сказал: «Хорошие учителя, ничего не скажешь, а вы, видно, хороший ученик». Не раз на уроках, показывая чью-нибудь работу, Мясковский спрашивал Алексея Федоровича: «Ну, а как бы вы наинструментовали эти такты в этом сочинении?»

На уроках он был внимателен, серьезен, всегда понимал, что нужно ученику, и тот уходил от него с чувством, что тверже стоит на ногах. Иногда во время урока Мясковский, отбросив обычную сдержанность, читал письма, полученные от Прокофьева или Стравинского, и сокрушался, если его друзьям было плохо. Он глубоко любил их обоих. И какова же была его радость, когда вернулся в Россию Прокофьев!

Когда он приходил на концерт какого-нибудь знаменитого дирижера, то обычно садился где-то на отлете, на крайнем стуле, с партитурой в руках, и знакомые или ученики не могли подойти и окружить его говорливой толпой, как они это делали с другими профессорами. Как-то, в день его рождения, Алексей Федорович захотел подарить ему цветы. Был куплен большой куст белой сирени^[29], но у подъезда Алексей Федорович оробел. Он упросил меня подняться и передать цветы. Когда я позвонила, Николай Яковлевич, открывший дверь, попятился и как-то почти испуганно повторял: «Это мне, это мне?» А я тоже отчего-то сконфузилась, сбежала вниз, поняв, почему Алексей Федорович робел.

На лекциях по истории музыки, которую читал Иванов-Борецкий, было очень интересно, и скоро стало почти традицией, что после урока учитель и пытливый ученик подолгу бродили по коридорам и говорили как ровесники, и подтрунивания учителя были веселые и озорные.

Ученик и не замечал, как Иванов-Борецкий его изучает и проверяет его знания.

Часто после уроков, увидев проходящего Алексея Федоровича, Георгий Эдуардович Конюс увлекал его в пустой класс и, не скрывая своей симпатии, для собственного удовольствия показывал ему какой-нибудь пример своего излюбленного «золотого сечения». Алексей Федорович всегда старался под конец завести разговор о Чайковском. Именно Чайковский, поверив в композиторское дарование Георгия Эдуардовича, выхлопотал ему изрядную пенсию. Композиторское творчество иссякло довольно рано, но впоследствии Конюс стал блистательным теоретиком.

Исключительно дружескими стали отношения с Николаем Сергеевичем Жиляевым. Человек своеобразный, легендарной доброты и смелости, он был энциклопедически образован. Будучи членом нескольких географических обществ, он рассказывал об истории разных народов, их творчестве, ремеслах так, словно сам был очевидцем. Однажды, когда Ольга Леонардовна Книппер-Чехова рассказывала, что во время гастролей их театра в Америке они жили в гостинице такой-то в Балтиморе, Николай Сергеевич тут же вставил: «А, это та, что на углу такой-то и такой-то стрит?» Жиляев не ошибся, хотя ни разу в Балтиморе не был. Он был обладателем лучшей в Москве, уникальной по богатству нотной библиотеки, которую завещал Московской консерватории. Также он щедро дарил своим ученикам партитуры, и они могли брать домой ноты на какой угодно срок. Его выход из дома сопровождался криком детей и птиц. Птицы слетались к нему, и он кормил их из рук зерном и хлебом, а дети повисали на нем и шарили в карманах, в которых для них всегда были конфеты.

Алексей Федорович проходил у Жиляева контрапункт и строгий стиль в самых обширных размерах, и нагрузка в его классе была большая. На некоторых партитурах были композиторские автографы Мейербера, Берлиоза, любимого им Грига, не говоря уже о Скрябине, с которым Жиляев дружил. Однажды Николай Сергеевич показал ученику только что найденную юношескую симфонию Клода Дебюсси. Обнаруженная среди прочих нот в собрании Надежды фон Мекк, она была написана во время жизни в России, когда Дебюсси преподавал музыку детям знаменитой меценатки. Находка стала сенсацией.

Как-то в доме у Николая Сергеевича приехавший из Ленинграда Дмитрий Дмитриевич Шостакович сыграл с Козловским в четыре руки только что написанный балет «Золотой век». Придя домой, Алексей Федорович повторил мне много отрывков, ставших впоследствии знаменитыми. Уже тогда, в юности, Дмитрий Дмитриевич поразил Алексея Федоровича невероятной нервной взвинченностью, каким-то постоянным напряжением и беспокойством неповторимых рук. И всегда при встречах с ним у Алексея Федоровича возникало желание от чего-

то защитить, уберечь этого хрупкого, ранимого, удивительного человека.

Но совсем особыми вскоре стали отношения с Сергеем Никифоровичем Василенко, который вел в Консерватории класс инструментовки. До революции молодой Василенко был известным композитором. А его деятельность в качестве дирижера – пропагандиста старинной музыки, открывшего доступ к ней широкому кругу слушателей, была, пожалуй, плодотворней деятельности Сен-Санса во Франции. Из своих многочисленных поездок в Европу он привозил обнаруженные им шедевры забытых мастеров, лежавшие в пыли многочисленных хранилищ; обрабатывал, реставрировал и с огромным успехом исполнял их в своих специально этому посвященных концертах.

Братья Дмитрий и Сергей Козловские сделали для себя переложение для двух роялей известных сочинений Сергея Никифоровича – «Сада смерти» (по Уайльду)^[30] и сюиты «В солнечных лучах». Когда Сергей Федорович привез младшего брата Алексея в Москву, он пришел и подарил Сергею Никифоровичу это переложение. Но сам Алексей Федорович только после поступления в Консерваторию впервые показался на глаза Василенко.

Очень скоро взаимная привязанность ученика и учителя перешла в глубокую дружбу, сохранившуюся на всю дальнейшую жизнь. Став посетителем дома Сергея Никифоровича и познакомившись с его семьей и женой Татьяной Алексеевной, Алексей Федорович попал в среду удивительной самобытности и разносторонних интересов. В этом доме он получал любовь и отеческое тепло и никогда не мог достаточно нарадоваться всему, с чем он там встречался. Добрая Татьяна Алексеевна сохраняла в своем доме нечто от старой Москвы, уклада, быта и мышления, отражавших культуру ушедшей эпохи.

Татьяна Алексеевна не имела себе равных в Москве по части юмористического спонтанного рассказа. Если, например, речь шла о Скрябине, она могла вдруг вспомнить что-то такое забавное и чуть неприличное, отчего «божественный Скрябин» становился ближе, понятнее, вызывал глубокую симпатию и улыбку.

Во время василенковских застолий актер МХАТа Иван Москвин, великий мастер юмористического рассказа, всегда признавал себя побежденным блестящими импровизациями Татьяны Алексеевны, уютно кутавшейся в шерстяную шаль и маленькой ручкой предлагавшей пироги с невиннейшим видом, словно не она заставляла всех смеяться до слез.

Во время занятий в классе Сергей Никифорович рассыпал перед учениками огромное количество сведений о музыке и музыкантах прошлых поколений, о великих дирижерах и о том, как они исполняли то или иное произведение. Как жаль, что колоссальные знания о музыкальных эпохах ушли с ним. Магнитофонные записи тогда еще не

были в ходу. А часы общения с Василенко стоили годов ученичества и давали столько, сколько не могли дать ни академические лекции, ни в точности выполненные задания.

Однажды, рассказывая Алексею Федоровичу о дирижерах, Сергей Никифорович сказал: «А ты знаешь, в истории дирижирования был один случай, когда очень большой дирижер потерял голос, совсем как певец. Это случилось с прославленным учеником Никиша Александром Борисовичем Хессиным». Алексей Федорович переспросил: «Тот самый Хессин?» – и рассказал, как его братья, совсем юные, дважды простояли всю ночь в очереди, чтобы утром купить билеты на концерт Хессина. Любимый ученик Артура Никиша, Александр Борисович совсем молодым стал за пульт Гевандхауза^[31] в Лейпциге и начал триумфальное шествие по концертным залам Европы с лучшими из оркестров и исполнителей. Казалось, путь его был легким и счастливым. Пресса отмечала его как лучшего исполнителя Берлиоза того времени. И вдруг задолго до преклонного возраста Хессин внезапно умолк, перестал дирижировать, не приближался ни к одному большому оркестру и, как водится, через некоторое время был забыт. Что тому было причиной, осталось тайной. Сам он ее никому не поведал и вот, живет в Москве. Алексей Федорович даже подпрыгнул: «Жив, и здесь, в Москве, забытый прославленный музыкант!» – попросил у Сергея Никифоровича рекомендательное письмо и на следующий день пришел к Хессину домой.

Хессин жил в доме у Большого театра, по соседству с Вячеславом Ивановичем Суком. Алексея Федоровича впустили в коммунальную квартиру, где в одной из комнат жил маэстро. Навстречу ему встал европеец, первый настоящий европеец, увиденный им в жизни, такой непохожий на всех интеллигентных и неинтеллигентных людей того времени. В будний день он сидел в своей квартире в безупречно накрахмаленной рубашке, безупречном костюме и галстук бабочкой. А в комнате, заставленной мебелью (там помещались одновременно и кровать и обеденный стол) стены были сверху донизу покрыты фотографиями. Позднее Алексей Федорович имел возможность изучить их – они словно бросали вызов всей этой убогой коммунальной стесненности и быту малого достатка. Это был мир, целая эпоха, блистательная жизнь блистательного человека. Там были три портрета Чайковского с трогательными дарственными надписями, на одной из них – партитурные строки из «Бури», написанные рукой Петра Ильича; Бородин, Римский-Корсаков, Скрябин, Рихард Штраус, Никиш, Малер, почти все великие дирижеры Европы, прославленные виртуозы-исполнители, пианисты, скрипачи, виолончелисты. Вся слава и гордость музыкального мира оставила своему собрату на этих фотографиях слова преклонения и восхищения.

«Европеец» протянул молодому незнакомцу сильную маленькую руку, и его темные, навывкате, глаза не улыбнулись. Его приветствие

было сама корректность. Сначала сдержанно, а потом всё более и более заинтересованно он расспрашивал молодого музыканта не только о музыке, словно прощупывал его нутро деликатно, но настойчиво. Алексей Федорович не оробел и обрадовался, когда от какой-то шутки у маэстро появились искорки в глазах. Встреча закончилась тем, что Хессин согласился взять Козловского учеником, после чего два раза в неделю три года подряд Алексей Федорович приходил к нему заниматься техникой дирижирования. Занятия кроме «техники» переросли в освоение великих произведений мировой музыки.

Так они прошли все симфонические произведения Бетховена (кроме 9-й) и особенно пристально и обоюдно вдохновенно изучили ряд вагнеровских опер: «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Нюрнбергские мастера пения», «Тристан и Изольда» и, частично, «Золото Рейна». Здесь Хессин раскрывал перед учеником все чудеса и открытия трактовок великих вагнеровских исполнителей, требования самого Вагнера, которые он знал от Моттля, Никиша и Рихарда Штрауса. Учитель шлифовал технику и вкус Козловского, научил его тайне рубато^[32] и чувству пиано, всё это без оркестра, всё это в синхронном чувстве ученика и учителя. В награду Алексей Федорович просил учителя – «На прощание сделайте мне свою «Молнию». Хессин делал движение, от которого захватывало дух. Всю жизнь Алексей Федорович пытался повторить этот жест, но так и не достиг повторения этого чуда.

Много лет спустя, уже будучи профессиональным дирижером, Алексей Федорович записывал свою музыку с Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио и телевидения и пригласил своего учителя на репетицию. По окончании артисты оркестра окружили старого маэстро, и Алексей Федорович вдруг сказал: «Александр Борисович, на радость им сделайте свою «Молнию»». Александр Борисович сделал что-то ослепительное, и оркестр разразился аплодисментами.

Режиссерский дебют в Театре Станиславского

Как-то Сергей Никифорович сказал неожиданно Алексею Федоровичу: «Вчера у меня была встреча с Константином Сергеевичем Станиславским, и он попросил меня порекомендовать молодого, не испорченного штампом талантливое дирижера для работы в его оперном театре. Я рекомендовал ему тебя. Завтра тебя ждут в четыре часа в Леонтьевском переулке».

С трепетом пришел Алексей Федорович в знаменитый особняк Станиславского, где в белом зале с колоннами был поставлен «Евгений Онегин», где родился оперный театр имени Станиславского, а белые

колонны стали навсегда эмблемой этого театра. Услышав, что посетителя ждут, швейцар почтительно проводил его на второй этаж и указал на тяжелую полированную дверь с медной ручкой. Хорошо знакомый по спектаклям МХАТа голос сказал: «Войдите», – и навстречу встал красивый седой человек и приветливо улыбнулся с тем самым, прославленным на портретах, прищуром глаз. Рука у него была большая и теплая. Константин Сергеевич оказался совсем не таким, каким бывал на репетициях и показах, где царили его воля, взыскательность и строгость. Ничто никогда не укрывалось от его всевидящего глаза на сцене, хотя в жизни он был близорук.

Станиславский проговорил со своим молодым посетителем больше трех часов. Решено было дать ему для дебюта «Евгения Онегина». За две недели до этого должен был состояться торжественный показ «Онегина» под управлением Вячеслава Ивановича Сука. Алексей Федорович пришел домой влюбленный, очарованный и счастливый.

До дебюта Константин Сергеевич не раз вызывал к себе молодого дирижера и расспрашивал, как идут репетиции. Он подолгу учил его тайнам расслабления мышц, борьбе с произвольным мышечным напряжением и в пример ставил кошку, которая, ложась на песок, оставляет отпечаток всего своего тела. Еще до дебюта и потом, когда Алексей Федорович вел спектакль, Станиславский заставлял его на репетициях танцевать все танцы из «Онегина» вместе с артистами. Алексей Федорович с великим удовольствием танцевал оба бала и даже получил одобрение балетмейстера Поспехина, на что, смеясь, ответил: «На то я чуточку поляк, а они народ танцующий».

Иногда встречи происходили в обстановке отдыха, Константин Сергеевич просто беседовал и делился воспоминаниями. Как-то он потряс Алексея Федоровича рассказом, как в холодный ветреный день ехал на извозчике и, приближаясь к мосту через Москву-реку, увидел стоящего в воде человека. Человек был в пальто, вода достигала ему до подмышек. И вдруг Константин Сергеевич с удивлением узнал Петра Ильича Чайковского. С искаженным лицом Петр Ильич медлил окончательно погрузиться в воду, Станиславский с извозчиком бросились к нему и вытащили не сопротивлявшегося Чайковского. Извозчик во весь опор погнал лошадь и привез к Константину Сергеевичу окоченевшего, мокрого Петра Ильича. Здесь его отпаивали коньяком, горячим чаем, надели всё сухое и, отогрев, закутав в шубу, повезли домой. Петр Ильич молчал и всё дрожал. Это была попытка самоубийства Петра Ильича после злосчастной его женитьбы. Вот, оказывается, кому потомство обязано его жизнью и спасением. Чайковский долго после этого болел и не скоро оправился. Трепетно и страстно прозвучал этот рассказ-воспоминание в затемненном кабинете Константина Сергеевича^[33].

Настал наконец счастливейший, долгожданный для Алексея Федоровича день встречи с Вячеславом Ивановичем Суком. Он был

торжественно представлен своему кумиру, и вскоре Вячеслав Иванович положил ему руки на плечи и с милым чешским акцентом сказал: «Дайте мне на вас посмотреть поближе. Да, у вас хорошее лицо. У дирижера должно быть хорошее лицо». У него у самого было лицо, которое хотелось расцеловать, милое, бесконечно доброе и светлое. Через некоторое время он сказал: «Говорят, что вы подражаете мне. Я сам десять лет подражал Направнику».

Репетируя перед спектаклем у Станиславского, Сук поставил Алексея Федоровича справа у барьера оркестровой ямы и в каких-то местах поворачивался к нему, кивая головой, обращая его внимание, как надо дирижировать данным местом. Спектакль с Суком был праздником для артистов театра и для Москвы. Дирижерский пульт был обвит цветами, Сук дирижировал сидя.

Знаменитый дирижер приглашал Козловского к себе домой (познакомил со своим попугаем, который кричал: «Сук, браво!»), расспрашивал, у кого и в каких объемах Алексей Федорович проходил строгий стиль – «А я проходил только по Беллерману», рассказывал о своих волнениях перед выступлениями и как каждый раз принимает валерьянку перед увертюрой к «Руслану и Людмиле». Присутствовал он и на последних репетициях дебютанта, а на самом дебюте из-за внезапной болезни быть не смог, но в каждом антракте справлялся по телефону, как чувствует себя дирижер и как ведет спектакль. Заканчивал всегда: «Я рад. Я за него спокоен». Позднее он говорил: «Я его крестный папа».

Дебют Алексея Федоровича прошел отлично. Оркестр и певцы приняли его сразу. Вечер его первого спектакля был отмечен большим количеством особых слушателей. Кроме его профессоров – Мясковского, Василенко, Жилыева, Конюса и, конечно, Хессина, было много музыкантов и композиторов разных поколений и студентов Консерватории. Козловский приобрел себе внезапно много друзей в среде музыкальной и художественной Москвы. На спектаклях «Онегина» стало традицией у публики встречать его аплодисментами после «Ларинского бала». Константин Сергеевич хмурился – это было против «студийных правил», – но публике не прикажешь. В это время Алексей Козловский близко сошелся с Львом Книппером, подружился с Половинкиным (одним из самых блестящих остроумцев музыкальной Москвы), трудным Мосоловым и Николаем Раковым.

Работая в Театре Станиславского, Алексей Федорович посещал все репетиции Константина Сергеевича. Станиславский поражал его своей зоркостью. Однажды актер, игравший Пимена в «Борисе Годунове», показал свой грим великому режиссеру. Станиславский беспощадно забраковал его, после чего сам на глазах у всех сделал новый грим, и Пимен внезапно стал куда более подлинным, сохранив при этом некоторую театральность образа.

Изумляла музыкальность Станиславского. Однажды, во время работы над постановкой «Севильского цирюльника», показывая пример, он запел партию Фигаро, запел звучным голосом оперного певца и сыграл как замечательный драматический актер. Алексей Федорович вспоминал: «Какой голос, свежий, удивительный, а дикция – никогда не слышал ни у одного певца, чтобы так музыкально звучало слово».

Однажды певица, исполнявшая арию Шамаханской царицы в «Золотом петушке» Римского-Корсакова, никак не могла угодить Константину Сергеевичу. Ей надо было пропеть фразу «Между небом и морем висит островок». Станиславский пропел двенадцать вариантов возможного воплощения этой фразы. Она переливалась, превращаясь в пленительную колдовскую тайну, что-то неведомое мерцало за явным смыслом строк. Против всех «студийных правил» артисты заплодировали мастеру. Он умел показывать не то, «как в жизни», что закрепилось за МХАТом, а то, «как в поэзии».

В это же время Алексей Федорович приобрел преданного друга в лице уже немолодого Владимира Владимировича Держановского. До революции Владимир Владимирович возглавлял журнал «Современная музыка», на страницах которого освещались события музыкальной жизни России, подробно разбирались концертное исполнительство выдающихся гастролеров, сообщались музыкальные новости из-за рубежа и т. д. У Держановского стало обычаем собирать у себя композиторов и музыкантов раз в десять дней. На эти декадные вечера приходили музицировать, пообщаться и попить чаю хотя и разные по возрасту деятели, но в общем связанные родственными вкусами и устремлениями. Сергей Прокофьев, живший тогда еще в Париже, очень любил Держановского и часто посылал ему посылки с чаем. «Это для твоих декадентов», – шутливо писал он о посетителях декад.

Владимир Владимирович после дебюта Козловского почувствовал необыкновенную нежность к Алексею Федоровичу, завлек к себе не только на декадные вечера и делал всё возможное, чтобы помочь ему в жизни и искусстве. Когда встал вопрос о том, чтобы немецкий дирижер Оскар Фрид исполнил в концерте увертюру Козловского, а оркестровые голоса не были готовы, Держановский несколько ночей подряд переписывал голоса собственноручно.

У Держановского Алексей Федорович имел возможность наблюдать своего учителя Николая Яковлевича Мясковского в домашнем и дружеском кругу. Мясковский с непривычно нежным выражением лица целовал руку жене Держановского (в прошлом хорошей камерной певице), но, хотя он и был здесь чуточку приветливей и раскованней, всё же сохранял свое обычное выражение «не тронь меня». Он редко смеялся и не шутил, и только однажды Алексей Федорович заметил у него какие-то смеющиеся искорки в глазах. Случилось это при следующих обстоятельствах. Большим другом дома был дирижер

Сараджев. И вот он однажды недостаточно почтительно, как показалось Козловскому, отозвался о Вячеславе Ивановиче Суке. И тут Козловский, молодой человек, в сущности, мальчик среди взрослых почтенных людей, набросился на Сараджева с такой горячностью и непочтительностью, что все остолбенели. Держановский всё ходил вокруг, приговаривая: «Ну как не стыдно? Что, как петух, взъерепенился?» К чести Сараджева надо сказать, что он не обиделся на юного забияку. Николая Яковлевича это пылкое заступничество явно позабавило. И на следующем уроке он сказал: «Да вы, оказывается, умеете защищать своих кумиров».

Когда умер Вячеслав Иванович Сук, у Алексея Федоровича не хватило сил пойти с ним проститься. Он уехал за город и до ночи пробродил по лесам, горюя и любя. Мелик-Пашаев и оркестр Большого театра сыграли «Траурный марш» Вагнера гениально, многие, слышавшие прощание, годы спустя говорили об этом исполнении как о вершине вдохновения.

Мелик-Пашаев появился в Москве новой ослепительной звездой. Молодой музыкант уже имел за плечами множество продирижированных опер в Тбилиси. Он дебютировал в Большом театре «Аидой» на другой день после дебюта Козловского в Театре Станиславского. Алексею Федоровичу передали, что Мелик-Пашаев не хотел верить, что дебютант впервые встал перед живым оркестром и оперной труппой. После прослушивания пашаевской «Аиды» Алексей Федорович горячо полюбил этого музыканта, и после Сука он оставался для него самым ярким и талантливым из дирижеров Большого театра.

Когда вернулся в Россию Прокофьев, Москва встречала его восторженно. В концерте в Большом театре он дирижировал Классической симфонией, маршем из «Трех апельсинов» и впервые прозвучавшими в России отрывками из «Огненного ангела».

Москва тех дней перевидала и переслушала великое множество превосходных музыкантов и дирижеров. Приезжали Вейнгартнер, Штидри, Конвичный, Фрид, Георг Себастьян и гениальный Отто Клемперер. Все были влюблены в этого огромного роста человека, выходившего на эстраду с удаленной дирижерской подставкой, с которой он продолжал возвышаться над оркестром.

Страшно было узнать потом, как, спасаясь от нацистского ареста, Клемперер выпрыгнул из окна и сломал себе ногу, покинул родину и много пережил. Это было время, когда на вопрос Алексея Федоровича, обращенный к Оскару Фриду, кто сейчас главный дирижер в Европе, тот, вскинув руки и злобно оскалась, закричал: «Гитлер, Гитлер!» Фрид в дни фашистского разгула нашел пристанище в Советском Союзе и жил в Москве.

На смену вулканическому чуду Клемперера приехал «холодный» швейцарец Эрнест Ансерме, дирижер и профессор математики. Внешне Ансерме был красив, элегантен и отстраненно-обаятелен. Это был

великий интерпретатор Дебюсси, воплотивший и показавший миру красоту французского гения. Дебюсси посвятил ему не одно свое произведение.

У четырех прудов

Однажды, продирижировав дневной спектакль «Онегина», Алексей Федорович, торопясь домой, не остыв, мокрый и не сняв фрака, накинув шубу и не запахнувшись как следует, вышел на улицу в лютый мороз с сильным ветром. К вечеру он пылал, и оказалось, что он заболел сильнейшим воспалением легких. Врачи долго боролись за его жизнь. Он выжил, но на поправку шел долго и трудно – почти пять месяцев.

Театр в это время не мог быть без дирижера: когда Алексей Федорович выздоровел, на его месте за пультом был другой. Не делая больше попыток заняться дирижированием, Козловский полностью ушел в композицию. В это время три режиссера предложили ему написать музыку к спектаклям для постановки в ЦЕТЕТИСе (теперь ГИТИС)^[34]. Для Мордвинова он написал комсомольскую оперетту «Дружная Горка». Студенты пели и играли весело и увлеченно, а музыка была свежая, легкая, с хорошим мелосом^[35]. Вскоре ее распевали все студенты ЦЕТЕТИСа. Вслед за этим режиссер Баратов предложил Алексею Федоровичу написать музыку к пьесе «Авангард» Катаева.

Увлекательной была работа с талантливым оперным режиссером Андреем Павловичем Петровским. В прошлом оперный певец, он был известен в том числе как замечательный мастер грима. Он ставил в ЦЕТЕТИСе «Укрощение строптивой» Шекспира. Алексей Федорович написал ряд номеров к этому спектаклю, задавших общий тон. Среди них – «Поющая Кровать» и «Урок Катерине».

Консерватория осталась позади, годы ученичества окончились, театра больше не было, здоровье было подорвано. Врачи требовали переезда куда-нибудь на природу, на воздух.

И тут судьба дала нам возможность сменить московскую комнату на домик в деревне Степановское^[36], открытой нами во время загородных поездок. Домик был бревенчатый, последний на хуторе, у края леса, неподалеку от слияния Москвы-реки и Истры. Широкие прибрежные луга окружали деревню со всех сторон. Внизу был большой пруд с островками и деревьями, за ним еще три копанных пруда времен Екатерины Второй. От прудов к бывшей барской усадьбе XVIII века, принадлежавшей Долгоруковым, вели липовые и лиственничные аллеи. Здесь будто бы однажды принимали Екатерину Вторую, и на одном из островов был сооружен ее вензель.

Зимой в избе было холодно, поэтому на русской печи устроили постель с лампой, книжной полкой и радиоприемником. Рояль, органчик, регаль^[37], книги и немножко старинной мебели помогли создать уютное жилище. Трудности быта без всяких удобств преодолевались по-молодому бодро, а плавание и лодка летом, дальние лыжные прогулки и спанье на укрытой русской печи вернули нам здоровье. Меня покинул начинавшийся туберкулез, а у Алексея Федоровича исчезли все последствия воспаления легких.

И началась уединенная, творчески сосредоточенная жизнь. Две стихии главенствовали в жизни Алексея Федоровича – музыка и природа. Проживая сменяющиеся времена года, он почувствовал особый прилив творческих сил. Здесь началась вспышка поэтического творчества. Он писал стихи днем и ночью. Иногда сочинение музыки соседствовало с сочинением стихов. Здесь много читалось, о многом думалось. Порой он начинал диктовать мне свои мысли об искусстве, о его символах, о кочующих сюжетах у разных народов, о стихотворных размерах древних и многом другом. К сожалению, при переезде эти записи оказались утерянными.

Долгий, многолетний запой Бахом уступил место увлечению Востоком. Оно пришло к нему, как и ко многим европейцам, через рубайат Омара Хайяма, – он даже попробовал написать музыку к некоторым стихам. Впоследствии, уже в Ташкенте, перебирая бумаги и наткнувшись на это сочинение, он рассмеялся и сказал: «Какая чушь! Что за беспомощное создание!»

Но уединенность не означала затворничества. Москва, в сорока километрах, с ее театрами, концертами, друзьями была доступна, пройти пять километров через лес пешком до станции было удовольствием. А там все театры, концерты, друзья и близкие, всему можно было вдоволь порадоваться. Познакомились мы и со степановскими колхозниками, а с некоторыми из них подружились. Они приглашали нас в гости и на праздничные застолья. Увы, деревня была на редкость немзыкальна. И тут он не раз вспоминал своих масловских «соловьев». Из поколения в поколение молодежь пела одну и ту же песню – «Прощай ты милка, дорогая». И хотя существовало радио, ничто не прививалось. Во время застолий репертуар расширялся еще на две песни: нестройными голосами они выводили «Шумела буря, гром гремел» и «За Доном гуляет казак молодой».

Но композитор решил попробовать исправить это положение: предложил молодежи приходить к нему в определенное время – учиться петь хором. По вечерам стали приходить человек двадцать девушек и парней, и дело неожиданно пошло хорошо. Больше всего они полюбили «Щедрик» Леонтовича^[38] и «Высота ли, высота поднебесная» из «Садко» Римского-Корсакова. Мы возили их показывать свои достижения к шефам колхоза – в Тушинский аэроклуб.

Шефы остались очень довольны, наградили хор подарками, а Алексея Федоровича предложили «покатать» – на самолете.

В ясный зимний день он приехал к своим новым друзьям-летчикам, они посадили его в открытую машину «У-2» и пристегнули ремнями, затем он услышал доброжелательный голос майора Добкина, напутствующего летчика: «Ты же смотри, всё ему покажи. Возьми горизонт, сделай штопор и мертвую петлю, и всё такое», – Алексей Федорович ужаснулся, хотел протестовать, но пропеллер завертелся, и самолет с ревом побежал. «Катание» оказалось нелегким испытанием. Алексей Федорович видел, как сидящий впереди за рулем летчик внимательно в зеркале следит за его лицом, когда сиденье куда-то уходило, земля вставала перпендикулярно и ветер врвался в легкие с оглушительным свистом. Солнце сверкало, всё вращалось, плыло в глазах, и возвращение на землю показалось благословенным чудом. Он понял, что он не рожден летать. От гостеприимных предложений «еще покататься» категорически отказался.

Летчики из аэроклуба зачастили к нам – учили нас стрелять (у Алексея Федоровича это всегда хорошо получалось), таскали воду из ручья под горкой, ставили самовар, играли в чехарду, когда не смотрел командир, и всячески веселились. Вечерами Алексей Федорович играл им Шопена и Листа, но они про себя считали, что вершина музыки – это полонез Огинского. Под этот полонез они уезжали, и многие больше не вернулись. Летчик, возивший Алексея Федоровича, разбился через неделю, и почти все, побывавшие у нас, в течение полутора лет погибли. Так что показательные фигуры высшего пилотажа – совсем не такая невинная штука. Очень мало кто из них дожил до войны, когда они были так нужны.

Через некоторое время председатель колхоза сказал нам, что они решили считать нас почетными колхозниками. Вместе с другими в очереди Алексей Федорович назначался в ночное дежурство охранять деревню. Ему дали ружье и колотушку, и он ходил из конца в конец по единственной улице деревни и стучал в колотушку, пропевая любимое вагнеровское творение, воображая средневековый готический город Нюрнберг, который Вагнер населил певцами и мастерами^[39]. Мог ли он предположить, когда доходил до слов ночного сторожа «Берегитесь козней домовых!», что очень скоро, через несколько лет, из-под готических крыш сказочного Нюрнберга вырвутся орды самых страшных домовых двадцатого века, разлетятся во все стороны и зальют полмира кровью. Не знал он, что остановятся они перед этими самыми избами, спящими в снегах России. (Их остановила река, они не переступили ни одного порога, только поглядели на эту деревеньку, охраняемую луной и морозом. И верно, ни один не подумал, что отсюда начинается их конец.) Алексей Федорович не знал тогда, что и над ним нависла беда, что очень скоро жизнь его изменится кардинально и

навсегда. Но тогда колотушка охраняла сон и тепло, и музыка не ведала беды.

День, прожитый в солнечной прелести^[40]

Мой интерес к явлению, называемому предопределением, начался давно – после беседы с дирижером Евгением Мравинским. Он страстно желал постичь его суть и его влияние на человеческую жизнь и судьбу. Мравинский любил рассказывать один случай, на мой взгляд, несколько прямолинейный, но, безусловно, забавный. Великий английский дирижер Альберт Коутс родился в ложе Мариинского театра. Во время репетиции какой-то оперы мать его была вынуждена прекратить репетировать и в одиночестве справилась с внезапным рождением сына. Мравинский в этом рождении видел предопределение того, что младенец станет дирижером.

Годы спустя я вывела для себя две непреложности.

Закон предопределения непреложен, когда встреча с каким-либо человеком неотвратима, как судьба.

Вторая непреложность, роковая, непреодолимая, – это предопределенность «невстречи». Никакие человеческие усилия, желания побороть неумолимое «нет» закона «невстречи» никогда ни к чему не приводили.

О такой «невстрече» и пойдет речь. Но до этого я хочу рассказать о человеке, имевшем большое влияние на мою судьбу и ставшем одним из действующих лиц жизненной новеллы, связанной с главной темой моего рассказа.

Однажды днем я пришла в Дом Герцена к моим друзьям Иосифу Уткину и его жене. И вдруг неожиданно зашла к ним художница Евгения Владимировна Пастернак, бывшая жена поэта Бориса Пастернака. Она приветствовала всех какой-то удивительной улыбкой, которая озарила ее лицо, прелестное и своеобразное. Я никогда до этого не встречала улыбки, так свежо и полно раскрывающей приветливость души. Какое-то время Евгения Владимировна участвовала в веселой беседе, а затем вдруг умолкла. Я заметила, что она долго и сосредоточенно рассматривает меня. Потом вдруг сказала, что должна написать мой портрет. И, не обращая ни на кого внимания, тут же увлекла к себе в квартиру этажом ниже.

Она тогда жила в Доме Герцена, на первом этаже, и две ее комнаты, выходившие окнами на Тверской бульвар, были наполнены солнцем и светом, и в них ей, видимо, хорошо работалось. Мольберты и подрамники стояли у стен, здесь было удивительно чисто, несколько предметов старинной мебели придавали комнате вид легкого, ненавязчивого изящества – ни следа богемного неряшества и

беспорядка. А сама хозяйка, стройная и красивая, с особым разрезом казавшихся узкими глаз, с той же белозубой улыбкой «взахлеб»^[41], была прелестна и в полной гармонии со своим жилищем.

Когда я проходила через первую комнату, худенький мальчик лет десяти встал и вежливо меня приветствовал. Это был Женя, сын Евгении Владимировны и Бориса Пастернака. Незадолго до того они расстались, и к моменту нашего знакомства Борис Леонидович женился на Зинаиде Николаевне Нейгауз. Женя тяжело переживала разрыв с Пастернаком и эту боль носила в себе до конца дней своих. Но оставленная жена была художницей, и могу засвидетельствовать, что никогда ни у кого я не встречала более глубокого понимания поэзии Бориса Леонидовича и более глубокой любви к ней. И ему ее понимание и любовь были нужны. Между этими двумя людьми, несмотря на разрыв, существовала глубокая духовная связь. Он неизменно приносил ей всё только что написанное и в ее отзывах получал для себя нечто важное и нужное. Мало кто знал тайну этой необорванной духовной связи.

Я стала приходить почти каждый день – позировать Жене. Скоро модель стала другом, а потом любовь и глубокая привязанность связали нас на всю жизнь. Иногда я засиживалась до вечера, и за мной заходил мой муж, Алексей Федорович Козловский, и мы шли в любимый Камерный театр, который находился совсем рядом, в соседнем доме.

Постепенно я стала узнавать Женю как человека. Она никогда не скрывала своих симпатий и антипатий, относилась непримиримо к людям и явлениям, которые считала дурными. И стараниями таких людей утверждалось расхожее мнение, что Женя – трудный человек. Действительно, характер у нее был сложный, и сама она от этого часто страдала. Но удивительно, что резкость ее характера исчезала в ее живописи. Я не знаю, что она взяла у своего учителя Фалька, но кисть ее была лирична и полна удивительной нежности к своим моделям.

Женя обладала великим чувством дружбы. Своим друзьям, которых любила, отдавала себя всю, но эта любовь окрашивалась странной ревностью. Так, лучшим ее другом была скульптор Сарра Лебедева. Но Женя делала все, чтобы та никогда со мной не встретилась. Повидимому, каждая из нас оставалась для нее единственной, и она не хотела, чтобы мы отбирали у нее даже частичку друг друга.

В общении с другими, приятными ей, людьми она проявляла открытость и великодушие. Нужно сказать, что природа наделила ее редкой силой – силой женской притягательности, и поклонение многих, увлекавшихся ею, казалось, не оставляло места для тоски и одиночества. Однажды я пришла и увидела Женю сидящей на полу среди груды писем. Ее красивые черные волосы необычно обрамляли крутой лоб, на щеках горели красные пятна, и глаза были мученически заплаканы. Женская печаль, как она вечна, – печаль утрат и сожалений! Мне хотелось заплакать и исчезнуть, но она увидела меня.

Я тогда еще не знала тютчевского стихотворения «Она сидела на полу / И грудю писем разбирала...», но потом, если приходилось вспоминать его, я видела Женю, а не Денисьеву.

Женя познакомила меня с миром пастернаковской поэзии. Поначалу я не читала стихов Пастернака – он открывался мне со всем колдовством в жгучем упоении Жениного голоса. Это чтение было какой-то особой потребностью ее души. Для меня Пастернак становился откровением. И мой муж делил со мной любовь к поэзии Пастернака. Эта любовь была одержимостью.

Затем каждое новое его произведение было событием в духовной жизни, и его стихи стали вечными спутниками в моей долгой жизни. К тому времени, когда она познакомила меня с ним самим, он уже был для меня чудом несомненной гениальности. Было чудом, что он – человек, который живет и дышит, который может улыбнуться и сказать тебе: «До свидания».

За свою долгую жизнь я много встречала разных людей, великих и не великих, но никогда ни один человек не вызывал у меня такого сложного чувства. Высота его поэзии утверждала его в той сфере прекрасного, которая словно исключает обыденность простого человеческого существования.

Пастернак вошел в мою юность вскоре после детства, когда счастливое чувство изумления и восторга каким-то особым инстинктом преклонения отделяет великое от обыденного. Верность этому чувству и делала мое отношение к Пастернаку-Поэту и Пастернаку-человеку таким сложным, когда восхищение и преклонение перед художником переплетены с робостью перед явью его человеческого существования. И боязнь, что всё это откроется ему, пугала и сковывала.

И вот настал день, когда Женя познакомила меня с Борисом Леонидовичем. Пришлось призвать на помощь всё мое воспитание, чтобы скрыть робость, поначалу охватившую меня. Но постепенно всё стало естественно и просто. Вспомнилось, что я никогда ни от кого не слышала про то, как Пастернак смеялся. Но Боже! Какой же это был удивительный смех, когда он читал шекспировские озорства, – веселый и счастливый, какой-то детский и радостный!

Любя меня и моего мужа, Женя много рассказывала о нас Борису Леонидовичу. Также Генрих Густавович Нейгауз, вспоминая Козловского, говорил Пастернаку не раз о замечательных дарованиях молодого композитора и дирижера. И Борис Леонидович сам выразил желание с ним познакомиться. Много раз представлялась возможность знакомства этих двух людей. Но тут вступал негативный закон предопределения. То мы приходили к Жене и она сообщала, что Борис Леонидович только что ушел, то Алексей Федорович уходил от Жени за несколько минут до прихода поэта. Не раз назначались свидания и неизменно срывались. Однажды Борис Леонидович сказал: «Позови Галю и ее мужа. Я хочу почитать у тебя свой перевод «Гамлета»,

который только что закончил». Но и в этот раз несчастье, случившееся с нашим другом, помешало нам прийти.

Когда я и Алексей Федорович переехали в Степановское, мы с Женей лишились радости привычного общения, очень тосковали и начали мечтать о том, чтобы какое-то время пожить вместе. И вот в год нашего переезда Женя сняла в той же деревне избу рядом с нами^[42], она жила там вместе с сыном Женей и другом семьи, замечательной женщиной, о которой я хочу потом немного рассказать.

Наступило чудесное лето. Рано утром мы бежали в лес, весь мокрый от росы, собирали грибы. После завтрака я позировала Жене – она писала второй мой портрет. А в углу Пусинька^[43] (так звали друга семьи за ее ласковость и нежность) занималась с маленьким Женей французским языком. Затем снова лес и веселое купанье в мелководной Истре. После обеда обычно шли гулять через лес к слиянию Москвы-реки и Истры. Вечером, когда маленький Женя уже спал, было долгое чаепитие за столом под соснами. Во время этого чаепития наступал час рассказов Пусиньки. Я долго не могла примириться с тем, что в семье Пастернаков называли Пусинькой женщину с глазами лани. Вероятно, так называл ее маленький Женя, очень к ней привязанный и избалованный ее ласковостью. Хотя ей было уже немало лет, в ней не ощущалось ничего старческого. Возраст ее сказывался только в замедленности походки. Помню, что звали ее Елизавета, а отчество – забыла. Из всех нас только Алексей Федорович обращался к ней по имени-отчеству. Пусинька была урожденная Лопухина, дочь славянофила, принадлежавшего к кружку Хомякова. Девочкой она, естественно, слышала их речи и рассказывала нам об особенностях оборотов, своеобразии слов, ревниво охраняемых кружковцами. Слово и отношение к нему являлись почти основополагающими в мировоззрении московских славянофилов. Борис Леонидович, очень любивший Пусиньку и друживший с ней, не раз выпрашивал об этой забытой языковой стихии.

Затем Лопухина вышла замуж и стала графиней Орловой. Она была в расцвете красоты и счастья, когда грянула война 1914 года. Два ее красавца сына, еще почти мальчики, ушли добровольцами в действующую армию и были убиты в первую неделю войны. Жизнь ее оказалась сломленной, а через три года революция всё разбила вдребезги.

Однажды мы вместе с Женей приехали в Москву и внезапно экспромтом уговорили Бориса Леонидовича поехать завтра с нами в Степановское^[44]. Вот наконец-то состоится встреча Алексея Федоровича со своим кумиром, – порадовалась я, он вместе с нами приедет к нам в гости.

В вагоне Пастернак сидел напротив меня. Я впервые видела так близко его лицо и руки, лежавшие на коленях. В разгоне пути на перестук колес всё время накладывались его стихи, неотступно, как

наваждение: «Ветер треплет ненастья наряд и вуаль. Даль скользит со словами: навряд и едва ль...»^[45]

Мы сошли на станции Опалиха, чтобы пересесть на «кукушку» – старинный маленький паровозик с огромной трубой. Прилепившись к трем таким же допотопным вагончикам, он помчал нас в Павлову слободу, наполняя дымом и гулом окрестные леса. Борис Леонидович спросил меня, знаю ли я, почему эта станция носит название Опалиха. И рассказал, что давным-давно в лесных дебрях вместо патриарших палат стояла срубная изба, где в изгнании жил опальный патриарх. Подробности рассказа, к сожалению, забылись.

Но вот и Павлова слобода. От нее нам предстоял довольно долгий путь пешком. Оставив позади деревню Веледниково, мы подошли к подножию лесной горы и, прежде чем на нее подняться, присели отдохнуть на пригорке.

Теплая земля была устлана иглами, и сосны, стоящие на солнечном пригорке, потели смолой. Казалось, жаркое лето притихло и сама тишина пахнет смолой. Перед нами сквозь темно-красные стволы вётел сверкала и искрилась мелководная река Истра, а гора, покрытая лесом, куда предстояло взойти, сулила тень и прохладу.

Борис Леонидович полулежал на земле. Вокруг во множестве росли грибы валуи. Он сбивал палкой их блестящие шары и как-то отрешенно повторял: «Валуи – Валуа, Валуа – валуи». Я глядела на Бориса Леонидовича, и внезапное чувство нежности охватило меня. Я как будто впервые увидела прелесть его облика. Всё в нем было великолепно: свободное изящество, естественность его позы, рука в своем движении и милое бормотанье: «Валуи – Валуа». И какое очарование неповторимого голоса, с легкой оттяжкой последних слогов! Тембровое своеобразие его речи унаследовал потом сын Женя. И тут впервые в жизни я почувствовала, что рухнула во мне преграда робости, и хлынули слова полной доверчивости, и Борис Леонидович выслушал исповедь моих печалей и горестей тех дней.

Я рассказала ему, как многие близкие и друзья осудили наш переезд в деревню и обвиняли меня, что я это не только допустила, но и поощряла. Преуспевающие люди искусства, жившие в Москве, не могли себе представить, что можно удалиться от условий, которые благоприятствуют собственному благополучию. Накануне у меня был долгий огорчительный разговор со Львом Книппером. Он яростно и безжалостно упрекал меня за то, что я не противостояла нашему переезду в Степановское. Лева утверждал, будто обстановка и обстоятельства в Москве таковы, что Алексею Федоровичу достаточно было только протянуть руку, чтобы сразу стать знаменитым. Вырвав его из нужной среды, я совершила преступление.

Борис Леонидович слушал меня внимательно и вдруг взорвался: «Какой вздор!» И стал горячо утешать меня, уверяя, что всё верно и хорошо и что так и должен жить настоящий художник. Он должен

уметь возвращать и охранять свободу своей внутренней жизни. Лишь в уединении и тишине можно обрести истинную свободу. Ключи творчества бьют из глубин в тишине нашей сосредоточенности, и нужно охранять их незамутненность от суеты и шлака жизни. Художник должен уметь радоваться своей открытости миру, тогда распахнется всё: и природа, и люди, – и он постигнет Бога и все тайны Времени и Бытия. Но это совершается в сокровитности от суеты, суматохи и ничтожных дел. Не надо верить честолюбцам, урывками, в суете получающим свое представление о мире. За славой не надо гнаться, не надо ее домогаться. Если ты чего-то стоишь, она сама к тебе придет. Он говорил долго и убежденно, не только убеждая меня, но, как мне казалось, утверждая для самого себя что-то важное и нужное. И я слушала его, благодарная, и понимала, что Поэт дарит меня своими заветами. И навсегда слилась для меня его речь с тем полднем под солнцем, с запахом извечной смолы и блеском воды медленной и тихой реки.

Вдруг он сказал: «Быть знаменитым некрасиво». Эта фраза поразила меня и, вероятно, его самого. Я увидела, что он с какой-то сосредоточенностью прислушивается к самому себе, словно проясняя для себя что-то очень важное. И хотя Борис Леонидович вроде бы продолжал говорить со мной, на самом деле он был далек от меня. Так я стала счастливым свидетелем того, как в нем формировалась его пророческая заповедь, обращенная не к одному человеку, а к поколениям, – заповедь о том, как надо жить. И когда, годы спустя, появилось стихотворение «Быть знаменитым некрасиво...», я узнала знакомые слова того летнего дня, узнала в нем те чувства и их определение, которые вырвались у него в минуты самопостижения в тот яркий полдень давнего дня. И только я и Женя знали, что первым адресатом этого вдохновенного стиха был Алексей Федорович Козловский.

Когда мы одолели гору, я свернула с дороги и повела своих друзей через Горелую Сечу. Это было большое пространство давнего пожарища, по которому кое-где поднималась молодая поросль тонких деревьев. Борис Леонидович оглядел всё пространство Сечи и внезапно сказал: «Такой, наверное, в средние века была земля после вторжений и побоищ. А вот и завоеватели!» По всему пространству Горелой Сечи, на разных расстояниях друг от друга, вблизи обгорелых пней возвышались огромные, как колокола, муравейники. Мы проходили мимо этих ошеломительных сооружений – с непрерывным движением снаружи и внутри – будто бы дышащих муравьиных мирозданий.

«Вот они, завоеватели, и основанная ими империя, – Борис Леонидович склонился, внимательно разглядывая движение полчищ муравьев, поглощенных своим трудом. – Как страшна эта сила организованности, подчинившей инстинкт огромных масс одному

велению – трудиться и добывать пищу. Они не знают ничего другого. Я уверен, что в их мире нет места для Пророков, Поэтов и Судей».

Внезапно наше внимание отвлекло появление огромного ежа, невиданных размеров, величиной с корзину – лесное чудовище словно из допотопных времен. Женя шла за ним, пока он не скрылся в травах окружающего Сечу леса. Мы двинулись за Женей, и муравейники остались позади, и Истра глубоко внизу исчезла в излучине. Через какое-то время пришли мы в прохладную рощу, казалось, покрытую неподвижным белым дымом: это во влажном сумраке Ольшанки росли во множестве белые цветы – ночные фиалки. Цветы благоухали, и наше присутствие казалось вторжением, грубым и чужеродным. Затем пошли леса и поляны, все в белых ромашках, колокольчиках и душистых травах, и наконец, показался наш дом под соснами. Мы подошли к крыльцу. На дверях висел замок. Алексей Федорович, не подозревая возможности приезда Бориса Леонидовича, несколько часов тому назад уехал в Москву.

Мы переглянулись и подумали одно и то же: опять не встреча, поразившая нас всех троих. Был ли когда закон предопределения более очевиден? Так день, предназначенный Алексею Федоровичу, как дар достался мне.

Алексей Федорович Козловский прожил свою жизнь по завету Пастернака, не изменив своей свободе и оставшись собой до конца, заплатив за не встречу вечной верностью любимому поэту.

Прошли годы. Нет больше домика, к порогу которого мы тогда пришли. Ушли из жизни Борис Леонидович, Женя и Алексей Федорович. Но во мне не меркнет тот день, прожитый в солнечной прелести на беспечном дыхании дарованной нам жизни.

Сорок лет в солнечном краю

В Ташкент не по своей воле

До того как мы переехали в Степановское, мы жили в деревянном двухэтажном доме на Новом шоссе^[46], недалеко от знаменитой Соломенной сторожки^[47]. Дом этот словно пригрезился Ильфу и Петрову, и мы по праву называли его «Вороньей слободкой»^[48]. Рядом с нами жил друг и однокашник по Консерватории – пианист и композитор Михаил Алексеевич Цветаев. Он жил в «пенале» – комнате, такой же, как в романе «Двенадцать стульев», – шириной ровно с рояль, над которым были устроены полаты для сна. Большую часть нашей комнаты занимали концертный рояль и старинный диван. Не раз случалось, что засидевшиеся друзья досыпали ночь – кто на рояле, кто под ним. Утром

Алексей Федорович будил их лихой музыкой из оперетты «Легкая кавалерия»^[49].

Цветаев был композитором и пианистом, сопровождавшим концертные выступления Владимира Яхонтова в его театре одного актера «Современник». И даже тогда, когда у них сложились очень сложные личные отношения, Владимир Николаевич приходил к Цветаеву и, уходя, непременно шел к нам «на огонек». Яхонтов перебивал свое блистательное собеседничество и читал нам стихи и прозу. Читал он и «Невский проспект» Гоголя, и «Графа Нулина» Пушкина, и «Казначейшу» Лермонтова, отрывки из «Идиота» Достоевского и непременно кончал стихами Державина. Тембр его голоса завораживал, его невозможно было забыть. Прославленный голос Качалова в сравнении с ним казался театральным и искусственным.

Владимир Николаевич приходил всегда и неизменно в сопровождении красивой девушки. По наивности мы считали ее его любовницей, но на деле она была стукачкой. Затем она стала приходить и одна. Часами, не двигаясь, она внимательно слушала, явно не понимая, разговоры музыкантов, их споры о популярных тогда философских учениях. Труды девушки Вероники принесли свои плоды. В разгар охватившего всю страну террора после убийства Кирова Миша Цветаев и наш второй друг Аркадий Шишаков были арестованы^[50]. После долгого тюремного заключения они получили по пять лет лагерей.

Цветаев вышел совершенно сломленным человеком. От его озорной веселости, голубоглазой красоты и золотых волос не осталось и следа. Тяжело кашляя, в поисках спасения он уехал в теплые края, в Среднюю Азию и, спившись, умер в Душанбе^[51]. Поклонник протопопы Аввакума, замкнутый и слегка угрюмый Аркадий Шишаков отказался вернуться в родные места и остался навсегда в Сибири^[52]. Судьба Яхонтова была трагична. Одновременно с верноподданническими усилиями Лили Яхонтовой^[53], часто украшавшей литературные композиции, которые он читал, всякими партийно-публицистическими фанфарами, усиливалась мания преследования Яхонтова. Завершилось всё его самоубийством: он выбросился с балкона шестого этажа на московскую мостовую.

Настал день, когда и Алексея Федоровича привезли на Лубянку. Несмотря на запугивания, шантаж и провокации из единоборства со следователем он вышел чистым. Он не подписал ни одной бумаги и не оговорил, несмотря на угрозы, ни одного человека. Так называемая «тройка» приговорила его к трем годам ссылки в Ташкент без права прописки в шести важнейших городах Советского Союза в дальнейшем. В вину ему вменили его дворянское происхождение и, следовательно, враждебность к существующему строю.

[Из рассказа племянника Галины Козловской Андрея Геруса: «Козловских сослали в 1936 г. Обвинения, насколько я знаю, никакого не было. Со слов моего отца, Валериана Лонгиновича Геруса, история была такая. А. Ф. Козловский был очень эрудированным, остроумным человеком. В начале тридцатых годов он работал дирижером в Оперном театре К. С. Станиславского. Вокруг него постоянно толпилась молодежь. Среди этой молодежи был один юноша, у которого не всё в порядке было с головой. Он постоянно записывал себе в записную книжку хохмы, которые периодически изрекал Козловский. Позже этот юноша был арестован органами НКВД по обвинению в контрреволюционной деятельности. Когда стали разбирать его записи, то увидели, что большое влияние на него оказал некто Козловский. На всякий случай забрали и Алексея Федоровича. Его допрашивали в течение суток непрерывно. После этого отправили домой и обещали всё проверить. Спустя какое-то время Козловского опять вызвали на Лубянку, где ему сообщили: «Мы проверили, ты действительно ни при чем. Но мы же работали – должен быть результат. Поэтому предлагаем тебе на выбор ссылку либо в Свердловск, либо в Ташкент». Козловские выбрали Ташкент, где, как и в Свердловске, у них не было ни одной знакомой души». – *Примеч. сост.*]

Во внезапном порыве непредвиденного великодушия следователь отодвинул срок отъезда на несколько дней, чтобы дать Алексею Федоровичу возможность присутствовать в Колонном зале Дома Союзов, на концерте, где А. В. Свешников исполнял «хоры *a capella*» Козловского. А 26 апреля 1936 года Козловский уехал из Москвы, и, как оказалось, уехал навсегда.

[По-видимому, на допросе шла речь, в том числе, и о контактах Алексея Козловского с американскими музыкантами, так считает Виктор Виткович, в книге «Круги жизни» сообщая следующее: «Блестящий взлет музыканта... Успех первых собственных сочинений. На беду! Приехал с гастрольями из США Вильямсон – главный дирижер «Вестминстерского хора», попросил показать партитуры хоров советских композиторов. Из сотен хоров выбрал «Сюиту для хора *a capella*» Козловского, увез исполнять в Америке. Потом по просьбе Вильямсона Алексей отослал ему второй хор. Вскоре Козловский переселился в Ташкент. Галя уехала с ним. В том же 1936 году ему переслали письмо Вильямсона: писал, что показал хоры Алексея Леопольду Стоковскому. «Они очень понравились ему. И он сказал, что

в следующем сезоне исполнит любое ваше произведение». – *Примеч. сост.*]

Начало

Ослепительным апрельским утром Алексей Федорович ступил на землю Средней Азии. Земля оказалась розовой^[54]. О Ташкенте он ничего не знал, кроме того, что Лев Толстой хотел отправить туда отчаявшегося Вронского. По приезде ему надлежало предстать перед регистратурой соответствующих органов госбезопасности, где у него отобрали паспорт, заменив серым листом бумаги. Каждые десять дней Алексей Федорович должен будет приходить в это учреждение регистрироваться, и на серую бумагу будут ставить треугольную печать в знак того, что он никуда не уйдет. Когда остались позади все формальности и дознания, его выпустили в солнечный день в солнечный город «для проживания».

В городе не было ни друзей, ни знакомых. В кармане лежали лишь два письма: к профессору-ботанику Николаю Даниловичу Костецкому и архитектору и художнику Маркушевичу^[55]. Город встретил всё нарастающим зноем. Тогда цвела еще джидда, и ее запах то возникал, то исчезал в разных кварталах города.

В гостинице не было мест. Профессор Костецкий радушно встретил нас и предложил жить у него, пока не будет снята комната для жилья. Он потом сделался нашим чудесным другом – Алексей Федорович прозвал его «Скворчик», а его имя и отчество тут же были навсегда забыты. Он позднее стал директором Никитского ботанического сада в Крыму.

Уговорившись о первом ночлеге, мы отправились искать указанного нам адресата^[56], живущего в Старом городе. Это оказалось нелегко. Зной нарастал, без конца хотелось пить, и жажда становилась неутолимой. Казалось, влага сохранялась только на лепестках роз, продававшихся на всех перекрестках. Розы лежали в плоских корзинах, их без конца сбрызгивали водой прелестные девочки со множеством косичек за спиной. Много часов бродили мы в поисках махалля Игарчи^[57], каждый встречный со всей благожелательностью показывал нам направление, противоположное предыдущему.

На каждом шагу висели радиорепродукторы, и отовсюду слышалось пение Халимы Насыровой. Ее удивительный голос первым донес до слуха композитора то очарование Востока, по которому почти ностальгически тосковала последние годы его душа.

Солнце уже близилось к закату, когда мы подошли к обрыву, откуда из глубокой тени вставала мощная глинобитная стена, по которой свисали ветви деревьев сада. И вдруг Алексей Федорович,

остановившись, сказал: «Хочешь знать? А жить мы будем там, в том саду». Я сказала, что это было бы чудесно, неправдоподобно хорошо. Так оно и оказалось. Когда через неделю мы сняли комнату на улице Седельщиков (Игарчи) и, выйдя из дома другой дорогой, оглянулись назад, мы, в самом деле, увидели и овраг, и глинобитный дувал, и тот самый сад, в котором нам теперь предстояло жить.

А в тот день, когда мы уже подходили к дому, который так долго искали, вдруг на узкой улочке распахнулась калитка и выглянула очаровательная девочка лет тринадцати. Она приветливо улыбнулась и скрылась, затем снова появилась, и протянула Алексею Федоровичу ярко-красную розу. Что-то дрогнуло в его лице, и он сказал: «Смотри, это Восток приветствует меня». Некоторое время спустя он написал стихи, где были такие строки:

В годину трудную тревог и унижений,
Когда сквозь дни себя так тягостно нести,
Нет, не пристало нам забыться в отчуждении,
Пред незаслуженным склониться на пути.
Для гостя распахни, Восток,
дверей засовы, Ведь издавна твои
гостеприимны кровы, Вокруг меня
твои века, Вглядишься – моя к тебе
протянута рука.

У новых знакомых, которых мы наконец нашли, сердечных и милых людей, был первый в нашей жизни сон в саду – под азийским небом и новыми, как казалось, приближенными звездами. Здесь тоже цвела джидда, и вблизи журчал арык, ночь звенела цикадами и немолчным остинато лягушек, ставшим на долгие годы фоном жизни. Эти звуки вошли в музыкальную ткань второй части симфонической сюиты «Лола» («Весенний праздник тюльпанов»), написанной Козловским некоторое время спустя.

Жизнь в заветном саду стала неиссякаемым источником впечатлений. Никогда еще народная жизнь не представала так ярко. Два дома, разделенные садом, стояли друг против друга, и жизнь узбекской семьи проходила перед нашими глазами, почти как в театре. А за первым садом был второй, с огромными деревьями, тенью и мощным дувалом. Когда мать семейства, уложив в плоскую корзину испеченные в тандыре лепешки и установив эту корзину на голове, уходила в гости, начиналась прелестная девичья жизнь. Две дочери, старшая и младшая, начинали поливать и подметать двор, причем это была не работа, а какой-то спонтанный танец под собственное негромкое пение. Поражали их пластичность, их врожденная потребность двигаться с естественной грацией танцевального движения. Скоро мы убедились, что таким свойством обладали все девушки – они все танцевали. А мужчины, и взрослые, и юноши, почти все на досуге, и вместе, и в одиночку, пели и играли на разных инструментах.

На закате солнца в сад, пахнувший политой среднеазиатской землей, к нашим соседкам приходили подружки разных возрастов. Приносился бубен и ставился греться у очага. Из ниши айвана

(открытой террасы, где проходила вся жизнь) снимался дутар^[58], и девушки, чередуясь, то пели, то танцевали и смеялись чему-то своему, счастливому. Познакомившись с Алексеем Федоровичем и видя, как он слушает их и любит ими, они сделали из него забаву. Они прозвали его «Алинька-Малинька» и, резвясь, тем не менее всерьез учили его своим песням и игре на дутаре. Их удивляло, как это русский так быстро воспринимает их мелодии и ритмы. Эти девочки были его первыми учителями узбекской музыки. Они долго не могли понять, чем он занимается, какова его профессия, и только после того, как он показал им несколько незатейливых фокусов и совершенно сразил их проглатыванием ножа, они всё поняли и радостно воскликнули: «А, ты в цирке работаешь!»

В это время появились его знаменитые записные книжки – узкие нотные тетрадки, и началась совершенно удивительная жизнь. Он целыми днями бродил по Старому городу и его окрестностям, находя «за каждым дувалом неожиданный рай» – как писал в своих стихах художник Александр Николаевич Волков, также влюбленный в эту землю. Он записывал крики разносчиков и музыку уличного кукольного театра, мелодии, под которые ходили канатоходцы, и звуки, под которые происходило козлодрание^[59] на ипподромах, пение нищих и музицирование в чайханах, музыку народных гуляний и как певцы исполняли с тарелками свои катта ашуля^[60]. Одна такая мелодия, спетая молодым певцом катта ашуля в Парке имени А. Икрамова, вошла потом важной темой в его сюиту «Лола», а записанная у слепой нищенки на базаре пентатонная песенка стала основой арии Китайки в опере «Улугбек».

Ранним утром с улицы часто доносились звуки сурная^[61]. Это означало, что у кого-то из живущих рядом родился сын! Пока музыканты проходили мимо, Козловский успевал их записать. Заходили иногда во двор странные люди в высоких колпаках – бродячие дервиши, певшие громкими и гнусавыми голосами. Их халаты были подпоясаны платками-поясами, на которых висели разные предметы, среди них – обязательно огромные раковины из Индийского океана, четки и полая половина тыквы – чаша для подаяния. Иногда то, что они пели, было удивительно по ритмам, по какой-то страстной исступленности. Некоторые из записанных выкриков и динамичных музыкальных образов Козловский использовал потом в опере «Улугбек», в сценах с дервишами у стен Самарканда.

Постепенно знакомясь с узбеками, Алексей Федорович со многими из них потом завязывал дружбу. Они водили его на свадьбы и вечерние тои^[62], проходившие в садах. Их вскоре перестало смущать, что он часто что-то записывает в свои тетрадки. Здесь Козловский впервые увидел танцовщиц в национальных шелковых нарядах, с серебряными напальчниками, надевавшими на все пальцы рук – прекрасных рук рассказчиц танца. И приходил домой, опьяненный не столько вином,

сколько красочностью, живописностью и поэзией увиденного. Его восхищала вежливость, которая становилась все более предупредительной и радушной по мере того, как нарастало пиршество. Тогда почему-то не было никаких эксцессов, никаких безобразных проявлений опьянения, какие через некоторое время появились уже как правило.

Козловского привыкли видеть и в чайханах, где происходили перепелиные или петушинные бои. Знакомые посетители протягивали ему пиалы с чаем, разогретый бубен и слушали, как он повторял ритмы, только что сыгранные очередным музыкантом или знатоком. Больше года, не считая двух русских семей, приютивших нас по приезду, он не заводил русских знакомств – так увлекла его новая жизнь и всё, что он в ней для себя раскрывал.

Оказалось, что в доме, откуда выглянула девочка с красной розой, жил человек, с которым у Козловского сложились удивительно тонкие, полные душевной прелести отношения. Это был человек лет сорока семи, каменщик по профессии, неплохо говоривший по-русски. Днем он работал на каких-то стройках, а вечером, возвратившись домой, умытый, в белых одеждах отдыхал в своем дворике, который для нас навсегда остался совершенным воплощением поэзии жизни. Он был необычайно красив, и все движения его, слегка медлительные, были полны особого достоинства и изящества.

Когда мы приходили, он первым делом срывал розу для меня, а Алексею Федоровичу подносил несколько стеблей райхона (базилика) и лишь затем усаживал нас на супу^[63]. Всё вокруг было чисто, свежо, прекрасно. Он любил говорить о природе, о птицах и животных. Он не пел и ни на чем не играл, и в саду его было тихо, но знал много стихов. Имена поэтов были нам незнакомы, и слова также. Но Алексей Федорович просил читать стихи и слушал их как музыку. Его слух наслаждался размерами восточного стихосложения. А лицо чтеца, вечерние краски и запахи сада сливались в незабываемо пленительный образ.

Встреча с этим каменщиком, потомком мастеров по ганчу^[64], чьи орнаменты он нам иногда чертил на земле, его природная интеллигентность и благородство навсегда остались в памяти как подаренная судьбой встреча с одной из самых обаятельных личностей. И как бы ни менялись наши впечатления, какие бы неприглядные черты ни возникали у других людей, память о нем, сохранившаяся во всей своей чистоте, смывала все эти впечатления. Он как бы сконцентрировал в себе любовь Козловского к этой стране, к этому народу, выраженную и в некоторых его стихах, например в стихотворении «Старый город»:

Уж прокричали муэдзины, Мчит эхо глохнувший намаз К садам,
уступами террас В нагроможденьи стен и глины. Ковры текинские
теней Роняет ночь из-под чачвана^[65], И медью солнечного чана Омыты

толпы тополей. Под пережат булыжной тряпки Сквозь лязг медлительной арбы Верблюдов пыльные горбы Уносят в ночь и гул, и краски. Цитаты сонные цикад Молчанье трелью просквозили, Вечерний запах влажной пыли С политых плит вбирает сад. Под тень горячего дувала, Где никнут чахлые кусты Чуть зацветающей джидды, – Страна моя меня изгнала. Пусть так. Мне близким стал уже Тот звук иной, гортанной речи, И рад я кинуться навстречу Фигуре в блеклой парандже.

За три года своей ссылки в дни очередных отметок Алексей Федорович имел возможность познакомиться со многими так называемыми адмссылными. Среди них оказался замечательный московский пианист, выдающийся и интереснейший исполнитель Скрябина, Владимир Абрамов, чья фамилия значится на Золотой доске Московской консерватории. Во время игры на рояле его рыжая шевелюра окружала голову какой-то демонической аурой. Он вскоре стал нашим другом. Но его снова арестовали и посадили в тюрьму. Там он сошел с ума и вскоре умер.

Познакомился Алексей Федорович с человеком, причастным к знаменитому делу о «желтом чемодане». Фамилию его я не помню. Был это московский кинодокументалист, снявший на Дальнем Востоке какие-то сюжеты для кинохроники. Для вящей сохранности пленки он положил ее в обыкновенный желтый чемодан. В Москве, выйдя из вокзала, он поставил чемодан на землю и зачем-то на минуту отвернулся. Всего одно мгновение – и чемодан исчез. В результате охранительные органы раздули из этого чудовищное дело, обвинив кинодокументалиста в том, что он продал Японии засекреченные государственные документы великой важности. Его мучили и пытали, довели почти до безумия. Тем временем добросовестные работники МУРа нашли злополучный желтый чемодан среди других желтых чемоданов в воровском подполье Москвы. Его украл обыкновенный вокзальный воришка, которому такая добыча оказалась вовсе без надобности. Но бедного кинохроникера продолжали держать на привязи в Ташкенте. Однажды Алексей Федорович пришел домой расстроенный. В этот день он узнал, что бедолагу отправили куда-то на Север – подальше, чтоб не напоминал о сраме ретивых ревнителей государственных интересов и тайн.

В стране продолжался разгул позорных процессов, где подвергались чудовищным обвинениям в продажности и предательстве вчерашние представители власти, которых еще недавно надо было чтить и славить. Ужас наполнял души людей, и мы искали спасения и утешения в ночных садах, под азийским небом, у народа, который еще не утратил радости жизни.

А нотные тетрадки всё полнились. Мне хочется остановиться на них подробней. Козловский записывал народную музыку не как фольклорист. В нем жили поэт и музыкант одновременно. При

предельно точной фиксации материала процесс этот был у него очень субъективным, особым. Для него важно было зафиксировать всю полноту ощущений. Всё имело значение – лицо исполнителя, время дня, освещение, окружающая среда, собственное настроение во время записи и многое, многое другое. Всё это заносилось в записные книжки – не только нотные знаки на линейках, но как бы картины жизни. Его эмоциональная память легко восстанавливала их, и все это было скрыто от постороннего глаза. Козловский знал, что делает записи только для себя, копит их, как в водоеме влагу, которая будет питать его музыкальное воображение и композиторское творчество. Вот почему он никогда не пользовался чужими записями. Впоследствии часть записанного им приобрел Институт искусствознания, и к этому материалу не раз обращались композиторы. Особый интерес проявляли Рейнгольд Морицевич Глиэр и Сергей Никифорович Василенко.

Симфоническая сюита «Лола»

Узнав от востоковеда и журналиста Рунова историю Хамзы, Козловский загорелся желанием писать о нем оперу. Рунов должен был сочинить либретто. Но, не справляясь сам, пригласил соавтора, и дело совсем развалилось. Между тем Козловский уже написал около семи больших кусков музыки, очень любил героя оперы, чувствовал силу его характера, драматизм его судьбы. Он тяжело переживал беспомощность либреттистов и их свары. Это было вдвойне обидно, ибо с участием некоторых артистов Оперного театра он показывал музыку в Комитете по делам искусств, и она была горячо принята. Все ждали настоящего большого произведения. К сожалению, первый порыв композитора написать узбекскую оперу был смят.

Вскоре он узнал об удивительном празднике, проходившем еще недавно в селении Исфара, – о весеннем празднике тюльпанов Лола. Когда весной в предгорьях Ферганской долины расцветали тюльпаны, на закате солнца мужчины на арбах, под пение провожающих их жителей селения, уезжали в горы. Проведя ночь на горных полянах, они на рассвете собирали тюльпаны и нагружали ими целые арбы. Тем временем жители Исфары обходили окрестности селения, выбирали и срубали самое старое, мощное дерево и, посадив на него самого глубокого старца, с пением и плясками несли дерево к окраине деревни, чтобы там встретить возвращение лолачей (так называли сборщиков тюльпанов). Во время радостной встречи все украшали цветами и себя, и дерево. Плающее алым цветом, оно вместе со старцем выносилось на главную площадь. Здесь три дня длился праздник: все пели и плясали. На третью ночь по хлопку старейшины все безмолвно садились на землю. Праздник окончен.

Праздник Лола пришел из глубин веков. Украшение дерева цветами – один из древнейших обрядов, возник на Востоке, впервые, как предполагают, в Индии, и веками бытовал во множестве стран. Человек на этом празднике как бы осмысливал основы бытия, выразив свое отношение к ним в трех символах: дерево – это древо жизни, старец, на нем восседающий, – время, а цветы, которыми украшают дерево, – вечное цветение мира. И украшенная рождественская елка, пришедшая в Европу с Востока, символизирует почитание древа, его вечной жизни во времени и вечного, не знающего смерти цветения на земле.

Захваченный столь удивительным проявлением народной души и народного воображения, Козловский написал сюиту со всей силой отпущенного ему таланта. Это было первое его приношение этому краю и его людям, которых он полюбил и которым впоследствии отдал всю свою жизнь.

«Лола» стала первым симфоническим произведением Козловского, написанным в Узбекистане. Работавший тогда на Узбекском радио Я. Б. Пеккер подписал с автором сюиты первый договор-заказ, и с тех пор все сочинения Алексея Федоровича были связаны с жизнью и историей этой республики.

К тому времени он уже познакомился со многими музыкантами, приехавшими в Ташкент для работы в открывшейся здесь консерватории. Подружился с Кари-Якубовым и Халимой Насыровой, с которой сразу начал заниматься музыкой почти с азов и удивлялся, как быстро и легко она все усваивала. Скоро они перешли к более сложным дисциплинам. Певица же, в свою очередь, знакомила его с сокровищами народной музыки, и он записал от нее множество прекрасных песен.

Состоялось знакомство, перешедшее в дружбу, с Виктором Александровичем Успенским – этнографом и композитором, красивым, тонким, интеллигентным человеком, который много и увлекательно рассказывал о своих путешествиях и фольклорных экспедициях. Виктор Александрович был знатоком восточного прикладного искусства и ремесел, в его доме хранилось много произведений редкой красоты.

Как создавалась опера **«Улугбек»**

Однажды летним вечером к нам зашел живший поблизости, но мало знакомый человек. Присоединившись к нашему чаепитию на супе, он принял участие в разговоре о том, как по-узбекски называются разные звезды и созвездия. Человек, оказавшийся совсем не астрономом, а прокурором, неожиданно необыкновенно увлекательно рассказал об Улугбеке, его личности и трагической судьбе. Этот рассказ потряс нас.

Я, к стыду своему, раньше ничего не знала об этом удивительном гуманисте Востока. Человек, рассказавший нам о нем, верно, был поэтом, потому что его рассказ слился с ночью, звездами, запахами земли, – и этой ночи суждено было стать одной из значительнейших в нашей жизни.

Я не спала до рассвета: у меня перед глазами возникали образы людей, коллизии, характеры, развитие исторической драмы перерастало в ощущение сценической трагедии, трагической оперы. Поутру выяснилось, что Козловский сам думал о том же. И началась счастливая работа над созданием оперного либретто. Путь к нему сначала шел от интуиции, от поэтического восприятия личности и судьбы Улугбека, и лишь после того, как всё вылилось в целостное сценическое произведение, я обратилась за подтверждением к историческим источникам.

Хранителем редкостных рукописей в Ташкентской государственной публичной библиотеке был в то время ученый-востоковед Александр Александрович Семенов, который отнесся к нам с необыкновенной сердечностью, от души приветствуя наше творческое начинание. Мало того, что он скрупулезно определил необходимую нам историческую литературу, но и поделился с нами собственными знаниями, показывал нам рукописи и миниатюры того времени и даже кое-что переводил.

И вот мы убедились, что в своей интуитивной концепции я ничем не погрешила против исторической истины. К моему полному изумлению оказалось, что действительно ко двору Улугбека была привезена китаянка Син Дун-фан. Ее год везли из Китая, и предназначалась она в жены не Улугбеку и не его старшему сыну Абдул-Латифу, а младшему – Абдул-Азизу. Не зная имени убийцы Улугбека, я назвала его Аббасом; как выяснилось, убийцу звали именно так.

Когда сценарий оперы был закончен, мы познакомили с ним Халиму Насырову и Кари-Якубова, – сочиняя оперу, Козловский имел в виду именно их вокальные и сценические данные. Трудно передать радость и энтузиазм, с которым они встретили это произведение.

Нам приходилось не раз убеждаться в том, сколь популярны и любимы были в народе оба эти певца. В первые дни рождения либретто оперы к нам пришли в гости Халима, Кари-Якубов, Яшен и еще кое-кто. И вот во время маленького пира в саду распахнулись обе калитки, и начали входить люди, мужчины и женщины, неся на головах блюда с горячим пловом и разными яствами. Они говорили слова приветствия и уходили.

Второй удивительный случай произошел во время нашего приезда в Самарканд в связи с работой над «Улугбеком». Устав, мы вчетвером решили поесть в шашлычной, приютившейся где-то в углу площади Регистан^[66]. И вдруг площадь стала заполняться народом, который всё прибывал и прибывал. Люди, скандируя, просили, чтобы к ним вышли любимые певцы. Они вышли, и первым заговорил Кари-Якубов. Он что-

то сказал, ему ответили, он снова бросил какие-то слова, и площадь заколыхалась от смеха. Вот тут мы стали свидетелями блистательного спонтанного искусства «аския»^[67]. Вероятно, острословы в толпе оказались на высоте, потому что состязание в остроумии длилось довольно долго, и веселье зрителей было заразительным и восхитительным по своей непосредственности. Как мы жалели, что не понимаем языка!

Затем Халима попросила «талерочку» (тарелочку) и запела. Ее голос понесся легко и свободно над площадью, слышный во всех ее уголках. Реакция слушателей также была необычной. Вместо аплодисментов, к которым мы привыкли, площадь восторженно бормотала, что-то причитала и кричала «Вой дост!»^[68]. Навсегда поразило проявившееся в тот момент единство народа со своими певцами. Вот уж действительно это были настоящие народные артисты! Они вышли из народа и ему принадлежали.

Незабываемым был первый день в Самарканде. Город, который больше года не покидал наше воображение, в котором жили, страдали и любили герои нашей оперы, ставшие неотрывной частицей нашей собственной жизни, открылся перед нами. Открылся в голубизне неба, куполов и особого света. Дневной свет и ночное небо в Самарканде совсем особые. И вот здесь, среди этого удивительного солнечного сияния, я должна была у подножия Гур-Эмира^[69] прочитать ведущим актерам Оперного театра завершённое либретто оперы «Улугбек». Так решили сами артисты – поехать в Самарканд, где разворачиваются события оперы, с тем чтобы получить художественный импульс и проникнуться ощущением места и времени действия.

Помимо артистов (их было человек пятнадцать) с нами приехал также находившийся тогда в Ташкенте Сергей Никифорович Василенко с семьей. Вдвоем спустились мы в подземелье Гур-Эмира, чтобы поклониться там нашему Улугбеку, и про себя просили его быть милостивыми к нам.

Алексей Федорович обладал свойством прирожденной артистичности, умел передать другим чувство торжественности данного момента, будь то на концертной эстраде или же в жизни.

Слушатели расположились кто на деревянном помосте, на подушках, кто на земле, покрытой коврами и паласами, а в стороне, в тени деревьев, сидел старик с мудрым лицом в синей чалме и играл с кем-то в шахматы. Я читала либретто на русском. Блики солнца играли на моих руках и страницах рукописи, стояла удивительная тишина. Окончив чтение, я в первое мгновение испугалась этой тишины. Но затем последовал такой эмоциональный взрыв, что стало ясно: прочитанное захватило всех.

Эти минуты вспоминались мне всегда как счастливейшие в моей жизни. Старик, игравший в шахматы и оказавшийся хранителем Гур-Эмира^[70], спросил Кари-Якубова, что читала эта молодая женщина.

Узнав, что я читала пьесу об Улугбеке, он подошел и поцеловал мне руку. Такой знак почтения остался в моей памяти как бесценное свидетельство уважения, высказанное мне будто самим Востоком.

Часа два взволнованные артисты медлили расходиться. Халима Насырова, со свойственным ей красноречием, когда дело касалось искусства, еще больше разожгла энтузиазм своих коллег, а Кари-Якубов завершил этот день словами: «Алексей Царевич, – он только так почему-то всегда звал Козловского, – теперь уж вам нельзя написать музыку, которая бы меньше волновала, чем ваш литературный замысел».

Как вся эта атмосфера непосредственности, дружелюбия, общего художественного понимания и соучастия была не похожа на те худсоветы и заседания, свидетелем которых пришлось быть в жизни, когда отлаженная и регламентированная жизнь внесла иной дух в принятие художественных произведений!

Описывая, как создавалась опера «Улугбек», мне легче всего дать представление о том, как Козловским творилась его музыка. Время написания этой оперы стало временем высшей концентрации эмоциональных и творческих сил композитора, временем наивысшей духовной ежедневной сосредоточенности. Прежде всего, он никогда не сочинял за роялем. Его музыка созревала и формировалась во время его ежедневных прогулок. Он вообще по природе был «прогулочный» человек и всю жизнь ходил подолгу. При создании «Улугбека» он выбирал разные часы для прогулок. В первоначальной стадии, когда в одинокой сосредоточенности вызревала вся сценическая концепция трагедии, – это были утренние, предобеденные часы. Затем, когда внутри уже зрела музыкальная драматургия вещи, в своих послеобеденных прогулках он по каким-то таинственным потокам слушал возникающую музыку, где разворачивалась форма, мелодия, характеристики героев оперы, их развитие, противостояние, кульминации отдельных сцен и многое другое. Вот этим сложнейшим проращиванием музыкальной мысли он отдавал прогулочные часы приблизительно с трех-четырех часов дня до восьми вечера. И если раньше он искал впечатлений, то теперь – уединения и отсутствия отвлекающих обстоятельств. В это время он обычно тщательно избегал мест, где ему могли повстречаться знакомые, боясь, что они нарушат его полную сосредоточенность. Свою прогулку он обычно завершал посещением любимой неприметной чайханы, расположенной на самом берегу большого арыка, в тени деревьев. Здесь его приветствовали знакомые чайханщики и радушно и деликатно подавали ему чай, пока он быстро записывал в свою неизменную нотную тетрадку все, что прояснилось во время прогулки. Приветливые хозяева никогда не спрашивали у него, что он пишет. Вероятно, люди, встречавшиеся ему на пути, не раз удивлялись, видя, как идущий им навстречу человек вдруг взмахивал руками и делал какие-то непонятные движения. При

прослушивании внутренним слухом только что рожденного музыкального эпизода часто требовалось еще и дирижерское ощущение.

Вообще, дирижерство, присущее ему столь же органично, как и композиторский дар, сопровождало все стадии сочинения. Вся опера, от начала до конца, была, если можно так выразиться, дирижерски продышана, отгранена динамическими взлетами, темповыми ощущениями, движениями общей формы.

Это, вероятно, был редчайший феномен творчества, когда три компоненты – воображение, рождение бьющих ключей таинственной музыкальной стихии и моторное физическое оформление ее – сливались воедино. Всё это сопровождалось величайшей дисциплиной себя во времени, распорядком дня и жизни, в первую очередь подчиненных творчеству. Он тогда вставал в шесть часов утра и после гимнастики и одинокого завтрака садился писать ровно в восемь. Он записывал сочиненное накануне, шлифовал, и вот только тут иногда проверял записанное на рояле. Работал до часу-двух дня.

В случае с этой оперой Козловский в виде исключения писал клавиш, который тут же отправлялся певцам. Инструментовал он оперу во второй половине дня, перед вечерней прогулкой. Никогда не работал ночью. Уже приближаясь к инструментовке второй половины оперы, он вдруг попросил меня читать ему вслух, пока он пишет партитуру. У нас не было под рукой «Ярмарки тщеславия» Теккерея на русском, и я стала переводить ему с листа английский подлинник. Вскоре перестала замечать, что перевожу, и мы оба стали получать удовольствие. Затем это стало традицией. Так я перевела ему «Пьесы приятные и неприятные» Бернарда Шоу, позднее – два тома «Истории Французской революции» Карлейля и множество рассказов разных авторов.

Обычно же свои симфонические сочинения Алексей Федорович писал набело в партитуре, изредка делая наброски отрывочных эскизов, без черновиков. Однако он очень взыскательно относился к своей музыкальной технике. И все крупные композиторы старшего поколения восхищались этим мастерством, когда блеск оркестра, сложная, утонченная красочность, помноженные на неповторимость авторской индивидуальности, воплощались с такой легкостью и технически безошибочно. Но это имело и свою негативную сторону: часто сочинение, написанное набело, в одном экземпляре (по легкомыслию автора, не заботившегося написанием копий), пропадало по небрежности приобретших его ведомств, а если сочинение пропадало, то пропадало напрочь. Так невосполнимо утрачено несколько произведений крупной формы, исчезнувших из библиотек Министерства культуры и Радиокомитета.

В своих сочинениях Алексей Федорович был выдающимся мастером оркестра, его поэтом и живописцем. Но он не был только колористом.

Его оркестровая палитра богата и чрезвычайно многообразна. В ней находились краски радостно праздничные, как в сюите «Лола», и краски для выражения лирических состояний и драматических коллизий, как в опере «Улугбек», и краски для выражения томления, долгого и многоликого, – в симфонической поэме «Тановар», и суровые краски для поэмы «По прочтении Айни». В его музыке, от большого оркестра до малых экстренных составов, всегда присутствуют неповторимая изобретательность, изысканность и лишь ему одному свойственная оригинальность. Его оркестр ни с чьим не спутаешь. Употребив слово «изобретательность», я вложила в это слово не головную, придуманную изобретательность, а природное свойство его дарования, идущее от чувства музыки.

В капитальном труде Рогаль-Левицкого «Современный оркестр» приведены примеры из сочинений Козловского и характеризуются его новации в области современного оркестра в большем числе, чем новации других советских композиторов.

Михаил Герасимов

Уже шли репетиции «Улугбека», когда появилось поразившее всех сообщение, что решено вскрыть гробницу Тимура в Гур-Эмире. Весть об этом сильно взволновала жителей Самарканда. Дело в том, что давно бытовало поверье, будто Тимур должен вечно и нерушимо покоиться на своем последнем ложе. Если же кто-то вскроет его гробницу, чтобы взглянуть на него, – будет выпущен дух войны. Легенда оказалась угрожающе-пророческой. В день вскрытия Алексей Федорович прилетел в Самарканд и, подходя к Гур-Эмиру, увидел, что вся площадь вокруг оцеплена конной милицией, оттесняющей взволнованную людскую толпу. Гробница Тимура была вскрыта 19 июня 1941 года, а 22 июня фашисты вторглись в пределы Советского Союза. Началась война.

Останки Тимуридов были переданы скульптору-антропологу Михаилу Михайловичу Герасимову, который увез их в Ташкент, где начал восстанавливать по черепам портретные облики Тимура и Улугбека. Результаты своей работы он продемонстрировал на торжественном вечере в зале Узбекской академии наук, сопроводив показ портретов обширным докладом о созданном им методе анатомической реставрации. Процесс этот, тонкий и кропотливый, требовал не только научных знаний, но и художественной и исторической интуиции.

Портрет Тимура полностью соответствовал легенде. Широкое монголоидное лицо со слегка раскосыми глазами, волевое, умное, жестокое почти до свирепости. Лицо властителя, завоевателя, и именно таким должен был быть Потрясатель Вселенной. В

противоположность деду, Улугбек своей внешностью очень разочаровывал. Лицо его поражало каким-то удивительным безволием. Чувствовался ум, но никакой энергии, что-то вялое, не сильное. В анфас он имел монголоидное сходство с дедом, в профиль обнаруживался явно европеоидный тип, вероятно, унаследованный от отца Шахруха, было как будто два лица в одном человеке. Как оказалось, всех Тимуридов отличало наследственное свойство – одно ухо было расположено ниже другого.

Исхудавший и голодный Михаил Михайлович с удовольствием пил у нас горячий кофе без сахара и делил с нами скудную еду тех военных дней. В те дни особенно проверялась духовная ценность людей. Как часто бывали разочарования, когда люди, которых считали гордостью русской культуры, вдруг утрачивали свое человеческое достоинство и жили только утробными интересами, и в них проявлялись иногда прямо-таки звериные инстинкты и бесстыдство. Всё для них переставало существовать – другие люди, жалость и сострадание. Михаил Михайлович Герасимов принадлежал к самым светлым и прекрасным представителям человеческого рода. Вечно горевший страстной влюбленностью в жизнь, в свою науку и творчество, он любил творчество других. Глубокая, страстная любовь к людям жила в неотступном сопереживании с народами, боровшимися и погибавшими в этой войне. При каждой встрече с ним всё начиналось с последних известий с фронта. Но однажды он подробно рассказал нам, каков был его первый экзамен – проверка точности восстановления им обликов людей. Комиссия академиков, ученых, предоставила неизвестный ему череп – череп матери Достоевского. Когда он сделал свою скульптуру, ему показали дагерротипы матери Достоевского. Сходство скульптурного портрета с дагерротипами было поразительным, лицо мгновенно узнавалось. С тех пор ему стали доверять реставрацию по останкам исторических личностей.

Однажды, когда Михаил Михайлович Герасимов пришел к нам, в авоське у него был, как оказалось, череп утонувшего мальчика. Герасимова попросили восстановить его облик, чтобы опознать. Он часто делал такие вещи, и с его помощью угрозиском было раскрыто несколько преступлений. Вдруг Алексей Федорович сказал ему, что мы только один раз видели его восстановленных Тимуридов и никогда не видели их черепов. «Так приходите ко мне завтра, и я вам покажу», – ответил Герасимов. Договорились на завтра, на девять часов вечера.

Мы пришли к Герасимову в Академию наук, как условились, ровно в девять вечера. Он довольно долго вел нас по темным коридорам, здание было пустынно, и тишина сочеталась с какой-то гулкостью при потушенных огнях. Михаил Михайлович привел нас в небольшую комнату, уставленную деревянными шкафами. Лампа без абажура освещала старый стол. Алексей Федорович положил на него рукопись своей оперы. Герасимов принес сначала черепа безумного Мираншаха и

Шахруха^[71], отца Улугбека, а затем Тимура и самого Улугбека. В черепе Тимура особенно поразили рот, полный ослепительно-белых зубов, и небольшой клочок рыжих волос. Я думаю, что никто в мире не представлял себе грозного Тамерлана рыжим. Михаил Михайлович добавил, что при вскрытии гробницы сразу бросилось в глаза его увечье – поврежденная нога, давшая ему прозвище «Железный хромец».

Мы с содроганием посмотрели на череп Улугбека. Поврежденная ударом меча челюсть сверкала сахарной белизной при свете голой лампы. Позднее Александр Александрович Семенов нам сказал, что убийца Улугбека явно волновался, и его смертоносный удар пришелся не по шее, а по нижней челюсти. Михаил Михайлович деликатно вышел, оставив нас одних с героем нашей оперы. Мы глядели на пустые глазницы, где когда-то светились глаза, глядевшие на звезды и постигавшие тайны неба. В этой голове царил всё помнящий ум и рождались слова мудрости и любви, гнева и печали. Вот он, тот, которого мы так долго любили и, вероятно, идеализировали, так как он представлялся нам совершенным воплощением человека, чей дух вырвался на свободу научного познания мира, а чувства были отданы всем радостям и великолепиям жизни.

В нашем представлении это был гуманист, которого породил краткий век того, что мы теперь называем Восточным ренессансом. Думали ли мы, что через века состоится эта встреча? И вдруг, по праву любви, Алексей Федорович взял в руки череп Улугбека, поцеловал и положил на последнюю страницу оперы, где повествовалось о смерти героя. И рукопись словно вобрала в себя тайну этой давней смерти, а белый череп касался страницы и сверкал как доказательство давнего злодеяния. Простившись со своим героем, композитор написал под последней строчкой, что такого-то числа такого-то года здесь лежал череп Улугбека. Мы, все четверо – Алексей Федорович, его брат^[72], приехавший к нам в эвакуацию, я и Михаил Михайлович Герасимов, – поставили свои подписи.

Мало кто знает о блистательных творческих подвигах Герасимова – замечательного человека, ученого и художника, и мне хочется, отдавая дань его памяти, рассказать хотя бы о двух из них.

В свое время он работал над портретом Андрея Боголюбского. Результат поразил самого скульптора: перед ним был человек, в лице которого не оказалось ни единой славянской черты. Среди ученых поднялся вой, и полетели обличения в злонамеренном искажении облика канонизированного русского святого. Но Герасимов не сдавался. Пытливо изучая летописи современников Боголюбского, он нашел решение загадки: мать Боголюбского была половчанкой. Работая над скульптурой, он выяснил, почему летописцы обвиняли его в непомерной гордыне, откуда взялось прозвище «Непоклонная голова».

У него были накрепко сросшиеся шейные позвонки^[73], поэтому он не мог склонить свою голову даже перед Богом.

Перед юбилеем Рудаки правительство Таджикистана попросило Герасимова сделать реставрированный портрет поэта. Известно было, что последний жил и умер в селении, которое потом стало называться Рудаки. Все поиски Герасимовым места захоронения поэта ни к чему не привели. Тогда он стал изучать поэзию той эпохи, поэтов, приходивших на поклонение к Рудаки при его жизни и после его смерти (он знал восточные языки и читал сочинения древних поэтов в подлиннике). В нескольких стихах он вычитал, что в саду Рудаки была излучина глубоководного ручья. Он нашел этот ручей и эту излучину, привел рабочего и сказал: «Копай вот здесь». Очень скоро было обнаружено захоронение, где покоился прах Рудаки^[74]. Сохранились сведения, что Рудаки перед изгнанием зверски ослепили по приказу властителя Бухары. Герасимов обнаружил в черепе деформацию надбровных дуг. Он обошел в Москве не одну глазную клинику, чтобы узнать, при каких обстоятельствах происходит такого рода деформация. Оказалось, что такое бывает, когда человеку выжигают глаза. Таким образом, выяснилось, что Рудаки не выкололи глаза, как считалось раньше, а выжгли их. Представленная на юбилей скульптура была сенсацией для всего Востока. Приехавшие из разных стран гости, относившиеся вначале к этому враждебно и с недоверием, после доклада Герасимова подходили к нему, низко кланялись и целовали ему руки. Таджикские ковровщики выткали и подарили ему ковер с изображением его скульптуры.

На всю жизнь осталась в нашей памяти последняя встреча с Михаилом Михайловичем. Он рассказал нам, что несколько месяцев тому назад увез из Ташкента останки Тимуридов и захоронил их вновь в обиталищах их вечного упокоения. «И в тот же день, – сказал он, – случилась наша победа под Сталинградом». При этих словах голос его дрогнул, на лице появилось совершенно неведомое раньше выражение. Перед нами был ученый двадцатого века, во всеоружии научных знаний, как никто знавший каждый миллиметр человеческой плоти. Но для него начало войны именно в то время, когда был потревожен прах Тимура, и победа в Сталинграде, произошедшая, когда этот прах вернулся в место вечного покоя, не казались случайными совпадениями. И с ним случилось великое прозрение. Он понял, что есть иной мир, где действуют и существуют иные, неведомые нам силы и законы. Этот мир управляет последствиями человеческих действий. Мы можем только прикоснуться к нему, когда он приоткрывается как непреложность предопределения – закона судьбы. В состоянии глубокого духовного познания запомнился нам навсегда ученый и мудрый человек – Михаил Михайлович Герасимов.

Постановка оперы «Улугбек»

Но пора вернуться к первой постановке оперы «Улугбек»^[75]. Мое либретто, написанное на русском, сначала дали перевести на узбекский Мамай-Хану, но в разгар работы переводчика арестовали. В тюрьме он заболел и вскоре умер. Тогда сделать перевод поручили поэту Миртемиру. Говорят, он выполнил это превосходно, лексикой высокого стиля. Прибывший в эвакуацию из Ленинграда блестящий оперный режиссер Эммануил Иосифович Каплан должен был ставить оперу. Прекрасный художник Усто Мумин был приглашен делать декорации. Директором театра стал Соломон Михайлович Михоэлс.

Вероятно, война повлияла на души людей, и в театре не ощущалось обычной атмосферы закулисной жизни с ее конфликтами и дразгами. Вся труппа работала с необычайным энтузиазмом в полном единодушии. У всех была единая цель, и каждый старался показать себя с лучшей стороны. Артисты хора, воодушевленные Капланом, стали неузнаваемыми. Они не только пели сложные хоровые сцены, но и играли как настоящие актеры.

Эммануил Иосифович Каплан был одним из ярко одаренных оперных режиссеров следующих после Лосского и Лапицкого поколений. Природа наградила его разными талантами. Обладатель хорошего тенора, он снискал себе славу лучшего в России «француза Трике» в «Евгении Онегине». Он превосходно рисовал, пройдя в Академии художеств курс у известного профессора Чистякова. Это было огромным подспорьем при его оперных постановках. Каплан блистательно владел искусством создания массовых сцен – искусством, ныне во многом утраченным: в народных сценах чаще всего или статика, или неразбериха, толчея. В кульминации плача народа у ворот Самарканда, когда оплакиваются казнимые за стеной поэты, ученые и мудрецы, Каплан вдруг останавливал динамичное передвижение народных толп и лепил неподвижную, как скульптурная многоплановая фреска, композицию необычайной выразительности и драматизма. Вероятно, он сначала нарисовал ее, а потом поставил. Во время спектакля всякий раз на этом месте зрительный зал разражался аплодисментами.

Другой участник постановочной группы – замечательный художник и человек Усто Мумин^[76], полурусский, полуполяк по происхождению, – был в высшей степени наделен особой, чисто славянской впечатлительностью, позволявшей ему чувствовать стихию и культуру чужого народа и погружаться в нее. Пример тому в музыке – М. И. Глинка, открывший испанцам их Испанию^[77], его проникновение в польскую стихию в «Иване Сусанине» и гениальное прозрение Востока в лезгинке в «Руслане и Людмиле». «Половецкий стан» Бородина – одно

из ярчайших постижений восточного мира русским композитором, и, конечно, все страницы, связанные с татарским нашествием, в опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже».

Многие художники, живописцы, каждый по-своему, открывали для себя Восток, но чаще всего в их творчестве преобладал элемент ориентальности и декоративности. Пример Усто Мумина совсем иной. Ученик Малевича и отчасти Филонова, он приехал в Среднюю Азию после какой-то глубокой личной драмы. Здесь ему открылся Узбекистан, и он отдался ему и телом, и душой, приняв ислам и взяв новое имя – Усто Мумин. Он и его друзья арендовали в Самарканде дом с садом и земельным участком. Здесь они выращивали овощи, собирали фрукты и всё это продавали на базаре, а остальное время отдавали живописи: каждый искал свой Восток. Прозвали они это объединение полушутливо – «Колхоз имени Поля Гогена». Усто Мумин в совершенстве знал узбекский язык, носил белые одежды дехканина и жил тем, что разрисовывал детские люльки. Он был прост, весел и открыт в общении с людьми из народа – дехканами, ремесленниками, горожанами, и ему отвечали тем же.

Могу смело сказать, что не было тогда русского человека, который бы так знал и постиг все многообразие узбекской жизни – обычаев, преданий, тонкости поведения стариков, мужчин, женщин и детей. Помимо погружения в самые глубины народной жизни он изучал историю, предметы обихода в прошлом и настоящем. Усто Мумин знал костюмы разных эпох, и его чувство стиля и нравов было уникально и безупречно.

Все эти качества были неоценимы при работе над постановкой оперы «Улугбек». Его познания и чувство жизни начисто исключали ориентализм, так же как и приземленный этнографизм. Он был большим художником и поэтом. Все, что он делал, носило на себе печать высокой поэтической правды и красоты. Он сам писал декорации к опере. Был необычайно музыкальным. Во время оркестровых репетиций он садился в темном театральном зале и слушал, а после говорил композитору, что, слушая музыку, хочет передать краски и тональности оперы. И надо сказать, что это ему поразительно удавалось. Совершенно незабываемо было его небо в сцене у ворот Самарканда. Оно было грозным, зловеще багровым, словно соучаствовало в трагических событиях. Не было никакого несоответствия между музыкой и декорациями.

В театре Усто Мумина многие полюбили и старались чем могли подкормить этого истощенного человека, недавно вышедшего из лагерного заключения. Когда декорации были закончены, он скромно сказал, что знает тайны цвета, но не знает тайн света, тайн театрального освещения. И тут известный художник Александр Тышлер предложил совершенно безвозмездно взять на себя все освещение спектакля. Он совершал настоящие чудеса со старомодной

осветительной аппаратурой. Ни до него, ни после наш оперный театр не ведал ничего подобного.

В спектакле была занята вся труппа. В главных партиях выступали Кари-Якубов и Карим Закиров – Улугбек, Халима Насырова – китаянка Син Дун-фан. Исполнители роли Улугбека очень отличались друг от друга по внешнему облику и внутреннему складу. Кари-Якубов – красивый, статный, величавый – создавал образ не столько ученого, сколько властелина. И в своем великодушии, и в своем гневе это был внук Тимура, одержимый порывистыми и внезапными страстями. Певец обладал голосом необычайной красоты, воистину золотым, но партию учил долго и с трудом, подозреваю, на слух. Карим Закиров, стройный, с худым лицом и умными глазами, мягко, без нажима воплощал образ ученого и восточного гуманиста. От всего его облика веяло тем, что мы назвали бы интеллигентностью, высокой духовной и нравственной силой. Голос его, не такой красивый, как у Кари-Якубова, отличался неповторимой характерностью, с первого же звука его можно было узнать. Улугбек Закирова покорял глубиной и сложностью характера, где сочетались человеческая простота и изящество.

Халима Насырова была явлением в музыкальной культуре своего народа. Природа одарила ее гениальностью, о которой сама актриса не подозревала. Едва ступив на подмостки сцены, она легко постигла все премудрости: дивно двигалась в соответствии с музыкой и, внутренне сливаясь с ней, умела передать самые тонкие и сложные чувства. Голос ее был уникален по красоте и необъятен по диапазону: от глубокого контральто до высокого колоратурного сопрано. Крупные вокалисты и музыканты тех лет считали, что, попади Насырова в руки больших и требовательных учителей, она могла бы стать певицей мирового класса типа Мариан Андерсон. Этого не случилось только потому, что певица слишком рано удовлетворилась славой «соловья Востока», и награды, почести, звания быстро погасили в ней стремление к дальнейшему совершенствованию. Всю жизнь Алексей Федорович, очень любивший дарование Халимы, считавший ее музыкальным чудом, глубоко сожалел о пагубе мелкого тщеславия, не давшего полностью раскрыться ее огромному, ею самой не осознанному художественному потенциалу. Присутствовавший на одном из спектаклей оперы «Улугбек» хранитель ленинградского Эрмитажа Иосиф Орбели говорил нам, что силой и правдой игры она напомнила ему прославленную итальянскую актрису Элеонору Дузе и, для того чтобы увидеть Халиму Насырову в роли Син Дун-фан, стоило пересечь два континента.

Когда постановка оперы была осуществлена и все ждали только премьеры, случилось нечто непредвиденное и страшное. Спектакль показали первому секретарю ЦК компартии Узбекистана товарищу Усману Юсупову. Он объявил всем, что не разрешит выпустить спектакль, если авторы не изменят характер Улугбека. «Как можно в годы войны изображать Улугбека мягким ученым, когда народу он

должен быть показан как воитель и защитник Родины?» – этот приговор прозвучал как удар грома: представитель власти грубо требовал фальсификации истории во имя примитивно понимаемой злобы дня.

Между тем у авторов оперы была совершенно естественная, художественно оправданная проекция современного фашистского мракобесия на век Улугбека, когда так же сжигали книги, уничтожали светлые умы и передовые научные идеи того времени.

И авторы, и все участники спектакля оказались совершенно беззащитными перед подобным самодурством, перед грубостью диктата, проявленного этим человеком, облеченным неограниченной властью. Такое вторжение в сокровенную суть и правду искусства было характерно для тупой, беспощадной власти тех лет.

Как мы ни были потрясены надругательством над нашими душами, мы не могли без ужаса и жалости смотреть на лица всех участников оперы. Они не могли нас просить подчиниться требованию самодура, но их глаза говорили об отчаянии. Неужели весь их труд и вдохновение пойдут прахом? Чтобы спасти наше общее творение, мы, стиснув зубы, собрав все отпущенные нам силы, переделали в основном финал оперы. Он противоречил исторической правде. Художественно-историческая концепция трагедии была уничтожена. Самодур спектакль разрешил.

Настал долгожданный, многовыстраданный день премьеры^[78]. С утра, не переставая, капал унылый мелкий дождь. Мы шли очень ослабевшие от долгого, трудного, голодного дня.

Зал оперного театра был полон. Опера заинтересовала и узбеков, и русских. Аудитория была фантастическая. Вероятно, никогда ни один композитор не знал ничего подобного. История, трагическое время Отечественной войны привели в эвакуацию в Ташкент значительную часть интеллигенции, составлявшей гордость и вершину русской культуры. Музыканты, писатели, ученые всех рангов пришли в этот вечер послушать оперу о великом астрономе Востока. Вероятно, они не разочаровались. Успех превзошел все наши ожидания. Но на премьере совершенно четко определились два вида отношения к этому произведению. Опера, шедшая на узбекском языке, имела огромный успех у русской части публики и явно «не прошла» у большинства узбекских слушателей. Для них все оказалось новым, непривычным и чуждым. И это было естественно и закономерно.

Я так подробно останавливаюсь на опере «Улугбек» потому, что она стала поворотным пунктом в истории и развитии узбекской музыкальной оперной культуры. До Козловского все композиторы, обращавшиеся к этому жанру, очень робко и осторожно брались за обработку узбекского музыкального материала, боясь, что «узбекский народ не поймет». Они не пытались развивать этот материал в исконно присущих опере формах; в музыкально-театральных произведениях преобладала чистейшая цитатность, приведшая к созданию в

Узбекистане жанра «музыкальной драмы». Народ постепенно привык к этому виду искусства и полюбил его. В опере «Улугбек» узбекские слушатели впервые встретились с совершенно новым обращением композитора с национальной музыкой и неизвестными им формами, на которых строилось музыкальное искусство Запада. До этого они не знали полифонического письма, развернутых ансамблей; слух, привыкший к унисонному пению, не воспринимал свободной самостоятельности голосов в дуэтах, трио, квартетах. Перед ними впервые предстали лейтмотивы, лейтритмы и развитие музыкальных характеристик. Опера была вся насыщена народной мелодикой, национальными интонациями и ритмами, но все они претворялись в динамике и формах оперной драматургии.

Ко всему этому прибавилось еще одно обстоятельство. Большинство узбекских слушателей не понимали текст, написанный Миртемиром на узбекском литературном языке классической школы. Большинству же узбеков ведом был повседневный обиходный язык и расхожий небогатый словарь газет. Словом, было решено: «Улугбек» – не узбекская опера, а опера русского композитора на восточный сюжет. Но случился некий исторический парадокс. Когда, почти через восемнадцать лет, в новом здании Театра оперы и балета, построенном по проекту архитектора Щусева, «Улугбек» прозвучал на русском языке, произошло нечто удивительное. Узбекский слушатель провозгласил: «Это наша, наша, настоящая узбекская опера!» Вот что сделало время. За прошедший срок люди имели возможность услышать в театре и в концертном зале, а главное, по радио не одно классическое оперное произведение, слух их незаметно привык и адаптировался к ранее неизвестным формам. Всё прояснилось и стало на место.

А тогда, после первой премьеры, с каждым спектаклем опера приобретала всё новых друзей и новых ценителей среди русской публики. На другой день после премьеры Алексей Федорович получил поздравительное письмо от любимой нами замечательной певицы Большого театра Ксении Георгиевны Держинской. Она нашла необыкновенные слова, в которых выражала свое восхищение и поздравляла Алексея Федоровича с большой и подлинной художественной победой. В то время в Ташкенте в эвакуации была Ленинградская консерватория в полном составе, Московский театр имени Ленинского комсомола во главе с Иваном Николаевичем Берсеневым и Серафимой Германовной Бирман, Еврейский театр под руководством Михоэлса, многие писатели, ученые... На спектаклях «Улугбека» мы привыкли видеть по несколько раз и Корнея Ивановича Чуковского, и Алексея Толстого, и Иосифа Уткина, и Владимира Петровича Филатова, и многих, многих других.

Хочу особо сказать о двух постоянных слушателях оперы. Один из них стал появляться сразу после премьеры в одной и той же ложе, на

одном и том же месте с левой стороны. Чем-то похожий на Алексея Толстого, он был одет в черную форму инженера железнодорожного транспорта, по-видимому, высокого ранга. Через три спектакля выяснилось, что наш постоянный слушатель знает музыку оперы наизусть и что фамилия его Костромитин. Каплан нам рассказал, что Костромитин – известный в Ленинграде одержимый музыкой и искусством человек, постоянный партнер Шостаковича: вдвоем они переиграли в четыре руки множество симфоний разных авторов. Страстный поклонник Улановой, Костромитин, после ее переезда в Москву, ездил в столицу каждый раз, когда она танцевала очередной спектакль в Большом театре. Словом, в Ленинграде он был человеком весьма примечательным, в какой-то мере легендарным. В Ташкенте же сложилась такая традиция: когда шел очередной спектакль «Улугбека», Усто Мумин становился в проходе с левой стороны зала и ждал. Лишь после того как Костромитин садился на свое обычное место, Усто Мумин шел за кулисы и говорил: «Он пришел. Можно начинать». И спектакль начинался.

Но однажды Костромитин не пришел. Вскоре стало известно, что он заболел сыпным тифом и умер. Алексей Федорович, Каплан, я и многие участники спектакля пережили его смерть как личную утрату. И всю жизнь помним об этом друге, лучшем ценителе искусства.

Другим верным и постоянным слушателем «Улугбека» был актер Еврейского театра Вениамин Львович Зускин, который всегда сидел в одной и той же ложе с правой стороны, на одном и том же месте. Слушал он оперу всегда один, ни с кем не общаясь. Зускин был великий актер, и вершиной его творчества можно считать роль Шута в «Короле Лире» Шекспира, который шел в Еврейском театре Соломона Михайловича Михоэлса. В пьесах еврейского репертуара он был блистательно многообразен: весел, лиричен, грустен и трогателен. Он замечательно умел вызвать симпатию к своему народу, так же как это удалось сделать писателю Шолом-Алейхему. А в «Короле Лире» Зускин поднимался до вершин вдохновенного понимания и воплощения шекспировского характера.

(Как мы ни любили Михоэлса, но короля Лира в его исполнении мы не приняли. Алексей Федорович говорил, что не понимает, почему он, человек глубокого ума и мудрости, решил сузить образ Лира. У Шекспира «Король Лир» внационален, это трагедия общечеловеческая. Но Михоэлс его играл во всем – в жестах, мимике, движениях тела – сугубо по-еврейски характерно. Добро бы он достигал каких-то библейских высот, но нет, всё было насыщено бытовой типичностью, такой неуместной в этой грандиозной общечеловеческой трагедии. Мы всегда избегали говорить с ним о «Короле Лире». А о Зускине английские критики писали, что из всех актеров, игравших роль Шута в «Короле Лире», он был самым совершенным, самым подлинно шекспировским исполнителем этой

роли в двадцатом веке. Зускин трагически погиб в тюрьме после разгрома Еврейского театра^[79].)

Когда позднее, после войны, в Москве было решено осуществить монтаж оперы силами Всесоюзного радио, Алексей Федорович привез рукописи партитуры в Москву. Монтаж был осуществлен силами замечательных московских певцов, и многие годы запись транслировалась почти каждый месяц Всесоюзным радио. Когда же пришла новая техника записи и чтения, то сделанное на старой аппаратуре стало невозможно использовать. Запись монтажа хранится, и с нее была сделана весьма несовершенная пластинка. В то время, когда производился монтаж оперы и музыканты познакомились с музыкой и протоколом встречи^[80], они в один голос стали убеждать Алексея Федоровича, что он не имеет права рисковать сохранностью рукописи, увезя ее обратно в Ташкент. Они предложили ему оставить ее в Москве, пообещав хранить в особом сейфе, в библиотеке Всесоюзного радио и телевидения, где она находится и по сей день. Их опасения были основательными. Годы спустя, после второй постановки оперы, копия партитуры, по которой шел спектакль в Узбекском театре оперы и балета, исчезла вместе с записью оркестровых голосов, исчезла навсегда. Никаких следов не было найдено, и неизвестно, когда и кем это было совершено.

Максимилиан Штейнберг

Какой странной, фантастической жизнью мы жили в те годы! Ни до, ни после не было такого разрыва между существованием физическим и духовным. Срок ссылки Алексея Федоровича истек, но тень репрессивного приговора прочно нависла над ним. И в труднейшие годы войны, когда люди бились не только на фронтах, но и в тылу, испытывая муки голода и неустройства, Алексей Федорович, по какому-то неписаному статусу, не принадлежал к тем, о ком государство должно было заботиться. На редкость не приспособленный к жизни, он был обречен на унижительное долгое голодание. И в то же время никогда раньше жизнь не дарила ему столько высоких, неповторимых духовных радостей – радостей дружбы и человеческой любви.

Люди шли и шли в его голодный дом, принося с собой мир своих чувств и интересов, которые не могли отнять у них все беды мира. И чем фантастичней выглядела гофманиана жизни, тем блистательнее складывалось это общение. Я не могу перечислить всех этих дорогих и прекрасных людей, но храню их в памяти. А о двух дружбах хочу рассказать.

Вместе с Ленинградской консерваторией в Ташкент приехал Максимилиан Осеевич Штейнберг. Он был женат на дочери Николая

Андреевича Римского-Корсакова, Надежде Николаевне. Будучи профессором композиции, он свято чтит и хранил наследие своего обожаемого учителя. Алексея Федоровича он до приезда в Ташкент знал только по партитуре «Лолы», которой в свое время дал самую высокую оценку. А в Ташкенте стал горячим поклонником «Улугбека» и редко пропускал спектакль. Зная, как Максимилиан Осеевич ревниво относился к памяти Римского-Корсакова, многие были немало удивлены, когда он заявил, что, по его мнению, опера «Улугбек» – лучшая русская опера после «Золотого петушка».

Когда же, познакомившись с Алексеем Федоровичем, он узнал, что тот знает наизусть все оперы Римского-Корсакова, за исключением «Кашея», и не только знает, но и любит их, отношение Штейнберга к Алексею Федоровичу стало необычайно нежным и доверительным. Он стал часто приходить к нам с Надеждой Николаевной, и эти вечера были восхитительны, полны музыкой и интереснейшими рассказами Надежды Николаевны об отце. Однажды Максимилиан Осеевич и Алексей Федорович сели играть в четыре руки оперу Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством». Как часто случалось в те дни, внезапно погас свет. Но оба музыканта продолжали играть в темноте как ни в чем ни бывало.

В свою очередь мы тоже посещали их дом, где нас всякий раз старались накормить сытным ужином и были с нами невероятно дружелюбны.

Наши встречи продолжались и после войны, в дни, когда нам случалось приезжать в Ленинград. Во время этих встреч Максимилиан Осеевич показывал Алексею Федоровичу рукописи Римского-Корсакова. Особенно удивителен был вид страниц «Сечи при Керженце». Ноты зрительно походили на летящих всадников – так динамично-устремленно, наклонно летели строки. Штейнберг всегда мечтал, чтобы Алексей Федорович переехал в Ленинград, уговаривал его. В результате стараний Штейнберга Ленинградская консерватория четырежды предлагала Козловскому возглавить кафедру инструментовки. Но он, к великому огорчению Штейнберга и многих друзей, не захотел уехать из Узбекистана. Трижды аналогичное предложение поступало от Московской консерватории, но и вернуться в Москву он отказался.

В последний раз Максимилиан Осеевич посетил нас в «Астории», был, как всегда, нежен и добр. Мы следили из окна, как он пересекал площадь, и не думали, что видим в последний раз этого чудесного и чистого человека, одарившего нас такой прекрасной дружбой...

Анна Ахматова

Лил дождь, небо было затянуто тучами, когда пришла Женя и сказала: «В Ташкент приехала Ахматова, и сейчас мы с тобой пойдем к ней». Женя – Евгения Владимировна Пастернак, художница, первая жена Бориса Леонидовича, была моим другом юности. Я любила ее за талант и душевную верность. Вместе с сыном, тоже Женей, она приехала в эвакуацию в Ташкент и была одной из радостей тех дней.

Всякая встреча с Пастернаком, которого в свое время подарила мне Женя, с его творениями сделались событиями жизни. И вот сегодня она хочет подарить мне Ахматову.

Пока мы шли, Женя сказала, что спасением Ахматовой мы обязаны неотступным хлопотам и усилиям Ольги Берггольц, добившейся, чтобы Анну Андреевну вывезли из осажденного Ленинграда на Большую землю^[81].

Сама Берггольц осталась в осажденном Ленинграде, и ее голос, которым она читала для ленинградцев по радио свои стихи, полные мужества и надежды, звучал в стылых квартирах. Для оставшихся в живых репродуктор с живым голосом бывал единственной связью с погибающим и стынувшим миром. А на Большой земле об осажденном Ленинграде писали: «Город Пушкина, город Блока, город Ахматовой».

Поднимаясь по изношенным ступеням старого дома, я думала: неужели я сейчас увижу ту, что написала: «И дикой свежестью и силой / Мне счастье веяло в лицо»^[82].

Когда Женя постучала в дверь, на которой вокруг окошка для выдачи денег краской было выведено слово «Касса», я подумала, что она ошиблась. Но из-за двери послышался голос, низкий и слегка глуховатый, голос Анны Андреевны Ахматовой, ее живой, неповторимый голос.

И вот, приведя к заветному порогу, Женя совершила свой второй великий дар. Она подарила мне Ахматову.

Я впервые увидела ее сидящей на стуле, под падающим сверху тусклым светом одинокой лампочки, зябко кутающуюся в старую, негреющую шубку. В первые минуты я напряженно сердцем вбирала все приметы ее облика: ее осанку, сдержанные движения рук, тихие интонации голоса.

Сразу поразили одновременно гордость и сиротство, и сановное какое-то веление исходило от нее: «Не смей жалеть». Но внутренняя сила духовной несломленности, непокоренности была так же очевидна, как и полное безучастие к своей бедности и к неустройству своего личного существования. Она вся еще была в муках блокады, с теми, кто остался погибать. И казалось, что она еще хранит в себе стужу ленинградских дней и ночей и что она не оттает никогда.

Всю жизнь ее стихи были любимы, и вот теперь она передо мной, живая, спасенная, в холодной каморке, в далекой тыловой стороне. Куда-то сразу отошли все клише ее изображений. Возникла вот такая, которую суждено полюбить на всю жизнь.

Лишь потом я оглядела конуру, где ей первое время суждено было жить. В ней помещалась железная кровать, покрытая грубым солдатским одеялом, единственный стул, на котором она сидела (так что нам было предложено сесть на постель). Посередине стояла нетопленая маленькая печка-«буржуйка», на ней – помятый железный чайник. На выступе окошка «кассы» – одинокая кружка. Вместо стола был ящик. В каморке было холодно. Тусклый свет лампочки лишь усиливал тоскливость этого одинокого угла, его нетопленность и случайность. Я вспомнила, что это «касса», загнанная на задворки черного хода большого старого дома, где до войны помещалось управление по делам искусств. Здесь, в прежних отделах и приемных, поселили эвакуированных писателей, и Anne Андреевне досталась «касса».

В этом была ирония, совершенно единая с гофманианой ее жизни и судьбы, что именно ей, безденежной, суждено было жить в помещении, где до войны шелестели купюры и выдавались деньги авторам куда менее знаменитым.

Но, Боже, как все эти реалии были ничтожны и случайны перед чудом ее спасенной жизни! Каморка была так тесна, что в ней не было места для призрака неминуемой и мучительной смерти. Затопится печка, и добрые руки принесут еду. Жизнь, еще неведомая, но жизнь – подарена вновь.

Я почти ничего не помню из того, что она говорила в тот первый вечер Жене и мне. Но память хранит последнее мгновение. Когда мы уходили, она, протянув на прощание руку, сказала: «Вы будете приходить ко мне?» Дрогнувшим сердцем я приняла этот первый дар Ахматовой. Вот и прихожу. Всю жизнь. Пока она была жива, я радостно и доверчиво шла на встречу с ее неизменной нежностью; когда ее не стало, хожу незарастающими дорогами памяти сердца.

В первый раз Анна Андреевна переступила порог нашего дома на Хорошинской в новогодний вечер, чтобы вместе с нами встретить свой первый в Ташкенте Новый год^[83]. Алексей Федорович, встретив ее на пороге, поцеловал обе руки и, взглянув ей в лицо, сказал: «Так вот вы какая». «Вот такая, какая есть», – в тон ему шутливо ответила Анна Андреевна и слегка развела руками. Вероятно, было что-то в его молодом и веселом голосе, что заставило ее улыбнуться, и сразу не стало замешательства первого знакомства. Алексей Федорович с первого вечера всегда при встрече и прощании целовал ей обе руки. Могу засвидетельствовать, что Алексей Федорович был одним из немногих, кто не испытывал робости и смущения, какое бывало у большинства людей при первом знакомстве с Ахматовой.

В тот вечер Анна Андреевна, войдя в комнату, быстро подошла к горячей печке и, заложив назад руки, стала к ней спиной. Она стояла в волнах теплого воздуха, и тут мы увидели, что глаза у нее синие. Они становились у нее такими, когда ей было хорошо (в вечер нашей первой

встречи в «кассе» глаза ее были серые и прозрачные, как льды ее замерзающего города). Патрицианскую ее голову мягко облегли волосы, еще не седые, а того цвета, что раньше называли «соль с перцем», и красиво лежали тяжелым пучком на затылке. Вся ее фигура в светло-сером костюме выглядела необычайно изящно, стройно, почти воздушно. И, очерченная белизной печи, окутанная мягким теплом, она стояла в своей женственной прелести и красоте.

Мы увидели ее красоту, ту вечную ее красоту, которая, изменяясь с годами, не убывала, по-новому раскрываясь. Она оттаяла после первого вечера в «кассе», и к ней вернулся юмор, блеск собеседничества и прославленная улыбка.

В те дни все мы жили сводками с фронта и замирали перед репродуктором, из которого звучал голос Левитана. В этот вечер вести были неутешительные. Все примолкли, каждый ушел в свою печаль, стало тихо. Ахматова стояла прямая и словно застывшая. И вдруг она сказала: «Хотите, прочитаю стихи?» И мы впервые услышали ее голос, читающий стихи. Она прочла отрывок из пролога к «Поэме без героя»:

Из года сорокового,
Как с башни, на всё гляжу.
Как будто прощаюсь снова
С тем, с чем давно простилась,
Как будто перекрестилась
И под темные своды схожу.

Ее чтение придало этому вечеру особую торжественность. Трудно передать то впечатление и что случилось с нами. Но знаю наверное, что с того вечера мы влюбились в «Поэму» и ее автора на всю жизнь. И Ахматова повлекла нас за собой в свой мир, мир своей памяти, полный тайны и озаренный магией ее поэтического слова. Она завладела нами, и мы предали ей всецело и навсегда.

Тогда уже жила и зрела в ней ее «Поэма без героя»^[84]. Ахматова без наших слов поняла, что случилось с нами. Мы стали ей нужны. Ей важен был наш живой, горячий, постоянный душевный отклик. С того дня она стала приходить к нам, то каждый день, то через день или дня через три, и всякий раз приносила написанное накануне. Судьбе было угодно сделать нас свидетелями рождения удивительного произведения искусства, и мы про себя называли его «наша поэма». «Поэма без героя» росла как дерево, и радовала новыми побегами. Как удивителен был этот процесс развития сюжета, как обрастал многообразием эпиграфов – они таинственно, как бы зеркальным отражением приоткрывали нераскрытый в текстах смысл. Их обилие захватывало дух, и их переключка с внутренней сутью поэмы была необыкновенно богатой и глубокой. Эти эпиграфы могли бы стать предметом целого исследования.

Мне жаль, что в окончательном варианте Анна Андреевна изъела огромное количество удивительных по красоте стихов. Мне всегда казалось, что герой поэмы – это время, властвующее над памятью. Под какие только своды и под какие подземные воды ни уносила поэму память о прошлом – и как поразительно выплывала она к настоящему, к своему покинутому, гибнущему городу в оцеплении блокады:

А	не	ставший	моей	могилой,
Ты,	крамольный,		опальный,	милый,
Побледнел,		помертвел,		затих.
Разлучение		наше		мнимо:
Я	с	тобою		неразлучима,
Тень	моя	на	стенах	твоих,
Отраженье		мое	в	каналах,
Звук	шагов	в	Эрмитажных	залах,
Где	со	мною	мой	друг
И	на	старом	Волковом	Поле,
Где	могу	я	рыдать	на
Над	безмолвьем		братских	могил.

И дальше:

И	стоит	мой	Город	«зашитый»...
Тяжелы		надгробные		плиты
На	бессонных		очах	твоих.
Мне	казалось,	за	мною	ты
Ты,	что	там	погибать	остался
В	блеске	шпилей,	в	отблеске
Не	дождался		желанных	вестниц...
Над	тобой	–	лишь	твоих
Белых		ноченок		прелестниц,
				хоровод.

Ахматова и сама была околдована своей поэмой. Много ли в истории русской литературы примеров такой неотступной одержимости темой, которая целых двадцать два года, с 1940-го по 1962-й, не покидала ее и оживала все новыми гранями!

Она читала нам все стихи, по мере их создания. И хотя тайна создания оставалась тайной, были видны и приметы жизни, которые вписывались, входили в стихи. Было удивительно наблюдать, как они преображались в ее поэзии. Иногда для магического преображения было достаточно одного слова, впечатления, неожиданной случайности. Она сама рассказала об этом:

Когда	б	вы	знали,	из	какого	сора
Растут		стихи,	не	ведая		стыда,
Как	желтый		одуванчик	у		забора,
Как		лопухи		и		лебеда.
Сердитый		окрик,	дегтя	запах		свежий,

Таинственная		плесень		на	стене...
И	стих	уже	звучит,	задорен,	нежен,
На		радость	вам	и	мне.

«Мне ни к чему одические рати...»

В главном доме на Жуковского, 54, жили писатели Уткин, Луговской, Погодин и другие. В глубине двора стояло строение, к которому с торцевой стороны примыкала лестница, ведущая наверх, на так называемую балахану^[85]. Там была большая комната, выходившая окнами во двор, которую отдали Ахматовой. В противоположность «кассе» – много света и пространства. Свое новоселье Анна Андреевна отметила стихотворением «Хозяйка»^[86], оно всегда дается в цикле «Новоселье»:

В этой горнице колдунья До меня жила одна: Тень ее еще видна
Накануне новолуния. Тень ее еще стоит У высокого порога, И уклончиво
и строго На меня она глядит. Я сама не из таких, Кто чужим подвластен
чарам, Я сама... Но, впрочем, даром Тайн не выдаю своих.

Посвящено оно Елене Сергеевне Булгаковой (жившей до Анны Андреевны в этой комнате). Долго я не могла понять, почему Ахматова назвала ее колдуньей. Лишь много позднее я узнала, что в Ташкенте, вместе с Фаиной Георгиевной Раневской, она читала роман «Мастер и Маргарита» Булгакова. И кто знает, быть может, читала в этой самой комнате на балахане.

Для меня эта балахана на Жуковского навсегда связана со строчками стихотворения, в первом варианте звучавшего так:

Как	в	трапезной	–	скамейки,	стол,	окно
С		огромною		серебряной		луною.
Мы	кофе	пьем		и	черное	вино
И		музыкою		бредим		вчетвером.
И	зацветает		ветка	над		стеною...
И	в	этом	сладость	острая		была,
Неповторимая,			пожалуй,			сладость.
Бессмертных		роз,	сухого			винограда
Нам		родина	пристанище			дала.

Те четверо, на кого глядела огромная луна, были Анна Андреевна, Надежда Яковлевна Мандельштам, Алексей Федорович и я.

Я не могу здесь перечислить все известные мне примеры того, как жизненный факт облекался в поэтические строки, но один случай особенно характерен.

Когда Анна Андреевна, приходя к нам, садилась всегда на одно и то же место, ее профиль четкой тенью ложился на белую поверхность

стены. Однажды Алексей Федорович обвел его карандашом, а позднее – углем. И, шутя, стал говорить Анне Андреевне, что по ночам ее профиль живет странной жизнью. Через некоторое время появилось большое стихотворение, начинавшееся словами:

А в книгах я последнюю страницу
Всегда любила больше всех других...

И в конце:

И только в двух домах
В том городе (название неясно)
Остался профиль (кем-то обведенный
На белоснежной извести стены),
Не женский, не мужской, но полный тайны.
И, говорят, когда лучи луны –
Зеленой, низкой, среднеазиатской –
По этим стенам в полночь пробегают,
В особенности в новогодний вечер,
То слышится какой-то легкий звук,
Причем одни его считают плачем,
Другие разбирают в нем слова.
Но это чудо всем поднадоело,
Приезжих мало, местные привыкли,
И, говорят, в одном из тех домов
Уже ковром закрыт проклятый профиль.

Удостоверяю, что дом с ее профилем на стене был один. Когда она уехала и известь поглотила профиль, я завесила это место куском старинной парчи. Я рассказала ей об этом потом, и она сказала: «Боже, какая роскошь, и всего лишь для бедной тени». Нет больше белой стены и дома, разрушенного землетрясением, нет больше двух веселых участников игры, а стихотворение – осталось.

Вспомнился день, когда она пришла и непривычно властно сказала: «Садитесь, я хочу вам прочесть то, что я написала вчера». И прочла стихотворение «Мужество», очень взволновавшее нас. Этот стих был, как отлитый колокол, и его судьба была – будить стойкость и гордость в сердцах миллионов людей. Мы сидели какие-то притихшие. Алексей Федорович поцеловал ей руки и спросил, что бы она хотела. Она сказала: «Давайте побудем с Шопеном!» Он играл ей долго и хорошо, как в концерте, больше всего этюды. Как часто бывало в войну, погас свет, и Алексей Федорович играл при свете старого индусского светильника, который давал больше теней, чем света. На душе было торжественно, и мы гордились и любили ее, эту сильную женщину, и ее благословенный дар.

Околдованность «Поэмой без героя» вылилась у Алексея Федоровича в музыкальное произведение, названное им «Пролог». Он

просил меня спеть эту музыку Анне Андреевне. Я невероятно волновалась и робела. Чтобы подбодрить меня, он шутливо сказал: «А ты не робей. Бери пример с Ершова». И рассказал Анне Андреевне, как несколько дней назад на спектакль «Улугбека» пришел, как это часто бывало, знаменитый ленинградский тенор Ершов, исполнитель вагнеровских партий и лучший в России Гришка Кутерьма в «Китеже». Гуляя в антракте с Алексеем Федоровичем по переполненному публикой фойе театра, он вдруг сказал: «А каватину вашего китайского посла я бы спел вот так...» – остановился и в полный голос спел каватину без слов, до конца, не видя и не замечая никого.

Мне, конечно, до ершовской отваги было не дотянуть. Но я постепенно впелась, перестала трусить, и Анна Андреевна стала приводить разных своих друзей слушать «Пролог». Когда же позднее Алексей Федорович написал два романа – «Иву» и «Царскосельскую статую», я пела и тот и другой упоенно и радовалась тому, что Анна Андреевна любила слушать их. Считается, что в этих романах Козловский достиг удивительной слиянности музыки с поэзией ахматовского слова.

В книге «Анна Ахматова и музыка»^[87], выпущенной ленинградским издательством «Советский композитор», напечатан портрет Алексея Федоровича, «Пролог» к «Поэме без героя» и факсимильно воспроизведены романсы «Ива» и «Царскосельская статуя», где на обложке рукописи Ахматова написала стихи своей рукой.

С первых же дней знакомства у Анны Андреевны и Алексея Федоровича возникли дружеские отношения, полные особого понимания с полуслова. И словечки какие-то свои появились. И, конечно же, юмор, пленительный, блестящий юмор, великий спаситель в самые трудные минуты жизни. Могу засвидетельствовать, что у обоих этих людей чувство юмора было неповторимым и блистательным. Оно, конечно, присутствовало при общении с разными людьми, и всегда по-разному. Но когда два этих человека встречались, они становились словно катализаторами друг для друга. Юмор срабатывал мгновенно и был чем-то плодотворным в дальнейшем общении, высоком и увлекательном. Искусство высокого собеседничества – а это действительно ныне утраченное искусство – у Ахматовой было ослепительным. Из множества блистательных собеседников, встреченных мною в моей жизни, равным ей по блеску был, пожалуй, только композитор Михаил Фабианович Гнесин. Он был златоуст, мудрец, художник, речь его захватывала, как музыкальное произведение, и все, что он говорил, было поразительно по глубине охвата жизни и искусства.

Большую роль в общении Ахматовой и Козловского играла музыка. Она почти каждый раз просила его играть то или иное произведение, что он, при его феноменальной памяти, делал легко и охотно. Вскоре выяснились ее музыкальные пристрастия. Она очень любила Вивальди,

но больше всех – Баха. Алексей Федорович рассказал ей однажды, как на основе текстов кантат Баха ученые-музыканты Альберт Швейцер и Болеслав Яворский обнаружили общность музыкальных символов в инструментальных произведениях Баха. Текст кантат дал ключ к сюжетам разных произведений, особенно прелюдий и фуг баховского «Хорошо темперированного клавира». Анну Андреевну это очень увлекло, и она часто просила играть ей прелюдии и фуги и объяснять, что каждый из музыкальных символов означает, с чем связан.

У Моцарта, из того, что ей было известно, она больше всего любила «Реквием», всегда узнавала музыку «Дон Жуана». Алексей Федорович познакомил ее с моцартовской «Масонской траурной музыкой», которая ее потрясла.

Из русских опер знала и любила только три: «Хованщину» и «Бориса Годунова» Мусоргского, а также «Пиковую даму» Чайковского. Любя музыку старшего из братьев, она кляла младшего, Модеста, за бездарные стихи и удивлялась тому, как мог Петр Ильич на такие «дохлые» слова написать такую гениальную музыку. Ей нравилось творчество Стравинского, и она ценила его блестящий ум. Однажды Алексей Федорович рассказал о том, что Скрябин на вопрос, как ему понравилась музыка «Петрушки», ответил, что это совершенное выражение хамства. Анна Андреевна невероятно этим возмутилась.

Главной и сильнейшей ее любовью было искусство балета. Дружба с блистательными балеринами Мариинской сцены началась еще в юности, и с ними связаны дорогие для Ахматовой воспоминания.

Много лет она оплакивала утонувшую в Неве Лидию Иванову, поражавшую всех силой драматической экспрессии, легендарным прыжком и пластическим совершенством. Ахматова многое оставила в Ленинграде, но привезла фотографию балерины.

Участвовала Анна Андреевна и в чествовании балерины Тамары Карсавиной в подвале «Бродячей собаки» и написала ей стихи. Но вершиной преклонения Ахматовой, по-моему, была балерина Татьяна Вечеслова, о чем свидетельствует вдохновенное, полное прелести стихотворение, написанное на обороте ее портрета:

<i>Т.</i>				<i>В-ой</i>
Дымное		исчадьё		полнолуныя,
Белый	мрамор	в	сумраке	аллей,
Роковая		девочка,		плясунья,
Лучшая	из		всех	камей.
От	таких	и	погибали	люди,
За	такой	Чингиз	послал	посла,
И	такая	на	кровавом	блюде
Голову		Крестителя		несла.

«Надпись на портрете»

Необыкновенно интересными были разговоры Анны Андреевны и Алексея Федоровича о Пушкине. Как жаль, что они не записаны! Ахматова знала чуть ли не каждое слово, написанное Пушкиным. И для Алексея Федоровича Пушкин был неисчерпаемой радостью. Как-то Анна Андреевна лукаво поддразнила собеседника: «Вот вы так любите «Медного всадника». А знаете ли вы, что там есть две нерифмованные строчки?» Алексей Федорович изумился и кинулся к своему Пушкину. Через некоторое время из другой комнаты раздался его голос: «Нашел!» Действительно, искусно запрятанные, две нерифмованные строчки жили и никого не смущали.

«Шехерезада»

Постепенно жизнь и быт Ахматовой как-то наладились. Писательская братия, жившая с ней в одном доме, как могла, о ней заботилась. Она не голодала. (Нужно отдать справедливость, в те трудные дни войны Узбекская Республика делала все возможное и помогала эвакуированным, которые каждый день прибывали и прибывали.) После отъезда Елены Сергеевны Булгаковой ее бывшую комнату передали Анне Андреевне. И вот тут начались долгие провожания Анны Андреевны домой с Хорошинской улицы на Жуковскую. Это было довольно далеко, и эти, обычно ночные, прогулки вместили много чудесных бесед. И Азия, по земле которой мы ступали, порой перемогала ностальгическую тоску Ахматовой по Ленинграду. Разговоры под ночным азиатским небом были наполнены особым очарованием – тихим, глубоким, ласково-доверительным.

Многое открылось Ахматовой во время этих прогулок: история ссылки Алексея Федоровича, его характер и сущность его блистательного дарования. Как пришло к нему уникальное знание поэзии разных народов и в разные века – не знаю. Его слух улавливал малейшие погрешности стиха, а вкус предъявлял высокие требования. Слабые поэты боялись его суда, настоящие – ценили.

Ахматову глубоко трогала его судьба, одиночество и гордость большого музыканта, насильственно вырванного из родной почвы и культуры. Также она была тронута силой, свежестью и страстью, с какой он превратил изгнание в поэтическую радость. Любовь Козловского к Востоку стала основным источником его творчества. Вот каким человеком был новый друг Ахматовой, которого она оценила и нежность к которому она сохранила до конца своих дней...

Мой муж водил гулять Ахматову и днем, и чаще всего в Старый город: на базарную площадь, где кричали верблюды и ревели ослы,

пока их хозяева торговали кошмами и коврами, зерном и сеном. Он показывал ей дутариста, игравшего на инкрустированном инструменте редкой красоты; сидящего в отдалении на земле старика в войлочной шапочке, который вдумчиво гадал на бобах, разложенных на тряпице.

Однажды он привел Ахматову туда, где проходили перепелиные бои. Но в тот день состязания не состоялись, так как хозяин получил повестку в военкомат. Потом он ушел на фронт и не вернулся.

Водил Ахматову по узким переулкам, показывал узбекские дворики. Привел он как-то ее и в тот «рай» на улице Седельщиков, где были прожиты нами первые три года ссылки. Два дома, два сада с черешнями и персиками, которые то цвели, то плодоносили, серебристая благоуханная джидда, огромный тополь и урючина, закрывавшая половину сада.

Тут было всё так же, как и прежде, – и тень, упоительная в жаркий день, и виноградная лоза, и розовый куст, и маки на глиняной крыше, и арык, беззвучно бегущий вдоль дорожки, орошающий душистую мяту. Политые дорожки были подметены и чисты, и их запах наполнял свежестью весь сад, хотя вечно горящий мангал дымил под высоким тополем. Как всегда, гостей встретили две девочки со множеством косичек. Под их радостные восклицания закипел самовар и появился поднос с дастарханом. Урюк и изюм были по-прежнему сладки, и горячий чай всё так же клубился паром над кашгарскими знакомыми пиалами.

Вечером, когда они вернулись на Хорошинскую, где мы тогда жили, Алексей Федорович показал Ахматовой фотографии, снятые им в том саду. Среди них была одна, где я стою на дорожке с кувшином у ног. Анна Андреевна долго на нее смотрела, время от времени улыбаясь мне.

Через три дня она пришла, поцеловала меня и протянула листочек бумаги, на котором было написано мое имя – «Галине Герус» (я долго носила свою девичью фамилию). На листочке я прочла следующее стихотворение, впоследствии ставшее знаменитым:

Заснуть				огорченной,
Проснуться				влюбленной,
Увидеть,	как		красен	мак.
Какая-то				сила
Сегодня				входила
В	твое		святилище,	мрак!
Мангалочий				дворик,
Как		дым	твой	горек
И	как	твой	тополь	высок...
Шахерезада				
Идет		из		сада...
Так	вот	ты	какой,	Восток!

За глаза Анна Андреевна иногда меня называла «моя Шахерезада», а мужа – «Козликом», как звали его друзья. Надежда Яковлевна Мандельштам рассказывала: «Она [Ахматова – *примеч. Т. Кузнецовой*] не раз говорила: «Наш Козлик – существо божественного происхождения». И только один раз, при нашей последней встрече в Москве, она вдруг положила свою руку на мою и сказала: «Вот и моя Шахерезада поседела». И мы, грустно улыбаясь, глядели друг на друга тем взглядом, который ведом только женщинам, когда они знают, что тень времени упала им на лицо.

Проигрывая Алексею Федоровичу в шахматы, Надежда Яковлевна кричала своему противнику: «У, проклятый старик!», хотя он был вовсе не старик. С Надеждой Яковлевной Алексей Федорович дружил, много шутил, но гулять не водил. Стихи Осипа Эмильевича читались чаще всего мне, и я знала Надю мягкой, грустной со спрятанными «иголками ежика», какими она чаще всего оцетинивалась к внешнему миру.

Время шло, и друзья стали возвращаться в родные места. Первым уехал друг юности Иосиф Уткин, чтобы вскоре погибнуть в авиационной катастрофе. Уехала Ленинградская консерватория, и с нею покинули Ташкент многие старые и новые друзья. Уехала любимая семья Сергея Никифоровича Василенко, уехала Женечка. В свою Одессу вернулся Владимир Петрович Филатов, в Москву – Михаил Михайлович Герасимов, и мы его никогда больше не видели. Кончились прелестные рассказы Корнея Ивановича Чуковского и живописные повествования Алексея Толстого. Настал день, когда уехала и Анна Андреевна^[88].

Долгой была наша осиротелость. Мы особенно тосковали в первый новогодний вечер без нее. Но она все-таки пришла к нам таинственно и чудесно, словно чуя нашу тоску. За четверть часа до наступления Нового года я нашла на полу прихожей белый листок. Это была открытка от Анны Андреевны, и начиналась она стихами:

А.К.

Из	перламутра	и	агата,
Из	задымленного		стекла,
Так	неожиданно		покато
И	так торжественно	плыла,	–
Как	будто	«Лунная	соната»
Нам	сразу	путь	пересекла.

Поздравляю с Новым годом и желаю вам много радости. Эти стихи ташкентские, хотя написаны в Ленинграде. Посылаю их на их Родину. Жду вестей.

Не забывайте

вашу Ахматову.

15 декабря 1944 г.

Потом эти стихи были напечатаны в цикле «Луна в зените» с посвящением «А.К.».

В последующие годы она не раз поздравляла нас с Новым годом, но это первое поздравление, почти мистически-телепатическое, навсегда осталось особым.

Она всегда откликалась. Однажды в ответ на телеграмму с извинениями, что долго не писала, так как мне было худо, я получила почтовую открытку:

Милая Галина Лонгиновна!

Ваша телеграмма встревожила меня.

Хочется думать, что сейчас Вы уже вышли из тоскливого состояния. Я с неизменной нежностью вспоминаю Вас и Вашу доброту ко мне. Еще одно стихотворение является следствием этих слов. Книга моя в производстве, оно в ней последнее по времени. Не грустите, дорогая моя. Если бы Вы знали, как меня тянет в Ташкент.

Целую Вас крепко.

Ваша Ахматова

Что это было за стихотворение, о котором писала Анна Андреевна, я так по сей день и не знаю.

Жизнь продолжалась. Годы разлуки не раз озарялись встречами в Ленинграде и Москве. И всякий раз они были счастливыми, радостными, такими, словно мы вчера расстались.

Быт военного времени

Но вернусь к нашему быту военного времени.

В тот период, когда должность председателя Союза композиторов не оплачивалась, эти обязанности возложили на Алексея Федоровича. На его долю выпало принять на себя две волны эвакуации музыкантов Москвы и Ленинграда. Неумелый для самого себя, он много помог беженцам, поддержал их морально и в бытовом устройстве. Они этого не забыли и много лет спустя поздравляли его с юбилеями, благодарили за помощь и человечность в те трудные для них дни.

Вероятно, Алексей Федорович унаследовал какие-то черты своего деда, отца его матери Григория Корнеевича Сильвестрова, ученика великого русского хирурга Пирогова, участника обороны Севастополя в Крымскую войну. Выйдя в отставку, он стал практикующим врачом. В любую погоду, в любой час дня и ночи он шел к больным и, когда видел, что семья бедна и не сможет выкупить лекарства, тихо клал деньги под бумажку, а на другой день присылал вино и ежедневно еду,

необходимую для выздоровления. Он был неизменно приветлив и безупречно вежлив с низшими и слегка надменен и отстранен с высшими. Не терпел лести, угодничества и низкопоклонства. Эти свойства характера явно перешли к его внуку.

С первых же дней эвакуации из разных городов к нам в дом хлынуло множество друзей, подчас почти незнакомых. Мне иногда казалось, что у нас перебивали все на свете. И всех надо было встречать, поить, кормить, устраивать на ночлег, искать квартиру, хлопотать о прописке. В наш адрес шли письма из разных городов от друзей тех, кто уехал и не знал, где будет их пристанище. Люди страшились потерять друг друга. Мы с радостью делали все, что могли, чтобы помочь им всем.

Но через четыре месяца у нас не осталось ни денег, ни запасов, ни спасительных «закрытых распределителей». И мы медленно и неуклонно шли к дистрофии. Алексей Федорович тогда нигде не служил, и мы существовали только на деньги, которые он зарабатывал музыкой, и прожить на них было невозможно. Мы принадлежали к тем, о ком не заботились. Мы хорошо понимали, как и почему во время эвакуации, в пути, на остановках, в очередях, где выдавалась еда, Дмитрий Дмитриевич Шостакович бывал легко отпихиваем более ретивыми коллегами всё дальше и дальше от заветного прилавка и, бывало, возвращался ни с чем.

Третий год войны близился к концу, и мы погибали. Я уже говорила, что хотя Алексей Федорович давно отбыл сроки своей ссылки, в глубине его нового паспорта таились какие-то знаки, некое клеймо, из которого явствовало, что он принадлежит к категории лиц, не одобряемых государством, и, следовательно, государство не обязано о нем заботиться. Несмотря на то что Алексей Федорович писал много оборонных песен, которые постоянно звучали по радио в домах и на улицах, несмотря на то что он вместе с Талибджаном Садыковым создал первую в Союзе оперу о войне «Даврон ата», которая шла в театре, ему не полагалось ни пайка (кроме хлебного), ни распределителя, ни столовой. Деньги, которые он получал как композитор, не имели цены, их покупательная способность была ничтожна. Вместе с нами бедствовали приехавшие из Москвы его мать, брат и мой отец^[89]. Тяжелее всех переносил хронический голод Алексей Федорович. Появились грозные признаки дистрофии – розовый глянец на щеках и лихорадочный блеск глаз. Он несколько раз терял сознание и при последнем обмороке разбил себе лицо. Я пришла в отчаяние и, поборов свою гордость, написала письмо очень хорошему, доброму и умному человеку – Абдуджабару Абдурахманову, второму по положению лицу в республике. Он ужаснулся, через день к нам явился человек с бумагой – распоряжением прикрепить Козловского к закрытому распределителю Консерватории. Когда я пришла в магазин, директор, взглянув на фамилию, вдруг сказала: «А, Козловский, а у нас

есть еще один Козловский». Я спросила, кто он. «Композитор Козловский из Консерватории, – ответили мне, – он у нас три года как паек получает». У меня задрожали ноги, и мне стоило невероятных усилий сдержать слезы. В то время во главе Консерватории почему-то стоял не музыкант, а некто К., молодой ловкий смазливый прохвост. И это он «зачислил» не работавшего тогда Алексея Федоровича в штат консерваторских педагогов и три года присваивал себе плоды этой подделки, оформив на имя мужа пропуск в распределитель.

Мы были спасены, но здоровье Алексея Федоровича восстанавливалось очень медленно. На третий год войны к Алексею Федоровичу стали приходить повестки из военкомата. Однажды он ушел и очень долго не возвращался. В этот раз очередь дошла до него, и он вошел в кабинет начальника под музыку своей оборонной песни, которая звучала во всех концах здания. Человек с умным интеллигентным усталым лицом поднял на него глаза и сказал на чистом русском языке: «Алексей Федорович, почему у вас нет брони?» От этого вопроса Козловский опешил и сказал, что он никогда не спрашивал, полагается ли ему бронь, и что, если понадобится, пойдет на фронт вместе с другими. «Идите в Союз композиторов, – возразил ему начальник веско и серьезно, – там должна быть ваша бронь». К этому времени должность председателя Союза композиторов стала оплачиваемой, и ее сразу после Алексея Федоровича занял всё тот же консерваторский К. Оказалось, что этот прохиндей переделал бронь Алексея Федоровича на себя. Словом, один человек пожирал жизнь другого и почему-то остался безнаказанным, и всё сошло ему с рук.

Так во время героической войны, в дни великих и жертвенных усилий миллионов людей, возникали и негодяи, абсолютно лишенные нравственного чувства, непобедимые акулы, жиревшие на чужой беде. Мы победили фашизм, но хищных акул победить не можем по сей день.

Победа. Ждановское постановление

Он наступил наконец, День Победы. Мы услышали рано утром из репродуктора соседей голос с благословенной вестью. Наобнимавшись, мы выбежали на улицу. Незнакомые люди обнимались, целовались, плакали и смеялись. Казалось, никого не осталось в домах. До ночи город гудел, и салютные залпы тонули в ликующих голосах людей. Когда наступили ночь и тишина, эйфория радости сменилась великой печалью. Скольких человеческих жизней стоил этот долгожданный день? Душа не в силах была охватить всё, что совершилось за военные годы, но, переполненная непередаваемым чувством любви, благодарности всем убиенным и изувеченным, чувством вины перед ними, она молилась, как никогда в жизни. И плакали матери, жены,

невесты, потерявшие своих любимых, но крови было пролито больше, чем слез: мировое злодеяние войны неискупимо.

Какой удивительной и счастливой была весна 1946 года! Казалось, что Ленинград никогда не был так красив. Балтийский ветер нес ему свою упругую свежесть. Неповторимое ленинградское небо жило синевой и чудесами. Солнце играло облаками, они смещались, сдвигались, распадались, и непрестанно по-новому освещались небо и земля. Улицы и здания внизу внезапно высветлялись всё в новых ракурсах, каждый раз почти неузнаваемо измененные. И жизнь людей словно была в высокой гармонии с этими чарами воздушных преобразений. Мужчин на улице мы не видели. Только верхолазы с раннего утра чистили купол Исаакия. Город был отдан в руки женщин, и они, старые и молодые, с материнской истовостью лечили и возвращали к жизни его истерзанное тело. Веселые девчушки окликали прохожих с карнизов Адмиралтейства. И лишь с другой стороны темный бюст Лермонтова стоял с простреленным виском, и, казалось, он один ничего не забудет и ничего не простит.

Всего не рассказать, но я всё же хочу вспомнить нашу первую встречу с Ахматовой в Ленинграде, примечательную во всех отношениях и совпавшую с одним из самых драматических событий в истории русской культуры.

Мы пришли к Анне Андреевне в Фонтанный дом, оставив слева арку с надписью «Deus conservat omnia» – «Бог сохраняет все». Поднявшись наверх, мы попали на площадку, где перед дверью лежали тюльпаны и стоял огромный куст белой сирени. Анна Андреевна сама открыла нам дверь, обняла нас и затем, оглядев площадку, воскликнула: «Боже, опять цветы». Вся комната, куда мы вошли, была заставлена множеством цветов, которые незнакомые ей люди всё несли и несли. Война вернула Ахматову ее народу. Она была на втором гребне своей славы. По всей России люди переписывали ее стихи, зачитывались ими в упоении, дарили друг другу драгоценные листочки и слали письма, полные любви, восхищения и благодарности. Особенно трогательными были письма военных. На всю жизнь ей запомнилось одно, от командира какой-то воинской части, написанное еще в дни войны. Он писал ей, что ее стихи неразлучны с ним в дни его трудной воинской жизни. Они – его неизменное утешение и радость, они помогают ему не терять надежду и мужество. Он благодарил Ахматову за все и заканчивал письмо словами: «Через двадцать минут мы выступаем, и будет тяжелый бой. Анна Андреевна, благословите нас, дорогая».

Боже, сколько было всего при этой первой встрече! Мы не могли нарадоваться ее помолодевшему лицу и счастливому голосу. По дороге к ней мы купили газету, кажется, «Вечерний Ленинград», где была большая статья «В гостях у поэта» с большим ее портретом. Она посмотрела и как-то странно усмехнулась. К Алексею Федоровичу также в эти дни город был добр, полон удивительного

благожелательства, друзья наперебой выказывали ему столько нежности, любви и радости, что он под конец впал в состояние какой-то счастливой эйфории и как-то сказал Anne Андреевне: «Какой город! Мне кажется, что он никогда не сможет обидеть». На что она ответила: «Еще как может обидеть». Меня поразил этот их разговор, такой, как показалось, неуместный в те дни радостного подъема.

Через месяц мы уехали на дачу под Москвой, чтобы работать над либретто оперы, заказанной нам Кировским театром оперы и балета. Как вдруг в двух ленинградских журналах появились разгромные статьи, и следом было обнародовано знаменитое ждановское постановление от 14 августа 1946 года, клеймящее позором Ахматову и Зощенко. Ничтожество, облаченное всевластием, с нечеловеческой свирепостью на глазах России и всего мира унижало, оскорбляло двух русских писателей, топтало их достоинство, отнимало их славу, ввергало обоих в отверженность и нищету. Перед этой расправой они были совершенно беззащитны. Кнут гонителя неумолимо свистел над головами оцепеневших от ужаса писателей, требуя от них противоестественных саморазоблачений и отречений.

У одних разбивались сердца, другие клялись и отрекались, но были и такие, кто, потеряв всякий стыд, в рабьей угодливости уверяли «товарища Жданова», что теперь они подналягут и начнут писать произведения не хуже Пушкина, Гоголя и Толстого. Не было предела сраму одних и боли и отчаянию других.

Не могло быть и речи, чтобы прийти к Anne Андреевне. Нам сказали, что она лежит за закрытой наглухо дверью и глядит в потолок, сутками не закрывая глаз. Один Бог знает, что творилось в ее изнемогавшей душе. Теперь вместо цветов неведомые ей люди присылали хлебные и другие продуктовые карточки, которые тут же отсылались в домоуправление. Печально знаменитое постановление обрекло ее на десятилетия бедности, имя великого поэта затянули искусственным забвением, ни единое ее слово не могло быть напечатанным, услышанным. И как провидчески писала когда-то о себе и своем поколении:

А	здесь,	в	глухом	чаду	пожара
Остаток			юности		губя,
Мы		ни		единого	удара
Не		отклонили		от	себя.
И	знаем,	что	в	оценке	поздней
Оправдан		будет		каждый	час...
Но	в	мире	нет	людей	бесслезней,
Надменнее		и		проще	нас.

«Не с теми я, кто бросил землю...»

Маленький всплеск низости, связанный с этим постановлением, коснулся и Алексея Федоровича. Во время войны в Ташкент эвакуировался автор оперы «Броненосец «Потемкин»» композитор Олесь Чишко. Это был высокий, очень толстый человек с большим животом. Недолюбливавшие его коллеги (кажется, Соллертинский) прозвали Чишко «Брюхоносец в потемках». Сначала он был оперным певцом, обладателем красивого мощного тенора. Когда ему вздумалось стать автором оперы, обнаружилась его профессиональная беспомощность. Поселившись в Ташкенте вблизи нас и познакомившись с Алексеем Федоровичем, он в течение нескольких месяцев, не спрашивая разрешения, приходил к нам каждое утро, отнимая золотые для творчества часы, и подолгу пел арии из оперы, которую в то время писал, – «консультируясь с мастером», как он говорил. Причем приходил, наевшись чеснока, и надыхивал всю квартиру чесночным запахом. Все это было мучительно, но Алексей Федорович по мягкости натуры деликатно терпел посещения непрошеного гостя. Когда Алексей Федорович приехал в Ленинград по приглашению дирекции Кировского театра оперы и балета в связи с заказанной ему оперой, Олесь Чишко по телефону чуть ли не бился в истерику по поводу того, что Алексей Федорович вот уже три дня в Ленинграде и не позвонил и не пришел к нему. Затем устроил в его честь у себя в доме целое пиршество, говорил всякие сладкие слова и пригласил на другой день в Малый оперный театр на «Войну и мир» Прокофьева, где он пел партию Пьера Безухова. Сомневаться в его лучших чувствах по отношению к Алексею Федоровичу было невозможно.

Когда грянуло постановление об Ахматовой и Зощенко, в Ленинградском союзе композиторов состоялось собрание, участники которого выражали, как это тогда полагалось, единодушное одобрение этому позорному документу. Вдруг встал Олесь Чишко и сказал: «Товарищи, а как нам быть с теми композиторами, которые пишут музыку на слова Ахматовой? Можем ли мы терпеть их в нашей среде?» Председатель Союза спросил, кого он имеет в виду. На что Брюхоносец ответил: «Есть в Ташкенте такой композитор – не то Козлов, не то Козловский. Он дружит с Ахматовой и пишет музыку на ее стихи. И такому человеку наш Кировский театр поручил написание оперы». Это выступление прошло при гробовом молчании собравшихся. В перерыве, к кому бы Чишко ни подходил, все отворачивались от него.

Через месяц Алексей Федорович вновь приехал в Ленинград, и к нему в «Асторию» пришли несколько композиторов и от имени ленинградской композиторской организации сказали ему, что все возмущены низостью Чишко, что они передают Алексею Федоровичу свое глубокое уважение и были бы горды, если бы он стал членом Ленинградского союза. Алексея Федоровича очень тронуло, что его собратья по перу под хлыстом, в дни разгула безнравственного шаша не потеряли человеческого лица. Когда же он через несколько месяцев

вернулся в Ташкент, то некоторые знакомые при виде его восклицали: «Как, вы вернулись? А мы думали, что вас там посадили!» Таковы были нравы тех дней.

Бухара. По прочтении Айни

Уже будучи автором поставленного и идущего, такого крупного и сложного по всем слагаемым произведения, как опера «Улугбек», Алексей Федорович вдруг начал каждое утро писать одну или две фуги. Так, в течение года он начинал свой день с написания многообразных многоголосных фуг, по всем законам строгого полифонического стиля. И во время нашей совместной поездки в Бухару он не прерывал этого увлечения и даже написал «Саманидскую фугу», сидя внутри мавзолея Исмаила Самани. Помню, как, закончив ее, он сказал мне: «Погляди, какая полифоническая игра света там, вверх».

Вообще, к Бухаре у него был особый интерес, он говорил, что он чувствует столб времени над этим городом, городом одержимых зодчих, создавших его, как удивительную поэму завершенной красоты. Однажды мы набрали на медресе, где арка над входом была сделана в виде белоснежной раковины. В знойном полдне вечно жаждущей земли эта раковина, казалось, изливала вечную свежую прохладу тем, кто грезил об обетованном крае влаги и легкого дыхания. Мы долго не могли оторваться от этого чуда, но сколько потом мы ни искали к нему дорогу, мы так его и не нашли и так и не узнали, как зовется оно в народе и кто создал его.

С Бухарой у Алексея Федоровича связан один забавнейший эпизод, очень характерный для его чувства юмора (удивительного, неиссякаемого и неповторимого). Во время войны было как-то решено, что Алексей Федорович поедет в Бухару для записи старинных бухарских макомов^[90]. Это была первая поездка Козловского в Бухару. Накануне отъезда он заперся у себя в кабинете и через некоторое время вышел, держа в руках несколько конвертов. Он нам сказал: «Вот несколько писем моих к вам из Бухары, со всеми впечатлениями и событиями. На каждом конверте дата, когда письмо вскрыть». И уехал. Когда Сергей Никифорович Василенко и его семья узнали об этой затее, они все неукоснительно приходили в даты «прибытия очередного письма». Мы весело его вскрывали, и чтение сопровождалось взрывами веселейшего смеха. Автор был неистощим в описании увиденного и подробностей своего пребывания. Откровенно смешное соседствовало с мнимой серьезностью путешественника, что было еще смешней. Но самое удивительное, что многое из того, что он интуитивно предвидел, совпало с действительностью. Василенки засиживались надолго и перед уходом спрашивали, когда будет очередное письмо.

Нужно сказать, что дружба с этой семьей, начавшаяся с любви ученика к учителю и ставшая общей для всех нас, была в Ташкенте великой отрадой тех лет. Сергей Никифорович был здесь в эвакуации, и в описываемое время в оперном театре ставилась его опера «Суворов». «Улугбек» уже шел, поэтому жесткий режим времени Алексея Федоровича был ослаблен. Неизменна была только полифоническая тренировка по утрам. Сергей Никифорович был также человеком обязательных прогулок, и стало нерушимой традицией, что к двенадцати часам дня он приходил к нам каждый день. Мы его очень любили и всегда радовались его приходу. Он всегда заставлял Алексея Федоровича показать ему свой утренний полифонический «улов». А после завтрака начинались долгие музыкантские разговоры, удивительные, интереснейшие воспоминания. Учителю было что рассказать из увиденного и услышанного за долгую жизнь, полную впечатлений. И ему Алексей Федорович обязан уникальными сведениями о музыкантах прошлого, их характерах и особенностях, о великих исполнителях-дирижерах, ставших легендой, о традициях исполнения ими различных произведений, о требованиях разных композиторов к исполнителям своих сочинений и о многом, многом другом.

И пытливый ученик обогатился на всю жизнь редкостными и бесценными познаниями в области живой музыки, которые он воспринял как эстафету от своего учителя. И в свою очередь щедро делился с музыкантами редкостными познаниями в этой области. И, вообще, в музыкальной части его жизни особую роль играло неустанное стремление сохранить мир чувств, особенности ощущения творцов музыки уходящих поколений. Пристальное изучение множества изданий Шопена привело Козловского к выводам о некоторых ошибочных трактовках издателей, редакторов и составителей. Но, не будучи любителем научного труда, он так и не зафиксировал эти примечательные наблюдения и выводы. А жаль.

Но возвращаясь к первой поездке Алексея Федоровича в Бухару. Его прикосновение к нотной записи средневековых макомов было знаменательным. Дело в том, что до него этнографы и композиторы, начиная с Виктора Александровича Успенского и кончая Рейнгольдом Морицевичем Глиэром, отступали перед трудностью нотной записи этих сложных произведений. Они решали эту задачу компромиссно – записывали мелодию отдельно, а сложные ритмические формулы усулей (сопровождения) отдельно.

Алексей Федорович познакомился с целой плеядой блестящих макомистов, многие из них были уже глубокими стариками. В большинстве своем это были бухарские евреи, оказавшиеся самыми ревностными носителями древнейшей культуры среднеазиатской классической музыки. Благодаря им до нас дошли все традиции этого сложного искусства. Они поразили Козловского своей музыкальностью

и художественной виртуозностью исполнения. Встретили они его вежливо, хотя несколько снисходительно, считая, что и этот молодой музыкант «сломает себе зубы», как и большинство его предшественников. И, к их великому изумлению, он, такт за тактом, стал записывать одновременно на двух строчках мелодию и сопровождение. Их радости не было границ. Они вошли в азарт и стали экзаменовать композитора, играя ему на бубне труднейшие, замысловатые ритмы, которые он тут же им воспроизводил. Им не удалось, как они ни старались, поставить его в тупик. После этой первой встречи они произвели молодого русского музыканта в ранг домуды (учителя). И по мере работы над нотной фиксацией макамов их уважение к нему всё росло. Когда некоторое время спустя мы приехали в Бухару, я стала свидетельницей их встречи. Старики низко кланялись, целовали ему руки и затем уже по-отечески обнимали. Обряд целования руки шокировал меня, и я затем стала стыдить Алексея Федоровича – как он может допускать подобное? На что он мне ответил, что нельзя свои европейские представления применять к глубоким и древним обычаям выражения чувств и уважения. Завершил мне эту отповедь тем, что из-за моего непонимания Востока он не намерен обижать своих почтенных коллег, и надо помнить мудрую русскую пословицу, что «со своим уставом в чужой монастырь не суйся».

Степень искренней приязни и уважения макомистов к Алексею Федоровичу я узнала, когда на одном знатном тое каждый из них считал своим долгом почтить его исполнением какой-нибудь пьесы. Мы сидели в отдельной комнате и слушали, и я удивлялась этой форме общения – тонкой, дружественной и удивительно интеллигентной. Там же я узнала бытовавшую у них поговорку: «Песня рождается в Фергане, шлифуется в Бухаре и портится в Ташкенте». Таковы были шутки искуснейших бухарских мейстерзингеров.

Глубокие впечатления от Бухары Алексей Федорович долго носил в себе, пока они не вылились в его симфонической поэме «По прочтении Айни»^[91]. Произведение это, суровое по колориту, стоит особняком в его творчестве. Обсуждая и разбирая его, Михаил Фабианович Гнесин отмечал необыкновенное развитие темы, длину ее и всё нарастающее напряжение ее, приводящее к грозной, устрашающей звучности кульминации. Он, как никто, понял суть этого произведения, определив его как поэму о человеке, сильном духом, совершающем долгий путь преодоления к вершинам зодчества. Гнесин считал это произведение примечательным и уникальным по выражению в музыке архитектурного чувства. Но появилась эта вещь уже много лет спустя после постановки оперы «Улугбек»^[92].

«Сказание о юном Афдале-лучнике и злом Чингизе» или «Калиостро в Петербурге»

Великая Отечественная война оказала глубочайшее влияние на внутренний мир Алексея Федоровича. Если раньше его восприятие жизни было прежде всего эстетическим и гедонистическим, то теперь он стал гораздо глубже понимать человеческие страдания, а чувство сострадания к людям и всему живому сделалось постоянным, активным и осветило его жизнь и человеческую сущность красотой настоящей доброты и нового понимания мира. Вероятно, это обостренное чувство сострадания к каждому человеку и к судьбам народов вызвало его интерес к истории великих нашествий во всех странах мира, от древности до наших дней. Жестокость и насилие были главным предметом его ненависти. Всю жизнь он ненавидел завоевателей и угнетателей и не понимал, почему люди преклонялись перед Наполеоном и чтили в нем героя. В истории великих нашествий его занимали больше всего те силы в человеке и народе, которые противостояли силам зла и сопротивлялись ордам, несшим им гибель. Чтение исторической литературы, беседы с учеными вызвали в нем интерес к временам нашествий Чингисхана, его вторжениям в Среднюю Азию.

В результате возник замысел исторической оперы, названной нами «Сказание о юном Афдале-лучнике и злом Чингизе». Создавалась она для певцов русской труппы Узбекского театра оперы и балета имени Навои, здание которого было выстроено в первые послевоенные годы. Я сочинила либретто (его потом напечатали в журнале «Литературный Ташкент» как трагедию в стихах). Алексей Федорович увлеченно писал одновременно клавиш и большие куски партитуры, работал быстро и самозабвенно. В новом здании театра вскоре после его открытия прозвучал пролог оперы с участием двух прекрасных певцов, исполнителей партий Чингиза и Афдаля. Пролог оставил прекрасное впечатление, и все ожидали настоящего оперного произведения, увлекательного и полного драматизма. Особенно впечатляющими получились массовые сцены последнего акта, где выступают хоры ремесленников разных цехов. Сцены создавались под явным влиянием вагнеровских «Мейстерзингеров», но были удивительно насыщены восточной мелодикой, интонациями и динамикой ритмов. Эта музыка представляла собой вершину творчества композитора.

Но судьба оказалась злее злого Чингиза. Как следствие ждановского постановления об Ахматовой и Зощенко появилась разгромная статья, осуждавшая писателей, композиторов и художников, увлекавшихся историей далекого прошлого, возвеличивавших исторические личности и события, вместо того чтобы

показывать народу героические будни современности и воспевать подвиги строителей коммунизма. Статья была грозная, директивная и не оставляла никакой надежды на постановку «Афдаля». Театр, естественно, тут же расторг договор с композитором. Раз на исторические темы наложено табу – значит, всё, конец. Я никогда не видела Козловского более несчастным, чем в эти дни. Он перестал спать, а если спал, то стонал во сне. Шок был настолько сильным, что он потом никогда не смог вернуться к этому произведению и дописать его. Вторжение государства в жизнь художника и его искусство было абортивным: оно убило дитя его вдохновения и любви. Рукопись оперы «Сказание о юном Афдале-лучнике и злом Чингизе» находится в Музее имени М. И. Глинки в Москве, как и всё музыкальное наследие Алексея Федоровича Козловского, которое я передала туда по его просьбе.

Не повезло и с другой исторической темой. После того как Алексей Федорович показал в Московском театре оперетты «Калиостро в Петербурге», театр решил ставить эту вещь как спектакль, которым он собирался отметить свою юбилейную дату. Но так и не прозвучала изящная и веселая музыка, не позабавил людей своими проделками почти мифический и невероятно неисторичный Калиостро.

Как бы ни была трудна и печальна иногда жизнь, прирожденная веселость и молодость души находили порой выход во всяких забавах и затеях. Так спонтанно возникла однажды музыкальная переписка двух приятелей – Георгия Мушеля и Алексея Козловского. Ее своеобразие заключалось в том, что утром Мушель присылал письмо, а к вечеру его хозяйка, у которой он снимал квартиру и которая нам помогала по хозяйству, приносила ему ответное послание от Козловского. Писали они в самых разных формах – сонаты, вальса, новогоднего поздравления, лирического излияния, часто собственного сочинения. Иногда письма бывали озорные, веселые, иногда – грустные. Помню, всем очень нравилось «Мрачное послание» Козловского, где была строчка: «Пусть Клычев^[93] ордер выдаст на печаль». Этой музыкальной перепиской очень увлекался Михаил Фабианович Гнесин и попросил обоих композиторов подарить ему ее копии. Так как Алексей Федорович всегда писал без черновиков, у него копии не сохранились. Мушель, очень аккуратный и педантичный, вероятно, сохранил всё. Кроме того, эти письма лежат, по-видимому, в целости в архивах Михаила Фабиановича Гнесина.

Еще музыка

Писал Алексей Федорович и музыку к кинофильмам и спектаклям. Он сделал два фильма вместе с режиссером Наби Ганиевым – «Тахир и Зухра» и «Похождения Насреддина». Наби Ганиев был очень талантливый и яркий человек. Он великолепно знал жизнь, людей: его устные рассказы были как увлекательнейшие новеллы – всегда с драматичным зерном и художественно завершенные. Алексей Федорович и Наби Ганиев были очень привязаны друг к другу. Мы могли слушать рассказы Наби часами. Больше такого рассказчика в Узбекистане не было.

Он рассказывал о себе, мужчинах, женщинах и детях так неповторимо, красочно и интересно, что Алексей Федорович просил его всё это записывать, но он этого не сделал, и всё это богатство исчезло вместе с его жизнью, так рано оборвавшейся.

Другой кинорежиссер, Камиль Ярматов, был очень яркой и живописной фигурой. Увлекательный собеседник и рассказчик, словно ковбой из американского вестерна.

Во время войны жила в Ташкенте в эвакуации замечательная актриса Серафима Германовна Бирман. Мы ее любили еще со времен Второго МХАТа, где она играла вместе с великим Михаилом Александровичем Чеховым и создавала незабываемые, сложные и оригинальнейшие образы. Большие мастера сцены и кино высоко ценили ее необычайную одаренность. В Ташкенте она поставила в Русском драматическом театре им. Горького пьесу Леонида Леонова «Нашествие», первая в Советском Союзе, после чего пьеса прогремела на всю Россию. После того как Бирман побывала на спектакле «Улугбека», она стала оболящать Алексея Федоровича и уговорила наконец, чтобы он написал музыку к ее постановке «Нашествия». Они сохранили дружеские чувства на всю жизнь.

Также Алексей Федорович написал для актрисы Галины Загурской музыку к спектаклю «Благочестивая Марта» по пьесе Тирсо де Молина. Испания Козловского зажгла весь спектакль мелодиями и ритмами большой прелести, и темперамент этой музыки во многом способствовал длительному успеху удачного спектакля.

Не зная режиссера спектакля, он согласился написать музыку к «Обрыву» Гончарова и был ошеломлен режиссерскими требованиями постановщика. Когда тот ему сказал: «Вот здесь вы мне дайте, чтобы были соловьи, соловьи, а потом соловьи в мажоре», – композиторское чувство юмора перехлестнуло все правила вежливости. Постановщик надулся: «А у нас в семье, когда спрашивали, как прошел день – хорошо или плохо, отвечали, если хорошо, – «Соловьи в мажоре»».

Долго и с нетерпением ждали ташкентцы завершения постройки Театра оперы и балета. Ходили слухи, что это будет чудо. Автор проекта академик Щусев приехал из Москвы на встречу с членами приемной комиссии. Одним из членов этой комиссии был Алексей Федорович. Он, конечно, первым делом ринулся к оркестровой яме и остолбенел. Перед ним была маленькая, узкая коробка. Он спросил прославленного академика, на сколько человек она рассчитана. Тот назвал цифру, то есть ровно столько, сколько бывает в оркестрах драматических театров, сопровождающих спектакли. «Но почему, чем вы при этом руководствовались?!» – спросил Козловский. «Да потому, что если сделать больше, оркестр будет заглушать певцов», – ответил маститый архитектор, не зная, что чем больше оркестр, тем мягче его звучание.

И дальше тоже пошли чудеса. Для того чтобы пройти в мастерскую художника и в помещение, где пишут декорации, надо было подняться на этаж вверх, обойти вокруг здания и вновь спуститься на этаж вниз. Иного хода туда не было. «А где сток для воды для смывания декораций?» – спросил «неискушенный» композитор. Стока предусмотрено не было. Поднявшись на верхний этаж, комиссия обнаружила, что, несмотря на жаркий климат Средней Азии, архитектор поместил балетный класс фактически под самую крышу и застелил пол паркетом. Систем кондиционирования воздуха тогда не было, и в помещении была духота ужасающая. Опять же почему-то именно композитор первым заметил, что у театра нет дверей для вноса и выноса декораций и реквизита. Оказывается, при планировке здания архитектор меньше всего думал о людях, которые будут работать в нем. Грим-уборные для артистов были маленькие, тесные, на двух человек, без удобств, ни отдохнуть, ни прилечь в антрактах – негде. Также не было предусмотрено помещение для отдыха артистов оркестра во время антрактов.

Само оборудование сцены было ветхозаветным, хотя уже в те времена были внедрены во многих театрах последние достижения театральной техники. Особенно возмутительной была система освещения – отсталая, неуклюжая, исключающая возможность интересных решений. Зато на роскошества чисто внешние архитектор не пожалел ни места, ни денег – огромное пространство вокруг зрительного зала было отведено совершенно пустым залам, где стены были декорированы искуснейшими мастерами резьбы по ганчу. Там были узоры и на поверхности зеркал, и просто красивые традиционные украшения, а также живописные панно работы художника Чингиза Ахмарова. Эти прекрасные залы были обречены стоять пустыми.

Зрительный зал был задуман неопишимо роскошно. С потолка свисала люстра, за которую были заплачены баснословные деньги. Эта люстра, как василиск, гипнотизировала членов комиссии, и они, кроме нее, ничего не замечали. Бухарским швеям был заказан белый

бархатный занавес. Он этот был расшит золотом и шелками, и посередине, в круге, сверкала позолотой богатая композиция. В зрительном зале кресла и барьеры лож были обиты белым бархатом. Через несколько месяцев после открытия театра белый бархат стал грязным, темно-серым от пыли, и россыпи Голконды^[94] роскошного занавеса висели среди грязных складок бархата, основа которого, невысокого качества, выперла наружу во всем своем убожестве. Зрелище было удручающее. Кресла и барьеры лож срочно были обтянуты коричневой кожей, и занавес бухарских золотошвеек исчез. Говорят, потом видели, как его по кускам продавали на черном рынке.

А после отъезда прославленного архитектора закипела работа. Срочно оттяпали два ряда кресел и расширили оркестровую яму, всё еще недостаточную. (Позднее были снесены еще два ряда кресел.) Когда дирижер выходил к пульту, оркестранты на его пути вынуждены были вставать, и он ужом протискивался на свое место. Прямо напротив пульта возвышалась какая-то непонятная цементная загогулина, нелепая на вид. При более поздней реконструкции загогулину убрали, и оркестр наконец получил нормальное пространство. Рабочие, посмеиваясь, выковыривали в балетном классе нелепейший паркет и застилали пол нормальными строгаными досками. Срочно пробивались полы в декорационной мастерской и через этажи прокладывались трубы. Правая стена театра была пробита, и в ней сделали дверь для вноса и выноса театрального реквизита. Первое время у стены был такой вид, словно в нее попала бомба. Затем театр дал трещину с левой стороны. А в это самое время архитектору Щусеву была присуждена Государственная премия. Какой-то шутник послал ему телеграмму: «Поздравляю высокой наградой. Театр дал трещину».

Такова была архитектурная эпопея нашего любимого театра, которому мы всегда желали долгих лет и славного искусства.

Дирижер Узбекской филармонии

Алексей Федорович уже несколько лет работал в Ташкентской консерватории, когда однажды Узбекская филармония попросила его дать концерт с симфоническим оркестром. Он сыграл Пятую «Из Нового Света» симфонию Дворжака и Первую симфонию Скрябина, продирижировал с таким вдохновением, что на следующий день к нему пришла целая депутация от оркестра. Оркестр просил его стать их главным дирижером и художественным руководителем. Он согласился и с того дня отдал восемнадцать лет жизни любимому искусству симфонического исполнительства. В какой-то степени это можно было бы назвать музыкальным романом. Он любил этот оркестр, и смею

думать, что оркестр любил его и гордился своим Маэстро. Зрелый музыкант, он встал за пульт во всеоружии больших познаний, в расцвете своего исполнительского таланта.

Оркестр и его главный дирижер, если они достигают настоящих творческих завоеваний, – это сложный духовный организм, живущий своей особой жизнью. Алексей Федорович принес оркестру все, чем он обладал, – свою культуру, свой характер интеллигентного, воспитанного, вежливого и доброжелательного человека, свою подкупающую веселость, которая проявлялась вовремя и уместно. А главное, он принес им в их работу отсутствие будней. Приходя на репетицию, он всегда был артистически полон, готов к творчеству. Для него репетиции не были будничным трудом, наоборот – творческим актом с полной отдачей. Он приучал артистов оркестра чувствовать, что им предоставлено жить в празднике. Быть может, не в каждой душе это находило отклик, но всё же оркестр обретал свое собственное лицо, получил профессиональное превосходное пиано, превосходное рубато и исполнительскую слаженность высокого подъема, чего не было у многих оркестров Советского Союза, и московские музыканты считали его одним из лучших периферийных оркестров нашей страны. Репетиции Алексея Федоровича были не менее интересны, чем его концерты. Исполняемые программы охватывали огромный диапазон классической музыки разных стран, веков и стилей. Причем на его долю выпало знакомить слушателей Узбекистана с множеством произведений впервые. После того как он, впервые в Средней Азии, исполнил Девятую симфонию Бетховена, ему присвоили звание народного артиста Узбекистана. Слушателей покорило, что он сыграл ее наизусть, успех был велик.

Дирижировал Алексей Федорович всегда наизусть, и только когда ему надо было аккомпанировать, перед ним ставили партитуру. Его память хранила всё, поэтому вся творческая энергия освобождалась для раскрытия творческого замысла. У него появились свои слушатели и своя аудитория, и его успех как дирижера был велик. Когда оркестр ездил по городам Сибири с гастрольями, бывало обычным, что слушатели требовали «бисов» и оркестр играл сверх программы пять-семь разных произведений. Сыгранные Вагнеровские программы в Ташкенте проходили при полных залах. Тогда же впервые были исполнены произведения Дебюсси, Равеля, Цезаря Франка и других. Редко исполняемые произведения Моцарта и Баха имели своих слушателей-энтузиастов.

В тот вечер, когда французская пианистка Жаклин Эймар играла вместе с Алексеем Федоровичем один из моцартовских концертов, вышел конференсье и объявил, что только что человек по имени Гагарин взлетел в космос.

Был другой случай. Приехал на гастроли бас Михайлов из Большого театра. В середине арии Руслана раздался резкий подземный толчок, и

часть публики приготовилась бежать к выходу. Но дирижер, не дрогнув, продолжал дирижировать, певец тоже не растерялся, и музыканты победили начавшуюся было панику.

Почти не было сочинения, из написанных узбекскими композиторами, с которым Алексей Федорович не познакомил бы слушателей. Он никогда не играл и не пропагандировал собственных сочинений. Только когда этого требовали другие. Алексей Федорович считал неприличным и неинтеллигентным играть себя, пользуясь своим положением хозяина оркестра. Обычно играл и записывал в Москве свои произведения с Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио и телевидения. Артисты этого оркестра очень тепло относились к нему как к композитору и дирижеру. Они любили играть под его управлением, а когда он записывал с ними фрагменты из своего балета «Тановар», после каждого номера ему аплодировали.

Один только раз Козловский рассердился и поссорился со своим оркестром. В Драматическом узбекском театре им. Хамзы умерла актриса Мария Кузнецова, Это была единственная русская женщина, ставшая узбекской актрисой. Ее все уважали, и, провожая ее в последний путь, дирекция театра пригласила симфонический оркестр принять участие в гражданской панихиде. Так делалось всегда, и, провожая товарища по искусству, оркестры делают это безвозмездно. Еще не состоялся вынос тела, как группа оркестрантов стала торговаться с дирекцией театра, чтобы им заплатили «за выступление». Когда Алексей Федорович узнал об этом, он пришел в такое негодование, что объявил оркестру, что ему так стыдно за них, что они покрыли себя позором, торгуясь у гроба товарища по искусству, что он не хочет быть больше членом этого коллектива и не желает иметь с ними дела. И ушел. Какое-то время они жили и маялись без него. Затем пришли и просили снова вернуться. Он простил и вернулся, ибо позорная затея была делом нескольких лиц, а не всего коллектива.

Когда Алексей Федорович вынужден был покинуть их навсегда, через несколько месяцев его оркестра не стало. Вслед за ним сразу ушли, как помнится, тридцать человек, затем всё уходили или увольнялись множество других, пока не осталось около трети прежнего состава. На смену ушедшим пришли молодые, неопытные, случайные юноши и девушки. Бесценный, создававшийся годами организм духовно и физически был уничтожен.

Об учениках

Из всех своих учеников-композиторов Алексей Федорович больше всех любил Икрама Акбарова. Он любил его дарование, его врожденный симфонизм и радовался его профессионализму. Много дирижировал его

произведениями. Был еще один ученик – Дадали Сааткулов, который, не отрываясь от народных истоков, трогал сердце своего учителя пытливостью и желанием понять западноевропейское музыкальное мышление. Он был одним из первых узбекских студентов, кто так плодотворно для себя понял закон творчества – в нем не иссякала жажда познания. К сожалению, Алексей Федорович не мог этого сказать о своем любимом ученике – дирижере Фазли Шамсудинове. Из всех четырех самых способных – Шамсудинова, Иноятова, Саида Алиева и Наби Халилова – он считал Шамсудинова самым талантливым, дирижером Божьей милостью. Когда он становился перед любым оркестром, оркестр его сразу понимал и чувствовал. У него были превосходные мануальные данные и природная музыкальность. Но в природе его была заложена какая-то дремотная лень – он не любил и не стремился изучать партитуры, познавать и осваивать новые. Очень быстро успокоился, получив звание народного артиста Узбекистана. Как Алексей Федорович ни убеждал его перейти из Оперного театра к нему в Филармонию, обещая передать ему все традиции и тайны дирижерского искусства, которые сам знал, – ничего из этого не вышло. В ответ ленивый ученик ему говорил: «Нет, зачем? Там у вас в Филармонии правительство будет видеть меня раз в году, а в театре меня могут видеть каждый день». Даже в тщеславии его было что-то ленивое. Он не любил ничего преодолевать, и отпущенный ему природой дар раскрылся ровно настолько, чтобы он стал народным артистом. Но большим артистом он не стал, хотя мог бы.

Три ученика Алексея Федоровича в один день получили звания народных артистов. Кому-то это пошло на пользу, а кому-то нет.

Из композиторов Узбекистана Козловский выделял Муталья Бурханова, считая его мелодический дар уникальным и неповторимым. Мелодии этого композитора, одухотворенные и чистые, рождались из незамутненных родников духовности древней народной культуры, которой он принадлежал всецело. В его музыке отсутствовала оглядка на вкусы, не было никакой претенциозности и погони за успехом. Гражданская позиция «рыцаря правды и справедливости» не сделала его жизнь легкой, но Бурханову не приходилось ее стыдиться.

Композиторам повезло, что у них председателями Союза были Бурханов и Ахмед Джаббаров. Оба эти честных человека не рассматривали свою должность как sineкуру для устройства личного благополучия. Это их усилиями, хлопотами и настойчивостью был построен Дом композиторов, и музыканты получили наконец благоустроенные, хорошие квартиры, чтобы жить и работать нормально.

Голос Индии

Однажды во время прогулки Алексей Федорович услышал индийскую мелодию, которая очень ему понравилась. Потом она много раз ему вспоминалась. Нужно сказать, что с юных лет Индия для него была страной заветной и безмерно притягательной. Мать, работавшая в одной из хороших киевских библиотек, приносила ему книги, и он рано узнал многое о культуре Индии, жизни индийцев, их обычаях и нравах и был на редкость осведомлен о философских школах этой страны. Он знал учения знаменитых мыслителей, как древних, так и вождей современной духовной мысли. Единственное, что он тогда не знал, – это музыку Индии, и она чудилась ему такой же прекрасной, как и ее пластические искусства и поэзия. Когда появилось радио, этот пробел восполнился, правда, лишь отчасти, но он полюбил ее дух, своеобразие и сложную глубину. В не осуществленном с Касьяном балете он мечтал создать свою Индию и тосковал по ней. Услышанная им мелодия вдруг стала искрой зажигания, и он написал сочинение для симфонического оркестра, которое назвал «Индийской поэмой». Среди собственных тем в их развитии он процитировал и услышанную им мелодию. Один раз он исполнил эту поэму, которую тут же приобрело Министерство культуры.

Прошло какое-то время, и вдруг стало известно, что Джавахарлал Неру вместе с дочерью Индирой Ганди приезжает в Советский Союз и остановится в Ташкенте^[95]. Алексея Федоровича вызвали и сказали, что он должен открыть концерт в честь высокого гостя исполнением своей «Индийской поэмы». Он испугался и просил не возлагать на него эту обязанность, мотивируя тем, что он недостаточно знает индийскую музыку, что это незнание может быть художественным промахом и может оскорбить чувства гостей. Но там были непреклонны и велели ему стать за пульт. Вечером, когда он поднимался на дирижерский помост, он на одно мгновение увидел лицо Неру и огромные глаза Индиры Ганди. А за ними – лица свиты всех оттенков цвета кожи, их головы в тюрбанах, фантастически сложных, ярких и сверкающих. Он собрался поднять дирижерскую палочку, но какой-то голос сказал: «Алексей Федорович, подождите начинать». Оказывается, на площади перед оперным театром собралась тысячная толпа и скандирует просьбу к Неру, чтобы он вышел к ним и сказал несколько слов. Не знаю, что он говорил, но, зная удивительное, всем известное обаяние его личности, верю, что он им сказал хорошие слова. Один очевидец передал нам одну его фразу, чудесную по своей поэтической прелести: «Мне очень понравился ваш степной ветер».

Неру вернулся, и Алексей Федорович начал. Когда он закончил и обернулся к зрительному залу, он был оглушен аплодисментами, увидел улыбающееся лицо Неру и ладони его рук, сложенные в знак приветствия. У музыканта дрогнуло сердце: Индия услышала его голос. А его долго не отпускали. Он потом признался, что всё у него плыло перед глазами. Когда он спустился вниз, его окружили музыканты и

наперебой стали рассказывать ему, как следили из оркестра за реакцией индийских слушателей. Сначала слушали с интересом, но когда прозвучала та, услышанная когда-то мелодия, они словно вскинулись, заулыбались и стали поворачиваться друг к другу в радостном изумлении, и до конца их не покидало оживленное волнение. Только потом Алексей Федорович узнал, что это была мелодия Рабиндраната Тагора, которая стала национальным (не государственным) гимном Индии, и называется она «Ванде матарам»^[96].

Ни свет ни заря на другой день к дому подъехала машина и увезла Алексея Федоровича в министерство. Там какие-то неведомые ему люди кланялись и поздравляли, и министр культуры ему сказал, что после концерта, в три часа ночи, ему с правительственной дачи позвонил Неру. Он просил передать благодарность и поздравления композитору за его прекрасное произведение и обращался с просьбой: не может ли тот подарить ему рукопись этой партитуры. Министр же попросил передать ему записку, сделанную для концерта. Алексей Федорович, писавший всегда без черновиков и не снимавший копии, сказал, что рукописи у него нет и он не может ее подарить. «Единственный ее экземпляр приобретен вами, ее и подарите». «Нет, мы этого не можем, – ответил министр. – Это собственность государства, и я не могу этого разрешить, а подарить надо, во что бы то ни стало». Тогда Алексей Федорович предложил, что, если ему дадут переписчиков, он напишет первые и последние страницы поэмы своей рукой, а переписчики сделают всё остальное. Оставался только этот день, потому что Неру ночью улетал в Москву. Рукопись разобрали по страницам, все сели за столы, и работа закипела. Несколько раз приезжали мерить, каким должен быть переплет, но под конец выяснилось, что переплет сделали короче партитурных страниц, и пришлось их снизу обрезать. Когда рукопись была готова, я сделала надпись на английском языке, которую Козловский подписал. Вечером приехал чиновник, молча взял партитуру и уехал. Потом один друг, присутствовавший во время церемонии вручения дара, рассказал Алексею Федоровичу, как всё было. В присутствии всех вельможных чинов глава правительства, держа в руках сочинение композитора, произносил долгую и пышную речь со всей принятой фразеологией и наконец торжественно передал в руки индийского гостя подарок республики. А Неру тем временем тщательно искал глазами дурно воспитанного композитора, который не счел нужным сам подарить испрошенный у него дар. Кстати, как потом выяснилось, это была единственная просьба Неру в Советском Союзе.

Позднее Алексей Федорович узнал, что после возвращения Неру на родину делийское радио стало часто транслировать музыку «Индийской поэмы». А от другого человека узнал, что Неру, оказывается, страстный любитель музыки вообще и что «Индийскую поэму» он хранил в своем личном кабинете. Алексей Федорович радовался, что Индия приняла его музыку, и мечтал,

что настанет день, когда он увидит эту страну и погрузится в пучину ее удивительной музыкальной стихии. Однажды это чуть было не совершилось, но в последнюю минуту он получил отказ в разрешении туда поехать. Так Индия осталась страной несбывшихся мечтаний.^[97]

«Вилла восьми тополей»

Двадцать лет прожил Алексей Федорович под чуждыми крышами съемных квартир. Наконец, после долгих обращений в самые высокие инстанции Советского Союза, ему был предоставлен финский домик с участком, который находился в полосе земли, разделявшей тогда Старый и Новый город. В этом доме ему было суждено прожить оставшийся двадцать один год его жизни. С переездом в свой дом (который он впоследствии выкупил у города) предстояло время нового вида творчества. Надо было создать свой сад, прильнуть к природе и прикоснуться вплотную к ее тайнам. Это было прекрасное и пленительное требование новой жизни. Однажды Алексей Федорович принес на своем плече восемь тоненьких тополей. Посадив их, он сказал: «Отныне наш дом будет называться «Вилла восьми тополей»». Тополя выросли в огромные прекрасные деревья, а его друг дирижер Николай Рабинович прислал однажды из Ленинграда письмо, на конверте которого было написано: «Ташкент. Вилла восьми тополей. Алексею Козловскому». И письмо дошло.

Был выкопан хауз, и вокруг этого водоема наш друг и садовник Садык Ака посадил плакучие ивы. (Впоследствии Алексей Федорович посвятил ему свою большую симфоническую поэму «Празднества» 1964 года.) Директор ботанического сада Русанов, поклонник музыки и постоянный посетитель концертов Алексея Федоровича, неожиданно привез в своей машине сотни луковиц одиннадцати сортов ирисов, а его жена, специалист по тюльпанам, подарила Алексею Федоровичу созданную ею коллекцию. Весной подаренные цветы осветили сад неопишуемой красотой. С годами он разрастался и становился всё привлекательней, пока деревья не начали осенять его глубокой тенью. Алексей Федорович любил их и каждую срезанную ветку воспринимал как подлинную утрату. А мои цветы тянулись к солнцу как могли. Каждую трапезу мы проводили в разных уголках сада, а ночью, на построенном рядом с домом шипанге – высоком, огороженном, как палуба корабля, помосте – он спал, глядел на звезды, слушал ночь и встречал рассветы и часто писал там стихи.

До землетрясения вокруг нас были узбекские дома и дворики, переулки и переулочки были очень живописны из-за деревьев и свисающих через глиняные дувалы плетей мочалок с длинными

плодами в зеленых кожурах. Это были места прогулок, и жили там добрые, приветливые люди. Надолго остался в памяти один эпизод, связанный с благоустройством дома. В то время в Ташкенте проживало много греков, нашедших здесь убежище после войны с немцами. Был даже греческий городок. Мужчины занимались разного рода физическим трудом. Алексей Федорович договорился с бригадой греков выкопать траншеи для прокладки водопроводных труб. Их пришло семь человек, среди них мальчик лет 16–17. Взрослые разметили планировку траншеи и быстро ушли шабашничать в другое место, оставив мальчика копать землю. Мальчик добросовестно копал с утра до вечера и упорно отказывался от еды, которую ему предлагали. Мы мучились. Наконец Алексей Федорович уговорил его в сумерках поест (мы только потом узнали, что у этих греков-беженцев было что-то вроде клятвенного уговора – принимать пищу только вместе с земляками). Пока мальчик ел, мы его расспрашивали, как он, такой юный, попал к партизанам. Оказалось, что его старший брат спустился однажды с гор, взял буханку хлеба и связку чеснока, посадил своего босоногого братишку на плечо и ушел с ним снова в горы воевать. Рассказ мальчика был совершеннейшей Одиссеей: о том, как они воевали в снегах на вершине горы Грамос, как пережили предательство Броза Тито, не разрешившего им перейти границу, спасаясь от преследования. Рассказал он, как прятались они в трюмах турецких судов, когда отплывали в Советский Союз. В его повествовании было что-то от древних трагедий его страны, в которых Судьба и Рок играют человеком. Когда Алексей Федорович спросил мальчика, в какой части Греции находится его родина, он ответил: «Моя деревня около большая гора. Эта гора никто, никто не знает – «Олимпус» называется». Вот она, судьба богов, когда живущие у подножия их чертогов ничего не знают об их бессмертии. Как часто приходилось Алексею Федоровичу встречать соплеменников, не ведавших своего Олимпа!

Много всего видели деревья нашего сада. Видали они и многолюдные, как говорил один мальчик, «пируйства», и были свидетелями множества встреч, и слышали речи, полные дружелюбия и доверительности. После премьеры второй постановки «Улугбека» артисты и оркестр попросили Алексея Федоровича подарить им пир. Он с радостью передал им большую сумму денег, предоставляя полную свободу действий. Они осветили весь сад огнями и накрыли столы на двести пятьдесят человек. Все выглядело поистине празднично и красиво. Гостям было весело и хорошо. Писатель Сергей Петрович Бородин, с которым нас роднила любовь к Тимуридам, подарил Алексею Федоровичу маленький кинжальчик в ножнах из слоновой кости – «чтобы разить врагов «Улугбека»» – и произнес прямо-таки вдохновенную речь, которая произвела на всех большое впечатление. Гости долго не расходились, и лишь на рассвете, когда хозяева остались одни, они вдруг вспомнили,

что за весь пир они не проглотили ни кусочка еды, и только тут немножко поели и выпили по пиале чая.

Когда приходил Муталь Бурханов, мы всегда просили его читать Омара Хайяма. Когда он начинал читать хайямовские рубайи, то вдруг внезапно преображался. Он словно делался выше ростом, и его обычно тихий голос начинал звучать с какой-то новой мужественной, властной силой. Стихи звучали как музыка. Их красота блекла в переводах. Естественно, он напоминал нам содержание, и мы наслаждались звуковой гармонией бессмертного стиха.

Когда однажды пришел Талибджан Садыков, мы попросили его исполнить «Танец лица», о котором только слышали и никогда не видели. Дело в том, что, по общему мнению, Садыков стал композитором по недоразумению и что истинное его призвание был танец. Сам он по физическим данным танцором быть не мог. Но он, как никто из его современников, блестяще знал народные танцы, как мужские, так и женские. Это он открыл, научил и выпустил на сцену совсем молоденькую Галию Измайлову. Она впорхнула в свою славу быстро и легко. Все знали, что Садыков среди очень немногих знал тайны «Танца лица» и крайне редко его показывал. Он согласился на нашу просьбу, и мы увидели нечто удивительное. Мимика человеческого лица являла, один за другим, лики странные, почти всегда страшные, порой inferнально прекрасные. Это не были привычные лики людей, а образы каких-то сверхъестественных существ.

В этом редком потаенном искусстве было нечто от глубокой древности, что-то почти магическое. Я после этого представления смотрела на Садыкова с новым чувством почтения, так как раньше считала его флегматичным и сонно ординарным человеком.

Совсем особыми были приезды Халимы Насыровой и Кари-Якубова. Она неизменно приезжала после какого-нибудь важного события в ее семейной и личной жизни. Однажды она приехала после тяжелой операции. Ей без наркоза долбили больное костоедой ухо, чтобы корректировать реакцию глаз и мышц лица. Муж ее через две комнаты от операционной слышал стук долота и почти терял сознание от ужаса и сострадания. Она же не издала ни единого стога. По выздоровлении она приехала к нам, чтобы торжественно отпраздновать избавление от страшной беды.

Кари-Якубов, освобожденный от долгого ареста, произошедшего вследствие оговора, сразу, на другой день, пришел к нам. И здесь, в тени деревьев, на глиняной супе, что стояла над водоемом, совершил молитву благодарения. Затем долго и много пел суры из Корана на распевы разных школ и стран. Недаром его имя было Кори, то есть «чтец Корана». Перед трапезой Алексей Федорович обнял его, и он, большой и сильный, заплакал у него на плече.

В последний раз он пришел к нам зимой. Алексея Федоровича не было дома. Он долго ждал своего Алексея Царевича, но так и не дождался. Был он какой-то удрученный и непривычно лирично-доверительный. Уходя, он у калитки обернулся. Глаза его были бесконечно печальны, и он сказал с каким-то трагическим отвращением: «Все фальч» (то есть фальшь). Пожал мне обе руки и ушел в темноту зимней ночи. Ушел, как оказалось, навсегда. Через пятнадцать минут на улице Навои он поскользнулся на обледенелом тротуаре перед домом, куда шел. Упал, ударившись со всего размаху затылком о землю, был доставлен в больницу, и там умер от сотрясения мозга. Алексей Федорович долго горевал и не мог простить себе, что не смог обнять своего певца в тот последний вечер.

Великий чародей

Пришел к нам однажды в сад человек, которому суждено было стать одним из любимейших друзей. Это был Касьян Ярославич Голейзовский. Он был великий хореограф двадцатого века, создатель современного балета. Считается, что он, после Фокина, был первым эрудитом и реформатором. Его судьба, вначале счастливая и победительная, в середине жизни трагически и внезапно оборвалась. Он был обвинен в том, что его искусство – эротика, непозволительная для советских людей, и что всё его новаторство – это чуждый и вредный формализм. Десять лет великий мастер прожил под запретом. Ему нельзя было осуществлять балетные постановки в театре и работать с артистами. Он жил тем, что продавал книги из своей уникальной библиотеки, состоявшей из восемнадцати тысяч томов, давал уроки английского языка и писал книги о любимом балете.

Получив в юности большое наследство, он совершил три кругосветных путешествия. Приезжая в страны Востока, он изучал танцы разных народов, заканчивая порой их академии. Так он изучил все школы танца Индии и открыл для себя танцы Цейлона и Бирмы. Его эрудиция в области искусства была феноменальна. Он не только знал европейские языки, но и был знаком с персидским и санскритом. Музыкальность его была удивительна. Балеты ставил по партитуре, а не по клавиру, читая партитуры любой сложности, как дирижер. Никогда ни от кого мы не слышали более увлекательных рассказов о Египте. Он был прекрасный художник, резал скульптуры из дерева, любил маски. У него бывали выставки. Если мне не изменяет память, какое-то время учился у Врубеля. Приехал он в Ташкент ставить одноактный балет Козловского. Но Голейзовского обидели, и он уехал.

Очевидец его репетиции с одной известной балериной рассказал Алексею Федоровичу, как на четыре такта его музыки Касьян

Ярославич предложил и показал двадцать пять вариантов движения. В конце концов балерина расплакалась и сказала: «Да скажите наконец, как надо».

С первой же встречи с Касьяном Ярославичем между ним и Алексеем Федоровичем возникло, сразу и навсегда полное понимание. Узнавание друг друга происходило быстро, с нарастающей симпатией. Голейзовский полюбил музыку Алексея Федоровича и остался верен этой любви до конца. Козловский давно, со студенческих лет, любил и преклонялся перед его искусством, еще со времен постановки в Большом театре его балета «Иосиф Прекрасный» на музыку Сергея Никифоровича Василенко. Этот балет был событием в художественной жизни Москвы. Поразительная по красоте хореография, свежесть и дерзновенность были приняты зрителями восторженно, и это был, бесспорно, триумф Мастера. Этот успех еще больше разжег злобу его завистливых недоброжелателей. Начался процесс неустанной диффамации, который завершился десятилетним запретом. Было совершенно естественно, что сближение хореографа и композитора озарит их жизнь внезапно вспыхнувшей мечтой – создать совместно балет. Эта мечта почти осуществилась однажды, при обстоятельствах исключительно благоприятных.

Колесо Фортуны начало со скрипом поворачиваться. Наступили годы, когда из-за рубежа стали приезжать к нам разные балетные труппы со своими постановками. К изумлению чиновников, руководителей и гонителей, выяснилось, что западное балетное искусство живет и движется под явным влиянием новаций Голейзовского. Они посмотрели и вдруг решили: «А чем мы хуже?», и выпустили из творческого застенка Касьяна Ярославича.

Истосковавшийся мастер бросился к своим любимым звездам русского балета и стал творить восхитительные хореографические миниатюры, которые вывозились, так сказать, «на экспорт» с подспудным лозунгом «Знай наших!».

В это время я написала балетное либретто, используя мотив «Индийской поэмы» поэта Бедия. И мы послали это либретто Касьяну Ярославичу. В ответ я получила от него длинное-предлинное письмо, в котором были слова такого одобрения, что я заплакала от счастья.

Он писал: «Это мой, мой балет. Пусть мой друг пишет музыку. Я даю вам обоим слово, что я поставлю этот балет, и наша мечта осуществится». Алексей Федорович ему написал, что ждет от него хореографической экспозиции. Я предупредила, что я должна поехать в Ленинград, и был назначен день встречи. Я пришла к Голейзовским в их новую большую квартиру, где с трудом разместилась знаменитая библиотека, от которой к тому времени осталось десять тысяч томов. Увидела в полстены знаменитый портрет Анны Павловой работы Серова, ставший потом плакатом к ее выступлениям. «Тебе нравится? – спросил Серов Касьяна Ярославича. – Так возьми», – и подарил. Увидела

впервые работы Бурлюка, были еще картины неведомых мне авангардистов. Но всё это мельком, так как вся отдалась радости встречи. Мы пили чай, и я скоро заметила, что руки Касьяна Ярославича всё время были в движении. Он машинально разворачивал конфеты, брал бумажные обертки и крутил их между пальцами. Среди оживленного разговора мы не заметили сначала, как по диагонали стола возник целый кордебалет в пачках и в позах арабеска. Я восхищенно смотрела на это спонтанно возникшее зрелище, а мастер, усмехнувшись, внезапно одним движением руки смел своих белых плясунь. Мы говорили и о нашем балете. В моем либретто в описании декораций одного действия, между прочим, проходящей фразой было сказано, что в порталах сада стоят изваяния слонов с поднятыми хоботами, образующими арку. И вдруг Касьян Ярославич сказал: «А ваших слонов я сделаю живыми». Я посмотрела на него с недоумением. Тут он молча взобрался по лестнице к верхней книжной полке и снял очень большую книгу в старинном сафьяновом переплете и положил ее передо мной. Это было французское издание восемнадцатого века – книга об Индии. Он раскрыл ее передо мной на странице, где была напечатана гравюра, слегка пожелтевшая от времени. На ней были изображены прелестные маленькие белые слоники, но почему-то в разных местах отмеченные аккуратными черными кружочками. На мой вопросительный взгляд Голейзовский сказал: «Вглядитесь внимательней – это же головки баядерок, танцовщиц». Из умопомрачительного сочетания тел были созданы удивительные фигуры слоников в позах самых разных, казалось бы, игнорирующих все законы земного тяготения. Такого чуда я, конечно, никогда не видела, но с всё большим восхищением смотрела на мастера-эрудита, знавшего, в какой книге и в каком веке было запечатлено это чудо пластики.

В этот вечер он мне сказал, что написал письмо Федору Лопухову в Ленинград, послал ему либретто и что он будет ждать моего прихода. Художественный руководитель и главный балетмейстер Кировского (Мариинского) театра оперы и балета встретил меня на внутренней лестнице хореографического училища, что на улице Росси. Он стоял стройный, элегантный, с яркими голубыми глазами, очень помолодевший после войны. Встретил приветливо и дружелюбно. Сказал, что прочитал либретто, что оно очень ему нравится и что «конечно же, это касьяновский балет. Пусть Алексей Федорович пишет музыку, и мы, конечно же, поставим это произведение». Вдруг, словно зажегшись, он дал мне один блистательный совет для финала. Сделал он это дружески и симпатично, что совершенно не вязалось с его славой придирчивого, грозно-взыскательного, всё отвергающего критика балетных сценариев. Когда я вышла на улицу Росси, мне казалось, что я лечу на крыльях радости.

Но дома Алексей Федорович с необычной твердостью сказал, что не напишет ни одного такта музыки без хореографической экспозиции балетмейстера. А изголодавшийся по творчеству Голейзовский ставил в то время «*Petits riens*» («Маленькие пустячки») Моцарта в Большом театре. Не занятые в спектакле артисты балета неизменно смотрели из зала с изумлением и восхищением, что творит Мастер. Затем он бросился ставить «Болеро» Равеля в Ленинграде, затем еще что-то; времени не было, и экспозиция всё не присылалась. Алексей Федорович совсем потерял надежду, когда снова Голейзовский написал: «Нет, нет. Я, один только я осуществляю этот замысел. Погодите, вот освобожусь». Но освобождение не пришло. Живущий рядом в Москве Сергей Артемьевич Баласанян предложил Голейзовскому готовую музыку балета «Лейли и Меджнун», в постановке которого заинтересован был Большой театр. И Касьян Ярославич начал работать и осуществил постановку. Видевшие этот спектакль рассказывали нам, что там были эпизоды необычайной красоты и поэтичности и что Владимир Васильев был вдохновенным исполнителем роли Меджнуна.

Заканчивая воспоминания о Голейзовском, я хочу рассказать, на основании его писем, как прошел его юбилей в Большом театре. Министерство культуры не разрешило чествовать юбиляра перед публикой после спектакля «Лейли и Меджнун». Чествовали при закрытом занавесе. И тут чванливым и невежественным чиновникам из Министерства культуры пришлось пережить шок величайшего изумления, когда стали зачитывать телеграммы со всех стран мира. Крупнейшие балетмейстеры и хореографы поздравляли и благодарили его за то, что он, живя далеко, всё же был их вдохновляющим наставником. Баланчин писал, что он считает себя учеником и последователем великого Мастера и гордится тем, что живет в одно время с ним. Чествование за закрытым занавесом было символично – всё еще отрывали художника от прямого общения с его народом. Когда же Большой театр повез в миланскую «Ла Скала» оперу «Князь Игорь», по возвращении министр культуры Е. Фурцева пригласила Голейзовского и сказала простодушно: «Касьян Ярославич, я не знала, что вы такой замечательный балетмейстер». После фрагмента оперы с «Половецкими плясками» итальянская публика пятнадцать минут стоя аплодировала и вызывала, требуя показать постановщика Голейзовского. Но разве организаторам гастролей пришло в голову, что надо было привезти гения? Если не ошибаюсь, кажется, в Большом театре было принято решение, что в какой бы постановке ни шла опера «Князь Игорь», «Половецкий стан» должен оставаться канонично неизменным, в постановке Голейзовского.

Касьян Ярославич ненадолго пережил свою последнюю постановку. Индийский балет не был осуществлен и для обоих художников оставался мечтанием и жил в их духовном мире, где мечтание неосуществленное так же любимо, как мечта осуществленная. У нас в

саду есть место, которое всегда называлось «Уголок Касьяна», а в доме стоит подаренная им статуэтка – бронзовый Приап, отлитый ионийскими греками в пятом веке до нашей эры. Найден он был при раскопках Геркуланума. И еще осталась вечная любовь к нему и его прекрасному искусству.

«У соленых озер»

До 1956 года Алексей Федорович видел пустыню только из окна вагона. Он знал только оазисы и плодородные долины Узбекистана. Поэтому, когда его пригласили приехать в Каракалпакию, он охотно принял это предложение. Его сразу поразили воздух и запахи пустыни, а ночное небо над этой землей мерцало укрупненными, словно приближенными звездами. Народная музыка Каракалпакии оказалась очень самобытной и интересной.

Козловский записал много песен у певицы Шамуратовой и сделал для нее несколько обработок с симфоническим оркестром. Ему многое показывали и однажды подарили один рассвет. Он увидел, как в красных лучах восходящего солнца паслись совершенно красные кони. Это зрелище жило в его памяти и, видимо, было творческим толчком к написанию второй каракалпакской сюиты «У соленых озер». Он был первым, кто ввел народные каракалпакские мелодии и ритмы в ткань симфонического музыкального произведения. Их самобытная прелесть великолепно зазвучала в его ярких и колоритных партитурах, и слушатели других народов смогли впервые ознакомиться с неведомой им музыкальной культурой.

Посетил он в Нукусе и местный драматический театр. Шла пьеса, постановщик которой полагал, что главная сила драматического действия заключается в том, что мужчины без конца хлещут женщин хлыстами, и те убегают с дикими криками, визгом и душераздирающими воплями. Другого женского «exit», то есть, по-театральному, «ухода» не было. Алексей Федорович хотел сказать постановщику, что, по его мнению, он несколько злоупотребляет этим приемом, но его отговорили, заверив, что и режиссер, и автор пьесы очень обидятся.

В то время Алексей Федорович не был знаком с создателем Нукусского музея^[98] Игорем Витальевичем Савицким. Творческой одержимости и безраздельной преданности искусству этого человека люди обязаны созданием уникального музея-чуда. Отдавая всю жизнь, все силы, все свои скромные заработанные деньги на собирание предметов искусства, он совершил беспримерный подвиг. Это был святой подвижник, бедный и бескорыстный человек, собравший бесценные богатства человеческого художественного творчества.

Начав с собирания произведений народного ремесла и искусства, он расширял всё больше диапазон охвата произведений живописи, графики и скульптуры множества художников двадцатого века. Его музей мог бы быть украшением любого города, любой страны. Но существуя в отдаленном Нукусе, малодоступном из-за расстояния широкому зрителю, он стоит часто пустынный. А после его смерти этому творению грозит разрушение из-за непрофессионализма хранителей, непонимания и равнодушия тех, кто призван сохранять эту жемчужину, подаренную всем нам.

«Приношение памяти **Ахматовой**»

Прошло двадцать три года после первой встречи с Анной Андреевной. 15 октября 1965 года Алексей Федорович справлял свое шестидесятилетие. С тех пор как в нашем саду начал плодоносить гранат, у нас стало традицией: в этот день каждый уходящий гость срывал по гранату. На Востоке этот плод – символ дружбы и любви. В тот октябрьский вечер, когда гости давно разошлись, вдруг раздался телефонный звонок. Это по поручению Анны Андреевны звонил прилетевший в Ташкент поэт Анатолий Найман. Он привез ее дар – только что выпущенную книгу ее стихов «Бег времени» с рисунком Амедео Модильяни на обложке. В книге была надпись: «Далеким друзьям, храня им вечную верность. Ахматова. 15 октября 1965 г. Москва». В приложенной к книге записке она писала:

Дорогие мои!

Вот вам что-то вроде моей книги. В ней есть и период, который мы прожили вместе, есть и спутница моя, поэма^[99]. Вообще же многого не хватает. Записку передаст мой соавтор по переводу Леопарди^[100], молодой поэт, драматург Анатолий Найман. Помогите ему в ташкентских делах. Всегда помню и люблю.

Ахматова.

15 октября 1965 г.

Москва.

Но помогать ее милому посланцу не пришлось. Он заболел и через неделю улетел в Москву с высокой температурой. Спустя некоторое время по нашей просьбе нам позвонили Ардовы и успокоили насчет здоровья Наймана. Милый женский голос сказал: «А сейчас с вами будет говорить Анна Андреевна». И мы услышали прежний, полный жизни голос Ахматовой. Это был восхитительный, незабываемый разговор. Мы благодарили ее за книгу, а она ответила: «Вас люблю – книгу не люблю (ей не нравилась подборка стихов). Собираюсь в

Париж, пишу прозу, смешно, не правда ли? Там и о вас будет». И вдруг, услышав голоса в доме, пришел наш журавль Гопи^[101] и громко закричал. При звуках журавлиного крика Анна Андреевна как-то по-детски обрадовалась и всё повторяла: «Какой он, должно быть, милый». А Журка, словно понимая, что речь идет о нем, вдруг растанцевался и снова кричал, как бы приветствуя. Мы всё это объясняли Анне Андреевне, и она смеялась. Но разговору подходил конец: уже были сказаны слова прощания, и голос ее умолк.

Он умолк, и мы не знали, что для нас он умолк навсегда. О ее дальнейшей жизни нам многое было известно, но голоса ее мы больше не слышали. Алексей Федорович был в Рузе^[102], когда пришла весть о смерти Ахматовой. Всю ночь он просидел в кресле у окна, а утром написал музыкальное «Приношение» ее памяти. И теперь уже она жила в книгах и уходила в свое бессмертие...

«Тановар»

Как часто мы видим, что образ, возникший внезапно в воображении художника, затем годами продолжает варьироваться в его творчестве. Это повторение есть очарованность типом чаще всего женских лиц, близких душе художника, их неповторимым своеобразием. Отражение этой очарованности создает стиль художника. Разве мы не узнаем сразу цветущую прелесть и воздушность женского мира в творениях Боттичелли? Разве среди женских портретов, написанных художниками, безошибочно не отличишь женщин Ренуара? Разве можно не узнать по своеобразию женских лиц английского прерафаэлиты Габриэля Россетти? Очарование – это сфера женственности.

Таким очарованием в музыке стала для Алексея Федоровича народная песня «Тановар». Записанная от Халимы Насыровой вскоре по приезде в Ташкент, она легла в основу произведения для голоса с оркестром, которое она исполнила впервые на концертной эстраде. Она напела Козловскому семь вариантов этой песни. Из них он выбрал несколько тактов этой мелодии и создал свой «Тановар», который потом объявили народным.

«Тановар» – это песня о мечте, о неосуществленной любви, она полна любовного томления. Поют ее только женщины. Она годами жила в душе композитора, жила до тех пор, пока, много времени спустя, он в порыве вдохновения вдруг не написал свою симфоническую поэму «Тановар». Это произведение занимает особое место в творчестве Козловского. Эмоциональная насыщенность сочетается в нем с редкой виртуозностью и изощренностью оркестрового письма. Поэма мало кого оставляет равнодушным. На

Востоке ее слушают в состоянии завороченности, она давно считается классикой.

И снова «Тановар» зазвучал в музыке Алексея Федоровича, когда он начал писать одноименный балет. «Тановар» стал лейтмотивом любви героини Нурхон и ее возлюбленного Азиза.

У Камиля Яшена много лет шла пьеса «Нурхон» в драматическом театре. Когда я сказала ему, что хочу писать балетное либретто о девушке Нурхон, он пожелал мне удачи. И либретто «Тановара» является полностью самостоятельным произведением, созданным без какого-либо литературного подспорья. В основу его я положила некоторые обстоятельства, связанные с жизнью семнадцатилетней девушки Нурхон, жившей в начале тридцатых годов. Подлинная история этой короткой жизни трагична и насыщена обилием драматических событий под стать хроникам Шекспира.

Ее сестра Бегим Хон приходила к нам и подолгу рассказывала семейную историю, от подробностей которой стыла кровь. Обе сестры были дочерьми очень богатого бая из рода ходжей. По-видимому, он был психически ненормален, ибо вся его жизнь – это цепь непрерывных злодеяний. Он держал в страхе всю округу, убивал, поджигал и с неистощимым садизмом расправлялся со всеми, кого ненавидел. Одним из таких злодеяний было убийство матери Нурхон, совершенное на глазах девушки. После всяких драматических перипетий Бегим Хон стала женой знаменитого узбекского бубниста Усто Алима, который взял ее под свое покровительство, спасая от мучительства отца. Он обучил Бегим Хон танцевать. Усто Алим был создателем странствующей труппы танцоров, танцовщиц и актеров и кочевал с ними по городам и селениям Ферганской долины. Узнав, что над Нурхон нависает гибель от ярости отца, они выкрали ее и увезли с собой.

У Нурхон обнаружилось природное дарование танцовщицы. Усто Алим стал ее наставником, и она начала выступать как солистка во время представлений странствующей труппы в городах и селах. Узнав об этом, отец дал клятву убить ее, но, боясь совершить это сам, в присутствии единомышленников заставил своего несовершеннолетнего сына поклясться на Коране, что он убьет свою сестру, покрывшую их всех позором. С помощью родственниц Нурхон заманили в дом, и утром, на рассвете, брат убил ее в саду, нанеся ей свыше двадцати ножевых ранений. Она умерла, обнимая дерево, у которого словно искала защиты. Кари-Якубов вынес ее мертвую на руках из этого преступного логова. Это убийство потрясло жителей города и его окрестностей, и, когда был суд над убийцей, тысячная толпа на площади скандировала требование смертной казни отцу, по чьему приказу была убита бедная девочка Нурхон. Но отец, по-видимому, откупился, а несовершеннолетний сын был приговорен к десяти годам заключения. Когда он отбыл свой срок и вернулся в родные места, то неизменно подвергался общественному ostracism. Когда он входил в чайхану

или другие места, все люди вставали и уходили. Узбекский народ хранит, бережно и любовно, память о погибшей девочке, мечтавшей стать балериной.

Вот из этой кровавой жизненной истории надо было создать произведение балетного жанра, и передо мною встали величайшие трудности. Надо было извлечь эту судьбу из криминального быта и превратить в трагедию художественного произведения. Надо было найти ту меру сублимации, доступную искусству, которое преображает жизнь в поэзию. Это было очень трудно, и в поисках нужного мне я потратила времени больше, чем потребовалось на написание либретто «Улугбека» – трагедии в стихах.

Когда балет «Тановар» был поставлен, меня очень тронуло признание одного узбекского режиссера, приверженца этнографического бытовизма. Он мне сказал: «Спасибо вам за то, что вы отмыли от крови и грязи жизни историю Нурхон! Я так боялся, что вы с этим не справитесь. У вас получился настоящий балет. Молодец! Еще раз спасибо вам». И когда была написана музыка балета, стало очевидно, что произведение это можно назвать романтической хореографической поэмой. Алексей Федорович вложил в это произведение всё накопленное богатство своих знаний народных мелодий, ритмов, форм, все ощущения поэзии, россыпи всего, что он знал и любил. В этом произведении он словно завещал узбекскому народу все свои богатства. И сотворил он это произведение после трудной болезни, едва не стоившей ему жизни.

Балетмейстером-постановщиком был приглашен ученик Федора Лопухова, по его рекомендации. Он поставил балет хорошо, там было много талантливого, но осуществить два предложенных автором эпизода, которые можно отнести к главной новации, он не смог. Это – обряд «Радение с гранатом»^[103] и «Сон». «Радение с гранатом» – древнее восточное действо, необыкновенное по красоте, оригинальное и самобытное, никому не ведомое ныне, и если бы оно было осуществлено, то предстало бы людям как откровение. Второе – «Сон», к которому композитор создал музыку, где все впервые совершается по законам сновидения – зыбкий, призрачно-прозрачный, в колыпании деревьев, с неузнаванием, как это обычно бывает. Всего этого балетмейстер не осуществил – то ли не понял, то ли не хватило творческой потенции и воображения. Получился трафаретный балетный сон, обнаженный и конкретный, без тайны и очарования.

Нурхон танцевала Бернара Кариева. Она создала очень поэтичный, трогательный образ, и ее воздушная грация производила сильное впечатление. Недаром после премьеры она сразу получила звание народной артистки Советского Союза. А премьера прошла отлично. Публика горячо приняла спектакль, и авторы были вполне вознаграждены. Когда композитора вызвали на сцену, Кариева встала перед ним на колени при овации зала.

Скоро установилась и зрительская традиция: разные аудитории одинаково реагировали в одних и тех же местах. Спектакль шел, делал хорошие сборы, и казалось, что судьба балета будет счастливой. Но вдруг руководители театра коварно и лицемерно объявили, что балетмейстер хочет переделать и улучшить некоторые номера балета. Спектакли были остановлены, и, естественно, балет не был восстановлен и снят с репертуара.

Комиссия по присуждению премий имени Хамзы единогласно присудила Козловскому премию за музыку балета «Тановар». Немедленно сверху поступило распоряжение разделить премию на троих: балетмейстера Николая Маркарянца, дирижера Дильбар Абдурахманову и композитора Алексея Козловского. Комиссия пробовала протестовать, но из этого ничего не вышло.

Хотели мы с Алексеем Федоровичем поехать и посадить куст белых роз на могиле Нурхон, но он заболел, – так и эта мечта не осуществилась.

Радости и печали жизни

Вспоминая жизнь Алексея Федоровича, я хочу рассказать о том, что он любил. Прежде всего – саму жизнь. Ему был отпущен счастливый дар необычайно полно чувствовать всякое соприкосновение с природой, и он умел извлекать из этого радость во все времена года, из смены дня и ночи, из всего, что многие люди принимают равнодушно.

Музыка и поэзия стояли на первом месте, кроме них любил он живопись и всякую пластическую красоту, в чем бы она ни проявлялась. Алексей Федорович любил птиц и животных и знал многое о всякой твари живой. Из животных больше всего – кошек, считая их таинственными носителями какой-то неведомой силы и энергии. Всегда утверждал, что музыканты чаще всего – кошатники и писатели – кошатники. Бывало, что у него жили одиннадцать котов. Один московский сноб, узнав об этом, презрительно сказал: «Откуда такое пристрастие старой девы?» На что Алексей Федорович ему ответил: «А вот у другой старой девы – Эрнста Хемингуэя – их было шестнадцать». Он мог подолгу играть с ними, и они прыгали у него, как кузнечики. Когда он ходил по дорожкам сада, они шли следом за ним вместе с собаками. Кошки чувствовали его особым чутьем. Мы как-то жили в номере на третьем этаже гостиницы «Астория» в Ленинграде. Вошедший однажды служитель остолбенело застыл в дверях, увидев кошку, лежащую в неге на коленях у Алексея Федоровича. «Двадцать с лишним лет служу в «Астории» и ни

разу не видел, чтобы кошка пришла в номер, да еще на третий этаж. Да и вообще никогда не видел здесь кошек». Почему эта ленинградка пришла именно сюда, вошла в приоткрытую дверь и сразу улеглась на колени именно к нему, для нас навсегда осталось тайной.

Такой же, но еще большей тайной стала любовь египетского журавля, опустившегося в сад с отстреленным, кровоточащим крылом. Он сразу сотворил из этого человека кумира, и любовь птицы и все проявления этой любви были настолько удивительны, что осеняли всю жизнь Алексея Федоровича ощущением чуда^[104].

Любил он и звездное небо и с детства знал многие его тайны. Но особенно любил горы. Никогда и нигде Алексей Федорович не бывал таким счастливым. У него менялась кожа не только от здорового воздуха, но от какого-то внутреннего блаженства, и глаза светились юношеским блеском. Каждое жаркое лето он непременно уезжал в горы, где хорошо писались стихи под шум Угама, быстрой реки у подножия селения Хумсан. Однажды вместе со своим другом Виктором Витковичем он проехал верхом 350 километров, взбираясь к высокогорным озерам Киргизии. Посетил он и ореховые рощи Арсланбоба^[105] и наслушался множества рассказов о шаманах и творимых ими чудесах. Вспоминал он потом один необычный колоритный рассказ о шамане, который останавливал снег.

Иногда он делил лето между Хумсаном и Домами творчества в Рузе или «Репино» под Ленинградом. Обычно в Рузе бывало много знакомых, и нередко – самые близкие друзья, такие как Виссарион Яковлевич Шебалин, Сергей Артемьевич Баласанян, Юлиан Крейн и Левушка Книппер. Отношение Шебалина к Алексею Федоровичу было трогательно до слез. И какие он устраивал посиделки по вечерам – тогда часто играла подолгу его ученица пианистка Татьяна Николаева! Невозможно было без сердечной боли смотреть на Шебалина. Что они с ним сделали, те, кто устроил расправу над композиторами!

Под новое постановление попали ведущие композиторы России: Шостакович, Прокофьев, Мясковский, Гавриил Попов. Чуть было не попал Хачатурян и многие, многие другие. Свирепей, чем со всеми, расправились с Шебалиным. Его как ректора Московской консерватории обвинили в том, что он покрыл и себя, и возглавляемое им учреждение позором, покровительствуя расцветшим среди студентов вредоносным и чуждым тенденциям и направлениям, – вместо того чтобы воспитывать их в нужных государству идеалах пролетарского интернационализма и здорового коммунистического оптимистического искусства, нужного нашему народу, Шебалин годами возвращал и поощрял студентов творить под влиянием Запада (конечно, гнилого) вредоносную, никому не нужную музыку. За это растление целого

поколения он должен был быть сурово наказан. Но наказать сверх того, что с Виссарионом Шебалиным случилось, им не пришлось. Тяжелейший инсульт поразил его, и он едва не умер. Разрушения, принесенные его организму, были фатальными. Он навсегда остался инвалидом. Но сломить Шебалина до конца им не удалось, у него не смогли отнять доброту и светлый ум. Чудесный свет доброжелательства к людям и миру исходил от него всегда и неизменно.

Юлиан Крейн, с которым Алексей Федорович подружился во время его эвакуации в Ташкенте, был младшим из династии выдающихся музыкантов Крейнов, украшавших музыкальную жизнь Москвы. Совсем юношей он был отправлен в Париж, где стал учеником Поля Дюка. Его блестящие, редкие музыкальные способности поразили парижан, и парижские газеты того времени писали о появлении нового Равеля. Когда он вернулся домой, в Россию, правоверные композиторы тут же изрядно намяли ему бока, и он, хрупкий, впечатлительный и болезненный, не выдержал этой унижительной творческой порки. Вторым Равелем он не стал, что-то хрустнуло в его неокрепшем, ранимом душевном строе, его блестящий музыкальный дар не расцвел, как ему было предназначено Богом. Крейн сохранил в полной мере лишь свою высокую интеллигентность и совершенно прелестный юмор.

Левушка Книппер, во все времена жизни полный мужественной силы, смелости и несгибаемости характера, всегда вызывал у Алексея Федоровича чувство восхищения, и он всегда любовался им. При одной из встреч в Рузе Лева смешно ревновал своего кобелька Степу, когда тот, едва увидев Алексея Федоровича, тут же бежал и приносил ему тапочки хозяина и клал у его ног. Никогда, никому Степа этого не делал - только любимому хозяину, и Книппер был уязвлен. В сердцах он сказал: «Алешка, я разрешаю тебе отбить у меня любую женщину, а пса не смей!» Они пили водку, вспоминали свою юность, и молодели, становясь порой даже сентиментальными.

Случился однажды в Рузе один забавный случай. Приехал давний приятель Алексея Федоровича композитор Олег Эйгес. Второй день приходил в столовую и Козловского не узнавал. И Алексей Федорович сказал: «Ничего, сегодня он меня узнает».

На даче он сел и написал несколько страниц партитуры симфонии Эйгеса, которую тот ему показал всего один раз тридцать лет тому назад. Придя к обеду пораньше, Алексей Федорович положил партитурные листы на стол, за которым сидел Эйгес. Затем мы увидели, как тот, нагнувшись, читает партитуру и, вскинув затем голову с лицом изумленным и растерянным, стал вглядываться во всех сидящих в комнате. И тут увидел, узнал и бросился к Алексею

Федоровичу. Обнимая, он всё повторял: «Я сразу узнал, что это могли сделать только вы».

После прогулок с больным, постаревшим Гауком Алексей Федорович приходил удрученный и печальный. Маститый дирижер стал едким и желчным. Бранил всех на свете и никого и ничего не любил. От его бывшего интересного, несколько высокомерного собеседничества не осталось и следа, и Алексей Федорович сокрушенно говорил: «Как ужасна озлобленная старость».

Композиторская молодежь, бывавшая в Рузе, явно увлекалась Козловским и всегда пыталась сопровождать его во время послеобеденных прогулок. Один злой человек как-то насмешливо сказал ему: «Скоро будут за деньги продавать билеты, чтобы разговаривать и общаться с вами».

Такое же бывало и в Репине. Там он больше всего общался с Николаем Павловичем Акимовым и Евгением Александровичем Мравинским, когда они там бывали. В последний раз Акимов работал над эскизом декораций и костюмов к постановке «Свадьбы Кречинского» Сухово-Кобылина в Париже на сцене «Комеди Франсез». Как всегда, у этого мастера всё было как-то магически четко и поразительно красиво и изысканно во всех деталях интерьера. Он нам показывал и другие свои работы, и мы очень любили его остроумную речь, парадоксальные повороты мысли. Собирался он написать портрет Алексея Федоровича, но его внезапно вызвали в Ленинград, а мы должны были уехать, не дождавшись его возвращения.

Беседы с Мравинским бывали иногда неожиданно исповедальными. Среди прочего он вдруг признался Алексею Федоровичу в том, что над ним тяготеет, как проклятие, страх эстрады. «Сколько лет дирижирую, пора бы привыкнуть, но каждый раз, когда надо выходить на эстраду, у меня начинают дрожать ноги и что-то сжимается в брюхе. Слава богу, никто этого не знает и не подозревает». В противоположность Акимову, юмором Мравинский как будто не обладал. Речь его очень соответствовала красивой, сдержанной элегантности всего его облика.

Совершенно невозможно представить себе Алексея Федоровича без его чувства смешного. Например, он любил разыгрывать вымышленные сцены, героями которых были невымышленные люди. Его слух улавливал с абсолютной точностью интонации и тембр голоса изображаемых людей. Это не было подражанием, это было как бы живое их существование. В вымышленных обстоятельствах в каждой миниатюре была своя фабула и сквозное действие. Персонажи говорили своими голосами фантастически смешные вещи, и характер каждого вдруг преображался, как в какой-то веселейшей гофманиане. В этих сценах и рассказах никогда не было ничего злого, обидного, неприятного. Слушая придуманные монологи и диалоги, люди смеялись до слез. Одним из лучших его номеров было «Заседание ученого совета Консерватории», где, среди прочего, один профессор по вокалу давал

характеристику своей ученице. Озорная импровизация каждый раз что-то добавляла к прежде созданному. Наш друг Борис Александрович Арапов, хохотавший до упаду от этого представления, сказал ему: «Ты сам не знаешь, какой шедевр сотворил».

Арапов, ленинградский композитор, сам прославился на весь город изображением вспыхнувшей в трамвае ссоры сначала двух, а потом трех людей на несуществующем языке. При каждой встрече он всегда нас потешал этим своим артистическим изобретением и не без гордости говорил, что имел влияние на своего друга Ираклия Андроникова, потому что первый начал изображать дирижера Штидри. Рейнгольд Морицевич Глиэр, узнав, что и он попал в галерею устных новелл Алексея Федоровича, попросил его продемонстрировать. И Алексей Федорович повел рассказ от лица Глиэра, горестно повествуя о том, какие злоключения претерпели узбеки, везшие ему в подарок дыни и набор чайных пиал. И заключил это повествование вздохом и произнесенными с бесподобной глиэровской интонацией, словами: «И дыни пропали, и чашки пропали».

Глиэр очень смеялся, а потом по-детски спросил: «Разве я так говорю?» Многие шутки и смешные анекдоты, придуманные Алексеем Федоровичем, иногда возвращались к нему бумерангом в творчестве других.

Поистине, юмор – это величайшее благословение, отпущенное человеку, ибо именно он – якорь спасения в самые трудные времена человеческой жизни, а в хорошие – украшение нашего существования.

Распад

Трудно сказать, с чего начался распад СССР. Он возник, как за ночь возникает на поверхности земли росток, которого не было накануне. Разгром крестьянства, уничтожение миллионов людей в лагерях, ссылках, на поселениях, обреченных на гибель и вымирание, было первым ударом. Затем Мировая война, обескровившая страну, у которой лишь чудом хватило духовных и физических сил восстановить великие разрушения, нанесенные войной. В народе у большинства вдруг появилась вера, что теперь в жизни будет иначе, лучше и свободней. Но ничего не изменилось, машина угнетения работала с прежней силой. И энергия людей пошла на убыль, и их покинула надежда на лучшую жизнь.

Сверху недреманно и жестко управляли всеми аспектами сельской жизни. Управляли чаще всего бездарно, безалаберно, во вред всем. И крестьяне, обреченные жить безрадостно и скудно, потеряли радость

от труда, ставшего барщиной, разлюбили землю. Всё чаще заколачивались дома, люди уходили в город. И деревни стояли сиротеющие, хиреющие в бедности: людей постепенно покидало простое чувство счастья и радости существования. И закачалась тогда под ногами земля у мужчин и женщин от тяжкого беспробудного пьянства. И наступил на Руси праздник, разливанный «праздник Пимена Гулливого, Лентяя Преподобного^[106]».

В городах распад шел своим путем. С нарастающей быстротой началась утрата чувств и нравственных устоев, считавшихся незыблемыми у всего человечества. Коррупция и бесчестность всё большему числу людей стали представляться нормой жизни. Стяжательство порождало неслыханное равнодушие ко всему вокруг и жило своей жадной утробной жизнью. Люди перестали стесняться и не скрывали самых постыдных чувств и поступков. Вероятно, не было ни одного советского учреждения, где не бушевала бы ненависть и где не было бы склок, где все средства сживания со света, с постов, как и средства духовного унижения противников сплоченных кланов цвели пышным цветом – низости и безнаказанности.

Алексей Федорович сполна вкусил этой отравы. Он хорошо знал, что чем мельче и ничтожней те, кому ты неугоден, тем свирепей и беспощадней будут их удары и способы унижения и уничтожения. Кроме духа, у человека есть его кровеносная система, которая питает этот дух. У Алексея Федоровича кровяное давление становилось всё выше и выше, и он жил и работал на пределе дозволенного человеку, и грозная опасность конца нависла над ним.

Конец

Мы с тобой одной крови, ты и я.

Редьярд Киплинг

Вернувшись однажды с прогулки, Алексей Федорович мне вдруг сказал: «Давай напишем с тобой балет «Маугли»». «А как же «Новогодний сон Ганса Христиана Андерсена»?» – спросила я. Я так любила это свое произведение и так хотела, чтобы Алексей Федорович начал писать музыку на это либретто. Но даже после одобрения Юрия Григоровича он всё медлил, медлил. Когда он как-то просматривал присланные из Скандинавии сборники скандинавской музыки, я услышала, как вдруг он сказал: «Боже, какая преснятина!» – и я почувствовала, что «Андерсену» не быть. Когда он предложил писать «Маугли», я снова спросила: «А как же наш «Андерсен»?» И вдруг он мне сказал почти виновато: «Твой «Андерсен» хорош, но у него нет Индии».

Индия! Снова Индия, страна, где обитает околдовавшее его очарование. Я всё поняла и, готовая было уже расплакаться, вдруг радостно ему ответила: «Хорошо! Я напишу тебе твоего «Маугли!»». Книга Киплингa стала лучшей детской книгой века. И пока в мире существует детство, ей суждено жить и быть любимой. А для взрослых это произведение является воплощением великой поэтической силы и художественной красоты.

Писала я либретто на одном дыхании, увлеченно и легко. В конце я придумала финал – «Встреча и уход Маугли и девушки к людям», – где композитору была предоставлена полная возможность показать свою Индию в полном ее многообразии. Затем мы втроем вместе с бывшим учеником, ставшим впоследствии нашим приемным сыном, Борисом Дубровиным^[107], сидели часто по вечерам в саду и искали и придумывали, какими хореографическими и сценическими приемами надо воплощать звериный лесной мир. Это было увлекательно и сложно, ибо люди, играющие зверей, должны были обладать особой пластикой и найти новый стиль сценического поведения. Как тут не хватало Касьяна Ярославича с его могучим хореографическим воображением! Он бы, конечно, нашел все элементы для решения этой художественной задачи.

Однажды утром, поднявшись на шипанг, я увидела Алексея Федоровича сидящим неподвижно на постели. Его лицо поразило меня. Я никогда не видела у него такого выражения – самоуглубленная сосредоточенность, изумленное и счастливое выражение отрешенности и видения чего-то, что открылось ему. Всё это сложное переживание словно сковало его в какой-то отстраненности и отрешенности почти неподвижного взгляда. Когда я позвала его, он, очнувшись, сказал мне: «Сегодня я услышал чудо. Птицы, запевшие утром, распахнули мир какой-то удивительной политональности, полиритмии и тембровых чудес, каких я не слышал никогда. Мне открылось нечто, какое-то откровение, и я его запомнил. Я напишу своего «Маугли». Это будет самое дерзновенное мое произведение. У меня будет особый, совсем особый состав оркестра, свои особые инструменты. Вот увидишь!»

Но увидеть не пришлось. Гипертония все больше подымала кровяное давление, и оно словно боролось с его охваченным вдохновением духом. Борьба оказалась неравной: победила смерть. Но Козловский до конца был верен своей сути. За два часа до того, как потерять сознание навсегда, он с блестящими глазами рассказывал и показывал одному своему ученику, как надо понимать и дирижировать какое-то место в одной из симфоний Бетховена.

Не бывает человеческой жизни безмятежной, без горестей и печали. Алексей Федорович многое испытал и пережил. Он знал несбыточность мечтаний и боль великих утрат. Он знал, какими бывают обиды и какими бывают люди, их причиняющие. Он узнал и измену любимого друга, и страдания долгой болезнью. Но он был и счастливым

избранником музыки, которая была подвластна ему. С нею Козловский пришел в этот мир, и она осталась с ним до конца.

А. Ф. К.

«Скажи, ведь будут еще у нас с тобой счастливые, солнечные деньки?» – Последние слова

В дождях весны распахнут полдень,
И мокрый лист дрожит, как горло птицы.
Зеленый мир, раскачанный ветрами,
Дыша цветами, травами, водой,
Несет раскаты птичьих состязаний.
Вдруг... заколдованность... внезапность,
И только иволга и дрозд поют,
И им одним подвластны день и воздух.
От радости глаза наполнятся слезами,
А дрогнувшие губы повинно шепчут:
«Прости мне, милый, что я еще живу!»
И снова сердце мне сокрушает смерть
Со всею силою земного окаянства.
Ты мой Орфей! Но ныне не тебе, а мне,
Умолкшей Эвридике, Тебя вести
Из мрака и забвенья. Рок так велел.
И ты за мною, по моим следам
По дебрям памяти ступаешь
Сквозь свет и тень, сквозь тень и свет
Того, что было...

Восточный полдень Анны Ахматовой^[108]

Память сердца – милость, дарованная нам, когда над любовью и дружбой не властно время.

Мы сами непричастны к тайной жизни наших воспоминаний и не можем объяснить, почему одно живет, а другое исчезает. И всё же есть встречи, дружба и любовь, когда кажется, что помнишь всё.

Хочется рассказать хоть немного, чтобы и другие прикоснулись к чуду явления, каким была Анна Андреевна Ахматова. Рассказать о ее днях и мыслях, с которыми она жила и которые осветили и нашу жизнь, и общение с нею.

Существо это странного нрава,

Он	не	ждет,	чтоб	подагра	и	слава
Впопыхах			усадили			его
В		юбилейные		пышные		кресла,
	А	несет	по	цветущему		вереску,
По		пустыням		свое		торжество.

«Поэма без героя»

Портреты Ахматовой

Красота Ахматовой – вечная радость художников! Свидетельство тому – целая галерея портретов! Во всех возрастах Ахматова была прекрасна. И даже в старости, отяжелев, она приобрела какую-то новую, величавую статуарность.

Каждый художник видел и запечатлевал Ахматову по-своему. На полотнах поэт предстает во всем многообразии обликов: в разных освещениях проступают различные грани характера и личности. Иконография ее огромна, и если девятнадцатый век дал самую большую иконографию лорда Байрона, огромное количество портретов Ференца Листа, то у нас, в России, стране великих прозаиков и поэтов, ни одному из них не посчастливилось иметь столько живописных портретов, как Анне Ахматовой.

Каждый, с кого писали портреты, знает то особое чувство, которое возникает между моделью и художником. Это очень своеобразный, отличный от всех других вид человеческого общения. Ахматова передала это так:

Там	комната,	похожая	на	клетку,
Под	самой	крышей	в	грязном, шумном
Где	он,	как	чиж,	свистал перед
И	жаловался	весело,	и	грустно
О	радости	не	бывшей	говорил.
Как	в	зеркало,	глядела	я
На	серый	холст,	и	с
Все	горше	и	страннее	было
Мое	с	моим	изображеньем	новым.
Теперь	не	знаю,	где	художник
С	которым	я	из	голубой
Через	окно	на	крышу	выходила
И	по	карнизу	шла	над
Чтоб	видеть	снег,	Неву	и
Но	чувствую,	что	Музы	наши
				дружны

Беспечной и пленительную дружбой,
Как девушки, не знавшие любви.

«Эпические мотивы»

Среди портретов Ахматовой соседствуют работы различных мастеров. Здесь и портрет ленинградской художницы Делла-Воскардовской, и работы Амедео Модильяни, и Петрова-Водкина, и общеизвестные полотна Альтмана, Тырсы, Тышлера и других мастеров. Много и великолепных фотографий, но ни на одной из них не запечатлено самое удивительное выражение ее лица, которое появлялось, когда упоминались имена поэта Иннокентия Анненского и Михаила Булгакова. Воспоминания о них придавали ее лицу чудесное, нежное, слегка отрешенное выражение. Мне почему-то казалось, что в основе этого лежало особое чувство преклонения, с которым она к ним относилась.

У нее были маленькие, необыкновенно красивые руки, чей характерный жест слегка наметил на своем портрете Модильяни. Глаза ее были то синими, то серыми, иногда голубыми с фиалковым отсветом, как у ребенка после сна.

Голос был низкий, и часто, когда Ахматова начинала читать стихи, она не соразмеряла высоту, брала слишком низко и задыхалась к концу, уставала.

Ярость поэта

Довольно скоро после своего приезда в Ташкент Анна Андреевна обросла роем женщин, которых Алексей Федорович прозвал Ахматиссами. Часть из них, меньшая, состояла преимущественно из молодых девушек, искренне и по-настоящему любивших ее поэзию, и они с робким обожанием смотрели «на живую Ахматову».

Вторую часть представляли снобистические втируши. Они под любым предлогом хотели быть «около Ахматовой».

Третьи, чаще всего глупые и сентиментальные женщины, считали, что Ахматова – единственная достойная их исповедальня, где они могут изливать свои чувства и горести любовных неудач. Эти были на редкость бестактны и надоедливы.

Однажды мы застали Анну Андреевну в ярости. С красными пятнами на щеках она ходила по комнате, держа какое-то письмо, и восклицала: «Нет, это что такое! Что это такое? Я вас спрашиваю!» – и сунула мне в руки пространное послание. По своей бесстыдной доверительности оно превосходило все нормы примитивного приличия.

Авторша с потрясающей вьедливостью вторгалась в интимную жизнь Анны Андреевны и отождествляла ее со своей, так сказать, на равных. Вся бабья дурь, пошлость и наглость были выложены сполна, и я вполне поняла гнев Ахматовой.

Вдруг она яростно сказала: «Это всё равно, что написать Бабановой: «Говорят, что вы живете с дрессировщиком собак, это ничего, я сама живу с сутенером»». Неожиданно раздался громкий хохот Алексея Федоровича, аплодисменты и его крик: «Браво, Анна Андреевна, так их, так их!» Ахматова застыла и вдруг громко рассмеялась вместе с нами.

«Ах, если бы вы знали, как я люблю Ахматову и как ненавижу Ахматисс», – сказал он ей в тот вечер.

Когда Ахматова приходила уставшая и невеселая, он спрашивал ее: «Что, опять Ахматиссы?» – а она, бывало, только махнет рукой.

И это – при ее охлаждающей замкнутости и недоступности с незнакомыми людьми всех возрастов. Недаром многих охватывали смущение и оторопь немоты. Больше всего Ахматова ненавидела фамильярность и амикошонство. Не допущенные в ее мир мемуаристы теперь берут реванш за прежний запрет и фамильярничают с тем, к чему они при жизни Ахматовой не были причастны.

Война. Добро и зло

Как трудно описать дружбу! Она состоит из такого множества прелестных примет, но все они так эфемерны и летучи. Казалось бы, не удержать их, как воду в горсти, – но плавясь, они не испаряются, а превращаются в бесценный слиток чистейшей пробы. Как мне кажется, две радости лежат в основе истинной дружбы – радость доверия и радость узнавания. Доверие приоткрывает душу, а узнавание, становясь все глубже, длится, пока жива дружба и сообщает малейшим ее проявлениям особую ценность. Мне бы не хотелось, чтобы мои воспоминания создали впечатление, что мы только и делали, что говорили об искусстве. Мы жили в войну, жизнь становилась все трудней для нас, не приспособленных к борьбе с голодом и бытовому неустройству. Голод был, прошел и забылся. Но есть два дня, которые я не могу вспоминать без душевного волнения.

Как-то мы ушли из дома, забыв закрыть окна. Когда вернулись, то увидели на подоконнике плитку шоколада. Это приходила Анна Андреевна, положила и ушла. Это она – блокадница, знавшая голодные видения, принесла шоколад и, верно, радовалась, что не застала нас дома.

Второй случай был такой. До войны пришла как-то раз к нам молодая женщина. Она пришла показать Алексею Федоровичу свои эквиритмические переводы нескольких арий из оперы «Лейли и

Меджнун» Рейнгольда Морицевича Глиэра. Сделаны они были профессионально, но ретивые переводчики решили отбить для себя заработок и начали третировать тихую застенчивую женщину. Алексей Федорович просмотрел ее работу, кое-что посоветовал, написал в издательство письмо, и Глиэр был издан в ее переводах.

Прошло около трех лет. Война была в разгаре, и мы вступили в самую трудную полосу нашей жизни. Чтобы выжить, надо было что-то продавать из вещей, как делали многие, на Алайском базаре. Это было очень трудно, мучительно и стоило большого напряжения. И вот стою я на базаре и держу в руках любимое свое платье. Покупателей не было, а дома жили надеждой, что я хоть что-то принесу. Вдруг какая-то женщина взяла в руки платье, но, взглянув на меня, она растерянно воскликнула: «Как? Это вы?! Боже мой, боже мой! Неужели так плохо?!» – и быстро заговорила: «Милая, идите домой. Вот, возьмите, сколько у меня сейчас с собой, остальное я принесу вам домой вечером». Вероятно, я была очень бледна, потому-то она так настойчиво торопила меня домой.

Пришла она в сумерки, и за ней какой-то паренек внес в дом огромный мешок, полный всякой снеди. Гася наше изумление, она торопливо объяснила, что ее муж – директор какого-то крупного завода под Ташкентом, что они получают отличные пайки и чтобы мы, бога ради, не смущались.

Настала моя очередь глотать непрошеные слезы, а она смотрела на меня почти виновато своими добрыми газельими глазами.

Она ушла, просидев весь вечер с нами, ушла, и мы никогда больше ее не видели.

Война. Эвакуация. Тыл. Жизнь, разъединившая Россию надвое – на сражающихся и спасающихся (а также спасаемых). Эта жизнь совершалась в какой-то гофманиане^[109] небывалых бед и страданий. Она объединяла осиротелых, потерянных людей в условиях голода, холода, неустроенности и вечного страха за собственное выживание и за близких там, в ужасах войны. Боль ежедневно сжимала сердца; казалось, что в мире остались только муки. И тут произошло поразительное обнажение человеческой сущности. Одни остались людьми с добротой и состраданием, ничего не утратив от своей нравственной сущности. Другие, чаще всего принадлежавшие к элитарным слоям интеллигенции, кого считали гордостью, совестью и честью нашего общества, вдруг теряли всё. Для них существовали только они сами, только их собственное утробное существование. Они рвали всё и у всех.

Как-то я с грустью заговорила об этом с Анной Андреевной, и она с той же грустью сказала: «Да, есть люди, у которых вместе с подошвой и душа отвалилась».

Случилось мне однажды увидеть у Анны Андреевны влажные глаза. Ксения Георгиевна Держинская, прекрасная певица Большого театра и

лучшая дева Феврония в опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», была и в жизни такой же светлой и душевной, однажды на трамвайной остановке увидела стоявшего на костылях кашляющего молодого солдата. Он был слеп. Держинская помогла ему подняться на площадку второго вагона. Со свойственной ей добротой и ласковой участливостью она заговорила с ним. В отчаянии юноша сказал, что ослеп навеки, что жизнь его кончена. Артистка спросила его, не пытался ли кто вернуть ему зрение. «Только Филатов бы мог, но он для меня недоступен», – горько сказал молодой человек. Ксения Георгиевна отвела больного к своему другу Владимиру Петровичу Филатову. Он положил ослепшего солдата в свою клинику и вернул юноше зрение. Когда я рассказала об этом Анне Андреевне, она, закрывая ставшие влажными глаза, несколько раз выдохнула: «Ах, как хорошо, ах, как хорошо!»

О писателях

В своих суждениях о писателях Анна Андреевна не была чужда некоторого максимализма и непостоянства. Так, когда ей дали впервые прочитать «Прощай, оружие» Хемингуэя и спросили, что она думает о писателе, она сказала: «Просто обыкновенный гений». Говорят, годы спустя она невзлюбила Хемингуэя и отказывала ему в достоинствах. Хотя этому противоречит множество эпитафий, которые она брала у писателя.

Она была удивительно пристрастна к Толстому за «Анну Каренину». Ахматова упрямо не могла простить его внутреннего осуждения Карениной. И ни эпитафия к роману^[110], никакие доказательства не могли ее переубедить. Она считала, что в глубине души Толстой был врагом женщины, ушедшей от мужа. Она говорила: «Да, он, конечно, гениален, но...»

В противоположность Толстому Ахматова с какой-то петербургской страстью любила Достоевского. Его Петербург и гоголевский зыбкий петербургский мир были словно ее почвой, на которой Ахматова воздвигла свой Петербург, полный ветром, облаками, деревьями и величавой пленительной красотой.

К Гоголю она часто возвращалась и видела в нем обладателя самого фантастического, самого фантазмагорического взгляда на жизнь и людей, когда-либо бывшего в России.

Не любила Ахматова и Чехова. Она говорила: «Была великолепная жизнь, как прекрасна всякая жизнь, дарованная, чтобы ее прожить. А Чехов словно закутывает всё в серый камень. Всё у него скучно, и люди – серые и носятся со своей скукой и тоской неизвестно почему. И живут, не зная жизни».

В противоположность Цветаевой она не любила Брюсова. Разнося его в пух и прах, Анна Андреевна была и забавна, и неистощима: «Скажите, разве это поэт, который говорит себе: «Сегодня я должен написать два сонета, три триолета и один мадригал. Завтра мне надо написать балладу, романс и три подражания древним»?» Это «надо» и «должен» обыгрывались ею очень смешно. Ее не трогали ни эрудиция, ни ум Брюсова. Она предпочитала образованность иного склада, например как у Вячеслава Иванова.

О Блоке говорила редко. Он был для нее бесспорной очевидностью. Но существовало еще что-то неуловимое, скрытое в ее отношении к Блоку. Однажды я оказалась свидетельницей сцены, когда Ахматова, как говорится, взорвалась. Одна ее посетительница поведала, что в лекции, которую она только что прослушала в университете, лекторша рассказала о романе Ахматовой и Блока. «Боже! – почти закричала Ахматова. – Когда кончится эта чушь и вздор! Никогда не было никакого романа, ничего похожего на него!»

Посетительница пролепетала: «А как же стихи?»

«А поэтам свойственно писать стихи», – с убийственной иронией ответила Анна Андреевна. И вдруг, какое-то время спустя, Ахматова неожиданно сказала: «У него была красная шея римского legionера».

Одна из великих ее привязанностей – Осип Мандельштам. Она была беззаветно ему предана. Любила и высоко ценила его стихи, любила его веселый и остроумный нрав и дружбу его ценила как счастливый дар судьбы. Ахматова вспоминала о нем как о самом блистательном, самом верном, самом беззащитном человеке, горьком и трагическом поэте нашего времени.

Не было у Осипа Мандельштама большего друга, чем Анна Андреевна, и он это знал.

К Пастернаку было особое отношение, очень дружественное, с оттенком порой, я бы сказала, восхищенного изумления. Ахматову неизменно радовали стихи Пастернака. Они всегда были с ней. И если жизнь сложилась так, что встречи их не были так часты, как с Мандельштамом, то бывали всё же времена и периоды московской жизни, когда Борис Леонидович заходил к ней почти каждое утро.

Не забуду лица Анны Андреевны, когда она получила письмо Бориса Леонидовича, где говорилось о том, что он только что прочитал «Поэму без героя» и как взволновала его поэма. Это было удивительное пастернаковское письмо, полное хвалы и восхищения, и Ахматова читала его, растроганная, гордая и счастливая^[111].

Помнится, при нас Анне Андреевне принесли телеграмму от М. Лозинского «Сегодня кончил «Рай»^[112]. Она просветлела, затем грустно сказала: «Вот какой блистательный переводчик, на радость людям, а ведь был поэт, писавший хорошие стихи. Поэтам опасно становиться переводчиками, они что-то в них пожирают». И вдруг: «Вот и Пастернак слишком много переводит, и мне жаль».

Великая культура и высшие духовные богатства присущи ей как дыхание, речь или походка. Духовность и культура пришли к ней путями, ведомыми только гениям, в противоположность усидчивому и долгому накоплению знаний просто образованных людей. Это и составляло пленительную и ошеломляющую красоту ее личности.

Трех кумиров пронесла Ахматова через жизнь, отдавая им жар поэтического восхищения и вдохновенного постижения: Данте, Шекспира и Пушкина. Данте она читала в подлиннике, каждый раз черпая из него музыку и глубокую мудрость.

Шекспира Ахматова читала на английском, и весь его огромный мир был ясен ей и ведом до последней строчки. Темные места его архаизмов прочитывались ею легко и без задержки, без помощи лингвистов-англичан. Это редкостное чутье и понимание всегда поражали. Анна Андреевна в сфере «своего» Шекспира была ослепительна. Однако английское произношение ее было неважным и часто непонятным, на мой слух. Ей же нравился мой английский язык, и она довольно часто просила читать ей Шекспира вслух.

Мы очень любили перечитывать начало пятого акта «Венецианского купца» с удивительными стихами Лоренцо и Джессики: «В такую ночь печальная Дидона с веткой ивы стояла на пустынном берегу». Я часто думала, не эти ли строки Шекспира заморозили Ахматову, так как образ Дидоны не раз встречается в ее стихах, хотя «Энеида» была всегда под рукой. Ахматова довольно равнодушно выслушивала мои рассказы о шести великих Гамлетах, виденных мною на английской сцене.

Анна Андреевна сказала о женском поэтическом творчестве, что за всю жизнь она встретила только двух абсолютно подлинных поэтов – Марину Цветаеву и Ксению Некрасову. (Кстати, она не признавала слова «поэтесса». Всегда говорила: «поэт».) Бесспорность Цветаевой была очевидна, но появление Некрасовой многих поставило в тупик.

Некрасову, трудную и не похожую на других, Ахматова очень ценила, верила в нее и многое ей прощала. Бедную, голодную, затурканную, некрасивую и эгоцентрически агрессивную Некрасову легко было высмеять и оттолкнуть. Но Анна Андреевна прощала Ксении все выходки, видела ее внутренний поэтический мир. Дар Некрасовой Анна Андреевна воспринимала как причудливое дерево, выросшее в загадочном лесу. Да и сама Некрасова была словно дитя, вышедшее из этого леса, мало что знавшее о людях и еще меньше – о себе самой. Подобно Вилье де Лиль-Адану, Ксения любила создавать себе родословные. Но если француз придерживался одной версии (потомок королей Южной Франции), то Некрасова свои версии забывала. Однажды она сказала моему мужу, что она дочь Григория Распутина. Наивная самозванка и не подозревала, что настоящая дочь Распутина была известной укротительницей львов и долго и с успехом выступала в цирках Европы и Америки.

Как-то к нам пришел флоберист Эйхенгольц. Среди разговоров Алексей Федорович спросил его, не страшно ли ему было взяться за перевод «Иродиады»^[113] после Тургенева? Ученый спокойно и невозмутимо ответил, что у Тургенева перевод свободный и неточный, а его – точный.

Через день пришла Ахматова, и как-то сам собой вспомнился разговор с ученым-флоберистом. К моему удивлению и огорчению, высказывания Анны Андреевны о Тургеневе носили тот же самый оттенок снисходительности, полууважительности, которые свойственны именно русским, как современникам, так и многим потомкам. Кроме поколения, возведшего Тургенева в кумиры еще до «Отцов и детей», сколько русских литераторов и мемуаристов с удовольствием щипали его за икры, начиная от пожизненной неприязни Льва Толстого до женского шипения Панаевой! Все они искали изъяны в характере и поведении Тургенева.

Я высказала Анне Андреевне свои огорчения и сказала: «Всю жизнь удивляюсь тому, что ни один литературовед не написал исследования «Тургенев глазами русских и великих деятелей европейской культуры». Ведь каким неоспоримым авторитетом, непререкаемым мэтром, высокой личностью был наш Тургенев для Флобера, Гонкуров и всех французских писателей младшего поколения. Почти нет современника на Западе, который, встретившись с Тургеневым, не оставил бы записей, полных удивления и восклицаний. Как благодарно писал о нем Генри Джеймс, признавая плодотворность влияния Тургенева на свое творчество! Всех не перечесать. Но это несходство отношений к Тургеневу там и тут, у своих соотечественников, всегда поражает!»

Анна Андреевна не рассердилась на мою запальчивость и, смеясь, сказала: «Ну, вот вы и напишите эту книгу».

Но где мне, литературоведу без доступа к материалам, было подумать о таком начинании!

Разговор о Тургеневе сам собой перешел на Виардо. Заговорили о порабощении страстью, о разных формах неравенства в любви, о ее слепоте, порой роковой.

Легендарно постыдная жадность Виардо к деньгам всегда отвращала, и я излила всю свою неприязнь к ней. Чтобы смягчить мое ожесточение, Алексей Федорович сказал: «А знаете вы, что у Виардо был прелестный композиторский дар? Сейчас я вам покажу».

И, сев за рояль, он спел романс на стихи Пушкина на русском языке. Действительно, очаровательный романс. Алексей Федорович обратил наше внимание на естественность и свободу, на безупречность русской речи. Лукаво добавив, что сама Виардо была очень талантлива, у нее были сверх того два небесталанных редактора: литературный – Тургенев, музыкальный – Франц Лист.

Анна Андреевна тут же заинтересованно спросила Алексея Федоровича, откуда ему известен этот романс (к стыду своему, не

помню уже сейчас, какое именно стихотворение Пушкина это было). И Алексей Федорович рассказал, как в детстве к ним в дом приходила и дружила с его братьями известная камерная певица Мусатова-Кульженко. Братья много ей аккомпанировали, даже на концертах. Она была известна как превосходная исполнительница Клода Дебюсси. Мусатова-Кульженко долго жила в Париже. Дебюсси очень ценил ее и не раз аккомпанировал ей свои произведения на сольных концертах певицы. Не знаю точно, от кого, но Мусатова-Кульженко, будучи вхожа во многие русские дома, где-то услышала этот романс Виардо. Она переписала его и часто пела. Алексей Федорович сказал, что даже помнит формат переписанных листов.

Как-то разговор зашел о Дебюсси. Анна Андреевна сказала: «А я была с ним знакома». Едва Ахматова заговорила о Дебюсси – одном из самых любимых композиторов Козловского – и он стал ее расспрашивать, разговору помешал стук в дверь: мужу принесли повестку в военкомат, и Дебюсси был забыт.

Много лет спустя в Москве при встрече с Анной Ахматовой произошел волнительный для Алексея Федоровича случай. На вопрос Анны Андреевны, чем он занимается в последнее время, Алексей Федорович ответил: «Недавно дирижировал симфонию Франка, и Дебюсси – «Послеполуденный отдых фавна», «Празднества», «Облака», и собираюсь играть «Море»».

И тут Ахматова рассказала, как однажды во время банкета, который давал знаменитый дирижер Кусевицкий в честь французского композитора Дебюсси, рядом с Анной Андреевной весь вечер сидел Дебюсси. В конце он подарил Ахматовой музыку своего балета «Мученичество святого Себастьяна», сделав на партитуре дарственную подпись. Постановка этого балета в Париже прошла не без скандала. Себастьяна танцевала Ида Рубинштейн, и архиепископ Парижский метал громы и молнии: в проповедях своим прихожанам он взывал не смотреть на кощунство гнусного безбожника Д'Аннунцио^[114].

И вдруг Анна Андреевна, повернувшись к Алексею Федоровичу, сказала: «Я вам подарю партитуру Дебюсси».

И, улыбаясь, подошла к телефону, набрала номер своей ленинградской квартиры и, указав Ирине Пуниной^[115], где лежат ноты, велела немедленно выслать их в Москву Ардовым. Козловский был счастлив! Но как же опечалились они оба, когда на следующий день из Ленинграда ответили, что ноты не нашлись.

Просто там Ахматову ослушались, не захотели отдать уникального дара.

Как плачут статуи

В один из наших приездов в Ленинград Алексей Федорович целый день бродил по кладбищу Александро-Невской лавры. Накануне выпал снежок, а днем потеплело, и снег стал таять.

Когда муж подошел к памятнику Чайковскому, то увидел, как снег медленно тает на бровях и ресницах статуи и капли тихо стекают по щекам, будто Петр Ильич плачет, горестно глядя на светлый день.

Придя вечером к Анне Андреевне, он взволнованно рассказал, как поразило его плачущее надгробье. Очевидно, образ этот вошел в дрогнувшее сердце поэта и годы спустя вылился в гениальные стихи ее «Реквиема»^[116].

Пенициллин

Недалеко от Жуковского, 54, напротив, в переулке, был особняк ученого Громова, где в эвакуации жила Надежда Алексеевна Пешкова, вдова сына Горького Максима. Горький прозвал ее Тимошей, и многие позабыли ее имя и отчество. У нее, в доме Громова, иногда бывала Анна Андреевна, которая называла Надежду Алексеевну самой роковой женщиной нашего времени. В Тимоше самой по себе не было ничего рокового. Очень привлекательная, милая женщина, она многим нравилась. Роковым было другое. Роком Надежды Алексеевны стала зловещая фигура Ягоды^[117], всемогущего предшественника Ежова и Бери. Недреманное око влюбленного ревнивца следило за каждым шагом Тимоши. Каждый человек, который приближался к Надежде Алексеевне и мог ей понравиться, исчезал бесследно и навсегда.

Однажды в присутствии Ахматовой зашел разговор о чудесах только что вошедшего в употребление пенициллина. И Тимоша горестно воскликнула: «Подумать только, если бы тогда был пенициллин, Максима можно было бы спасти, и он был бы жив!» Тогда Анна Андреевна сказала: «А как же в газетах писали, что его погубили враги народа?»

Вдова вспыхнула, растерялась и быстро перевела разговор на другую тему. Она забыла, что Ягода эту смерть сделал предлогом для очередной волны политических репрессий.

Судьба одной книги

Однажды Анна Андреевна рассказала, что накануне в одном доме Алексей Николаевич Толстой напомнил забавный случай с книгой. Во время Первой мировой войны 1914 года молодой Толстой подарил свою раннюю книжку Ахматовой и Гумилеву с дарственной надписью им обоим.

Во время революции при переездах Анна Андреевна книжку потеряла. Много лет спустя Алексей Николаевич Толстой, роясь в букинистическом магазине, неожиданно нашел эту книгу. Он купил ее и снова подарил Ахматовой.

Потом я узнала, что по возвращении в Ленинград после блокады Ахматова не обнаружила ее в оставленной квартире.

Кто знает, не объявится ли снова эта книжка в руках библиофила, или ей было суждено согреть недолгим теплом чью-то остывающую жизнь.

Музыка и жизнь

Несмотря на очень тяжелое время войны, в доме нашем шла интенсивная творческая жизнь. Писалась музыка, ставилась наша опера «Улугбек». Люди шли к нам во множестве, самые разные. Шли те, кто ничего не уступал и не отступил от своей духовной сущности. И даже гофманиана нашей порой фантастической жизни не принижала, не уничтожала нас, а лишь усиливала и обостряла наше чувство времени, что тоже дар, который надо хранить.

Вот в эти времена привела к нам Анна Андреевна Фаину Георгиевну Раневскую. Привела послушать только что написанную Алексеем Федоровичем музыку «Пролога» к «Поэме без героя». Алексей Федорович много раз обсуждал с Ахматовой порядок и отбор стихов. Получил ее благословение, и когда закончил, то Анна Андреевна написала своей рукой на первой странице нот строки начала «Пролога».

Я пела Ахматовой «А я росла в узорной тишине»^[118] и «Царскосельскую статую», романсы, положенные на музыку Алексеем Федоровичем. На первых страницах нот написаны оба эти стихотворения рукой Ахматовой. Она приняла и полюбила музыку Алексея Федоровича и, когда приходила к нам, не раз просила меня петь эти романсы.

Сначала я волновалась, боялась петь Ахматовой ее же стихи. Но она всегда была очень ласкова ко мне и добра, и постепенно я поборола свою робость, и даже присутствие Раневской меня не смущало.

Кстати, о робости. С людьми, знакомящимися с Анной Андреевной, случалось почти всегда одно и то же. В первые минуты и люди почтенного возраста, и молодые, знаменитые и незнаменитые, робели, лишаясь обычной непринужденности. И пока Ахматова молчала, ожидая, что скажет пришедший, молчание бывало даже мучительным. На моих глазах только Алексей Федорович не сробел. Потом как-то об этом зашел разговор, и Ахматова сказала (помню почти дословно): «Да, вот почти всегда так, но это случается только с теми, кто слышал мое

имя. Когда же я еду, скажем, в поезде и никто меня не знает, все чувствуют себя со мной легко, свободно. Бабы потчуют меня пирожками и рассказывают, сколько у них детей и чем они болеют. Мужчины запросто рассказывают анекдоты и всякие истории из своей жизни. И никто никого не стесняется, и никто не робеет».

В результате многие, кто дальше первого знакомства не пошел, говорили, что Ахматова надменна и неприступно горда. Мне же кажется, что это был защитный плащ Ахматовой. Она хорошо знала, как легко и часто люди склонны навязываться при первой же встрече, любопытствовать, выпрашивать и т. д.

Вот, вероятно, почему ею ставился заслон как самозащита.

К сожалению, теперь этот заслон исчез и многие фамиллярничают, вторгаются в личную жизнь Анны Ахматовой. Они так и не постигли ее поистине удивительную доброту, ее редкую и мудрую снисходительность к человеческим слабостям (но не подлостям). Как она бывала прекрасна в доверчивом человеческом общении, когда ее ум, блеск, обаяние изливались пленительно свободно и легко!

Как хорошо слушала она музыку!

Она каждый раз просила Алексея Федоровича играть ту или иную вещь, что он при своей редкостной памяти делал легко и просто.

И когда появилась Раневская, музыки не убавилось – прибавилось смеха, словно и дома стало в три раза больше людей.

«С вашего позволения – я родила двойню», – этой фразой упивалась вся театральная Москва, когда Фаина Георгиевна Раневская играла в оперетте «Жирофле-Жирофля» в Камерном театре в постановке Таирова. Огненно-рыжая, громогласная, ослепительно гротескная, она играла и словно увлекала всех в неудержимый вихрь смеха. Фаина Георгиевна – не только поразительная многогранная актриса: она была также удивительным человеческим явлением. Ее ум, оригинальный, очень индивидуальный, был единым в общем строе спонтанных страстей и оценок.

Все в ней было ярко, насыщенно, эмоционально, непосредственно – своеобразнейший характер. Она всегда была озорница, и никто не мог предугадать, что воспоследует через минуту. Юмор ее бил фонтаном непредсказуемого великолепия. Мы очень ею увлекались как актрисой и совсем юными бегали в Камерный театр, когда она там играла. Спектакль «Жирофле-Жирофля» был украшением театральных сезонов тех дней.

Только один раз я видела Раневскую, утратившую чувство юмора. Тогда она пришла ко мне и грустно сказала, что у них с подругой, у которой ребенок, совершенно нет денег, а ребенку нужно купить молока. Она знала: мы спасались тем, что я вынуждена была продавать все, что могла, из своих вещей на знаменитом в Ташкенте Алайском базаре. Там образовался своеобразный клуб, где эвакуированные из разных городов женщины – актрисы, музыкантши, жены писателей –

продавали свои вещи, так как пайков не хватало. Многие знали друг друга, но и незнакомые здоровались. Часто, стоя по щиколотку в грязи, можно было услышать трогательнейшие восклицания: «А помните, как дирижировал Штидри?! А какой был замечательный скрипач Куленкамф! А Бабанову помните?..» «Если вы собираетесь завтра на базар, можно я, милочка, пойду вместе с вами, чтобы не так страшно одной?» – попросила Раневская. (Кстати, я заметила, что по имени-отчеству она называла только Анну Андреевну, остальных же – «мой дорогой», «моя дорогая», «милочка».)

На следующий день она пришла, держа перекинутого через руку довольно облезлого белого песка, из-под которого стыдливо выглядывало два розовых лифчика. И мы отправились на торговую голгофу. Торговля была в разгаре. Мы встали скромно в углу. Фаина Георгиевна явно страдала и почему-то упорно прятала своего песка. Не успела я ее подбодрить, как сзади на ее и на мои плечи легли руки милиционера. И он повел нас в милицию.

Всю дорогу я уговаривала милиционера отпустить Раневскую, втолковывая ему, что это знаменитая актриса, что ей нужны деньги, чтобы накормить ребенка. Ничего не действовало. А в это время весь Советский Союз повторял ее знаменитую (ее придуманную) фразу: «Муля, не нервируй меня!» из фильма «Подкидыш».

Мальчишки сразу признали в ней «Мулю», как ее стали звать в народе, и за нами всё росла и росла их толпа, которая радостно орала: «Мулю в милицию повели! Мулю в милицию повели!» Вот тут-то Раневской изменило чувство юмора. Она шагала бледная, молчаливая, с застывшим лицом. Не знаю, что вдруг подействовало на милиционера, быть может, вопли мальчишек, но, так и не дойдя до участка, он нас отпустил, сказав: «Больше там не стойте». В тот день мы больше не торговали. Раневская непривычно молчала и пила кипяток, чашку за чашкой. Чаю у меня не было.

Через несколько дней я пришла к Ахматовой и застала там Раневскую. «А знаете, милочка, у меня была еще одна встреча с милиционером».

Я ахнула и с испугом посмотрела на нее.

«Вчера в двенадцать часов ночи я переходила совершенно пустую площадь. Вдруг слышу: свисток. Я иду, снова свисток. Оборачиваюсь, оказывается, милиционер свистит мне. Я подошла. Он взял под козырек и сказал: «Молодец, правильно перешел». Она по-доброму добавила: «Молоденький такой был, верно, впервые дежурил. Радовался».

С Фаиной Георгиевной всегда сразу было легко. И хотя ее ум бывал насмешливым, от нее неизменно шли токи доброжелательности. Редкостная доброта характера выражалась у нее как и всё – активно и хорошо.

За мою жизнь я встретила только двух чистых без примесей «бессребреников». Это были Владимир Яхонтов и Фаина Георгиевна

Раневская. Яхонтов – бесребреник от беспечности, от внутреннего изящества и действительного равнодушия к деньгам и вещам. Зарабатывая много денег, он сам часто бывал на безденежье. Приходя домой, он выкладывал кучу денег и тут же забывал, сколько их было. А друзья-приятели часто брали, кто сколько находил нужным, некоторые просто злоупотребляли этим. Яхонтов любил цветы, часто дарил их. Не жалел он денег и на причуды.

Помню, как однажды зимой он послал сопернику огромную корзину редкой, деликатесной снеди и громадный куст белой сирени с запиской: «Завтрак кавалера де Грие».

Возвращаясь из гастрольной поездки в Польшу, он легко вскочил в вагон, держа в руках портфель. На изумленный вопрос администратора: «Где же ваш багаж?» – он протянул свой портфель: «Вот», – и открыл портфель. Там лежала чистая рубашка, бутылка коньяка и пачка открыток-пошлостей. Яхонтов одно время коллекционировал открытки общечеловеческой безвкусицы, глупости и пошлости. Администратор ахнул и пошел в другое купе помогать втискивать лопавшиеся от вещей чемоданы других членов бригады. Не совсем уверена, но мне что-то помнится, что именно Яхонтов окрестил эту поездку «Коверкотовым походом».

Встречи в Ленинграде

Многие годы после войны мы с мужем встречались с Ахматовой в Москве и Ленинграде. Время ничего не меняло. После каждой разлуки, при каждой встрече казалось, что расстались только вчера.

Больше всего мы любили встречаться с Анной Андреевной в Фонтанном доме, где все говорило о ней и словно бы излучало флюиды ее творчества. Это там, в Фонтанном доме, Анна Андреевна подарила нам несколько незабываемых вечеров.

Ахматова-пушкинист еще раньше прислала нам рукопись своей исследовательской работы о Пушкине, изданной Академией наук СССР в 1958 году. В один такой вечер она рассказала, что на днях получила из Франции письмо от писателя и исследователя Труайя. Он занимался Пушкиным и спешил сообщить Ахматовой результат своих последних открытий. Он получил наконец доступ к личному архиву барона Геккерна в Голландии. В его переписке, когда он должен был на время уехать из Петербурга, Труайя нашел два письма к нему от Жоржа Дантеса и переписал их для Ахматовой. Их содержание меня так поразило, что я запомнила их почти дословно. В первом Дантес писал: «Милый друг! Я очень несчастен. Я влюблен! Влюблен, как никогда. Она самая красивая женщина в Петербурге. Вы, вероятно, догадываетесь,

кто она. Но я вижусь с ней редко, только на балах и на людях, и у меня нет возможности рассказать ей о своей страсти».

Некоторое время спустя Дантес пишет, ликуя. Он сообщает «милому другу», что наконец объяснился в любви предмету своей страсти и она ему ответила, что он также любим ею.

Там было много восклицаний и, кажется, что-то о ревности мужа. Но в последнем не уверена – за точность остального ручаюсь.

Анна Андреевна никогда не плыла в фарватере модных ныне восхищений Натальей Николаевной.

Эти два письма Дантеса не вызывают никаких сомнений в том, что он писал «милому другу» правду.

Второе сообщение Анны Андреевны было еще более ошеломительным. Она рассказала, что во время войны наши войска должны были взять замок мужа Александрины Фризенгофа. Пушкинист Цявловский запросил у нашего правительства разрешение опечатать библиотеку замка, так как предполагалось, что там могут быть ценные материалы, связанные с Пушкиным.

Как известно, Александрина Гончарова, которую многие биографы возвели в ранг вернейшего друга Пушкина, близкого по духу и пониманию, потом, после смерти поэта, вышла замуж за барона Фризенгофа.

Цявловский разрешение получил, но каково же было разочарование: в замке не оказалось ни одного портрета, ни одного письма, ни одного воспоминания или просто упоминания о Пушкине, словно бы его никогда и не было. Нашли лишь дневник Александрины, в котором была всё та же пустота. И только одна-единственная запись: «Сегодня прелестный день. Глядя в окно, вижу, как Натали (направляющаяся на воды и заехавшая к нам) гуляет по аллее. Она не одна. Повидаться с ней приехал Жорж Дантес, и сейчас они вдвоем гуляют и вспоминают, вероятно, о былом».

Вот и всё, но запись эта страшна.

Наталья Николаевна не только не содрогнулась от ужаса при мысли о встрече с убийцей отца своих детей и своего мужа, но возжелала ее. А «верный друг» Александрина раскрывалась в этой записи во всей обнаженности гончаровского бессердечия – единая с пагубой, отнявшей у России Пушкина...

Московский дом

Был у Ахматовой и другой дом: теплый, полный сердечной любви и радостной дружбы – дом Ардовых в Москве. Анна Андреевна любила семью Ардовых, и они любили ее. Это были удивительно красивые

люди, веселые, открытые, легкие. И, конечно, трудно себе представить семью, где бы Ахматова чувствовала себя непринужденней.

Была в этой квартире маленькая комнатка – келья, как мы ее называли. В ней помещались кровать и один-единственный стул. Это и была личная обитель Ахматовой, ее укрытое от посторонних глаз гнездо. Когда я приходила одна, Анна Андреевна чаще всего увлекала меня в эту келью, где мы наговаривались вдоволь.

Если же приходили вдвоем с мужем, то она нас принимала (как и всех обычно) в большой комнате с диваном и большим круглым столом. Анна Андреевна усаживалась всегда на диван и часто, когда никого больше не было, забиралась в уголок, поджав под себя ноги. Вообще она любила складываться, сохраняя во всех возрастах природную гибкость, прославленную в юности.

Хозяин дома Виктор Ефимович Ардов – писатель, знакомый читателям своими веселыми сатирическими рассказами, приветливый шутник и балагур, легко и просто входил в разговор. Я часто любовалась фотографией какого-то арабского поэта, висевшей на стене. Ардов явно гордился своим сходством с портретом, и не без основания, ибо араб в своей национальной аббе^[119] был ослепительно красив. Виктор Ефимович исчезал и возвращался с тихим звоном бутылок, чтобы снова исчезнуть в недрах дома. Там что-то колдовал и затем мило и радушно поил всех горячим саперави, очень вкусным.

Здесь случались радостные встречи с Раневской. Она, как всегда, наполняла дом вихревым весельем. В один из таких вечеров Фаина Георгиевна вспомнила вдруг, как мы втроем, засидевшись в Фонтанном доме, ушли от Ахматовой в три часа ночи. Главные ворота оказались запертыми. Раневская сказала, что есть второй выход на Литейный. Мы пошли на задворки и тут же заблудились напрочь. Всюду высились штабеля дров и мусорные ящики. Они стояли почти в шахматном порядке, темные и огромные на белом снегу. Мы проваливались в снег, а штабеля всё наступали, мусорные ящики не кончались. И тут Раневская начала озоровать. Она вдруг завопила на весь двор: «Православные, помогите, погибаем!» Алексей Федорович, не любивший привлекать внимание, умолял ее перестать, но куда там! Раневскую понесло, и она с упоением разыгрывала пьесу Беккета, лицедействуя перед разверстыми зевами мусорных ящиков. Наконец, часа через полтора, мы, измученные, все в снегу, выбрались из ловушки заднего двора, и моноспектакль Раневской окончился.

Как-то Нина Антоновна, хозяйка дома (актриса и режиссер, такая же прелестная, как и все вокруг), показала недавно написанный ее сыном Алексеем Баталовым портрет Анны Андреевны. Портрет был очень удачен и чрезвычайно всем понравился. Экспансивная Фаина Георгиевна объявила, что он лучше последнего сарьяновского портрета Ахматовой. «Подумайте, портрет лирического поэта, и со всеми пуговицами!» – негодовала она.

Как-то заговорили о чтецах. Мы очень любили Яхонтова и рассказали, как он однажды замечательно прочитал у нас «Невский проспект». Анна Андреевна сказала, что Бог дал Яхонтову дивный голос и талант, но что, сотрудничая с Еликонидой Поповой, он совершил ошибку. «Весь антураж Поповой – режиссера Яхонтова – претенциозен и дурного вкуса», – говорила Анна Андреевна. Поэтому-то больше любила просто чтения Шварца и Журавлева...

Землетрясение

Анна Андреевна умерла 5 марта 1966 года. А 26 апреля было знаменитое ташкентское землетрясение.

Город спал. Я помню, как тело, а не сознание ощутило грозный гул, великое содрогание, и словно грохот обрушившегося мира, и долгий нечеловеческий крик. Оказалось, это кричала я. А вблизи – неистовые взмахи птичьих крыльев, точно ангел смерти ворвался во тьму.

Через какое-то время в соседнем доме зажегся огонь, и я осознала, что есть еще в мире свет. Когда нашла выключатель, увидела наполовину заваленную кирпичами дверь и обезумевшую птицу, всю в крови. Журавль метался, бился о мебель, лишившись голоса.

Выбравшись наконец на улицу, я увидела фантастическое зрелище – люди полуодетые, совсем раздетые, в наброшенных простынях с ужасом глядели в сторону, где росло огромное алое зарево, и чей-то истерический голос кричал: «Не смотрите туда! Это атомная бомба!»

И вдруг завывли сирены пожарных машин. За ними с таким же жутким воем летели машины «Скорой помощи». Последним заговорило радио.

Но стихии словно не хотели уступать подземному разгулу. Стало очень холодно. Люди спали в садах и на улицах, укутавшись зимними вещами. На следующие сутки среди бела дня стало темно, как глубокой ночью. Поднялся ветер, перешедший в ураган. Бешеной силой ветра срезало верхушки тополей и несло их через всю нашу усадьбу, заваливая вход в дом. Валило электрические столбы, рвались провода. Срывало крыши и рушило вконец поврежденные дома. А затем полил дождь, беспощадной сплошной стеной.

Начались электрические замыкания, и люди, лишившиеся крова или спавшие в аварийных жилищах, металась в этом аду.

Я должна была через десять дней уехать в Ленинград, а муж мой трое суток, изнемогая от волнения, дежурил на переговорном пункте в Репине^[120]. Телефонистки жалели его, линии были загружены до предела. Только тот, кто это пережил, поймет, что значит услышать родной голос из преисподней.

И всё это время, когда город трясло по несколько раз в сутки, цветы знать ничего не хотели о бесчинствах земли. Никогда, ни потом, ни прежде, не было такого буйного цветения роз. Они цвели на земле, на перекладинах беседок, цепляясь порой за руины полуобрушившихся домов.

Я нарезала в саду великое множество роз, чтобы отвезти в Комарово Анне Андреевне^[121]. Цветы с трудом внесли в самолет. Уезжала я ранним утром, когда город еще спал. Он поразил меня: улицы были подметены, хотя порой зияли комнаты и этажи то без стен, то без потолков. И розы, розы. Мы объезжали кварталы, где люди спали в палатках, прямо на улицах. И всё время раз за разом звучали неотступно ахматовские стихи – в трагическом несоответствии с тем, что видели глаза:

Он прочен, мой азийский дом, И беспокоиться не надо... Еще приду.
Цвети, ограда, Будь полон, чистый водоем.^[122]

Часть вторая

Переписка и воспоминания современников

Татьяна Кузнецова. история в письмах

Ничего случайного нет

Наша дружба с Галиной Лонгиновной началась и окончилась в письмах. Она длилась с 1984 года до самой ее смерти в 1991 году. Лишь в середине этой дружбы были три недели, когда я гостила у своего адресата в Ташкенте – в сентябре-октябре 1986 года...

Все началось с Марины Цветаевой, которую я начала открывать для себя с 1975 года. Конечно, я просиживала в Ленинке и читала всё, что можно было тогда достать: ее стихи, прозу, письма, статьи – всё, что написано и пишется о ней. Бродила по Трехпрудному переулку:

Ты ищешь дом, где родилась я – или
В котором я умру^[123].

Ездила в Тарусу по цветаевским местам и, конечно же, вступила в круг цветаевцев и цветаеведов. Они регулярно собирались в

библиотеке на Таганке, и возглавлял эти собрания Лев Абрамович Мнухин. Туда, на эти чтения, стекались все любители и профессионалы: Анна Саакянц из Москвы, Ирма Кудрова из Ленинграда, Владимир Брониславович Сосинский – парижанин, не так давно ставший москвичом, и многие-многие другие. Они собирались не только на Таганке, но и дома у Надежды Ивановны Катаевой-Лыткиной^[124], на улице Писемского, д.6, кв. 3 (теперь Борисоглебский переулок). Я, конечно же, примкнула ко всем этим собраниям и в числе других добровольцев стала помощницей Надежды Ивановны в спасении от сноса «Маринино дома». Но это отдельная большая тема, связанная с очень многими интересными людьми...

А здесь я остановлюсь только на одном из них. Это писатель Владимир Брониславович Сосинский, вернувшийся в 1960 году с женой на родину. Он по настоянию Л. Мнухина написал воспоминания о Марине Цветаевой, которые позднее вошли в книгу о ней^[125].

А тогда, в 1970–1980-е годы, он с детской открытостью принимал в своей квартире на юго-западе Москвы всех, как он говорил, «помешанных на Марине Цветаевой». Я в ту пору тоже таковой была. Он познакомился и подружился с Мариной Цветаевой в доме своей будущей жены Ариадны Викторовны Черновой в 1920-х годах в Париже. Ее мать Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова предоставила в распоряжение Цветаевой и ее семьи в своей парижской квартире самую большую комнату. Так что Владимиру Брониславовичу было что рассказывать своим многочисленным гостям, почти ежедневно приходившим к нему на чашечку чая. Тем, к кому он проникался особым доверием (и я попала в их число), он давал читать на дом много интересного. Так я (это было в начале 1980-х годов) получила от него на некоторое время письма к нему из Ташкента от Галины Лонгиновны Козловской со словами: «Почитайте! Пишет удивительный человек. Я ее очень люблю...»

Читала дома эти письма, наслаждаясь их прекрасным выразительным языком, а также не менее прекрасной душой этой женщины, которая в Ташкенте дружила с Анной Ахматовой. С тех пор меня не покидало желание написать письмо Галине Лонгиновне и именно с ней поделиться своими мыслями о Марине Цветаевой. Думалось, что она на это по-своему как-то интересно отзовется.

Татьяна Кузнецова - Галине Козловской

Июнь 1984

<...> Не сочтите за бестактность, но меня интересует все, что касается Марины Цветаевой. И это отнюдь не праздное любопытство,

это большое и искреннее чувство любви и сострадания к ней, желание знать о ней все. Я была потрясена Вашим тонким и глубоким анализом личности Марины Ивановны, ничего лучшего, сказанного так сжато и точно, я не читала и поэтому решила Вам написать. У меня нет той двойственности, того «противоречивого желания знать и не знать», о котором Вы пишете Владимиру Брониславовичу. Мне кажется, я всё могу понять в Марине и *ничто* не оттолкнет от нее...

Если Вас это не затруднит, то напишите мне, пожалуйста, об отношении М. И. к религии и к Богу. Об этом нигде в цветаеведческой литературе не читала, а в одном из писем у Вас об этом сказано (кажется, сестра одной Вашей знакомой художницы была дружна с М. И. и послала Ирме Викторовне Кудровой какие-то два листочка именно по этому вопросу). Я была бы Вам благодарна, если бы Вы не пожалели времени и написали мне немного об этом. <...>

[Она мне вскоре ответила. А в дальнейшем случилось даже больше, чем я ожидала, – у нас завязалась долгая и сердечная переписка, продолжавшаяся в течение шести лет. Все ее 12 писем я бережно храню и очень ими дорожу. От своих писем к ней у меня осталось только несколько черновых набросков, но это и не так важно. Важны ее мысли, чувства, точность и образность языка и обстоятельные ответы на все мои вопросы. Эти ее письма я с некоторыми комментариями предлагаю вниманию читателя и думаю, что многие будут так же захвачены обаянием, гармоничностью и возвышенным строем этой души, как это случилось в свое время со мной. – *Примеч. Т. Кузнецовой.*]

Галина Козловская - Татьяне Кузнецовой

22 июня 1984

Милая Татьяна Васильевна!

Всякая душа, поработенная восторгом перед искусством и Личностью художника, – благословенна. Это его награда, по которой он всегда и потаенно тоскует. А ей так много надо воздать – великой и щедрой, столь многим нас одарившей.

Я с радостью отвечаю Вам. В наш на редкость неслухмянный век, когда «глухота паучья»^[126] поразила не только слух, но и духовное слышание, так отрадно услышать голос, полный любви, сострадания и безусловного оправдания поэта. Поэт всегда прав, даже когда людские суждения утверждают обратное. Ибо грош им цена перед великой силой вдохновения и того безмерного богатства, которым он нас наделяет.

Вот почему и откуда у меня так сильно желание «знать» и «не знать», ибо слишком часто то, что несут нам «знавшие», оставляет что-то мутное, недостойное и порой оскорбительное о том, кого вспоминают.

Таким именно источником оказались для меня воспоминания сестер Рейтлингер^[127], несмотря на то, что старшая из них – человек голубиной чистоты и святости. И хотя они в общении с Мариной Ивановной, казалось, несли ей доброту и заботу, глаза их видели «обстоятельства», а не божественную суть ее духовной личности. Они не могли переступить той грани, о которой так прозорливо гениально писал Пушкин: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...» Они сохранили в основном ту житейскую дребедень, что предшествует и сосуществует в пушкинском «пока». Младшая прямо-таки с обидой говорила: «Я из-за нее (М. И.) бросила писать стихи, ибо поняла, что она больше меня». Но кто она была, М. И., как творческая сила и явление в поэзии, – этого она понять не могла. И для нее оказались роковыми и невыносимыми слова Марины Ивановны в ее дневнике – в дни, когда она родила Мура. Они так потрясли ее, что она не хочет слышать ее имени.

Вот почему, если бы я даже захотела, я не могу к ней обратиться с Вашей просьбой. Старшая, Юлия Николаевна, художница, глухая с 18 лет^[128], к 82 годам еще и ослепла совершенно. Человек глубочайше религиозный (она монашенка в миру и вернейший друг отца Сергия Булгакова), она сохранила не-обыкновенно светлый дух и ясность многоохватной мысли. Это она написала те две странички для Ирмы Викторовны о том, что Вас интересует. По-видимому, Ирма Викторовна является единственной обладательницей сведений свидетельницы цветаевского отношения к Богу и религии. Мне она их не показала, поторопившись отправить их Кудровой^[129], а я, грешная, подавленная несимпатичными мне сведениями и долго не смогшая отделаться от тягостного впечатления, не стала настаивать и так никогда в общении с ней не вернулась к этому вопросу.

У меня осталось только в памяти из других разговоров, что Марина Ивановна не была религиозным человеком в церковном смысле и не принимала как обязательность церковные догмы. Но что она носила Бога в себе и всегда – для меня несомненно. Да и как это могло быть иначе?! В ней было так много от Него самого, и она не могла не знать, как велика в ней Его частица. Я везде чувствую, и в стихах, и в прозе, это присутствие, эту единую неотторжимость от всего ее мироощущения. Как всё сокровенное, о Нем не говорится, но Он всегда есть в ней и с ней в высотах ее бытия.

Такой я ее всегда чувствую, такой всегда воспринимаю.

И вообще я считаю, что истинный поэт не может быть атеистом. Как часто даже в словах отрицания звучит голос подлинного религиозного темперамента. Но религиозный темперамент – это одно, а вера –

другое. Напишите Ирме Викторовне. Может, она с Вами поделится. Мне она очень давно не пишет и, ставши бабушкой, пребывает в счастливых заботах.

Если будете ей писать, передайте от меня привет.

Берегите моего дорогого друга Владимира Брониславовича. Меня беспокоит его здоровье и его неухоженность (сыновья – что могут сделать мужчины?). Не пишу ему, так как живу только ночью, а днем расплущена жарой (38–41 градусов). Впереди два месяца пытки. Лишь бы остаться живу.

Напишите мне, какую музыку Вы любите. А Цветаеву любите всегда за радость и за то, что она была. Сердечно приветствую Вас.

Галина Лонгиновна

Была ли Марина Цветаева верующей?

Меня иногда спрашивают: была ли Марина Ивановна верующей? По-моему, определенно – да. Но, конечно, не в каком-нибудь узкоконфессиональном смысле.

Основываю я свое мнение на том, что она с большим уважением относилась к людям, в каком-то смысле посвятившим себя Богу, даже сравнивая их с другими, тоже религиозными, но как бы желавшими соединить свою веру с радостью жизни, что вполне и законно, но что не вызывало ее одобрения по свойственному ей максимализму.

Что еще очень характерно для нее в этом вопросе – это то, что, несмотря на ее очень высокое мнение о своем призвании и очень высокое место, на которое она ставила искусство, всё же у нее оно четко отделялось от сферы духа в религиозном смысле и не занимало место Бога... Помню очень четко и ясно одно ее высказывание на эту тему – о том, что поэзия всё же, несмотря на ее огромную ценность, не есть высшая и последняя ценность, – она сказала: «У постели умирающего нужен не поэт, а священник».

К этому же относится ее высказывание на одном ее публичном чтении в Париже, на котором она говорила о том, что для нее дороже всего в поэзии. Трудно передать эти мысли своими словами, но точных ее слов, за множеством протекших лет с того времени, не помню. Она привела как пример одни беспомощные в смысле формы стихи одной ее знакомой монахини, которые ей дороже самых мастерских и изысканных строк профессиональных поэтов. Они звучали примерно так:

Расточайте безумно и смело Вы сокровища вашей души.
Человечество живо...(?) Круговую порукой добра.

[Процитировано неточно. В статье «Искусство при свете совести» М. Цветаева приводит стихи монашенки Новодевичьего монастыря, уточняя: у монашенки стихов «было много, перед смертью все сожгла, осталось одно, ныне живущее только в моей памяти». Есть здесь и строки: «Расточайте без счета и смело / Вы сокровища вашей души!.. / Человечество всё же богато / Лишь порукой добра круговой!» – *Примеч. Т. Кузнецовой.*]

<...> Я совершенно точно помню это собрание и то, что она приводила эти стихи как пример того, что ей в поэзии всего важнее ее духовное содержание, а не форма.

На этом же собрании присутствовал тогда еще совсем молодой поэт Эйсер и даже выступал в обсуждениях, и Марина Ивановна его благодарила тут же с кафедры: «А Эйсера благодарю за понимание» (от чего он был в полном восторге).

Много позднее, когда я, отчаявшись найти человека для писания текстов религиозных листков для детей, обратилась к ней с просьбой писать их, она живо откликнулась, но сказала, что может писать только о том, что сама пережила, и набросала свое переживание: стоя девочкой в церкви, она глядела в окно на ветку дерева – эта ветка очень много выражала, и она хотела идти от нее в своем описании.

На эту же тему помню еще один рассказ Марины, когда ее сын был еще мал: «Мур меня спросил (как все современные дети): почему самолет летит, а Бога не встречает? На это я ему объяснила, что такое «умное небо»».

Галина Козловская - Татьяне Кузнецовой

7 сентября 1984

Милая Таня!

Нашла, наконец, адрес Кудровой, который и посылаю. Правда, я боюсь, что она отомолчится. Как отмалчивается со мной. Несмотря на нашу обоюдную симпатию, она так дорожит своим временем, что не хочет хоть крупицу оторвать от работы над книгой о Марине Ивановне.

Но вдруг расщедрится и ответит Вам.

Мне на днях приносили альбом, называется «Фотобиография Марины Цветаевой»^[130]. Вы его, вероятно, знаете. Там есть и фотография Владимира Брониславовича в виде жгучего брюнета из племени кавказских горцев. Если бы не подпись – век бы не подумала. Но вообще фотография часто для людей является зловредным ворогом, беспощадным и феноменально неточным. И тут фотогеничность или

нефотогеничность бывают ни при чем. Очень жалею, что не успела оттуда переписать одно неизвестное в других изданиях прекрасное стихотворение, обращенное к Сергею Яковлевичу Эфрону.

У нас наконец наступила осень, и я тут же простудилась, но теперь снова наслаждаюсь своим садом и дивным мягким теплом. У нас осень бывает долгой и прекрасной, в противоположность краткой и буйной весне.

Мой прекрасный сад обнимает мою жизнь и дает мне глубокие радости единства с природой, которого, к сожалению, лишено так много людей на нашей Земле. Он питает мое душевное если не спокойствие, то, во всяком случае, вместе с моим возрастом дает мне ощущение особой свободы, которой я не знала раньше. Это единство дает мне ощущение гармонии моего искусства, моих стихов и моих глин^[131], моего внутреннего мира, который обрел чувство удивительной независимости и безразличия к чужим мнениям и приговорам.

Вы меня спрашиваете, какого я мнения о писанине Светланы Сомовой^[132]. Это бабье паскудство меня глубоко возмутило, и я не могу спокойно это вспоминать. Просто непостижимо, как можно было предоставить возможность печатать всю эту пошлятину таким тиражом. Это цепкая, но уже наполовину маразматическая дама, помимо крайне дурного вкуса, литературного и человеческого, всё путает и перевирает, она путает этажи, дома, цвет глаз, отношения и проч.

Меня она произвела из ряда друзей в «поклонницу таланта», и чудовищно из моего письма к ней, где я ее предостерегала от всяческих искажений и ошибок, она не вынесла ничего и теперь рвется его печатать вместе с размазыванием всего, к чему никто не давал права прикасаться.

За то, что она посмела растрепать по белу свету последнюю трагическую любовную драму Анны Андреевны (Гаршин), надо было бы дать ей по физиономии. Близкие друзья знали, но никогда никому из порядочных людей не могло прийти в голову сделать это предметом обывательских пересудов, да еще в печати. Кто дал ей право на такую развязную бесцеремонность и бесстыдство? Словом, пакость, пакость и пакость.

О, эти пишущие дамы-мемуаристки, черт бы их побрал! И чем больше они стареют, тем больше их раздражает «вспоминать», и плетут они чаще всего вздор и неправду. Единственный человек, написавший достойно и правдиво об Анне Андреевне, – это Лидия Корнеевна Чуковская. Все, что она написала, – прекрасно и меня трогает до глубины души. И верьте только ей. А мне, так любившей и так хорошо знавшей Анну Андреевну, остается только горевать, что ее прекрасная душа и трагическая жизнь стали посмертным достоянием пошлости и махровой обывательщины, то есть именно того, что она ненавидела и презирала при жизни.

Вы меня спрашиваете, не был ли мой муж потомком композитора Козловского. Нет, не был, но он был потомком другого поляка – Антона Онуфрия Шиманского (иногда писалось Шиманьский). Это был музыкант, виолончелист, ставший довольно известным концертантом в Европе.

Мать Шиманского дружила с семьей Шопена, и в переписке Людвики^[133] с Шопеном не раз встречается имя Антона Онуфрия с просьбой помочь ему и деньгами, и морально поддержать изгнанника^[134]. Что он охотно и великодушно делал.

Антон Онуфрий, или Антек, как его называет Шопен, играл во многих странах Европы под чужой фамилией и, будучи принят во многих блистательных салонах, где было много русской знати, умудрился ни разу не протянуть руки русскому. Это был гордый, глубокий и пылкий человек, больше всего после музыки любивший Польшу, и в его судьбе были какие-то таинственные обстоятельства, которые он тщательно скрывал от своей семьи.

Он принадлежал к обедневшей ветви знатного рода Панинских и отрекся от них навсегда, признавал только аристократию духа и любил повторять слова боготворимого им Бетховена, что «он знает только одно превосходство человека над человеком – это превосходство доброты».

И надо же было, чтобы его любимая и обожаемая дочь полюбила и вышла замуж за русского офицера и врача, и он, любя ее, принял и полюбил ее мужа. По-видимому, он так никогда и не смог отдать свои долги Шопену, и мой муж любил говорить, что он «наследственный должник». Но Боже, каким обожанием, преклонением и страстной любовью платил он Шопену всю жизнь. Я мало знаю музыкантов, которые лучше бы знали его музыку, понимали и умели бы передать свою любовь другим людям. Однажды он выгнал из дому одного известного пианиста, который посмел неуважительно отозваться о великом гении. Пан Антон был знаком с крупнейшими музыкантами своего времени, и его музыкальная одаренность перешла к его внукам и завершилась в правнуке – который был замечательным и оригинальнейшим композитором и выдающимся дирижером. И хотя Шопен был любимейшим композитором, сам он редко писал для фортепиано, а был удивительным поэтом оркестра, мастером и колористом.

Это хорошо, что Вы любите Шопена и не спускаете расплодившимся нынче снобам, пренебрежительно отзывающимся о Шопене как о «салонном авторе девятнадцатого века». Хоть величайший гений всех времен и совершеннейшее выражение своего народа не нуждается ни в каких «поддержках», всё же наглым и бездарным зазнайкам хорошо давать по носу.

Но что-то я очень разговорилась.

Это за то, что Вы любите Шопена. И Цветаеву, и Бога.

Надо хранить и уметь охранять свою кумирню.
Напишите мне, что Вы еще любите и что хотели бы знать.
Нежный привет Владимиру Брониславовичу с пожеланиями не
падать и чтоб писал мне иногда.
Всего Вам самого доброго.

Галина Лонгиновна

P. S. Посылаю Вам перышко моего журушки Гопи.

Галина Козловская - Татьяне Кузнецовой

20 января 1986

Милая Таня!

Спасибо за память и добрые пожелания. Ваши пожелания вспомнить славную, морозную зиму очень кстати. Хотя я очень боюсь холода, но мне никогда не изжить ностальгию русского человека по зимушке-зиме. Я скучаю по запаху снега и его тишине. Мы же здесь (парадокс природы) пребываем во внезапных даже для нас весенних днях. На дворе 20 градусов тепла, и Журушка мой бродит по саду и щиплет травку. Деревья и кустарники набрали почки, и вьющиеся розы уже почти все в листе. Это, конечно, неестественно, и самое главное, что организм и сосуды никак не приспособятся, и порой я очень плохо себя чувствую. Морозы все-таки могут грянуть, и тогда быть беде легковверным растениям.

Танечка, у меня к Вам будет маленькая просьба – сходить к Владимиру Брониславовичу и испросить у него для меня прощение за то, что я его не поздравила с Новым годом. Объяснение, что никому не писала, не оправдывает свинства. Эти дни совпали у меня с очередным скульптурным запоем. Я дорожила каждой минутой и лепила по 8 часов, не вставая. Потом расплачивалась за всё это изнеможением и такой физической слабостью, что на жизнь уже не хватало сил. Когда я работаю, я не знаю усталости, и часто стихи идут вместе с лепкой – и вот этим я живу. Этим я забываю свое одиночество, и мне нет времени горевать об отсутствии ухода и заботы обо мне какой-нибудь доброй души.

В общем, конечно, самый большой подвиг человека – это встречать свою старость и не дать ей все-таки восторжествовать над собой. Передайте, пожалуйста, сердечный привет Надежде Ивановне Катаевой-Лыткиной и скажите ей, что я радуюсь тому, что она отдала душу и помыслы музею Марины Цветаевой. Это так нужно, так долгожданно желалось и наконец осуществилось. Мне жаль, что Брониславович, по-видимому, много отдал тому человеку, который у

себя в квартире устроил домашний музей (фамилию на М.^[135] всегда забываю). Знаю, что он отдал ему серебряный перстень с вандейской лилией, которую Марина Ивановна подарила ему в знак благодарности, когда Брониславович вызвал на дуэль одного прохвоста и вступился за ее честь и доброе имя.

Не виделись ли Вы с Ирмой Викторовной? Она совсем пропала, а мне очень бы хотелось знать судьбу ее многолетнего труда о М. И. Если увидите, передайте привет. Если Вам когда-нибудь захочется посетить наши азийские края, буду рада Вас повидать и приютить.

Всего Вам доброго и исполнения всех желаний. Пишите. Если бы у Вас очистились окна от прекрасных зимних узоров, Вы бы увидели у меня на столе прелестную цветущую ветку японской айвы. Сердечно
Ваша

Галина Лонгиновна

Бесцеремонное вторжение

А дальше, после таких дружеских и доверительных писем, между нами происходит одно жуткое недоразумение. Вот как это было.

Я часто посещала Надежду Ивановну Катаеву-Лыткину, проживавшую, как я уже упоминала, в Маринином доме, на первом этаже. Конечно же, рассказала ей о Галине Козловской, нашей переписке и зачитала письмо с персональным приветом ей. Это всё происходило в присутствии одной девицы, которая сидела тут же за столом и слушала мои рассказы. Надежда Ивановна отрекомендовала ее мне как учительницу, поэтессу и большую любительницу стихов Марины Цветаевой. Она слушала очень заинтересованно, внимательно и вскоре заявила, что у нее в Ташкенте много хороших друзей, которые могли бы помогать Галине Лонгиновне в быту, быть чем-нибудь ей полезными. Изъявила желание послать им ее адрес. Мы с Надеждой Ивановной развесили уши и пообещали, что напишем в Ташкент и предложим Галине Лонгиновне их услуги. Но девица оказалась вовсе не тем добрым ангелом, как мы о ней подумали... Она незаметно списала с конверта адрес Галины Лонгиновны и, недолго думая, взяла билет до Ташкента, села в поезд и безо всякого стеснения явилась к ней в дом.

Мы об этом ничего не знали, пока я не получила от Галины Лонгиновны следующее письмо, повергшее меня в полный ужас, что из-за какой-то случайной аферистики рушатся такие доверительные отношения.

Галина Козловская - Татьяне Кузнецовой

16 февраля 1986

Таня!

Хочу спросить Вас, почему Вы решили, что Вы можете давать мой адрес кому попало и без моего разрешения? Я Вам этого разрешения не давала. Я крайне выборочно выбираю себе друзей и знакомых и не допускаю в свой дом ненужных, неинтересных, а тем более неведомых мне людей. Мало ли, что кто-то рвется ко мне в дом, что это кому-то хочется. Но, прежде всего, надо узнать, хочу ли этого я.

Благодаря Вашей – я не знаю, как это назвать, – бездумной неделикатности, что ли, или той беспардонности, которой отличается Ваше поколение, на меня свалилось, как снег на голову, некое бездомное, ненормальное (почти наверное) и неприкаянное существо, которое взвалило на меня нравственную ответственность за эту бездомность и неприкаянность.

Девушка по имени Тамара Александрова сказала, что она просто ушла из дому, села в поезд, приехала в Ташкент и явилась ко мне. Она сказала, что она хочет свободы, что она не хочет работать, что она не согласна с тем, как воспитывают детей, и проч., и проч.

И после того как она спросила, не может ли она мне помогать, я поняла, на что она рассчитывала, и, по-видимому, не ожидала твердости моего отказа. Я ей сразу сказала, что мои материальные средства таковы, что я не могу взять на свое иждивение другого человека, и, во-вторых, я люблю свое одиночество и сосредоточенное уединение, в которое никому не дозволено вторгаться. Всю жизнь я не терплю насилия и никому на свете не позволю отнять у меня минуту моего времени, того недолгого оставшегося мне времени, в котором я живу своей напряженной творческой жизнью. Даже близкие мне люди спрашивают у меня разрешения и согласия на приход ко мне. Они знают меня и понимают меня. А тут вдруг совершенно неведомый мне чуждый человек решил про себя, что он будет жить у меня в моем доме. Про себя она, верно, думала: на свете тысячи тысяч бедных беспомощных старушек, которые будут счастливы иметь при себе живое существо, с которым можно перемолвиться словом. Но она не думала обо мне, не знала меня, ни моей жизни, ни моей личности, просто человеческой личности, не стоящей в обычном ряду стареющих обывателей.

Поставленная лицом к лицу с ее присутствием, с холодом и снегом на дворе, что ей некуда приткнуться, я ей сказала, что несколько дней она может переночевать у меня, а затем устраивать свою судьбу. Я ей сказала, что могу поблизости устроить ей комнату, на что она мне ответила, что ей нужна не комната, а нора.

Я никак не могла соотнести свой дом с этим определением. Я одновременно чувствовала и жалость, и возмущение.

Я не могу упрекнуть себя – я всегда была добра к людям и подставляла плечо в трудную минуту, и знаю, что значит поделиться куском хлеба. Но кто имеет право посягать на неприкосновенность моего уединения и ставить меня перед совершившимся фактом – «Вот я, делай, что хочешь, моя жизнь в твоих руках»!

Когда я ее спросила, что она считает главным в жизни, она ответила: делать добро. Тогда я ей сказала, что есть на свете два человека, две старых женщины: одна – глухая и слепая, а другая сестра – глухая. Два замечательных человека, чья жизнь очень трудна и которым помощь действительно нужна. Я написала к ним записку, с которой она к ним и отправилась. На другой день она мне позвонила и на мой вопрос ответила, что они приняли ее хорошо, что ее умение говорить на пальцах – это классическая школа, а у них другая и что общаются письмами. Я ей ответила, что рада за нее, пожелала всего хорошего и повесила трубку.

Я не хочу ее видеть и не хочу, чтоб она ко мне приходила.

Вот Вам реляция о Вашей протеже. Единственное, чего я могла добиться, что Вы читали мое последнее письмо к Вам у Надежды Ивановны Катаевой.

Я не почувствовала никакого авантюризма и готова поверить, что она по существу добрый и хороший человек. Но она явно лишена представления о человеческих взаимоотношениях, в психике, чем-то травмированной и сдвинутой, явно не может чувствовать другого человека.

Послала я ее к двум сестрам Рейтлингер, подругам Марины Ивановны Цветаевой. Это они дежурили около нее, когда она родила сына Мура.

Может, при виде их бедности, она все-таки поймет, что ей все-таки надо что-то делать, чтоб заработать себе и даже им на кусок хлеба.

Вот все, что я хочу сообщить Вам об этом взволновавшем и огорчившем меня визите.

Галина Лонгиновна

[Получив из Ташкента такую отповедь, я долго не могла успокоиться и, конечно же, всё рассказала Надежде Ивановне Катаевой-Лыткиной, которая тоже была поражена тем, что самовольно проделала Тамара. Мы обе чувствовали себя виноватыми в том, что невольно причинили огорчение такому замечательному человеку. К тому же я теряла ее доверие и дружбу... Я тут же написала ей письмо, где постаралась всё объяснить, и вскоре от нее пришел ответ. – Примеч. Т. Кузнецовой.]

Меня приглашают в Ташкент

Галина Козловская - Татьяне Кузнецовой

26 февраля 1986

Милая Таня!

Если можете, прошу Вас извинить меня за резкость и гневность моего предыдущего письма. Получив от Вас вчера Ваше милое и ласковое письмо, я устыдилась своей горячности. Я поняла, что Вы добрый и доверчивый человек и хотели сделать для меня что-то хорошее. Но у Вас выманили мой адрес не для того, чтобы кто-то живущий здесь мне помогал, а чтоб самой явиться ко мне в качестве подарка судьбы. Она, эта девица, решила, если я пригласила Вас приехать ко мне погостить, то у нее есть все основания поторопиться у меня обосноваться. Она сама мне сказала, что у нее никого знакомых в Ташкенте нет.

Я, в общем-то, человек кроткий и мирный, но впечатлительный и ранимый, зато становлюсь нетерпимой и взрываюсь при малейшей попытке насилия надо мной кого бы то ни было.

Я здесь отучила моих молодых знакомых приводить ко мне кого попало и без моего разрешения. Но Вы этого не знали, и к тому же Вас обманули. Я повторяю свое приглашение приехать ко мне осенью, когда это Вас устраивает. Что касается Вашего предложения приехать мне погостить в Москву, спасибо, дорогая, это абсолютно несбыточно. Дело в том, что я настолько плохо хожу, что даже редко спускаюсь с крылечка в свой дивный сад.

В последний раз я была в Москве восемь лет тому назад. Меня туда возил наш приемный сын Боря, и я жила там в Переделкине у Пастернаков (у сына Б. Л. Жени и его жены). Мне там было с ними очень хорошо в маленькой комнатке в охотничьем, так называемом, домике. Мы очень любим друг друга, я Женечку знаю с десятилетнего возраста, и мама его (первая жена Бориса Леонидовича, художница) хотя была старше меня, была моим другом. Она написала два моих больших портрета, которые после ее смерти мне подарил Женя^[136], и они висят у меня дома. У меня в Москве много друзей, и когда я туда приезжала, то в Переделкино валом валил ко мне народ, и надо было изумляться Алениной доброте и приветливости, с которой она принимала эти нашествия.

Сейчас же, как Вы, наверное, слышали, дачу Пастернака (большой дом и домик) отобрали, и после тридцати с лишним лет проживания там грубо выселили, поломав мебель и вещи. Сделать дом музеем

отказали напрочь. Так же, как и дачу Корнея Ивановича Чуковского (а ведь он построил там и пожертвовал детям прекрасную библиотеку и обязал всех писателей жертвовать туда каждую свою книгу). Но всё равно не удостоился.

Еще одна моя приятельница всё сманивает меня к себе на дачу. Но и это невозможно. Ко всему, мне четвертого числа «стукнуло», как говорят, 80 лет. Не могу никак понять, как это случилось, не верится, и душа этого не принимает. Если бы не мои плохие ноги (плохие не от возраста, а вследствие аварии), можно было бы меня считать молодцом. Боря всегда говорит, что я человек вне возраста. И я счастлива, что я сейчас живу на гребне творческой радости, ничего не отдав старости и не принимая время.

Но всё же свой день я ждала с чувством безрадостным и тоскливым. Чему радоваться, в самом деле? Но он неожиданно стал удивительным днем в моей жизни.

Я привыкла, что всегда люди чествовали моего мужа, и это было естественно. Но тут вдруг, не знаю, как и почему, с полдня до полуночи ко мне всё шли и шли люди, приходили, уходили, оставались, поздравляли, и не было в доме столько сосудов, чтобы ставить в воду такое количество цветов. Никогда в жизни я не имела столько дивных, разных, прекрасных цветов. Поздравляли меня и Союз писателей (хотя я туда никогда не ходила), и Союз композиторов (разных поколений), и Оперный театр. Вечером вдруг приехали двадцать человек детей из детского хора при Оперном театре и с цветами в руках спели мне «Приветственный хор с кипрскими мандолинами» – из «Отелло» Верди. Затем прелестные девушка и юноша спели и сыграли сцену из «Бастьена и Бастьенны»^[137].

Журушка был в восторге от такого количества людей и, когда хор запел, он вошел и стал в середину. Маленькие восьмилетние мальчишки обомлели от неожиданности и восторга и, заглядевшись, вдруг сфальшивили. И тут Журка громко закричал. Видите, какой он у меня музыкальный журавль. Все засмеялись.

Все слушали, стоя впритык в разных комнатах (домик у меня маленький). Детей обкормили разными вкусными вещами. Боря совершил какие-то чудеса в кулинарном искусстве, и пиршество длилось еще трое суток. Конечно, это всё было делом его рук и любви. Никто за всю мою долгую жизнь не хотел так меня порадовать и сделать счастливой, как он. И преуспел.

Через четыре дня снимали Журку и меня для телевидения, и, когда операторы вышли из кабинета, где были сделаны главные съемки, посередине прихожей стояла «дева»: остальное Вы знаете.

Так завершился мой праздник.

Один старый друг, композитор, написал мне вальс в честь, как он написал, моего «совершеннолетия», где обыграл ноту «соль» – носящую букву Г, – кажется, восемьдесят раз.

Вчера мне сказали, что девятого марта хотят заснять для телевидения мои скульптуры^[138]. Думаю, что если хорошо снимут (ибо скульптура капризна и требует своего особого освещения), то это будет радость. Пишу Вам на крылечке. В доме и окна и двери настежь, плюс 18 градусов, тепло и солнечно. Посылаю Вам первую фиалочку и подснежник.

Передайте Надежде Ивановне мое письмецо к ней. Если когда захотите, позвоните мне.

И не сердитесь на меня, милая. Всего хорошего.

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Татьяне Кузнецовой

9 апреля 1986

Милая Таня!

Спасибо за письмецо и за фотографию. Я рада, что Вы такая.

Посылаю Вам себя из трех времен жизни. Более поздних фотографий не имею и запретила себя снимать.

Наш дом, в особенности при муже, был домом кошатников. Одно время у нас было одиннадцать котов, и в большинстве своем они носили громкие имена известных дирижеров. Посылаемые два котенка были очень любимы – слева «Чуточка», справа «Чернявка», очень были милы и доставили нам много радости. Были у нас и собаки, и утраты их надолго были болью, и я до сих пор не могу взять снова собаку.

Вообще всё живое (кроме рептилий) – всегда радость для души, и я всю жизнь прожила с убеждением, так точно выраженным индусской мудростью: «Проклят тот, кто не видит Бога в глазах зверя».

Вот и вчера снова встретилась со старым другом. Вдруг ночью под диваном раздались громкие звуки, словно кто-то катал шары, и вдруг вышел мой милый ежик, который живет в саду, но по ночам приходит в дом, обходит все комнаты дозором, полакомится тем, что оставлено ему на блюде, и снова уходит в сад. После зимней спячки вот уже третий год удостаивает своим посещением. Никого не боится – ни котов, ни Журушки, ходит у них между ногами.

Я сейчас пишу воспоминания об Алексее Федоровиче для книги. Как предисловие к издаваемым его статьям и докладам о музыке. Дошла до нашего приезда в Среднюю Азию сорок семь лет тому назад, и что-то застопорилось. Отвлекли всякие работы в саду, где Боря (наш приемный сын) и еще кое-кто из друзей наводят порядок после зимних опустошений. Я хоть, к сожалению, ничего теперь не могу делать в саду, но забот о мужских аппетитах хватает. У нас уже всё зеленое,

цветут кустики примулы и гиацинты. Плодовые деревья уже отцвели, но, верно, фруктов не будет – как раз грянули морозы. Но всё же думаю, что к Вашему приезду будет еще виноград.

Бываете ли Вы на кладбище, где похоронен Поленов^[139]? Там, рядом с ним, покоится очень дорогой и любимый наш друг – Касьян Ярославич Голейзовский. Там где-то, вблизи деревни Бёхово, была его дача «Касьяновка», где каждое лето живет его жена Вера Петровна Васильева-Голейзовская. Она была балериной Большого театра, а он был гениальный хореограф, создатель современного балета. Это было чудо, чудо одаренности и энциклопедических знаний. Он и Фокин были самыми образованными балетмейстерами двадцатого века, новаторы Божьей милостью.

Далеко ли от Вашей дачи Поленово, его кладбище, и может, и деревня Бёхово? Если близко, я, может быть, попрошу Вас навестить Веру Петровну и поклониться Касьяну Ярославичу. Так мы там у них и не побывали, хотя нас столько раз звали. Правда, что туда трудно добираться?

Напишите мне еще о себе. Мне хочется Вам написать о моем последнем увлечении-открытии, о великом психологе Карле Юнге. Удивительная личность и удивительная жизнь. Он очень созвучен моим сновидениям. Но это до другого раза. Передайте привет Надежде Ивановне и Вашему мужу. Обнимаю Вас.

Галина Лонгиновна

Р. S. Танечка!

Мне вдруг пришла в голову одна идея. У меня есть очень дорогие мне друзья – жена и сын покойного нашего славного дирижера Александра Шамильевича Мелик-Пашаева. Минна Соломоновна, когда они были у нас с Аликом^[140] в Ташкенте, рассказывала мне, что у них на даче есть какая-то совершенно удивительной красоты розовая сирень. Мы всё обсуждали, как бы это можно отсадить для моего сада.

В последнем, недавнем моем письме к ним я им писала, что всё еще мечтаю об этой сирени. И вот что я вдруг придумала – что, если Вы позвоните им и скажете, что осенью Вы собираетесь ко мне? Может быть, она теперь отберет саженец, наметит какой-нибудь, а Вы бы осенью, предупредив ее, привезли бы мне сюда. Это было бы великолепно, и давняя мечта может состояться. Сейчас не пишу им, так как подгоняют сроки с книгой, но Вы им всё расскажите и передайте им мои самые нежные пожелания.

Минна Соломоновна и Александр Александрович.

После напишите, что и как. Надеюсь, моя просьба Вас не затруднит. Всего доброго.

Передайте Минне Соломоновне, что письмо ее из Орджоникидзе – получила.

Галина Козловская - Татьяне Кузнецовой

12 августа 1986

Начало каждой дружбы сердцу свято,
И сроки спят в сердечной тишине.
В скольких глазах я отражен когда-то,
И сколько глаз всегда живет во мне!

Атааллах Аррани

Милая Танечка!

Наконец-то могу черкнуть Вам несколько строк. Безумная, нестерпимая сорокадвухградусная жара наконец отступила, и я очнулась и могу снова жить, дышать, думать и творить. Самое радостное – это что я могу снова лепить и уйти в счастливые часы работы и забыть обо всех печалях и заботах.

Мой сад выдержал долгий зной и стоит в своей зачарованной красе, недвижимый и благоуханный. Журушка приходит в дом и требует добавочной еды в виде мяса, на которое не желал смотреть в долгие дни жары.

Я могу читать книги, а не пребывать в состоянии спячки и изнеможения.

Во мне снова возник интерес к восточной поэзии. Я давно пережила свою влюбленность в Восток. Много лет тому назад мы еще застали последний отблеск его заката, а ныне он погас, потух и нивелировался, утратив блеск и самобытность. Он стал таким, как весь уравненный, усредненный, униформный мир, и только изредка прорвется отголосок прежнего своеобразия. Но поэзия его средневековья жива и будет вечно жить. Она не умолкнет и не станет темной, как поэзия трубадуров и менестрелей. Если Гёте говорил, что «персы из всех своих поэтов за пять столетий признали достойными только семерых, <...> а ведь и среди прочих многие будут почище меня»^[141], то он еще не знал много и много арабов и арабоязычных. Во мне снова всколыхнулась нежность и преклонение перед чудом Шемахи^[142], удивительным поэтом пятнадцатого века Атааллахом Аррани.

Существует прелестная, очень человечная и патетичная книга арабиста Т. А. Шумовского под названием «У моря арабистики»^[143]. Она романтична и увлекательна, и если Вы захотите узнать, как открываются забытые поэты, прочтите эту книгу.

Вообще, как много в мире неведомого, скрытого, удивительного – и в природе, и в истории искусства. И Вы правы, моя милая, когда пишете о радостях изумления и восторга. Изумление, способность удивляться – это первейшее из основ подлинной человеческой личности, это то, чем

он постигает в высшем и совершеннейшем виде всю красоту и чудо мироздания.

Это основа в художественной личности человека искусства. Это богатство счастливых душ, в противоположность обездоленным, не знающим этой радости. Недаром в наше время заговорили о бездуховном детстве, когда дети не ведают потрясений сердца, не ведают изумления и восторга, а лишь всё «оценивают» умом, сравнивают и анализируют. Их обокрало наше трезвое, рассудочное время. Даже великое и бессмертное чудо любви ставится под вопрос толпищами бескрылых, тупых человекоподобных, в анонсах и афишах лекционных пошлостей: «Есть ли на свете любовь?». Можно прийти в отчаяние от ужаса и отвращения, и нет предела «изумлению» перед этими, всё же человеческими, антиподами.

Я рада, что Вы настоящая, что Вы всё чувствуете полно и радостно. И для меня каждый ливень – это событие, и чудеса омытого мира неисчислимы. И хотя я люблю грозы, но по-детски боюсь молний. Но воздух с его озоном – это лучшая радость, и дышать – это тоже счастье. Когда Вы приедете, мы много поговорим о счастье, о любви и о чуде жизни.

Надо, чтобы на день-другой Вы съездили в Самарканд, чтобы посмотреть остатки былого великолепия. Семья знакомого режиссера оперного театра предоставит Вам ночлег. Грех будет быть так близко и не увидеть того, что когда-то было одним из чудес света.

Вспоминая столицу Тимура, вдруг вспомнила про его встречу с поэтом Хафизом. Хафиз когда-то написал стихотворение «За родинку на щеке возлюбленной я отдам все богатства Самарканда и Бухары». Тамерлан при встрече сказал: «Как же ты посмел так распорядиться всем тем, что я завоевал с таким трудом?» – на это поэт развел руками и, показывая на свое рубище странника, ответил: «Но погляди, о Повелитель, до чего довела меня моя расточительность!».

Как хорошо, что мы наконец возвратили голос Гумилеву. Я не могу причислить его к моим самым любимым поэтам, но он был большим русским поэтом. Меня всегда удивляло, что люди не замечали его полной порабощенности экзотической поэтикой француза Леконта де Лилля. Редко когда в такой мере один художник так много подражает другому. Хотя я знаю другой случай, когда мой приятель Эрнст Неизвестный в своих графических иллюстрациях безбожно повторял множество иллюстраций Боттичелли к той же «Божественной Комедии» Данте. Вероятно, он про себя думал, что мало кто знает работы Боттичелли, и поэтому без зазрения совести повторял его. Кстати, не похож ли на Гумилева безымянный корсар, воспетый полузабытым испанцем Хосе Эспронседой:

Неся громоносные жерла, По двадцать на каждом борту, Широкие ветры морские Ловя в паруса на лету, Как чайка, летит бригантина, Чье имя «Отвага» гремит От вечно живого Марселя До вечной страны

пирамид. Как в зеркало, смотрится в море, О чем-то мечтая, луна. Дитя серебра и лазури, Плывет под луною волна. На Азию смотрит Европа, Стамбул восстает сквозь туман. На палубу с песней выходит Бесстрашный корсар-капитан...

Я наконец на днях воплотила один давно меня преследовавший образ. Я на тарелке сделала композицию «Дух граната». Он получился, как я и хотела, – очень экзотичный, красивый, с некой тайной. Я всё на него смотрю, радуюсь, и у меня хорошее настроение. Много ли человеку надо? А помните у Хлебникова:

Мне мало надо! Краюшку хлеба и каплю молока. Да это небо, да эти облака!..

Обнимаю и жду Вашего приезда. Привет другу белых медведей^[144].

Ваша дружески Г.Л.

Милая Танечка!

Перед тем как отправить Вам это письмо, хочу обратиться к Вам с двумя просьбами. Помимо розовой сирени привезите мне, если найдете в Москве, пару домашних тапочек, мягких и теплых, 38-го размера. Год тому назад мне привезла одна знакомая мягкие, отороченные мехом, очень удобные и хорошо мне послужившие. У меня больные ножки, я дурно хожу, и мне важно, чтобы им было мягко и тепло.

Вторая, вероятно, будет потрудней. Дело в том, что я совершенно разучилась готовить мясные блюда без приправы, в основном, югославской: *Vega* или *Vegeta*. Говорят, они стали редкостью и в Москве. Но если сможете, привезите несколько пачек. Больше ничего не надо.

Еще хочу подарить Вам одного очень хорошего человека – мою подругу Людмилу Григорьевну Чудову-Дельсон. Я уверена – она Вам понравится; хочу, чтобы и Вы понравились ей. Постарайтесь познакомиться с ней до своего отъезда. Правда, она летом почти не покидает свою дачу в Расторгуеве. Но всё же, вдруг до осени Вы ее поймаете.

Р. С. Извините за ужасный почерк.

Галина Козловская - Татьяне Кузнецовой

9 сентября 1986

Милая Танечка!

Шлю Вам ориентиры, как добраться ко мне из аэропорта.

Таксисту Вы скажете, что надо ехать на ул. Усмана Юсупова к гостинице «Ленинград», оттуда надо проехать чуть дальше, к кафе «Полет», что будет на правой стороне (гостиница на левой стороне улицы). Прямо против кафе повернуть налево в Авиационный проезд. Ехать по нему до первого поворота налево (с левой стороны будет всего одно одноэтажное здание – поликлиника 84-го завода) и тут же налево будет Тупик 1, дом 1. На доме – мемориальная доска Алексея Федоровича.

Надо позвонить в калитку (звонок слева) и затем подойти к окну (оно низкое). И я Вам передам ключ от калитки.

Вот так мы с Вами и встретимся. Жду Вас, милая, с радостью.

Да, кстати вспомнила. Вдруг в каком-нибудь салоне будет продаваться какая-нибудь пластинка, напетая певцом Пласидо Доминго. А по-моему, в «Отелло» он должен быть великолепен.

Моя Людмила Григорьевна до 15 сентября будет ездить на пароходе Киев – Одесса – Киев. Если застанете ее – позвоните.

Мне жаль, что Вы не застанете уже отцветшие пахучие цветы. Может быть, будут еще анемоны и набирающие цвет хризантемы. Но всё равно сад тенист, и я его люблю.

Итак, всего доброго.

До скорой встречи.

Обнимаю –

Галина Лонгиновна

В потоке первых впечатлений

Так приближался мой приезд в Ташкент. Владимир Брониславович Сосинский меня напутствовал: «Гордитесь, что Вам пишет такой человек. А если Вас приглашают в Ташкент, то немедленно берите самолет и летите туда. Только берегите голову от журавля – очень уж больно щиплется! Еще там есть еж, и они с Журушкой устраивают забавные потасовки».

21 сентября 1986 года я была у нее. Самолет прилетел около 19 часов по московскому времени. Я всё сделала так, как она писала мне в последнем письме. Нашла дом с мраморной мемориальной доской с позолоченной надписью, что здесь жил композитор А. Ф. Козловский (1905–1977). У калитки меня уже ждал Боря, их приемный сын. Домик оказался скромным, невысоким, но очень уютным, как будто забытым и оставленным от прошлого столетия доживать здесь свой век. Зеленая калитка открывалась прямо в рай – в большой тенистый сад с плодоносящими деревьями: грушами, яблонями, персиками, грецкими орехами, гранатами... В дальнем конце сада с каменной ограды свисали

виноградные лозы, усыпанные гроздьями спелого винограда. Сад благоухал ароматами немыслимых цветов, были и грядки с зеленью и овощами, но уже не очень ухоженные. Кусты розовой сирени, привезенные мной от Мелик-Пашаевых, тоже были высажены на указанное место. Посреди сада находился небольшой водоем, наполнявшийся водой из шланга, и назывался он почему-то «хаос»^[145].

Журка по имени Гопи, заочно знакомый мне, от которого я получила в письме только перышко, теперь крутился передо мной, танцевал, курлыкал и тряс от радости всеми своими перьями. Эта загадочная, совсем ручная птица, спасенная когда-то от гибели и выхоженная хозяйкой, сопровождала потом все часы моего пребывания в этом удивительном доме. Иногда наведывался и ежик, о котором мне говорил Сосинский, для него в комнате всегда ставилось блюдце с молоком.

Вечером мы сидели на террасе, пили чай и разговаривали. На столе чего только не было – виноград, дыни, груши, сливы! И на следующий день – мы весь день проговорили. Почти каждый вечер перед сном я кое-что записывала в свой дневник, ведь каждый разговор с Галиной Лонгиновной был для меня по тем временам откровением.

Она вспоминала о том, как Ахматова переживала за Мура, сына Марины Цветаевой, рассказывала ей, что он у кого-то здесь стащил часы, продал их, чтобы добыть немного денег. Он голодал тогда в Ташкенте, и Анна Андреевна его подкармливала, помогала материально. Мур учился здесь в школе, ему было очень одиноко и бесприютно в Ташкенте. Теперь дневники Мура опубликованы^[146], это всё стало известно, а тогда эти факты, как и многие другие, были покрыты тайной. Галина Лонгиновна, знавшая намного больше, чем все мы, на многое открывала мне глаза. Она была со мной предельно откровенна, очевидно, я успела заслужить ее доверие.

«Анна Андреевна была очень влюбчива, и ее много любили, – рассказывала Галина Лонгиновна. – Мой Алексей Федорович тоже был в нее влюблен, но Анна Андреевна была единственной женщиной, к кому я не ревновала, – говорила она мне. – Потому что здесь встретились два больших художника. У Алексея Федоровича был абсолютный слух на поэзию, и часто она делала нас первыми слушателями своих новых стихов. Он даже ей что-то подсказывал, где-то советовал, она не соглашалась, горячо спорила, отстаивая свое авторское право... Но через несколько дней смотришь – какое-то слово исправила. Однажды мы пришли навестить ее. Она приболела и лежала в постели, а из-под одеяла виднелась ее нога. Алексей Федорович увидел это и воскликнул: «Какая ножка!» А потом появилось это знаменитое стихотворение «Пушкин» 1943 года:

Кто знает, что такое слава! Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать Над всем так мудро и лукаво Шутить,
таинственно молчать И ногу ножкой называть?..»

Много интересного я узнавала из наших вечерних бесед. Так стихи «Как в трапезной» были написаны Ахматовой в период ее проживания в доме 54 на улице Жуковского: «В первом варианте «Как в трапезной», – говорила Галина Лонгиновна, – одна строка была несколько иной: «Мы кофе пьем и черное вино / И музыкою бредим вчетвером...». Эти четверо были Анна Андреевна, Надежда Яковлевна Мандельштам, мой муж и я.»

Стихотворение «Явление луны» было посвящено Алексею Федоровичу Козловскому и получено в поздравительной открытке к Новому 1945 году, когда Ахматова уже уехала из Ташкента. «Эти стихи ташкентские, – писала она, – посылаю их на их родину».

О Фаине Георгиевне Раневской, которая тоже была эвакуирована в Ташкент, говорилось много. Именно Анна Андреевна познакомила с ней Козловских.

Когда Анна Ахматова написала стихотворение, которое посвятила балерине Вечесловой, то Раневская, прочитав его, прокомментировала: «Она (т. е. Вечеслова) очень плохо воспитана. Я бы, получив такое стихотворение, просто умерла».

В довольно пожилом возрасте Фаина Георгиевна имела любовника и часто, раз в неделю или десять дней, ездила к нему в Ленинград. И вот в вагоне поезда «Красная стрела», заказав проводнику чаю и пару сухариков, она слышит, как тот кричит кому-то: «Во второе купе подай старухе чаю!» Это ее так потрясло, что, приехав в Ленинград и остановившись, как всегда, в «Астории», она села и неподвижно просидела 12 часов. Затем взяла билет и поехала обратно. Так окончился этот последний ее роман.

У Ардовых, в присутствии Ахматовой и Раневской, Галина Лонгиновна сказала, что уже начала писать либретто для оперы Алексея Федоровича о Пушкине. Заметила, что Анна Андреевна как-то строго на нее посмотрела и сказала: «Зайдите завтра в пять часов». А Раневская была на стороне Галины Лонгиновны и поддерживала ее в написании этого либретто. На следующий день в назначенный час у Анны Андреевны был разговор с Галиной Лонгиновной, она говорила, что это очень серьезно, что нельзя осквернять память о поэте и т. д. Но постепенно она смягчалась и посоветовала: «А вы сделайте так, как Булгаков, у которого Пушкин в сценарии даже не появляется». Галина Лонгиновна напомнила ей, что такой прием впервые применил великий князь Константин Романов для сценария драмы о Христе, где Христос не является действующим лицом, а о нем лишь говорят другие лица. Но потом эту работу Козловская так и не осуществила.

В один из следующих вечеров Галина Лонгиновна рассказала мне о том, как Анна Андреевна делилась с ней своими исследованиями о Лермонтове (тогда это нигде не было опубликовано). Она тщательно изучила дуэльный кодекс того времени и обнаружила, что те суровые условия дуэли между Лермонтовым и Мартыновым могли по кодексу

быть установлены только в случае нанесения оскорбления сестре. Еще выяснилось, что Лермонтов и Мартынов были дальними родственниками. У Мартынова была сестра, за которой Лермонтов ухаживал, но не получил взаимности. Она вела дневник, который, очевидно, свидетельствовал об этом. Мартынов раньше Лермонтова оказался на Кавказе, и его отец передал с Лермонтовым пакет для сына (в котором были деньги и дневник сестры). Лермонтов по приезде вручил ему 500 рублей, а об остальном сказал, что при переправе через реку пакет утонул. Об этом сын написал отцу, и тот ему ответил, что деньги были в том же пакете (т. е. Лермонтов стащил дневник сестры). Это был повод для вызова его на дуэль. Чтобы сестра не оказалась замешана в этой истории, они договорились разыграть при всех сцену оскорбления и вызова на дуэль (хотя условия дуэли были жестче, чем принятые в таких случаях).

А вот некоторые эпизоды, связанные с Александром Николаевичем Вертинским, который стал другом их семьи, хотя сама Галина Лонгиновна сначала долго его песен не принимала. Но Алексей Федорович настаивал, чтобы она сходила на его концерт и послушала. Пошла, и ей понравилось. Считала его большим мастером подтекста. Он ни разу дважды не повторялся в песне, каждый раз у одной и той же песни были новые акценты. Имел очень выразительные руки, весь МХАТ ходил учиться у него пластике рук. Затем они лично познакомились, он был в гостях в этом самом доме. У него с Галиной Лонгиновной завязалась переписка. Он писал: «Если Вы вдруг сойдете с ума и решите продать свой дом, то только мне. Я буду писать там «Гамлета» и вспомню имена всех своих любовниц». Был необыкновенным рассказчиком. Так, вспомнил один случай – обед на высшем уровне на Тайване у Чан Кайши^[147]. Стол, уставлен множеством разных яств. Затем стол убирается вниз и снова поднимается, а на нем – живая обезьянка. Человек отрубает ей полчерепа, и китайцы едят живой мозг обезьяны. Вертинскому стало дурно, и он выбежал из комнаты.

История его смерти, рассказанная его аккомпаниатором. Хотел омолодиться и принимал для этого новокаин. Галина Лонгиновна его предостерегала (двое ее знакомых умерли от этого). Он писал сценарий фильма «Дым без Отечества» и хотел делать пластическую операцию рук, чтобы играть в этом фильме. Первая читка состоялась в Ленинграде, сценарий всем очень понравился, и уже думали начать постановку. Он пришел после читки в свою гостиницу «Астория», был радостен, говорил, что прекрасно себя чувствует. И вдруг попросил валидол (стало плохо с сердцем) и умер.

В этом доме бывал и другой ее знаменитый друг: скульптор Эрнст Неизвестный. Это было в ту пору, когда он на конкурсе в Италии на лучшее изображение Данте получил сразу две первые премии – по скульптуре и по графике. У нас в стране его сильно травили, Хрущев

его ругал, но в результате семья попросила сделать надгробье именно Эрнста Неизвестного.

Короткая поездка **в Самарканд**

Конечно, от таких рассказов мне трудно было оторваться и куда-то уезжать. Но Галина Лонгиновна выполнила свое обещание: позвонила в Самарканд знакомому главному режиссеру Театра оперы и балета Игорю Максимовичу Маркову, чтобы устроить мне ночлег, и я отправилась в этот «Эдем древнего Востока», возраст которого больше 25 веков! Боря заранее купил мне туристскую схему, и они с Галиной Лонгиновной обвели на ней те места, которые я должна была непременно посмотреть. От Ташкента до Самарканда – около пяти часов автобусом. С 1 по 4 октября я бродила по этому легендарному городу, древней столице Тимура. Галина Лонгиновна меня потом обо всем подробно расспрашивала и внимательно выслушивала мои впечатления. Много часов провела я на площади Регистан, которую с трех сторон замыкают величественные здания медресе. Незабываемые впечатления остались и от обсерватории великого астронома Улугбека, и от мавзолеев Шахи-Зинда^[148], и соборной мечети Биби-Ханым^[149], и голубого ребристого купола мавзолея Гур-Эмир – усыпальницы Тимура, его сыновей и внуков. В Самарканде я впервые отведала одно национальное блюдо, которое мне очень понравилось. Оно называется «лагман». Это длинные тонкие макароны, политые сверху соусом из помидор, лука и моркови с мясом с картошкой.

Назад в Ташкент, **в райские кущи сада**

По возвращении из Самарканда снова продолжились наши вечерние беседы. Она вспоминала о своей юности, когда с отцом Л. Ф. Герусом, находившимся на дипломатической службе, жила в Англии. Ее называли самой красивой девушкой Лондона. Герберт Уэллс хотел видеть ее, но при встрече он ей не понравился. Однако он и другой английский писатель – Арнольд Беннетт – были ее литературными наставниками (в очень ранней молодости она писала на английском фантастические рассказы в духе Эдгара По).

Один удивительный зигзаг судьбы. Эндрю, сын русского эмигранта, первый коммунист в Оксфордском университете, ухаживал за Галиной Лонгиновной, когда ей было 18 лет. И вот здесь, в Ташкенте, дочь убежденного (несмотря на то, что был репрессирован) коммуниста, который основал в Ташкенте Музей коммунистического движения на Западе, случайно рассказала ей, что ее отец переписывается с Эндрю.

И так завязалась ее переписка с Эндрю, кавалером ее юношеских лет... Она рассказала ему, что отдыхает на даче у Пастернаков (а изданные в то время на Западе воспоминания Ольги Ивинской «В плену времени: Годы с Борисом Пастернаком» стали настоящим бестселлером). Он написал ей что-то нелестное о семье Пастернаков, она рассердилась и прекратила с ним переписку.

А вот еще одна судьба двадцатого века – Ольга Геккер, жена пианиста Анатолия Ведерникова. Американский миллионер, уверовав в коммунизм, отдает почти все деньги Советскому правительству и приезжает в СССР с семьей^[150]. У него – пять девочек (Оля – одна из них). Они покупают себе на Клязьме двухэтажный особняк. Наступает 1938 год, его расстреливают, жену отправляют в лагерь, затем еще трех девочек в лагерь, где они работают в шахтах. Остаются Оля, студентка консерватории, и еще одна сестра (брат Галины Лонгиновны Валериан Лонгинович помогает им, и вся эта история известна ей от брата). Потом А. И. Ведерников женится на Оле. Лет через 18–20 возвращаются три сестры, а затем и мать. И вот эта многострадальная женщина, пройдя все мытарства сталинских лагерей, утверждает: «А ведь Сталин этого ничего не знал».

Галина Лонгиновна дружила с поэтами: с Борисом Корниловым, часто спорила с Иосифом Уткиным, а Александру Межирову написала письмо после того, как услышала его по телевизору в передаче об Ахматовой. Но ответа от него не получила. Наконец пришло письмо от другого человека, где он объяснял его молчание: «У него нет слов, чтобы ответить на Ваше письмо». «А у меня нет слов, чтобы ответить на Ваше!» – написала она ему.

Но потом был приезд к ней Межирова, проговорили до четырех часов утра. Говорили о письмах Чаадаева, о судьбе Цветаевой. Выяснила, что он не любит ее стихи.

Кроме бесед, Галина Лонгиновна «потчевала» меня и музыкой. Мы прослушивали ее любимые пластинки из их домашней фонотеки классической музыки. Один раз она поставила запись оперы А. Ф. Козловского «Улугбек», премьеры которой состоялась здесь, в Ташкенте, в годы войны. Успех тогда был потрясающий. И потом, когда в Москве была представлена эта опера в дни декады Узбекской культуры, это тоже было явлением. А. Ф. Козловский получил за эту оперу орден Ленина.

На улице было свыше 30 градусов жары, а в комнатах прохладно. В кабинете Алексея Федоровича стоял рояль, полки с книгами и множеством интересных фотографий знаменитых людей. На специальный столик Галина Лонгиновна поместила свои фигурки из глины. На стене – картина известного узбекского художника Усто Мумина^[151], которого Галина Лонгиновна очень ценила и советовала мне запомнить это имя (его называют «восточный Рафаэль»). Висел и ее

портрет в молодости, выполненный Евгенией Владимировной Пастернак, первой женой поэта.

В первой половине дня я, как правило, шла на Алайский базар, затем мы готовили обед, обедали и кормили Журку. Он уже совсем ко мне привык и даже привязался, как собачка. Утром, пробуждаясь, я первым делом созерцала возле своей постели его профиль с длинным клювом и любопытным глазом. Он стоял на одной ноге и терпеливо ждал, когда я открою глаза и начну готовить ему еду. Особенно он любил кусочки мяса и салат из огурцов и помидоров.

После трех часов я отправлялась купаться – по улице Алишера Навои доходила до реки Анхор, течение которой было настолько быстрым, что надо было быть очень бдительной и следить, чтобы тебя не отнесло далеко от пляжа. Когда жара стала невыносимой, я очистила хауз – водоем в саду (в нем последний раз купался только Алексей Федорович), наполнила его водой и частенько в нем бултыхалась. «Уточка» – называла меня Галина Лонгиновна.

А вечером у нас была музыка или ее рассказы. Однажды она поставила мне запись фрагментов музыки Алексея Федоровича к балету «Тановар». Рассказала, как она писала либретто. «Тановар» – это название старинной песни, которую поют только женщины и в которой звучит печаль о любви, о неосуществленной мечте.

Сюжетом балета послужила истинная судьба танцовщицы Нурхон, ставшая известной со слов ее старшей сестры, которая бывала у Галины Лонгиновны в доме.

Но наступал конец моему сказочному пребыванию в Ташкенте, мне надо было возвращаться домой. Приближалась середина октября. По заведенной традиции в день рождения Алексея Федоровича (пятнадцатое октября) каждый гость срывал с дерева и уносил с собой плод граната. Кроме того, тот, кто гостил в этом доме, получал в дар какой-нибудь узбекский сувенир, для чего Боря был «командирован» ею сопровождать меня на базар. Он выбрал для меня огромное керамическое блюдо, расписанное национальным узбекским орнаментом. Помнится, что оно называется «ляган». Галина Лонгиновна подарила мне одну из вылепленных ею из глины статуэток, под названием «Веточка». И на прощание вручила недавно написанное стихотворение:

Расцвел осенний анемон. Расцвел и замер В дремоте солнечного дня. Ну, здравствуй, осень. Здравствуй же и ты, Моя осенняя печаль. Чего так ждет настороженная душа, Когда в беззвучьи льется день, Весь в солнечных лучах? Иль звука ждет – шагов любимых приближенья? Иль поступи неслышной Той, что близится ко мне? Чтобы увлечь туда, Где нет ни дней, ни света, ни цветка...

Отъезд

Переполненная впечатлениями, с благодарностью покидала гостеприимный дом, его хозяйку и волшебный райский сад с важно разгуливающим по нему журавлем. На прощанье Журка устроил для меня настоящее представление, с курлыканьем и всевозможными балетными па, отдаленно напоминающими «Танец маленьких лебедей»... Всё это осталось ярко запечатленным в памяти и, увы, менее ярко – на фотопленке, с помощью моего в ту пору совсем примитивного фотоаппарата «Смена».

Снова в Москве. Переписка Продолжается

В Москве я по просьбе Галины Лонгиновны навестила ее друзей и передала всем ее приветы и записочки. Первое время мы с ней перезванивались, но затем вновь возобновилась та самая радость от нахождения в почтовом ящике конверта со знакомым почерком. Теперь каждое письмо, и мое, и ее, влекло за собой много живых ассоциаций.

Зима в 1987 году выдалась на редкость суровой. «Как Вы там с Журкой зимуете? – писала я ей в феврале 1987 года. – Надеюсь, у Вас дома тепло? У нас в начале января морозы доходили до минус 38 градусов Цельсия. Я в это время была с мужем в Ленинграде – так там вообще были невиданные морозы: до минус 45 градусов. Мы короткими перебежками только успевали добежать до Эрмитажа, до Русского музея. Если чуть дальше – обмораживалось лицо... Ирма Викторовна шлет Вам большой привет, она продолжает трудиться над любимой темой...

Не помню, писала ли я Вам, что в конце прошлого года побывала в гостях у Анастасии Ивановны Цветаевой. Ей 92 года, но ее способность к общению, неослабевающий интерес к жизни, к людям, к литературе и искусству – всё это вызывает восхищение...»

Галина Козловская - Татьяне Кузнецовой

15 июня 1987

Милая Танечка!

Почему Вы мне не пишете? Разлюбили? Я не пишу, потому что вот уже два месяца справляю исправно каждый приступ магнитных бурь. У нас они сопровождаются грозами и ливнями, почти ежедневно. Всё это почти у всех рождает всякие гнусные вещи, в особенности у пожилых

людей, но у молодых также. У них идет кровь из носа, у большинства внезапные приступы непреодолимой слабости и головокружения. У меня ужаснейшие спазмы сосудов мозга и головокружения до полубморочного состояния. «Скорая помощь», уколы и прочее. Я не могу писать ни строчки, и книга об Алексее Федоровиче не двигается с места, теперь уже не по моей вине. Я терзаюсь, нервничаю и чувствую себя несчастной. Только Гопи радуется ветрам и дождям.

Седьмого мы с Борей встречали Троицу – такой любимый праздник. Он накануне привез очень много мяты, нарванной у какого-то ручья, и полы в маленьком домике усыпаны мятой, которая дивно пахнет до сих пор. При жизни Алексея Федоровича Боря обычно приезжал после полуночи, когда Алексей Федорович спал. Мы тихо украшали стены и потолок свежими ветками и пучками мяты. Так что когда Алексей Федорович вставал – Троицын день встречал его во всем благоухании.

Сад, который отродясь не видел столько влаги, растет необычайно пышно, и каждый листочек омыт до зеркального блеска. Розы в этом году небывало обильны и прекрасны.

К Первому мая ко мне приезжали погостить мой брат с женой. Они рассказали о том, как у них во Фрязино вымерз весь сад. Я подумала, что, наверное, и Ваши дивные яблони также погибли.

Напишите мне, наконец. Не равняйтесь на меня. Как будете проводить лето? Передайте Эле^[152], что я ее жду. Если сможете, пришлите мне с ней побольше югославской приправы, если будет – минтаевой икры и пару домашних туфель 38-го (не больше) размера. Я с ней обратно пришлю денежки.

У нас дождями смыло во время цветения все фрукты. Единственно, чего много, – это винограда. Вымолите у Надежды Ивановны мне прощение за мое молчание. Надеюсь, она поймет и извинит. Самый теплый ей привет и пожелания здоровья, которого, увы, так сейчас не хватает. Будьте и Вы, милая, здоровы и бодры.

Привет мужу. Пишите.

Целую –

Галина Лонгиновна

[Я писала ей о том, что нового видела и слышала в Москве, о литературных публикациях последнего времени, которые интересовали нас обеих. Вот отрывок из моего письма к ней. – *Примеч. Т. Кузнецовой.*]

Татьяна Кузнецова - Галине Козловской

Июнь 1987

<...> Напишу Вам немного о литературных новостях.

В «Литературном обозрении», 1987, № 5 вышла большая публикация Н. И. Катаевой-Лыткиной. И хоть моей фамилии Вы там не найдете, но я горжусь, что помогала ей собирать материал для этой статьи. Если достанете журнал, почитайте, пожалуйста. Второе. Недавно проездом из Крыма в Ленинград в Москве была Ирма Викторовна Кудрова и останавливалась у меня. В последних числах мая в Москве в Литературном институте проходили Пастернаковские чтения. Ирма Викторовна меня туда провела. Вел заседание Андрей Вознесенский. Зал был переполнен: люди стояли не только в проходах и на окнах, но и на сцене. Впервые я увидела сына – Евгения Борисовича (так похож!). С воспоминаниями выступали – Вениамин Каверин, жена Всеволода Ив́анова, Лидия Корнеевна Чуковская, которую зал приветствовал стоя. Евгений Евтушенко был одет в ярко-красный пиджак, что привлекало к нему всеобщее внимание. Тем паче, когда он начал читать стихотворение «Быть знаменитым некрасиво», зал просто покатился со смеху. Он остановился, но затем, сделав вид, что не понял комичности ситуации, продолжил. А я в это время думала о Вас и о том, с чем связано это стихотворение^[153]. <...>

Галина Козловская - Татьяне Кузнецовой

16 октября 1987

Дорогая моя Танечка!

Только села, было, Вам писать, как раздался звонок, и мне принесли Вашу посылочку. Спасибо Вам, милая, за два дивных подарка – за тапочки, такие мягкие и впору, и за то, что указали, где можно прочитать статью Ирмы Викторовны. К сожалению, я не могла ее прочитать сама, ко мне пришли и залпом прочитали вслух и унесли. Но всё равно я получила громадное удовольствие от ее блистательного исследования и была очень ею захвачена. Захотелось ей написать и пропеть ей хвалу – но магнитные бури отклонили стрелки и повалили меня навзничь. Я очень много болею и неукоснительно справляю накануне все космические возмущения. Вот что значит жить «близко к природе».

И вообще я очень ослабела за последнее время, страшно трудно делать всё по дому, часто не готовлю, так как нет сил, двигаюсь с трудом и невероятно быстро устаю. Даже самозабвенная работа с глинами дает после себя знать – неопишущим изнеможением. Но я всё же вылепила за последнее время «Танцующее дерево», которое очень удалось, и работаю над «Поющим деревом», чье лицо никак не удается – словно заворожило.

Самое печальное, что я не могу читать, сколько хочу. Быстро устают глаза, и хочу спать. Но хватит жаловаться. Есть еще и в моей жизни что-то хорошее, и я бы сказала, чрезвычайное. Один человек, американский писатель^[154], очень романтичным образом нашел меня и пишет мне совершенно удивительные письма. Он видел меня 44 года тому назад на спектакле «Улугбека», видел меня всего единственный раз несколько часов, – и эта встреча осталась у него в памяти на всю жизнь. Его письма такие восторженные, такие удивительные по молодому чувству жизни, и я не знаю, чем я заслужила такую прекрасную дружественность. Сейчас у меня на столе лежит его книга – «900 дней блокады Ленинграда»^[155] – уникальная по человеческому чувству сострадания и точнейшему исследованию (как считается, единственному в мировой литературе) всех обстоятельств тех трагических дней. Книга эта переведена на все языки мира, кроме нашего. Сейчас с новыми благотворными переменами появилась надежда, что она будет переведена и у нас. Книга огромной силы и порой библейской высоты. Боже, как много мы не знаем и какими мы, в общем, оказались полунемыми рядом с этим человеческим пронизательным и правдивым взглядом – человека из другой страны. Эта новая дружба придала какое-то особое очарование моей жизни. Но, к сожалению, письма идут в наш сверхскоростной век месяц туда и месяц обратно.

Вчера был день рождения Алексея Федоровича. Я, как всегда, по традиции, раздала гранаты каждому гостю, каждый срывал плоды прямо с куста.

У нас хоть и похолодало, но стоят дивные, порой теплые дни. Шли дожди, но днем бывает очень славно. Пишу Вам на крылечке, в Ваших тапочках, таких тепленьких и мягких. Они пришли как спасение – я дошла до безысходности, здесь никто ничего не может мне найти. Хоть шаром покати.

Мы с Журушкой по-прежнему дружим, и он с упоением проживает в саду осенние дни. Посылаю Вам несколько стихотворений, написанных недавно.

Очень прошу Вас передать самые сердечные приветы Надежде Ивановне^[156], перед которой я в долгу. Много ей здоровья, сил и удач. Я видела ее как-то по телевизору, когда она показывала квартиру Марины Ивановны. Лихачев сказал, что он прямо влюбился в Надежду Ивановну. И я тоже. Надеюсь, что что-то конкретное делается.

Когда увидите Ирму Викторовну, передайте ей, что я ее очень люблю, считаю ее блистательной умницей и лучшей ведуньей души и творчества Марины. О многом бы хотела поговорить и размечталась о встрече с ней.

Журушка как-то заболел, я испугалась и затосковала невероятно. Ему я и обратила мою мольбу:

Ты не птица,
Ты благословенный дух,
Танцующее перышко природы.
Не покидай меня, мой друг,
Я слов любви тебе не досказала...

Есть час души, есть час луны

Марина Цветаева

Она сказала: – Есть час души, есть час луны, Но не сказала, что есть мгновенья, Когда, покорные велению тайны, Они сливаются в блаженнейшем единстве, И жизнь тогда не знает большей полноты. И долго зачарованное время медлит, медлит Нарушить их надмирное сиянье И, как прежде, снова развести...

Ну, Танечка, прощаюсь с Вами и прошу Вас писать мне, и не сердясь, что я так редко отвечаю. Передайте привет другу белых медведей. Также Эле – надеюсь, у нее всё обошлось благополучно. Сами же будьте здоровы, счастливы и милы, как всегда.

Целую и обнимаю Вас от души,

Ваша Галина Лонгиновна

Р. С. Ножки шлют спасибо.

Галина Козловская - Татьяне Кузнецовой

24 февраля 1988

Милая моя Танечка!

Я надеюсь, дружок, что Вы не сердитесь на меня за долгое молчание и что не поздравила вас с Новым годом. Но дело в том, что я тяжело расшиблась, упав и ударившись головой об угол шкафа. Почти месяц не было лица и левого глаза, и до сих пор болит правая рука. По правде говоря, я была очень несчастна и непригодна ни для чтения, ни для письма.

К тому же непрерывные магнитные бури измучили спазмами головного мозга, и жизнь была чередованием полуобмороков и слабости, от которых единственным прибежищем был сон. Сон для меня сейчас главное мое спасение. А так как сны мои по-прежнему прекрасны, я больше чем наполовину ушла в эту таинственную и

пленительную «другую» жизнь. Меня не покидали только мои стихи, которые появлялись между сном и явью.

С глинами работать не могу из-за слабости и боли в глазу. Но образы не убывают в воображении, и я надеюсь начать снова лепить, как только окрепну.

Сейчас набираюсь сил, сидя на солнышке. У нас, чередуясь со снегом и дождями, всё чаще бывают чудесные теплые дни. Сегодня плюс 15 градусов. Журушка гуляет и в эту минуту трогательно танцует трем горлянкам, сидящим перед ним на земле. Как видите, ему по-прежнему нужен партер. В саду, находящемся еще в полном зимнем разорении, уже проклюнулись гиацинты и отцвели подснежники.

Появилась недавно надежда, что мои воспоминания об Анне Андреевне могут быть напечатаны в «Ардисе». За это принялись мои далекие, но верные друзья и, по-видимому, подключили к этому Иосифа Бродского.

Если это случится, это будет самой большой и последней радостью в моей убывающей жизни. Надеюсь, что Вы, дорогая, здоровы и всё у Вас хорошо. Передайте мой горячий привет Надежде Ивановне, перед которой виновата. Вы не представляете, как у меня мало сил. Собираетесь ли Вы с Элей приехать ко мне в гости? Буду очень рада.

Пишите мне чаще, даже если порой не смогу отвечать. Посылаю Вам два стихотворения из моего последнего зимнего цикла. Хочу знать, как проходит Ваша жизнь. Не утонули ли Вы в потоке сенсационной литературы? Как часто душа затемняется величайшей горечью и печалью, но я радуюсь, что мой народ очнулся и вспомнит о самом себе. Крепко Вас целую. Сердечно приветствую друга белых медведей.

Ваша Галина Лонгиновна

И на земле, и в вышине
Творилась слава тишине.

Велимир Хлебников

А	Луна	–	Вся	в	светлых	дымах,
Все			светозарней,			леденей,
Из		холода			и	блеска
Творит			свою			зиму.
Творит,			отринув			время.
В	мире		ночь,		Земля	уснула.
Она	почти		совсем		не	дышит.
И	лунной			синей		тишиной
Ложатся		тени		на		снегу.

* * *

Долго	ночью	вьюжились	метели,
И	поутру	запели	звонкие
В	ранний	час	свой, как
Проснулась	улица,	и	веселится,
По-новому	нарядна	и	пестра.
Бегут	с	санями	женщины и
И	шубки,	варежки	и
Вдруг	запушились,	радуясь	зиме.

Галина Козловская - Татьяне Кузнецовой

20 января 1989

Дорогая моя Танечка!

Я надеюсь, что Вы не будете сердиться на меня за то, что долго не пишу. Я очень много болею и очень слаба. <...> Иногда отсутствие физических сил держит в постели без еды много часов. После падения резко ухудшилось зрение, и я боюсь, что мне уж никогда не прикоснуться к своим глинам. При мне остались только стихи, которые всплывают и тревожат даже в дни слабости. В эти часы я чувствую, что я еще не вся погибла и душа полна.

Часто бываю печальна и несчастна, когда? прочитав книгу или газету наших дней, нахожу всё больше имен любимых друзей, которые трагически погибли в страшные годы. Иногда кажется, что если мы пережили кровь и смерть той жуткой яви, то теперь душа не может вместить столько печали от хлынувшего к нам познания.

Год Дракона ушел, свирепо сокрушив Армению великой бедой. Люди возлагают упования на год Змеи. Я, правда, никогда не могла понять, почему они ее возвели в сан умнейшей. Судя по ее первой акции в раю, это не подтвердилось и, как известно, стало причиной вечных бедствий человечества.

У нас снега, и Журка мается в доме, радуется, когда приходят люди, танцует и научился подолгу со мной разговаривать.

Для меня приезд Надежды Ивановны был большой радостью. Когда ее увидите, передайте ей мой самый нежный привет. Она очень мой человек.

Я ничего не знаю о Вашей жизни. Вы также не щедры на письма.

Так много интересного можно ныне читать, но мои глаза застилает туман, и я могу читать не больше 20 минут. Так что мне довольно часто

читает вслух Клавдия Ивановна. Напишите мне, милая, хорошее большое письмо. Очень этим порадуете.

Обнимаю Вас и желаю здоровья и счастья. Большой привет другу белых медведей.

Всегда помнящая Вас

Галина Лонгиновна

Северная песня

Северная	песня,	песня	кружевница,
Залетевшая	в метели	снежная	синица.
Ты поешь	о море и	о ягодке	в лесу,
Ты поешь	о горе,	заплетая	брачную косу.
В звонких	подголосках	вьется	хоровод,
И веселой	шутке	наступает	свой черед.
Все мощнее,	громче	голоса	звучат,
Подгоняя	песню,	каблучки	стучат.
Разгораясь	ярко,	как в печи	огонь,
Замирая	тихо,	кладешь	на сердце ладонь.
Северная	песня,	песня	кружевница,
Ты, в	снегах	поющая	русская Жар-Птица.

15 декабря 1988

Последнее письмо из Ташкента. Ее уход...

Галина Козловская - Татьяне Кузнецовой

19 октября 1990

Милая Танечка!

Спасибо Вам за память о сладкоежке. Пришла ваша посылочка в очень хороший для меня день, почти как поздравление. Я как раз кончила мои воспоминания об Алексее Федоровиче. Работала много и как будто хорошо. 15 октября ему было бы 85 лет. Местный Союз композиторов, как ни странно (принимая во внимание исламские беснования), хочет издать книгу, где будут его статьи и доклады. Предисловие – редактора, и мои большие воспоминания. Я работала так

сосредоточенно, что не позволяла себе никаких отвлечений: не читала, не смотрела телевизор, мало принимала людей. И то ведь моя беда нарастала, у меня зрение всё хуже и хуже. Когда бывают магнитные бури, у меня перед глазами сплошной серый туман. Поэтому и спешила закончить свой труд, пока вижу.

Вы мне давно не писали, и я ничего о Вас не знаю. Здоровы ли Вы, интересная ли у Вас жизнь в нашем обезумевшем мире? Как дела у Надежды Ивановны? О ней я тоже ничего не знаю, так же, как и об Ирме Викторовне. Напишите мне. Как Вы провели лето? У нас был ад. Если попаду в преисподнюю, не будет страшно. Два месяца стояла жара: плюс 38 градусов, плюс 40 градусов, плюс 45 градусов. Если бы не кондиционер и спанье ночью в саду, можно было бы испариться. Даже молодые люди очень трудно переносят и жару, и какие-то непостижимые атмосферные аномалии. Журушка также не хотел быть днем в саду, и вообще, старея, становится всё ласковей и спит ночью только рядом с моей постелью.

Еще не успела почитать присланное Вами. Я теперь редко читаю сама, мне читают мои молодые друзья. Очень трудно сохранить мир в душе, когда гибнет Россия, когда страна стоит над бездной, а люди дичают или страдают от такого множества бед, что их не охватить. Без конца жалею бедных, старых, одиноких людей, обреченных уже теперь на полную нищету и голод в связи с реформой цен, которую наметили до того, чтобы хоть как-нибудь помочь им не умереть с голоду. Да, грустно и страшно.

В моей жизни произошла большая перемена. Мой американский друг^[157], приехав сюда, подарил мне семью совершенно удивительных людей. Муж – узбек – самый добрый, самый умный, самый образованный из всех узбеков, которых я встретила в жизни. Жена его – русская по матери и узбечка по отцу. Это совершенно святая душа, с добротой небывалой, умница, с удивительной способностью любить. Они молодые, но у них уже четыре девочки от семнадцати до двух, прелестные, ласковые и чистые очаровательным детством. Они все полюбили меня, и Света взяла на себя все заботы о моем существовании. Они ежедневно кормят меня вкусной свежей едой и заботятся обо всех моих нуждах. Мне стало легко жить, и я легко принимаю их доброту, потому что они по-настоящему любят меня, и я люблю их. Поэтому порадитесь за меня. Я действительно очень нуждалась в том, чтобы кто-то заботился обо мне, ибо физически стала очень слаба и крайне дурно хожу. Очень резкий контраст между моим физическим состоянием и моим духом. Я ничего не отдала времени, и душа моя полна.

Напишите мне, милая Танечка, о себе и о наших общих знакомых. И не забывайте меня. Передайте привет другу белых медведей. Видели ли Вы меня в ахматовской телевизионной передаче? А еще меня

показывали в большом фильме о России в Америке. Сама не видела, но, говорят, очень хорошо прошла эта картина Хедрика Смита.

Целую Вас

Галина Лонгиновна

[Это было ее последнее письмо. Я действительно была очень рада за нее, что нашлись люди, которые могли за ней хорошо и, главное, регулярно ухаживать. Я звонила в Ташкент и говорила с ними, они мне понравились даже по телефону. Передавали ей трубочку, и мы обменивались с ней мыслями, новостями и надеждами на новую, непременно лучшую жизнь. Ведь это было только-только начало 1990-х, время больших откровений, надежд и ожиданий...

А жизнь так быстро менялась, так обескураживала людей, нанося всё новые и новые шоковые удары, что написать письмо было уже недосуг. И вот однажды, когда я позвонила ей в Ташкент, трубку взял Боря. От него я получила страшное известие о том, что Галина Лонгиновна умерла... Это случилось 6 сентября 1991 года (а родилась она 4 февраля 1906 года).

Вскоре пришло его письмо, последнее адресованное мне письмо с обратным адресом: Ташкент, Тупик 1, дом 1. Но надписан конверт был уже не ее рукой, а незнакомым мне почерком Бориса Дубровина. Привожу это письмо. – *Примеч. Т. Кузнецовой.*]

Борис Дубровин - Татьяне Кузнецовой

Ноябрь 1992

Милая Таня!

Простите, что не мог написать Вам сразу после нашего разговора по телефону.

Вас я помню и знаю по Вашим письмам, по разговорам о Вас с Галиной Лонгиновной, знаю о Вашей дружбе, которой Галина Лонгиновна очень дорожила. Вы, наверное, знаете, что я зимовал в Саянах и вернулся в конце мая по просьбе Галины Лонгиновны: она очень плохо себя чувствовала: сначала почки, потом общая слабость. Всё лето я прожил с ней здесь, в домике, и она поправилась, писала (вернее, диктовала – плохо видела в последнее время). Но к концу лета стала всё больше чувствовать себя плохо, слабеть, всё больше лежала.

Весь август мы активно лечились, были хорошие врачи из военного госпиталя. Возили ее в госпиталь, приглашали врачей на дом. И вот тут-то и обнаружилось, что у Галины Лонгиновны в брюшной полости две большие опухоли. Одна с детскую головку, другая чуть меньше. Пригласили онколога, он подтвердил. Но до начала сентября Галина

Лонгиновна хоть и чувствовала страшную слабость, но по дому двигалась, нормально ела и никаких болей не чувствовала. И буквально в несколько дней она настолько ослабла, что 5 сентября ей трудно было разговаривать. Организм изжил себя, износился. И это помогло ей уйти раньше, до того, когда начались бы страшные боли, которые бывают при этой болезни.

6-го утром Галина Лонгиновна хорошо спала, в 12 попросила поесть, я ее покормил, она ела, сидя в постели, потом, повернувшись на правый бок (к стене), она заснула. Я находился в комнате. Вдруг я почувствовал, что она стала труднее дышать. Я понял, что ей становится плохо, вызвал скорую, но в несколько минут дыхание стало реже, я взял ее за руки, она вздохнула и, не открывая глаз, медленно выдохнула. Я стал будить ее, но она уже умерла. Скорее всего, это произошло во сне. Приехала «Скорая», но ее помощь уже не понадобилась. Вот так ушел от нас Человек.

Похоронили мы ее рядом с Алексеем Федоровичем. Людей проводить Галину Лонгиновну пришло много, отпевали на Боткинском кладбище в церкви. Могилу завалили цветами.

Вот, наверное, и весь грустный рассказ о нашей дорогой Галине Лонгиновне. Может быть, я что-то не написал, что для Вас важно знать, напишите мне, я Вам с удовольствием отвечу. Буду ждать Вашего письма.

До свидания, Таня. Да хранит Вас Бог.

Боря

Александр Мелик-Пашаев

Александр Александрович Мелик-Пашаев – сын выдающегося советского дирижера – Александра Шамильевича Мелик-Пашаева (1905–1964). Человек разносторонне одаренный – художник, доктор психологических наук, автор многочисленных публикаций в области психологии искусства – Александр Александрович с 1996 года возглавляет журнал «Искусство в школе».

«В дом с мемориальной доской, посвященной дирижеру Большого театра Александру Шамильевичу Мелик-Пашаеву, в 1986 году меня направила Галина Лонгиновна Козловская, чтобы договориться с Минной Соломоновной о кусте необыкновенной розовой сирени, которая впоследствии была успешно перевезена самолетом в Ташкент^[158].

Тогда мы сидели с Минной Соломоновной за большим круглым столом и говорили о Галине Лонгиновне, ее замечательных письмах. Она вспоминала дружбу Александра Шамильевича с Михаилом Булгаковым и его женой Еленой Сергеевной. Рассказывала о С. Я. Лемешеве, который жил несколькими этажами выше, и толпах «лемешисток», которые не давали прохода своему кумиру, поджидая его у подъезда.

Во время нашей беседы в комнату заглянул и поздоровался черноглазый молодой человек. «Знакомьтесь, это мой сын Алик», – сказала Минна Соломоновна.

С тех пор прошла почти четверть века. Не стало Минны Соломоновны и самой Галины Козловской, а я вновь оказалась за тем же круглым столом с Александром Александровичем, и мы вспоминали Ташкент, дом Козловских, сад, журавля, розовую сирень и, конечно же, ее – Галину Лонгиновну, которая когда-то смогла соединить все эти звенья в одну цепь».

Вниманию читателя предлагается расшифрованный с диктофонной записи рассказ Александра Мелик-Пашаева о Ташкенте и дружбе его родителей с Козловскими.

Татьяна Кузнецова

Воспоминания

Вспоминаю, как я впервые услышал о Галине Лонгиновне Козловской. Впрочем, вначале я услышал об Алексее Федоровиче, поскольку отец был дирижером, а Алексей Федорович еще в молодости посещал спектакли Большого театра, заметил и очень полюбил Мелик-Пашаева как молодого дирижера. Потом Алексей Федорович исчез, естественно, на десятки лет, создавал музыкальную культуру Узбекистана. А в апреле 1964 года, когда отец с мамой поехали в Ташкент, на фестиваль «Ташкентская весна», вдруг оказалось, что там у них есть такие потенциально близкие друзья, которые приняли их с огромной радостью. И там, в течение трех дней, пока шел фестиваль, у них было неожиданное дружеское общение.

Вообще-то отец мой к людям хорошо относился, но сказать, что легко сходилась и мог быстро сдружиться, нельзя. Нет, он обычно дружил с теми людьми, с кем с детства, смолodu был знаком. А тут у них не было никаких внутренних барьеров, а, наоборот, полное взаимное приятие, и музыкальное, и человеческое. К тому же чувство юмора их роднило. О Галине Лонгиновне мама тогда тоже рассказывала как об очень интересном человеке высокой культуры. Но больше о нем.

Когда они встречали моих родителей в аэропорту, то чуть ли не первой фразой Алексея Федоровича было: «А вы помните, как вы начинали «Отелло» в тридцать таком-то году?» Отец показал жест, а он в ответ: «Нет, не так! А вот так! Вы уж со мной не спорьте!» Ему очень нравился Верди и особенно «Отелло» в трактовке Мелик-Пашаева. Он это запомнил на десятки лет.

Я помню еще такую шутку. У них было торжественное открытие фестиваля, и Александр Шамильевич там выступал. Потом подошел к Козловскому и посетовал: «Что-то я как-то неудачно выступил. Неинтересно». А тот, сверкнув глазами, ответил: «Александр Шамильевич, вы выступили как Шекспир в банде Махно!» (видимо, так это выглядело по сравнению с другими). В дружеском общении он был очень обаятелен, у него был такой искрящийся положительный заряд.

После смерти моего отца у мамы была с Козловскими по этому поводу небольшая переписка. Потом Галина Лонгиновна к нам приезжала, они общались, и не один раз.

Однажды от каких-то общих знакомых был звонок, чтобы мы приютили у себя приезжавшую из Ленинграда Анну Ахматову. По каким-то обстоятельствам она не могла на этот раз остановиться там, где обычно останавливалась. Мы, конечно же, с радостью согласились. Но потом что-то изменилось, и она к нам так и не попала.

Как-то Галина Лонгиновна возила нас на машине в Переделкино, где мы познакомились с Евгением Борисовичем Пастернаком. Так что у них общение было не только эпистолярное, но и личное.

Через некоторое время, когда мы с мамой стали совершать интересные поездки по нашей стране, дальние и ближние, мы отправились однажды в поездку по Узбекистану. И вот, попав в Ташкент, естественно, отправились к Козловским. Я очень хорошо помню, как мы добирались туда. Была южная черно-синяя ночь, со звездами, необычайно теплая. Ну и поискать, конечно, пришлось, потому что непросто было найти этот тупик, домики низенькие, не поймешь, где сворачивать. Помню, что в этот день как раз умер Мао. Я помню, как мы вошли, немного уставшие, в этот сад: небо, звезды, стол с виноградом, прудик чуть-чуть журчит водичкой, и журавль навстречу вышел. Они сидели в саду за столом с приветливыми лицами, и даже известие о смерти Мао Цзедуна как-то не испортило общего настроения. Нехорошо, конечно, но мы еще шутили по этому поводу – вот, мол, не выдержал нашего приближения к китайской границе!

Бывают такие встречи, когда нет никаких барьеров, как будто вы давно знакомы, и потом можно лет пятнадцать не видеться с человеком, а встречаешь его – и между тобой и им не выросло никаких преград. Бывает и наоборот: год не видишь человека, встречаешь на улице и уже не знаешь, о чем говорить.

Они оба двигались тогда уже с большим трудом, и он, и она: всё происходило как в замедленной съемке. Тем не менее ей как-то

удавалось и принять, и приятно оформить завтраки, обеды, проявить заботу о гостях. Иногда, правда, появлялась там одна молодая женщина, помогала ей по хозяйству. Но она и сама тоже медленно, но непрерывно делала что-то нужное и принимала очень хорошо. До сих пор в памяти встает уклад их жизни, такое южное, неспешное прекрасное время: утро, прудик в саду, в который Алексей Федорович медленно-медленно спускался, сползал в эту воду. Очень любил купаться.

Я тоже там купался, пловец-то я неважный, мне как раз этого пруда вполне хватало, чтобы три раза руками махнуть – и обратно повернуть. В жаркие ночи я спал в саду. Проснешься утром – а рядом журавль стоит, шея длинная, но погладить нельзя, это не кот, а так хочется. Он смотрит на тебя одним глазом, и такое чувство: то ли это Египет, то ли Индия. Они так и считали, что он к ним залетел из Египта, когда, раненый, упал в их сад. У него было срезано пулей одно крыло.

Этот журавль иногда танцевал, раскрыв крылья, такие пляски ритуальные устраивал. Они вспоминали, что когда у них был Александр Шамильевич и стал ему дирижировать, то журавль у него начал замечательно танцевать. Когда я попробовал повторить нечто подобное, то он у меня уперся и никак не хотел: руки, видно, не те. Конечно, он и при мне танцевал, но только когда он сам хотел, а не когда я дирижировал. А с отцом у них желания совпадали.

Потом шипанг этот – верхняя терраса, куда мы иногда поднимались и сидели там, разговаривали – в общем, это всё было замечательно. Общение с Козловским, хотя он и говорил с трудом после перенесенного инсульта, было всегда интересным. Он немножко нам и играл. Как-то мы заговорили об одном, как мне всегда казалось, гениальном месте из «Руслана и Людмилы». Он сразу сообразил, о чем идет речь, хотя я не музыкант и никаких музыкальных терминов применить не мог. Но он мгновенно понял, сел к инструменту и стал мне наигрывать это место из оперы Глинки. Немного рассказывал о своих сочинениях и о работе в Консерватории. В то время ученики к нему приходили домой.

Юмор у него был совершенно замечательный, такие сверкающие глаза, и хотя он не мог быстро сказать, но все его замечания были блестящи. Он и над Галиной Лонгиновной иногда подтрунивал. Об Ахматовой с удовольствием вспоминали. Они были очень дружны с ней, хотя она была старше их во всех отношениях. Говорили о стихотворении, которое она посвятила Галине Лонгиновне, и о фотографии, связанной с этим стихотворением.

Галина Лонгиновна и сама сочиняла, читала нам повесть на евангельский сюжет. Я не помню развития интриги, но в конце выяснялось, что главный герой – это раб, который арестовывал Иисуса в саду и которому апостол Петр отрубил ухо.

Еще она рассказывала о скульпторе Герасимове, который перед войной жил в Ташкенте, ходил к ним. Сейчас это стало общеизвестно, а тогда таили информацию о том, как вскрывали могилу Тимура. Галина Лонгиновна говорила, что среди местных был ропот – не надо, мол, этого «духа войны» выпускать. И чуть ли не в ночь после вскрытия началась война. А через большое время Герасимов к ним пришел и сказал: «Сегодня закрыл я эту гробницу». И тотчас произошел перелом в Сталинградской битве и во всей войне.

Была, если вы помните, такая фотография: стоят в гимнастерках все эти начальники, а Герасимов работает, вскрывает могилу. Смысл такой – почему это нам нельзя, нам всё можно! Потом оказалось, что всё-таки лучше не связываться... Когда вот так вплотную общаешься с прошлым, то могут встречаться такие мистические откровения. Ведь кто-то даже пытался через Жукова и на Сталина влиять, чтобы обратили на это внимание. Всё это шло на кремлевском уровне...

Через много лет я снова побывал в Ташкенте, на конференции по психологии. Алексея Федоровича уже не было в живых. Это было где-то году в 1982-м. Конечно, я решил навестить Галину Лонгиновну и, поскольку она любила интересных людей, привел с собой одного, с моей точки зрения, выдающегося философа.

Его имя – Анатолий Сергеевич Арсеньев, он известен в очень узких кругах. При коммунизме его все боялись, потому что он говорил, что думал, а при капитализме он стал неинтересен, потому что философией никто заниматься не хочет. А он продолжает ею заниматься и о своих серьезных вещах говорить. Ему сейчас сильно за восемьдесят. Недавно наконец вышла его очень объемная книга, куда он вложил в форме лекций то, чем пытался всю жизнь заниматься, но не мог опубликовать.

Он тоже с удовольствием к ней пошел. Мы втроем сидели в этом сказочном саду, они поговорили и о культуре, и о политике, оценили друг друга. Он потом мне говорил, что она душой и умом очень молода, моложе молодых, и она сказала, что мой Арсеньев «душка». Не знаю, насколько он «душка», он довольно строгий, но они тогда понравились друг другу. Это тоже была замечательная встреча.

Письма Галины Козловской Минне Шмелькиной

Шмелькина Минна Соломоновна (1909–1995) – солистка балета Большого театра СССР. Жена дирижера А. Ш. Мелик-Пашаева, мать А. А. Мелик-Пашаева.

«Случайно уцелевшие письма довоенных поклонниц, обрывки газетных рецензий позволяют догадываться, каким событием было в 1920–1930-е годы каждое ее появление в новой роли.

От нее ждали многого! Но, видно, любимый балет только на время делался главным в ее жизни. Отчасти, конечно, потому, что главным рано стало творчество мужа, Александра Шамильевича Мелик-Пашаева, знаменитого оперного дирижера 1930–1960-х годов.

Но и по сей день, стоит вспомнить о любом, когда-то выученном танце, она покажет его ладонями на столе так, что тотчас оживет и темный зал, и наивный аккомпанемент, светящаяся пыль авансцены, подробности движений, бестелесный и ясный облик балерины». (А. А. Мелик-Пашаев «Другая жизнь»)

Галина Козловская - Минне Шмелькиной

6 октября 1964

Дорогая, дорогая Минна Соломоновна!

Сколько раз принималась писать Вам, и всякий раз опускались руки. Все казалось, что Вам лишний раз будет больно, что Вам не нужны сейчас ничьи слова, хотя бы и рвущиеся из потрясенных сердец друзей. Но Вы все же должны знать, что в Вашем великом горе два человека, живущие так далеко от Вас и видевшие Вас и Александра Шамильевича всего несколько раз, все это время неотступно сердцем с Вами и оба горюем тяжело и неутешно.

Мы и не думали, что так сильно любили Александра Шамильевича!

Для нас было таким счастьем, что столько лет восхищения, преклонения и благодарности смогли вдруг при личном знакомстве излиться на него той любовью и дружественностью, что до встречи мы вынуждены были хранить про себя. В жизни все меньше и меньше остается тех, кого искренно можешь любить и еще меньше, кем глубоко восхищаешься в искусстве.

Как сразу и навсегда вся прелесть обаятельной и благородной личности дорогого Александра Шамильевича покорила, а душевный отклик как был удивителен! Как в любви, так и в дружбе, бывает то, что французы называют *«coup de foudre»* то потрясение и радость от встречи с тем, кто есть «твой человек», по ком тосковала душа и кто в жизни так нужен.

Понять и смириться с совершившимся невозможно, и трудно сказать, что вызывает большую ярость – смерть, его отнявшая, или жизнь, сделавшая это возможным.

Думая о Вас, всегда плачу. Вы, как голубка! Надо было лишь на мгновение видеть вас вместе, чтобы понять, что вы значили друг для друга.

Милая, милая Минна Соломоновна, я знаю, только одно дает нам силы и возможность пережить утраты любимых, это то, что пока в мире существует нежность и воспоминания оставшихся – человек не умирает. Наша память, память сердца – единственное, что мы, бедные, лишенные веры предков, можем противопоставить смерти.

Ваш сын, милое подобие Александра Шамильевича и столь любимый им, вместе с Вами, и это великое утешение.

Недавно Алексей Федорович рассказывал мне, как гениально сыграл Александр Шамильевич траурный марш из «Зигфрида», когда хоронили Вячеслава Ивановича. Свой ближайший академический концерт А. Ф. хочет посвятить памяти Александра Шамильевича и сыграет «Зигфрида».

Если у Вас будут силы, дорогая Минна Соломоновна, пришлите нам, пожалуйста, хорошую фотографию Александра Шамильевича, а также оттиски тех снимков, что Вы сделали у нас в саду. Они нам так будут дороги, и ведь по всей вероятности эти снимки – одни из последних, что были сделаны с Александра Шамильевича.

По нашей просьбе друзья из телевидения передают все, что у них снято с Александром Шамильевичем, и мы на днях слышали его голос.

Посылаю Вам маленькую фиалочку из нашего сада вместе со всей нежностью, которую к Вам испытываю. Хотела бы крепко поцеловать Вас.

Если бы Вам захотелось приехать к нам и побыть с нами, мы были бы счастливы и постарались бы сделать всё, всё что могут сделать истинные друзья. Алексей Федорович нежно целует Ваши милые руки и вместе со мной просит Вас помнить, что мы навсегда Ваши верные, преданные, искренние друзья.

Ваши Галина Лонгиновна и Алексей Федорович Козловские

Галина Козловская - Минне Шмелькиной

30 декабря 1964

[Открытка]

Дорогая, дорогая Минна Соломоновна!

Так и не знаю, повидал ли Вас Алексей Федорович, или же Москва и пленум закрутили его до потери сознания. Ему очень-очень хотелось Вас повидать. Домой он вернется прямо к Новому году.

Милая Минна Соломоновна, так от всей души хочу Вам и Вашему сыну всего самого-самого хорошего, что может дать жизнь. Обнимаю Вас.

Очень Вас полюбившая Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Минне Шмелькиной

20 июня 1965

Дорогая и милая Минна Соломоновна!

Вот уже больше года, что видела Вас в последний раз, но память о Вас всё так же свежа.

Не ответила Вам на Ваше последнее письмо, потому что пришло оно в самые черные дни болезни Алексея Федоровича. За этот год ему пришлось много пережить тяжелого, он расстался со своим оркестром, который его любил и любит по-прежнему, но некоторые формы современного гангстеризма не под силу порядочным людям. Он много настрадался, и это все едва не стоило ему жизни. Алексей Федорович в марте очень захворал, и я положила его в стационар с давлением 240 на 145.

От всех испугов, волнений и страхов я слегла и с тех пор больна. И вот теперь уже я в стационаре и изо всех сил стараюсь выкарабкаться. Ничего особенно хорошего из этих усилий не получается, хотя здесь и очень хорошо и пишу Вам из прелестной дубовой рощи, где целый день поют иволги.

По выходе отсюда уедем опять в горы. Врачи не разрешают ни Алексею Федоровичу, ни мне ехать далеко, так что средняя полоса России опять на какое-то время нам с ним заказана.

Будем жить там же, где постигла нас трагическая весть об Александре Шамильевиче в прошлом году, будем смотреть на те же горы и закаты, будем испытывать в сердце всё ту же боль – станем всячески скрывать друг от друга, что груз печали стал за этот год больше и еще горше.

Будем топить свою тоску в стихах, стараться не дать иссякнуть в сердце доброте и благожелательности к людям. Очень часто что-то их облик становится неприглядным, и хочется от них отвернуться надолго. Всё с большей силой люблю зверей, деревья, утра и вечера, острее погружаюсь в воспоминания виденного и слышанного в жизни и всё еще хочу, как говорил поэт, «древность мира высмотреть вполне».

У судьбы молю лишь отвести эту ворвавшуюся в существование тревогу и страх за близкого человека.

Простите, дорогая, что написала Вам грустное письмо и всё о себе. Мне так хотелось написать Вам что-нибудь ласковое и нежное. Но на этот раз мне просто придется поцеловать Ваше милое и прелестное лицо.

Все-таки снова хочу попросить Вас прислать нам фотографию Александра Шамильевича. Не поленитесь написать о себе, как Вы себя чувствуете, что Вы теперь делаете? Как Ваш сын, и чем сейчас заполнены Ваши дни и мысли? Очень бы хотелось свидеться, но теперь уж неизвестно, когда Бог даст. Оба мы от всего сердца желаем Вам всего самого хорошего. Крепко обнимаю Вас.

Дружески всегда Ваша

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Минне Шмелькиной

9 апреля 1966

Милая прелесть Минна Соломоновна!

Хочу Вам написать маленькую весточку. Пусть она будет как предваряющая ласточка о моем приезде.

Среди немногих, кого мне очень хочется повидать, – это Вы, дорогая. Должна признаться, что не очень хочется уезжать именно сейчас, в самый разгар среднеазиатской весны. Сад мой сейчас такой прелестный, все в цвету. Уже брызнули вишенки. Фиалки и гиацинты уже отцвели. В этом году ожидаю много тюльпанов. Так как их хозяйка этой весной несколько здоровей, то и сад куда ухоженней и нарядней.

Как мне жаль, что я не могу познакомить Вас с дивным обитателем нашего дома. У нас живет мистически, непонятно откуда-то появившийся египтянин – журавль-красавка. А так как все египтяне идолопоклонники, то он сотворил себе кумира из Алексея Федоровича, любовь исступленная, трогаящая до слез. При встрече все расскажу.

Алексей Федорович завтра едет в Комарово. Как видите, несмотря на райский сад, он вынужден бежать за тридевять земель, чтобы люди оставили его в покое и дали ему работать спокойно. Вероятно, дней через 10–12 и я тронусь к нему, а по дороге несколько дней пробуду в Москве, где мне надо наладить дела балетмейстерские, связанные с балетом, который А. Ф. пишет к пятидесятилетию.

Хочу обратиться к Вам за советом и даже некой просьбой, так сказать, светского характера. Как Вы считаете, удобно ли попросить Юрия Федоровича Файера познакомить меня с Григоровичем? Или, может быть, Вы могли бы свести меня с ним? (Просить об этом Касьяна Ярославича не могу, так как он ревнив, к тому же театральные

отношения Большого театра для меня покрыты мраком неизвестности.) Несмотря на то, что у меня будут письма к Григоровичу от Министерства культуры и от дирекции нашего театра, я как-то не привыкла и не умею знакомиться с людьми посредством верительных грамот и чувствовала бы себя очень стесненной и не в своей тарелке. (Кстати, я даже не знаю имени и отчества Григоровича.)

Должна Вам признаться, что виденный мною на днях из Ленинграда спектакль «Легенда о любви» произвел на меня очень сильное впечатление, и я отношу его к одному из самых радостных открытий в искусстве для себя за многие, многие годы. Талант этого хореографа покорила меня без остатка, и каков ни будет результат моей встречи с ним, я останусь навсегда истинной его почитательницей. Я не думала, что я увижу еще кого-то, кто так полно отвечает моим чаяниям и любви в балете.

Мне будет, конечно, очень горько, если ему не понравится то, что я хочу ему показать, именно потому, что я так полюбила его как художника. Должна Вам признаться, что до сих пор все мои пристрастия, любовь и предпочтения отдавались Касьяну как «моему» (излюбленному) мастеру, а тут я полностью и с радостью подчинилась обаянию другого таланта и индивидуальности. Мне так долго и давно никто не нравился, я ненавижу критичность свою при встречах с искусством, а она, к сожалению, всегда возникала, и так радостно наконец было увидеть произведение, о котором можно говорить с восхищением и память о котором живет в сердце. Напишите мне, милый друг, несколько строк авиаписьмом с ответом мне, могу ли я рассчитывать на Вашу помощь и любезность. Крепко Вас целую.

Напишите мне, пожалуйста, свой телефон, если он изменен.

Ваша, до скорой, надеюсь, встречи,

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Минне Шмелькиной

24 июля 1966. Репино

[Открытка]

Дорогая и милая Минна Соломоновна!

Через две недели мы вернемся в наш «потрясучий» город, вот почему хочу воспользоваться спокойной землей, чтобы черкнуть Вам несколько строк. Как жаль, что и в этот раз я не повидаю Вас. Быть может, поздней осенью я приеду в Москву с Алексеем Федоровичем.

Я приехала сюда после землетрясения к обезумевшему от волнения мужу, и здесь мы прожили три спокойных месяца с легким дыханием в

прелести белых ночей. Алексей Федорович на днях кончает сочинение своего балета в клавире. Партитуру уже будет писать в Ташкенте. Так что работалось тут отлично. Признаться, я сильно трушу перед возвращением домой. Домик наш мужественно стоит и стойко держится среди всеобщих развалин. Мы потеряли много друзей, чьи сердца не выдержали всех потрясений.

Не забывайте нас и пишите нам, дорогая. Я теперь по-особому чувствую дружбу и человеческую доброту. Мы оба сердечно приветствуем Вас.

Письма Владимиру Сосинскому

Владимир Брониславович Сосинский (Бронислав Брониславович, настоящие имя и фамилия Бронислав-Рейнгольд-Владимир Сосинский-Семихат; 1900–1987) – происходил из семьи инженера, семья часто переезжала с места на место. Рано лишился матери, воспитывался мачехой. Во время Февральской революции Сосинский учился в Бердянске. Когда Бердянск был занят белогвардейцами, он вступил в учебную команду Елизаветградского гусарского полка, храбро воевал, был ранен в грудь навылет, болел тифом. Прямо из госпиталя сводный брат Борис Семихат увез его в Константинополь.

Там в 1921-м Сосинский познакомился и подружился с сыном писателя Леонида Андреева – Вадимом, начинающим поэтом. В 1922 Сосинский попал в Болгарию, где окончил гимназию в болгарском Шумене с золотой медалью и успел поучиться в Софийском университете. Затем он перебрался в Германию, где вновь встретился с В. Андреевым и недолго прожил и продолжил обучение в Берлине.

В 1924 уехал в Париж, где опубликовал рассказ «Аланд», за который в 1925 получил 2-ю премию журнала «Звено». Был студентом Сорбонны. Вскоре после приезда Сосинский познакомился и подружился с Мариной Цветаевой, помог ей организовать первый творческий вечер в Париже и в дальнейшем выполнял множество поручений, связанных с ее выступлениями и публикациями. При участии Владимира Брониславовича в мастерской Петра Шумова были сделаны замечательные портретные фотографии Марины Ивановны и ее дочери Ариадны Эфрон.

Первое время Владимир Брониславович работал в издательском отделе торгпредства СССР во Франции, писал рассказы, рассылая их по различным изданиям. Стилистически они были связаны с литературой, печатавшейся в 1920-х журналами «Аполлон» и «Золотое руно».

Рассказ Сосинского из эпохи Гражданской войны «*Ita Vita*», появившийся в номере одного из пражских журналов, понравился редактору «Воли России» и автор был приглашен на работу в качестве

секретаря редакции. С этого началась замечательная организаторская деятельность Сосинского. Сначала он создал Франко-славянскую типографию. При ней с помощью выступивших меценатами сестер Рахманиновых (дочерей композитора) организовал названное в их честь издательство «ТАИР» (Татьяна и Ирина), где, в частности, вышло первое издание романа Е. Замятина «Мы». Обнаружив еще и способности к рисованию, Сосинский иногда оформлял выходящие книги.

В 1927 под общим заглавием «Махно» в «Воле России» появились три рассказа – «Бердянск», «Перекоп» и «Гуляй Поле». Главный персонаж носил часть фамилии писателя – Семихат. В «Махно» сильно чувствовалось влияние Б. Пильняка, Вс. Иванова и И. Бабеля. Нередко Сосинский выступал и как рецензент. Первое критическое выступление было связано с произведениями И. Эренбурга. Кроме того там были напечатаны статьи о творчестве Б. Пастернака «О читателе, критике и поэте» и А. Ремизова («Звезда надзвездная» и «По карнизам»).

Весной 1928-го по инициативе его друзей М. Слонима, В. Андреева было образовано литературное объединение «Кочевье», для «развития творческих сил молодых писателей и самоутверждения их в эмигрантской литературной среде». Здесь Сосинский выступал с устными рецензиями на книги Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», О. Мандельштама «Египетская марка», Б. Пильняка «Красное дерево» и другие.

В это же время Владимир Брониславович познакомился со своей будущей женой Ариадной Викторовной Черновой, дочерью лидера партии эсеров, В. М. Чернова. В 1929 году они поженились. У них родились сыновья Алексей и Сергей.

С первых дней Второй мировой войны Сосинский вступил в Иностраннный легион, был ранен в бою и на три года попал в плен. Почти два из них М. Осоргин регулярно посылал ему продовольственные посылки. Освободившись в 1943, Сосинский сразу же вступил в ряды Сопротивления. Вместе с В. Андреевым он участвовал в боях под Олероном, за что после войны советское правительство наградило его медалью «За боевые заслуги».

После войны в 1947-м году Владимир Брониславович с женой получили российское гражданство, поначалу без права проживания в СССР. В этом же году они уехали в Нью-Йорк, где Сосинский проработал до 1960 года в секретариате ООН. В 1947 в нью-йоркском журнале «Новоселье» (№ 31) был опубликован его рассказ «Срубленная ель».

В 1960 году Сосинские переехали в Россию. С собой Владимир Брониславович привез более 100 сохраненных им писем, рукописей, фотографий М. Цветаевой, А. Ремизова, М. Осоргина и других своих парижских друзей, которые сдал в Госархив. На родине он вернулся к писательству, печатался в газетах и журналах, выступал по радио и на литературных вечерах.

В конце 1974 года Владимир Брониславович Сосинский был три месяца в Средней Азии, куда он приехал «мыкать свое горе» после смерти жены, случившейся в июле. Знакомство, перешедшее в дружбу, с Галиной Лонгиновой и Алексеем Федоровичем Козловскими произошло в декабре 1974 года в Ташкенте.

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

Получено в середине января 1976 года

[Пометка рукой В. Б. Сосинского]

Владимир Брониславович!

Часто вспоминаем Вас и тот сочельник с повестью о рыцарстве и с кольцом с лилией Вандеи.

[Г. Козловская вспоминает рассказ В. Сосинского об истории подарка М. Цветаевой, приславшей ему из Вандеи (Франция) рукопись поэмы «С моря», с надписью: «Дорогому Володе Сосинскому – попытка благодарности за действенность и неутомимость в дружбе – и еще за Мура. Марина Цветаева. Переписано одним махом», и серебряное кольцо с изображением герба Вандеи (символа сопротивления) и двух королевских лилий. (Позже В. Сосинский передал его в дар Л. Мнухину в его коллекцию личных вещей М. Цветаевой.) Так она отблагодарила его за то, что он заступался за нее, после того как в парижском журнале «Новый дом» (1926 г.) в ее адрес прозвучала оскорбительная критика. Дело дошло до вызова на дуэль и драк. – *Примеч. сост.*]

Дорогой Вы и прелестный человек, промелькнувший так быстро в нашей тиши. Раздаете Вы себя множеству – достойным и недостойным, – а нам, кому Вы истинно нужны, – не пишете и совсем забыли. Радуетесь за Вас, что едете поглядеть на места, от одних имен которых щемит сердце^[159]. Прислали бы нам что-нибудь из написанного Вами. Я очень Вас полюбила и ценю, а статью о Скире до сих пор всем читаю.

Я для самоуслаждения написала маленький святочный, да, именно святочный рассказ, посвященный памяти Андерсена. В Швеции у меня живет молодой друг, композитор, которого мне хотелось чем-то порадовать на Рождество. Вот я и послала ему в своем переводе эту

вещицу, и она мне на английском больше нравится, чем на русском. Хотела послать Вам, но теперь, когда Вы уезжаете, уже поздно.

Вот и кончился год Андерсена, и Алексей Федорович, по-видимому, не напишет о нем своего балета, и только я напоследок, под самый конец, совершила свой маленький *homage*^[160].

Мне часто бывает грустно, но я умею всё еще жить удивительной жизнью. Привезите мне из Франции какую-нибудь хорошую книжку – прошу от избыточного простодушия и верю, что я хорошая, а Вы действительно ко мне хорошо относитесь.

Читала недавно воспоминания Ариадны Сергеевны Эфрон, и душа потрясалась и любила ее. Вот и еще одно удивительное существо замолкло.

Берегите себя, милый друг, и пишите прекрасные вещи.

Вспоминайте нас, Ваших друзей, азиатов «прóклятых», ибо бремя наше не из легких. Оба обнимаем Вас.

Ваша Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

21 января 1977

Ваше письмо принесли мне в стационар. Слова Ваши очень тронули меня.

Я еще никому не писала, Вы – первый^[161]. У меня приступ следует за приступом, и я очень слаба.

Вот – пятьдесят один год, один месяц и одна неделя исчерпали жизнь, прожитую вдвоем. Маленький кусочек детства и юности так малы перед этим полувеком, пронесшимся в неразлучном существовании.

У нас была прекрасная жизнь. Господи! Как писать в прошедшем времени?!!

Он был блистательным человеком и музыкантом огромных дарований, талантом, которым по праву могла гордиться Россия. Вместо этого она отправила его в этот край, изломала его судьбу, и он испил всю чашу унижения и печали, которые делают человека – человеком. Эти слова больше ста лет тому назад Шопен написал о его прадеде – о польском музыканте Антоне Онуфрии Шиманском^[162]; и его потомок, тоже изгнанник, пронес себя через жизнь достойно, не посрамив себя и своих предков.

Мы ничего не отдали, ничем не поступились.

Я верю, что его музыка будет жить, несмотря на то, что флаги культуры приспущены и явно наступает «глухота паучья». Когда-то

Михаил Фабианович Гнесин воскликнул после какого-то произведения Алексея Федоровича: «Я последний, я уйду, и у нас никто до конца не поймет его маэстрии!» Непонимание было при жизни, непонимание будет и после смерти. Но, как говорила Анна Андреевна, дайте человеку умереть, и всё станет на свои места. Алексей Федорович был последним из художников, живших в мире утонченного, изощреннейшего гармонического – слышания, и все самые сложные его творения зиждутся на основе безупречной формы (данной самой природой) и этой услышанности всех деталей и всего в целом.

Но пока мир будет – человечество будет слышать, несмотря на периоды шумов и бессмыслицы. И я верю, что аполлоническое начало в человеке и в искусстве не умрет во все века.

Таким был Ваш недолгий, но верный друг. Мне жаль, что Вы не знали его до инсульта, во времена его расцвета, когда Анна Андреевна говорила: «Нет, наш Козлик – существо божественного происхождения». Посылаю Вам слова, написанные в пароксизме тоски.

Вот		место		то,
При	мыслях	о	котором	стыла
И	криком		оглашались	сновиденья.
Две		яблоньки		растут,
И	между		ними	ты.
Как		мало		места!
Как	случилось,	что	с	тобою
Сама		Вечность		залегла?
Вот	он,	тот	«край	земли»,
Тот	лёсс,	которого	боялся	ты...

Стационар. Девятый день

17 января 1977

Р. S. Поверьте мне – я не буду «бедной вдовой», я буду гордой женой.

Еще раз обнимаю. Берегите себя, жалеите меня, Вам я разрешаю жалеть меня (другим нет!). И пишите мне, Вашему истинному любящему другу.

Галина Лонгиновна

В конверт с письмом было вложено следующее стихотворение Алексея Козловского. – *Примеч. сост.*

Собака в космосе^[163]

Перевелись на свете чародеи,
Давно исчезли маги на земле.
Пророков нет. Изнемогла, устала
Сбываться днем ночная ворожба.
Загубленных давно не бродят тени
И двойники не рыщут по пятам.
И в отсветах бездонья зазеркалий
Не глянет лик отпрянувшей судьбы.
Нет вещей снов. Исчезли ведуны,
И ярость клятв бессильно стынет в душах.
Пророчества несбывшиеся дремлют,
Возмездье спит. Во тьме отверстых ран
Вблизи убийцы кровь не проступает.
Утрачены приметы повседневья,
И знаменья небесные комет
Давно людей устали устрашать.
Все кануло. Ушло. И гордый разум –
Чтоб разгадать нам тайны естества –
Осилил сокровеннейшие грани...
Но наши мудрецы нам не сказали,
Зачем дана печаль? И отчего
Страшнее жить нам стало на Земле?
И как нам быть с возникшей пустотой
Разгаданных напрасно волхований?

Ташкент. Ночь

23 ноября 1957

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

20 апреля 1977

Дорогой, дорогой друг Владимир Брониславович!
Не пеняйте на меня, что только сейчас отвечаю Вам.
Учусь новой трудной науке жить одной, видеть ослепительный,
сверкающий зеленый мир без него, самого живого из всех живых.
Весна у нас небывало прекрасна, и сад мой – совершенное диво.

Бывает так пронзительно больно, что стараюсь не смотреть.

Журушка словно сердится на меня, считая, что я что-то сделала, что любимого нет, – и живет в отчуждении. Приходит, поест из рук и уйдет в конец сада, где пребывает целый день один. Даже ива, самая большая и прекрасная ива над прудом, умерла вместе с ним, не пожелав больше жить без него. Только я должна воплощать никому не нужный стоицизм и «сохранять лицо».

Я устала от заклинаний и уверений, что я сильный человек.

Странно – чем больше печалюсь, тем сильнее люблю жизнь: всё так пронзительно озарено и вовне, и внутри. Особой жизнью стали жить для меня стихи. С новым чувством постижения люблю всю чувственную прелесть жизни.

Часто думаю о таинственных токах крови, дающих нам жизнь, но и несущих наследие предков, делающих нас тем, что мы есть. Как они приходят к нам от них, воплощаются в нас и определяют нашу суть? Во мне течет сильная и стойкая струя византийцев – грешников и кровосмесителей. Они грешили и искали искупления, становились проповедниками, и самый первый даже стал святым.

Совершенно удивительной оказалась духовная гена греха кровосмешения, пронесенная с непостижимой неуклонностью через множество поколений. И еще одна черта – на лицах женщин лежал отблеск кротости и особой прелести, мужчины же неизменно были отмечены редкостной красотой и физическим великолепием. Иногда мне хочется написать об этих странных своих предках. Правда, мне известно не так уж много, и то, что известно, – с большими лакунами в веках, и все сведения об этом пришли ко мне в очень ранней юности, от дяди^[164], который был историографом и для себя проделал кропотливое исследование генеалогического древа.

Я еще не поблагодарила Вас за милый дар – за Марину^[165].

Кстати, хочу обратиться к Вам с просьбой – принять, если она к Вам придет, актрису и чтицу – Анну Смирнову^[166]. Она посвятила много пыла и жара сердца пропаганде поэзии и личности Цветаевой. Сама я с ней не знакома, но она, узнав от друзей, что я знаю Вас, просила меня походатайствовать перед Вами, чтобы Вы поделились с ней, чем захотите, о Марине Ивановне.

На днях я заходила в сад друзей, чтоб посмотреть на глицинии и на цветущие пионы. Они были ужасно китайскими, и мне вспомнились поэты китайской древности. Когда же мне хозяйка рассказала, как пчелы с вечера забираются в цветы, те закрывают лепестки, и пчелы спят там до утра – мне вдруг и пчелы, и цветы, и люди стали необыкновенно близки и милы.

Придя домой, я подумала: если бы я была поэтом тех времен, я бы написала следующие стихи... Посылаю их Вам.

Пчелы	ночью	спят	в	цветках	пионов,
И	там	дыханье	снов	благоуханных	и тепло.

А мне, пришедшему в радушный этот дом,
Так трудно уходить отсюда!
И грустно мне его покинуть,
Как пчеле, проспавшей ночь в цветке,
Не хочется рассвета.

Вам, эпиграфику и любителю буквенных линий, предлагаю придумать для них иероглиф.

Мечтаю о встрече с Вами. Все-таки летом, верно, буду в Москве. Впереди всё темно и неясно. Руза на вдовьем положении для меня душевно неприемлема. Хорошо бы в Малеевку или Переделкино, но туда летом трудно. К тому же я не числюсь «в цеху зазорном». Подумайте, может, Вы что-нибудь посоветуете. Будьте здоровы, берегите себя и пишите мне всегда.

Неизменно Ваша

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

Август 1977

Милый друг Владимир Брониславович!

Вы уже давно вернулись из благословенных пушкинских мест, а я всё никак не соберусь написать Вам несколько строк.

Не думаю, что письмо мое очень порадует Вас. Я стала печальной, и многое, что раньше легко прощалось людям, теперь ранит и ложится тяжестью, от которой трудно избавиться.

Я часто дивлюсь человеческой толстокожести и мелкости побуждений. Раньше я ограждала от них любимого и очень ранимого человека, теперь же я встаю перед ними одна, лицом к лицу, и защищать мне некого, и сама я, без друга, оказалась беззащитна и слаба. Чаще всего это все-таки связано с Алексеем Федоровичем, с его памятью, с отношением к нему.

Одно из горьких переживаний доставил мне Андрей К.^[167]

Казалось, у меня не было причин сомневаться в его отношении к Алексею Федоровичу и ко мне. И когда не стало Алексея Федоровича, было совершенно естественно считать, что Андрей будет архитектором при создании ему памятника. Так я и считала до недавнего времени. После того как правительство вынесло решение установить бюст на могиле, Андрей очень энергично старался узнать, сколько же будет отпущено средств, и вдруг в один прекрасный день сказал мне, что он считает, что, помимо бюста, надо будет еще шесть тысяч рублей,

прибавляя, что ведь Алексею Федоровичу за оперу платили столько-то, за балет столько-то, то есть понимай, что и ему надо будет получить соответственно высокую оплату за его труд. При этом он не преминул рассказать, сколько за каждую свою тарелку получает Саша Кедрин.

Он превосходно знал, что у меня шести тысяч нет и никогда теперь не будет и что правительство сверх положенного ничего не выделит. Не могу Вам передать, какой униженной и оскорбленной я себя почувствовала. Я никогда не позволяла бедности коснуться меня унижительным лезвием, я сотворена так, что унижения такого рода никогда не могли коснуться моей души. И вдруг перед лицом смерти, перед священной памятью я оказалась нищей и беспомощной, и это сказал мне человек, считающий себя моим другом. Он ничего не понял, ему и невдомек, какую боль он мне причинил этой бесцеремонностью финансовых расчетов, этой циничной действительностью, он ничего не прочитал на моем лице. Так и уехал в Москву. Но, конечно, такой «друг» не по карману, если уж заговорить его языком. Бог с ним.

Памятник сделает другой, скромный и деликатный человек. А наш друг и ученик Алексея Федоровича, отныне мой духовный приемный сын, Боря, если нужно, закабалится на какую-нибудь работу и из своих средств поставит памятник.

Я не писала Вам, что на девятый день после того, как я написала известные Вам стихи, – я увидела ночью сон. Я увидела его надгробье. Это был серый камень такой формы... [Далее в письме помещен рисунок. – *Примеч. сост.*] Внизу слева я увидела журавля, стоящего, готового к полету, затем выше летел журавль, который постепенно превращался в нотные знаки, уходящие в небо. Это было удивительно, и я проснулась с чувством продиктованности и дала себе слово, что так и будет.

Пока оставленный журавль еще стоит у его подножья, я должна осуществить этот памятник, и я это сделаю. Но к нему не прикоснутся расчеты, он будет создан на основе любви и бескорыстия.

Вы не рассердитесь на меня, что я пишу Вам о своей печали? На маленьком холмике сосредоточены мысли первых утренних пробуждений, пронзительность течения одинокого дня и последние прощания перед сном.

Как писал Гоголь: «И грустно оставленному, и нечем помочь ему»^[168]. Кто, как не Вы, поймет меня, и всё это Вам ведомо. Я бываю счастлива, когда я вырываюсь в свой прустинский мир^[169], и благодарю Бога за этот дар. В своих воспоминаниях я сильнее Времени и Смерти. Они отступают перед могуществом памяти. Как жаль, что слабость, обыкновенная человеческая физическая слабость, не даст этой памяти быть плодотворной, чтобы то, что было, могло зажить вновь на листках бумаги.

Теперь хочу рассказать Вам, милый друг, повесть о книге^[170], посланной Вами мне для прочтения.

Здесь снова глянул лик человеческой небрежности и невнимательности. Очаровавшая Вас Милочка^[171], выпорхнув из Москвы, как-то сразу упустила из виду, что книжка предназначалась мне. И стали читать ее все, кому надо и не надо. Через месяцы она попала к Андрею^[172], который, кстати, ничегошеньки в ней не понял, и, наконец, через долгое время мне сообразовали ее принести, совсем недавно.

Владимир Брониславович, знаете ли Вы, чем эта книга стала для меня? Я словно встретила с прекрасным, давним другом, которого я всю жизнь любила. Это, конечно, лучшее, что написано об А. А. Великолепна и личность автора, ее любовь к Ахматовой – глубокая, чистая, – глубина понимания, высшее проявление дружественности. Это само благородство, бескорыстие человечески любящей и сострадательной отданности как идеал человеческого общения.

Как это не похоже на вороха дамской писанины об А. А., пронизанной, почти неизменно, интонацией «Я и Монблан», с этой осознанной или неосознанной фамильярностью, с бабьим оглушением объекта воспоминаний до собственного уровня!

Сила воссоздания – в правде, в той поразительной искренности, в той небывалой силе трагического выражения трагического времени. И сам автор, ее душа – скорбная, неподкупная, – сколько в ней духовной силы и человеческой высоты! Да будет она благословенна за свою чистую правду, запечатленную с такой силой.

Мне до исступления жаль, что в дни, когда А. А. жила в Ташкенте, она, подарившая нам не одного из своих друзей, не пожелала подарить нам самого прекрасного, самого настоящего, самого лучшего. Быть может, друг сам этого не хотел. Я понимаю: ведь мы часто не любим видеть, как другие любят слишком сильно тех, кого мы любим сами. И как бы мы ни были умны, мудры и добры, мы не можем преодолеть этого нежелания отдавать хоть частицу кому-то другому.

<...> Книга пришла ко мне как раз тогда, когда я сама писала об А. А. Признаюсь, я растерялась, испугалась, нужно ли мне писать после такой чистой подлинности и высокой достоверности. Сначала я подумала, что это мне предостережение, но затем чувство любви, что я храню, подсказало мне, что оно дает мне все-таки право попытаться рассказать о прелести, неповторимой прелести ее самой, и той восхитительной дружбе, которой она одарила нашу жизнь.

Всегда, и в любви, и в дружбе, мы с Алексеем Федоровичем принадлежали к растениям тайнобрачным. Мы никогда не афишировали наши с А. А. отношения, хотя многие знали о ее большой привязанности к нам. Когда она умерла, мы не откликнулись на просьбы и зазывания отдать всё, что хранилось у нас, связанное с ней, и уклонялись от всяких попыток проникнуть в заповедные тайники воспоминаний. <...>

А сейчас, когда его нет, ее веселого друга, так понимавшего ее, ее вечную женственность и музыкальнейшую суть ее стихов, теперь,

когда их обоих нет, я думаю: может, мне снять запрет молчания и попытаться рассказать об этой поре.

Мало кто знал, что кроме абсолютного музыкального слуха, которому была подвластна вся стихия музыки, Алексей Федорович был наделен таким же абсолютным слухом стиха. Безупречность слышания стиха и высочайшая, энциклопедическая (нехорошее слово, простите) оснащенность знания стихов и всей культуры и изощренности форм и стилей всех времен делали его в известной степени феноменом. Для Анны Андреевны он был притягателен как идеальнейший из слушателей и, смею сказать, судей, он был для нее как оселок, на котором она проверяла отточенность звучавшего в ней. Они иногда спорили, она не соглашалась, – а потом, смотришь, и напечатает с подсказанным. Я часто удивлялась естественности, спонтанности, милой доверительности, какой-то взаимной радости их общения. Конечно, об этом, о том, как было, я не буду писать, чтоб не было истолковано превратно. Это понять могут только художники, испытавшие радость истинного и восторженного понимания.

Очень мечтаю повидать Вас. Мне нужно побывать в Москве в сентябре. У меня много дел, которые можно разрешить только на месте, – издание, архив и прочее. Но меня пугает мое физическое состояние – обострившийся диабет лишает меня последних сил. Боюсь, как бы вместо Москвы мне не попасть в стационар. Будем надеяться, что все-таки увидимся. Напишите мне настоящее, большое письмо. Не вздумайте ограничиться открыткой с галантным росчерком.

Да, забыла Вам сказать, что книжку я не дала приходившему молодому человеку. Он не вызвал у меня ни малейшего доверия. Ох, Владимир Брониславович, Ваше чутье к людям безнадежно не срабатывает. И как можно бесценное пускать по рукам кого попало? Всё равно люблю и обнимаю.

Г. Л.

Р. С. Журушка кланяется, а меня прошу простить за ужасный почерк и уйму грамматических ошибок. Всё стала перевирать.

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

16 октября 1977

Дорогой, бесценный друг Владимир Брониславович!

Простите меня великодушно за мое последнее письмо. Получив Вашу открытку, я поняла, что огорчила Вас Андреем. Забудьте, милый. Я ему всё сказала честно и открыто, он удивился (относясь ко мне по-настоящему хорошо, он *не понимает*, что он меня обидел).

Получив должную головной убор, он сейчас кроток, смирен и нежен. Я ему простила, потому что тоже его люблю (тем больше была грубость). Мы вместе ездили вчера на кладбище, где на могилке оказалось уже много цветов^[173]. Утром я получила Вашу телеграмму, тронувшую меня глубоко, а на окне лежали положенные кем-то цветы и огромная охапка базилика (райхона), запах которого Алексей Федорович так любил. Могилка сокрушает мне душу, словно я его оставила, а не он меня.

Друг мой, мне очень тяжело живется! Случилось так, что то ли вследствие его природы, то ли его счастливого дара художника, мы прожили поразительно радостную, гармоничную и высокую по строю чувств жизнь. <...> Тогда, верно, само существование его таланта было его защитой. И лишь к концу черные силы зла стали стягиваться удушающим кольцом, и, сократив его дни, теперь сокрушают его память, мою жизнь страшной местью бездарностей и завистников. Трудно представить, что человек, никогда ни одному человеку не сделавший зла, добрый и благожелательный, так много помогавший людям, вызывает и после смерти такую жажду «уничтожения». Я за это время пережила несколько таких ударов и потрясений, от которых у меня едва не разорвалось сердце (в буквальном смысле). Я должна скорее сделать всё, что надо, для сохранения его искусства, и не имею права дать себя убить. Пожелайте, друг мой, мне много мужества и сил.

Напишите мне большое и хорошее письмо, чтоб я узнала от Вас о Вас. Ужасно хочу встречи. Верю, что она будет, но когда – не знаю. Я никогда себя не ценила и не берегла, а сейчас я должна это делать, чтобы совершить то, что мне завещано.

У нас стоит дивная осень. Прошли дожди, всё омыли, и всё стоит в красе и тепле осенних дней. Журушка мой Вам кланяется, а я обнимаю и жду большого письма.

Неизменно Ваша

Галина Лонгиновна

P. S. Не проговоритесь Андрею, что я Вам писала о нем. Не надо. Еще простите за безобразный почерк и ошибки.

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

23 ноября 1977

Дорогой, дорогой мой друг!

Хочу черкнуть Вам несколько строк, чтобы успокоить Вас. На днях Милочкин брат летит в Москву и привезет Вам бесценную Вашу книгу.

Не сердитесь, милый, за задержку и за то, что молодой человек, подошедший к окну, не вызвал у меня доверия. Очень странно прийти, не пожелать войти, познакомиться с хозяйкой. Вся форма обращения для меня была необычной: «Мне захотелось что-то почитать, и Владимир Брониславович сказал, что у него там, в Ташкенте, есть книжка». Согласитесь, что вся фразеология – не на уровне обычной интеллигентности и тем более самой книжки.

Еще раз прошу извинить за мой очередной *faux pas*^[174]. Что-то я сама стала очень ранима и раню других. Я сейчас очень больна. Валяюсь с осенним гриппом и бронхитом. Часто прихожу в отчаяние от жизни, что-то, как пловец, теряю силы, слишком много мути накатывает на меня, боюсь, не выдержу и захлебнусь.

Нет внутреннего спокойствия и здоровья, чтоб писать.

Вы спрашиваете, как подвигаются у меня воспоминания об Анне Андреевне. Плохо, перечитала написанное, надо всё заново, не годится.

После дивной книги Лидии Корнеевны, такой сильной и правдивой, мне всё мое кажется слабым, неубедительным. Ужасно боюсь литературщины, как смертного греха. Кроме того, мне, как говорил великий Лев Николаевич Толстой, не хватает стихийного энтузиазма заблуждения^[175].

Милый друг, если молитесь на ночь – молитесь за меня. Худо мне.

Обнимаю Вас, дорогой, берегите себя и пишите мне, хоть Вы меня немножко разлюбили.

Р. С. Андрей тише воды, ниже травы, может, что-то понял. Вероятно, сожалеет.

Любите его, как любили, я никак не хотела что-то отнимать и портить в большой дружбе. Это неблагородно. Я умею быть великодушной и прощать там, где это надо и возможно. Когда буду лучше себя чувствовать, напишу нормальное письмо.

Пока же люблю и помню Вас всегда.

Ваша неизменно

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

Получено 25 декабря 1977

[Пометка рукой В. Б. Сосинского]

Владимир Брониславович! Мой дорогой, бесценный друг!

Не знаю, как и благодарить Вас за удивительный дар^[176]. Спасибо от души, щедрый мой человек.

Почему Вы ни словечка не написали о себе? Я ведь хочу знать о Вас всё, а Вы шлете мне лишь несколько строк.

Простите, что так долго задержала книжку Лидии Корнеевны. Милочкин брат наотрез отказался, такой предусмотрительный и робкий. Ну да Бог с ними. Но у меня к таким людям сразу пропадает интерес.

Напишите мне, пожалуйста, о каком чтении Волконского^[177] пишет Марина Ивановна во втором своем письме. Здесь живут две очень близкие к ней женщины^[178] по Праге, очень хорошо знавшие Родзевича и Муну Булгакову^[179]. Они почему-то говорят о нем с резкой антипатией, подчеркивая, что у большинства людей он вызывал презрение. Правда, они же говорят, что он был Charmeur'ом^[180].

Очень грустно бывает, когда созданный поэтом образ дробится в зеркалах иных душ и их воспоминания хранят быт и поступки иной – не поэтической – жизни.

Как странно, неистинно порой видят люди большие явления и как по своей мерке рядят и судят. Я в юности знала одного человека, у которого было какое-то исступленно-недружелюбное отношение к Скрябину. И все его злопыхательства можно было бы заключить в одну формулу – «Как он может быть гением, когда я его знал».

И всё же мы ищем, как плохие детективы, крупицы свидетельств о больших художниках, подаривших себя миру и нам в том числе, но часто хочется отпрянуть и не знать.

Понимаете ли Вы меня, это противоречивое желание знать и не знать? Как часто законная наша пытливость, будучи удовлетворенной, не приносит радости.

У меня очень сложные отношения с Мариной Ивановной. Я люблю колдовскую магию ее стихов, для меня бесспорность ее гениальности, поэтической бездонности и силы живут всегда, не иссякая, и она как художник давно стала неотделимой частью моей души. Но когда я соприкасаюсь с ней как с женщиной и человеком, что-то во мне начинает двоиться, возникает какое-то внутреннее сопротивление, что-то во мне вызывает отталкивание, и я с ужасом чувствую даже признаки нелюбви.

Между тем ни к кому на свете у меня не было такой пронзительной, такой всеохватной жалости, как к ней, ничья судьба, из всех трагических судеб нашего времени, не сокрушала так душу, как ее, от начала и до конца.

Есть какая-то спираль в ее существовании, какое-то глубокое свойство: казалось бы, лавинность, и бурность, и безмерность чувств, – а какой-то грани любви (не ужасайтесь, я не кощунствую), какой-то *обязательной* грани любви – нет. И отсюда ее ощущаемая мной женская несчасть: она, несомненно, всегда бывала несчастна в любви, и про нее можно было бы сказать словами дяди Ерошки, обращенными к Ленину, – «нелюбимый ты какой-то»^[181]. Несмотря на множество

Любовей, не была по-настоящему любима, потому что судорожное ее счастье и исступление не таят в себе той женской тайны, *делающей другого счастливым.*

Я много думала о ней, об этой сути ее характера. Всё хотела дойти до истинного понимания. И мне кажется, я многое поняла, прочитав эти два ее письма. Даже в минуты великой любви, когда искренность не может подвергаться сомнению, строки полны прежде всего литературным ощущением. Она не перестает быть в данном случае не поэтом, поющим свою любовь, а писателем великой внутренней, не забываемой никогда, ни в каких условиях своей художнической гордыни. Я прочитала в ее строках отсутствие самозабвенного равенства в страсти.

Всякий лирический поэт всегда эгоцентричен, и осознание себя – гения – личности – великая тайна. Но в творцах-мужчинах их ощущение себя несет в себе чувство величия, как у Пушкина, одновременно радостного и пленительного. И гордость самих великих никого не подавляла, не требовала трепета перед чудом своего существования – «Стойте передо мной на коленях!».

А у Марины гордыня часто выплескивалась в высокомерие, притом чисто женское. Всякий художник должен понимать себя, свое значение, иначе он не художник. Но искусство женственно по своей природе, его назначение – давать. А это отдавание – как милость Божья, и она, эта щедрость, не должна приносить умаление принимающим.

Марина слишком изумилась самой себе, поняв себя как чудо, и не позволяла ни себе, ни другим об этом забывать. И несла в себе что-то карающее, как Иегова. И вероятно, вот против этого что-то и восстает в моей душе.

Я спрашиваю себя: почему всё в Анне Андреевне – ее стихи, ее душа, вся она, какая она была, и в женской, и в человеческой сути, с гордостью великого поэта России, очень знавшая и понимавшая свое значение, – почему она так навсегда поглощала вас только чувством любви. Эта любовь-восхищение устремлялась к ней навстречу, клалась к ее ногам в светлом порыве, и принимала она ее в свои добрые руки и при этом смиренно. Карала она в жизни только тупиц и пошляков.

А ее личина царственной отстраненности была не следствием высокомерия, а защитным плащом от недоброго или непонимающего мира.

Кроме песенного дара, Бог дал ей силу великой любви, и обладала она тайной любовного покорения, долгого и часто неизбывного. И Марина это чувствовала и как хорошо об этом сказала в стихах.

Я знаю, Вы не любите по-настоящему Анну Андреевну и несправедливы к ней. Мне это грустно. Когда я очень люблю, я хочу, чтобы все любили, как я, и прежде всего – друзья. И Вы, мой дорогой друг, не должны стоять за барьером.

Но довольно говорить о поэтах. У нас, кроме зимы со снегом, дождем и зеленой травой, еще было землетрясение. Это было ужасно и в этот раз действительно страшно. Андрюша Вам всё расскажет. Земля-матушка напомнила нам худшие из времен 1966 года.

Через несколько дней будет сочельник. Помните тот вечер, когда Вы пришли к нам, – какой он был светлый, ясный, и за стол мы сели со звездой?

Сейчас я заранее тоскую и просыпаюсь от собственного стога. Скоро, скоро будут сочельник и Новый год, последние счастливые дни в моей жизни. Уже первого января мой любимый был болен, а девятого – жизнь кончилась. Господи, как я их опять проживу!

Недавно дом мой снова опустел: приехал сотрудник Музея им. Глинки и увез в Москву почти всё музыкальное наследие Алексея Федоровича. Такова была его воля и желание, а музей будет бережно и достойно хранить его рукописи. Сейчас они помещаются в Троекуровых палатах^[182] (за Колонным залом), но через год, наверное, переедут в специально выстроенное для них здание. Там они хотят открыть его персональный фонд, устроить постоянно действующую экспозицию.

Я теперь занята подбором фотографий, стихов и должна подступить к его дневникам. Я кое-что обещала музею, а как быть со всеми остальным? Посоветуйте мне, милый друг, как быть. Многое из написанного (а вел он дневник с десятилетнего возраста), не всё может быть открыто постороннему глазу. Много очень интересного, много, в особенности за последние годы, менее значительно и увлекательного. Мне очень трудно к ним приблизиться. Я погружаюсь в невыразимое отчаяние и начинаю плакать.

Его одиннадцатилетние и тринадцатилетние дневники киевского периода – это булгаковщина рядом с поразительным миром музыки, небывалой интенсивности существования в этой огромности. Боже, сколько в нем было всего!

В сочельник хочу поехать к нему. Повезу ему елочку и зажгу свечи. Но что-то я очень уж расписалась. Неужели Вы мне опять черкнете четыре – пять строчек? Это несправедливо. Извините меня за скромность моего рождественского дара. Но зато это орехи из моего сада. Они росли и падали на землю под азийским небом, и Журушка долбал их своим длинным носом. Все-таки частица моего сада и моей души, которая всегда хранит память о Вас, мой друг, метеором возникнувшем и исчезнувшем из наших глаз. И почему это судьба так несправедлива! Нам столько надо бы рассказать друг другу, столько поведать!

Берегите себя, пишите не только рассказы и воспоминания, но и письма – мне, конечно. Будьте счастливы и здоровы во все дни, не только новогодние.

Обнимаю Вас.

Ваша Галина Лонгиновна

Р. С. На днях слушала по телевизору каких-то кавказцев, не то осетин, не то балкарцев, захлебывающихся от красот своей природы. Диктор самоупоенно произнес: «Форма наших местных объездчиков похожа на форму пограничников, да они и стоят на границе между настоящими любителями природы и браконьерами».

Еще раз с Новым годом.

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

14 марта 1978

Дорогой мой чудесный друг Владимир Брониславович!

Простите, что только сейчас отвечаю на Ваши милые письма. Как Вы добры ко мне и как тонко Вы хотите развеять мою печаль и мое неверие в самое себя.

Я долго и тяжело хворала. Поверила предательскому теплу – плюс восемнадцать – и посидела два часа на крылечке. Но азиатское тепло коварно. К вечеру я была готова, но что хуже всего, простудила больные почки, чего мне никак нельзя.

Теперь всё как будто на исходе, и, хотя было тяжело и грустно, теперь можно благословить весну, которая начинает творить свои чудеса в моем саду. Я вчера даже рискнула покопаться в земле немного. Ваши письма были мне радостью и утешением, Вы даже представить себе не можете, как у меня мало веры в себя. Иногда мне кажется, что от тоски и печали я совсем отупела и пуста, как пустая бочка. Все те добрые и лестные слова Ваших друзей даже несколько смутили меня.

Моя молодежь взревновала и стала пенять мне – «Вот, Вы написали, а мы и не знаем что». Так как я плохо помню свое цветаевское письмо, то, как это ни забавно, придется попросить Вас прислать и мне копию этого послания. Ужасно смешно, не правда ли?

Об Ирме Викторовне Кудровой я знала от одной старой женщины – Юлии Николаевны Рейтлингер, она художница-иконописец. Ее сестра, Екатерина Николаевна Рейтлингер, находится в переписке с Ирмой Викторовной. Она делится своими воспоминаниями о Марине Ивановне, с которой была дружна много лет. Юлия Николаевна очень меня любит (кстати, она почти всю жизнь глуха), и вот однажды, после моих расспросов о Цветаевой, она пришла, и принесла два листка, и сказала – «Это я написала специально для Вас». Это несколько строк об отношении Марины Ивановны к религии и Богу. Сестре эти два листочка очень понравились, и, если я не ошибаюсь, она послала их

Кудровой. Напишите, пожалуйста, Ирме Викторовне, что я очень тронута всем, что она написала Вам обо мне, и благодарю. Если же Екатерина Николаевна не послала ей воспоминания сестры – я с радостью ей их пришлю.

Беллу Ахмадулину искренне и глубоко люблю, считаю ее самым пленительным и музыкальным из живущих наших поэтов и радуюсь всегда ее женской прелести и очарованию.

Кстати, читая на днях «Под сенью девушек в цвету» Пруста, вдруг прочла парадоксальные для этого автора слова – «Вспоминать – это значит забывать»^[183], и мне сразу метнулась в памяти эта дословно повторенная фраза в письме Марины Ивановны к Родзевичу. Фраза эта кокетливо парадоксальна и для меня абсолютно неверная в своей сути, настолько литературна, что Марина Ивановна не могла не знать, что это цитата из Пруста, когда писала свои пылкие слова любви.

Тот, кто любит, всегда хочет помнить – это исконно, как наше дыхание и сама любовь. И я считаю это тщетной потугой – попытку изъять память или стать над ней из-за якобы чувства более «всемирного и необъятного». Так что и Пруст, и Марина Ивановна, порой изрядные литературные кокетки.

Как всегда, была сметена, поработана и ослеплена его дивным, единственным и неповторимым даром чувствования и видения мира и вещей, этой грандиозностью запечатленных мгновений, – но как же велика была моя печаль, когда я в этот раз поняла, как мне чужды его люди в своей ничтожной сути! Они движутся в этом океане неописуемого блеска и красоты, живущие в этой среде, но ничем ее не согревающие, не озаряющие ее человеческим обаянием. Они двигаются и плывут, как рыбы, в единой своей стихии – мелкости снобизма, мелкости тщеславия, мелкости эгоизма, – словно никакие лучи солнца не пробили этот рыбий панцирь душ и ничто настоящее, большое и человеческое не вызрело в этой среде.

Это было для меня потрясением – это мое разочарование, – и меня долго не покидало чувство досады на всю эту силу и эстетическую энергию гения, потраченную на освещение жизни моллюсков.

Милый друг! Хочу поделиться с Вами своими планами на лето, и, может быть, и Вы в своих выкроите некую толику времени, чтобы нам можно было видеться. Я решила принять милое и настойчивое приглашение Пастернаков провести с ними лето в Переделкине. Мой Боря (наш приемный сын) отвезет меня в Москву в первых числах июля, затем с рюкзаком отправится странствовать по лесным дебрям России и потом в конце августа, числа двадцать пятого, повезет меня домой. Зная, что Вы всегда уезжаете в Михайловское на всё лето, я заранее разгоревалась, что я Вас не буду видеть. А не могли бы Вы, хоть на какое-то время, получить путевку в писательский Дом творчества в Переделкине? Я понимаю, что это пегасово стойло не всегда может быть приятно, но все-таки, может, Вы бы это сделали ради меня? Ведь

неведомо когда нам удастся свидеться и вдосталь наговориться. Я становлюсь всё менее мобильной, а Ташкент далеко.

Подумайте, милый, и опишите мне. Еще есть время и возможность что-то сообразить.

Моя маленькая Милочка вышла замуж за очень милого, маленького, как она, Игоречка, и теперь, говорят, ходит в ожидании маленького сыночка или дочки. Я очень рада за нее и верю, что она будет по-настоящему счастлива. Эта новая привязанность, естественно, вытеснила у нее все другие привязанности. Очевидно, ее любовь ко мне была не очень глубокой, как, скажем, моя к ней, и явилась скорее следствием душевного вакуума, который заполнился чувством настоящим. Всё это естественно, и в некоторых случаях так именно и бывает. Но я ей на это не пеняю, хотя мне и бывает грустно, что она так решительно меня вычеркнула из своей жизни. Но лишь бы ей было хорошо – что самое главное. Может, ее теперь покинет чувство ожесточения и ненависти к бывшему мужу, изрядному, кстати, лоботрясу и эгоцентристу, и она станет спокойной и по-настоящему счастливой. Муж ее показался мне очень славным и хорошим.

Вы шлете мне милые слова других людей – а о себе ни гу-гу. Всё прячется за Сосинскими росчерками и лаконизмом телетайпа. Напишите мне, дорогой, длинное, хорошее письмо о себе. На этот раз Вы не отделаетесь строчкой *je vous aime*. Пусть эти слова останутся за мной. Нежно обнимаю Вас.

Ваш вечный друг Г. Л.

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

9 мая 1978

Дорогой мой Воин и бесценный друг!

Хотела поздравить Вас с этим великим днем заранее, но, увы, стыдно сказать, я так всё время болею, уже давно, что не могу сидеть, всё лежу, и никуда, ни на что не гожусь.

Она меня доканывает – дивная наша весна, с ливнями, грозами, с буйством цветения и неправдоподобным ростом трав и листьев. И чем она прекрасней, тем она перепадистей по температуре и переменам. Спады так резки, что мои бедные сосуды, сердечные и головные, не могут угнаться за ее порхающей и капризной поступью. Не я одна, даже молодые совсем мужчины и женщины едва справляются с этой трудной скачкой. Словом, живу от облака до облака и стараюсь не отпускать вожжи жизни.

Как-то Вам там живется, мой дорогой, у друзей на берегу теплого моря? Хорошо ли Вам там? Пожалуйста, исполните одну мою просьбу – ни в коем случае даже мимоездом не приближайтесь к Гудаутам. Это проклятое Богом место, гнилое и роковое. Я его имею основания бояться и ненавидеть. Если же Ваши друзья в Сухуми смогут Вас познакомить с одной примечательной художницей, живущей там, советую Вам ее навестить. Это Варвара Дмитриевна Бубнова, прожившая много лет в Японии. Недавно в Москве и Тбилиси были ее персональные выставки, произведшие на художников большое впечатление. Ей сейчас, правда, много лет, за девяносто, и она очень сдала. Сама я с ней не знакома, но мой друг Нина Николаевна Мичурина знает ее много лет и высоко ценит. Говорят, она писала блистательные статьи о живописи, страстные и полные огня и бескомпромиссности. Она написала великолепные воспоминания о своем друге, открывшем для нас, русских, африканское искусство. (Чтоб не напутать – кажется, его фамилия Марков.)

Сегодня получила от своего брата письмо, очень интересное. И он, и два его сына – физики, и вот брат Валериан перечислил мне совершенно удивительные случаи – как он, шутя, называет, «ведьмовства», – которыми занимаются сейчас ученые, в том числе и шеф его младшего сына. Он ходит совершенно ошалелый от всего, что он видел. Больше всего поразила меня одна ленинградская дама^[184]. Это уже пожилая, но хорошо сохранившаяся женщина, воевавшая в годы войны в танковых частях, где она была радисткой. Она может перемещать небольшие предметы, не прикасаясь к ним, – поставленные «на попа» спичечные коробки, накрытые бокалом, кольцо и т. п. Мой племянник Андрей видел, как она, держа ладони на некотором расстоянии от шарика для пинг-понга, заставляла его подняться со стола в воздух. Она может, не касаясь, нагревать руками участок тела другого человека, доводя нагрев до сильного ожога. Она может каким-то неизвестным воздействием оживлять завядшие цветы. Она может видеть, что находится в запечатанном конверте, и, по-видимому, обладает сильно выраженной способностью телепатического восприятия какой-то информации от других людей.

Она заставила сильно отклоняться проходящий в закрытой камере световой луч лазера. Ее излучения оказывались настолько сильными, что выводили из строя аппаратуру, с помощью которой наши исследователи пытались определить характер этого излучения. Не правда ли, великолепно? Как я люблю все, что удивительно и что не укладывается в конформные рамки мышления людей и в особенности мужей науки. Есть такой Китайгородский – стоеросовый мракобес от науки, талдычащий как попугай: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Какая убедительная аргументация! Стоит, как тот дворник из чьего-то рассказа, вытаращившись на

электрическую лампочку, и повторяет: «Жульничество всё это, и больше ничего».

В двадцатых числах ко мне на несколько дней приезжает старший сын моего брата с женой. Они будут путешествовать по Казахстану и Средней Азии. Я очень рада; лишь бы мне поправиться наконец. Тут уж я его выпрошу подробно. Когда-то в институте, которым руководил брат, были сделаны первые опыты по голографии, и они ломали голову, как довести размеры изображения до кондиции, чтобы могли показываться золотые фонды Эрмитажа, который их об этом просил. Интересно, достигли они этого или нет.

Была у меня Ваша приятельница, но так как она была еще с другими студентами, то я мало могла с ней о Вас поговорить.

Вчера получила очень милое письмо от Ирмы Викторовны Кудровой. Завтра постараюсь ей ответить, хотя я, наверное, ее разочарую тем, что я не знала Марину Ивановну.

Меня посещают от времени до времени интересные люди. Был недавно один человек из журнала «Советская музыка», убеждал меня писать для них воспоминания об Алексее Федоровиче и его музыкальном окружении.

Я ужасно огорчилась и вознегодовала на отзывы рецензентов о Вашей книге^[185]. Самодовольные остолопы! Один мой друг сказал о Вашем «Рассказе о том, чего еще не было»^[186], что он бы, кабы было ему дано, присудил Вам за эту вещь Государственную премию, и читал он его несколько раз своим студентам во время занятий в Консерватории как образец *настоящего* произведения искусства. Ну да я успела привыкнуть давно к этому странному закону нашей жизни: мы ну из всех сил сопротивляемся и не любим настоящего и отталкиваем, отталкиваем, взращивая печаль в душе художника.

Когда я приеду, о многом поговорим. Мечтаю о встрече с Вами. Мне даже не верится, что это лето будет.

Пусть Вам милостиво улыбается *primavera*, более благосклонно, чем она расправляется со мной. Ведь я ей не соперница, так за что она так со мной лютует?

Обнимаю Вас, милый друг.

Ваша Галина Лонгиновна

11 мая
[Приписка]

Вчера целый день искала Ваше последнее письмо с Вашим черноморским адресом. Нашла всё, кроме него. Целы и рецензии, и статья Кудровой, а письмо исчезло. Я очень аккуратно храню Ваши письма, поэтому остается предположить, что я его заложила в книгу,

которую отдала. Так что письмо это отправлю Вам на Ваш домашний адрес, остается еще девятнадцать дней до Вашего возвращения.

Как жаль, что Вы не видите моего сада. У меня целая стена цветущего благоухающего жасмина. Отцвели «цветы разбитого сердца», а сейчас вступили в строй цветы под названием «доброе утро». Едва наступает полдень, они умирают. Есть и розы, и ландыши, и прелестные водосборы. Журушка смотрит на свое отражение в маленьком водоеме и порой резко кричит вслед самолетам и редким косякам журавлей в весеннем томлении и тоске. Часто приходит ко мне и что-то говорит. Вот так и живем.

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

30 июня 1978

Владимир Брониславович, мой бесценный друг!

Больше месяца назад послала Вам письмо, ко дню Вашего возвращения из Батуми. Но ответа нет, и мое сердце преисполнилось тревоги за Ваше здоровье и грусти, что Вы снова, может, уехали, как обычно, в Михайловское и что мы с Вами не увидимся.

Сообщаю Вам свои ближайшие планы – третьего июля я с Борей (нашим приемным сыном) вылетаю в Москву. Там меня встречает мой брат, который на неделю увезет меня к себе во Фрязино. После этого, числа одиннадцатого – двенадцатого, отвезет меня в Переделкино на дачу к Пастернакам, где я проведу лето числа до тридцатого августа. По приезде Боря позвонит Вам, очевидно, из Москвы, так как ни из Фрязина, ни из Переделкина звонить невозможно.

Очень беспокоюсь Вашим молчанием и не дождусь встречи. Всё присланное Вами привезу. Ирма Викторовна Кудрова прислала мне два письма.

Боже, сколь о многом мне надо с Вами поговорить!

До личной встречи мне можно писать на московский адрес Жени Пастернака или же в Переделкино.

Друг мой, берегите себя и давайте порадуемся скорому свиданию. Нежно обнимаю Вас.

Ваша неизменно

Галина Лонгиновна

Р. S. Как было бы славно, если б в Переделкине меня ждало письмецо или телеграмма, что у Вас всё благополучно.

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

6 августа 1978, Переделкино

Мой дорогой, дорогой Владимир Брониславович!

Все эти дни много думаю о Вас, и мне грустно, что Вы нездоровы. Не из-за меня ли Вы заболели, встав слишком рано? Народу у Вас, по-видимому, толчется много, но ухаживает ли кто за Вами толком? Не вставайте, милый, и берегите себя.

Я умудрилась в субботу упасть и довольно сильно ушиблась (шел сильный дождь, и земля стала скользкой, несмотря на песчаность). Всё же в воскресенье мы поехали с Женей и Борей^[187] к Ангелине Васильевне Фальк^[188] и посмотрели много его работ. Есть прекрасные вещи, хотя не всё мне у него нравится. Совершенно очаровательна она – умница, тонкая, поэтичная, удивительного внутреннего изящества человек. Своей прелестью и благожелательностью она сдула с меня остатки мути, навеянной «ведьмой» Надей М.^[189], и я снова очистилась душой.

Что-то я всё меньше и меньше склонна людям прощать недоброту, злопыхательство и осудливость. При этих выплесках у меня потом долго муторно на душе, и я долго это изживаю в себе.

Я, по-видимому, пробуду здесь безвыездно числа до двадцать пятого – двадцать шестого, дней семь пробуду в Москве и, вероятно, улечу домой второго. Боря в воскресенье уехал путешествовать в Сибирь и за мной уже не вернется. И мои московские друзья меня посадят в самолет, а там меня встретят.

Боря окончательно и бесповоротно влюбился в Вас. Спасибо, дорогой, что Вы были так добры к нему.

Так же спасибо за стихи Николая Степановича^[190]. Можно ли мне их повезти в Ташкент, потом с оказией верну? Мне здесь так много надо прочитать (до боли в глазах), а комкать заглотом стихи не хочется. Если вернуть надо – при отъезде – верну.

Странная случилась со мной вещь в этот мой приезд. Я вдруг ощутила нежность к Москве, мне захотелось вернуться домой к своим, в свою среду, к родной природе. Все эти годы я не могла простить какой-то нашей насильственной отторгнутости. Мне всегда бывало больно и горько. И вдруг горечь исчезла: я смотрела на места бывлых обитаний, и было грустно, но светло. Я глядела словно в глаза юности, узнавала и вспоминала приметы давнего и не знала только, признают ли они меня, нынешнюю, неузнаваемую. Вчера через поле донесся звон из патриаршей церкви^[191], и я помолилась за Вас, чтоб Вы поправились и были всегда здоровы. Всё думаю, что лежит там, в дальних далях за пустыней и солончаками, что зовет меня вернуться обратно – одинокий журавль над водоемом, который раскроет мне вместо объятий крылья, да молчаливая могилка, хранящая все, что я любила на этой земле. И

нет меры сиротству! Как писал Гоголь – «Грустно оставленному, и нечем помочь ему».

Милый друг, как поправитесь – черкните мне несколько строк, успокойте и порадуйте меня.

Крепко Вас обнимаю.

Всегда любящая Вас

Галина Лонгиновна

Р. С. Три дня назад, на соседней даче скончалась Лиля Брик^[192].

<i>Открыть утром 21 августа в день вашего рождения</i>

[Надпись на запечатанном конверте]

Дорогой и бесценный друг Владимир Брониславович!

Хочу, чтобы в Ваш день – первые слова были мои. Конечно, люди всегда членят Время, но разве есть большая единица для его измерения, чем мы сами, наша жизнь, наш первый крик на земле, наше долгое дыхание?

Пусть это дыхание будет у Вас долгим, легким и неутраченной сладостности.

Но лишь самые мужественные люди – поэты – вступают в единоборство со Временем. Они пытаются его остановить и подчинить себе великой силой слова, противопоставляя ему Память.

И Вы знаете радость этого бега – разве Вы не отдаете свою жизнь воссозданию утраченных мгновений? Ловите их, закрепляйте их памятью сердца и разума, не отдавайте забвению^[193].

Ну, а как быть мне, женщине, долго-долго противоборствовавшей Времени, не признававшей его власти над собой? Я не гналась за ним, не вымаливала милости, и хотя оно пудрило мне голову серебром – я смеялась над ним и бросала ему вызов.

В иерархии жизни – над Временем стоит Судьба. А Судьба дала мне великий дар – женскую красоту. Теперь никто не расценит эти слова как запоздалое и нескромное бахвальство. Этому противостоят моя правдивость и чувство жизненного такта.

Но я хочу, чтоб Вы поняли, что всегда делало мое существование ликующим и победоносным. Когда моему отцу Христиан Георгиевич Раковский сказал, что его дочь – самая красивая девушка в Лондоне, я это знала по той радостности, с которой несла себя через дарованную мне жизнь – в юном и беспечном удовлетворении, когда я считала, проходя по улицам, сколько людей обернулось мне вслед. Я читала себя в глазах людей и всегда любила и ценила это свое торжество.

Именно оно несло мне счастье и много любви, всю жизнь бывшей моим уделом. Я знала великую власть над многими мужскими судьбами, и жизнь приучила меня быть владыцей.

Мне надо бы петь ей гимны. Даже когда женщине самой природой положено стать смиренной и признать отречение, я знала такие взлеты, перед которыми замирала в суеверном изумлении.

Но вот моя сила покинула меня. Осталась вся острота чувства жизни, вся полнота ощущения акмея существования – а могущество исчезло.

И вдруг я почувствовала слабость. Мне не захотелось больше жить без своего прежнего дара. Я была, быть может, самой смелой, самой мужественной (потому что была счастливой) женщиной на Земле. Представляете ли Вы, сколько мне нужно сейчас отваги, чтобы смотреть в лицо своему поражению?

Простите, милый друг, что омрачаю это письмо своим впервые в жизни появившимся эгоцентризмом. Но для Вас я неизменно буду такой, какой была всегда, – открытой и полной добрых чувств и большой дружелюбности.

Крепко Вас обнимаю. Пусть Вам будет хорошо с Вашими друзьями. В Михайловском сорвите листок с осенявшего Александра Сергеевича дерева и пришлите мне в мою Азию. Я вложу его в стихи, стоящие всегда в моем изголовье. Его душа коснется его же строк, и что-то замкнется, и я буду причастна к еще одной таинственной радости. Да хранит Вас Бог.

P. S. Теперь уж напишу из дома.

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

5 октября 1978

Милый друг мой Владимир Брониславович!

Не сердитесь на меня за мое молчание. По моем приезде жизнь начала мне отваливать щедрые порции того, что принято сейчас называть «отрицательными эмоциями». Быстренько разгорался диабет, увеличился сахар в крови, и я скуксилась и хандрю. Так мы и общаемся с жизнью – она мне горечь, а я ей в ответ сахарком.

У нас до сегодняшнего дня было тепло, а сейчас прохладно – плюс пятнадцать, и осень повеяла из каждого облака. Сад мой полон гомона и щебета птиц. Виноградная лоза обвила вершину старой урючины, и там целый день происходит птичий праздничный разгул, до самых

сумерек. Земля усеяна разбросанным виноградом, и все цветы осени упорно напоминают, что скоро лету конец.

Я сейчас не одна. У меня гостит один молодой друг из Ленинграда^[194]. Немножко развеивает мою тоску, забавляя своими причудами и чудачествами. Явился он с самолета очумелый, быстренько встал на голову, постоял минут двадцать, чихнул и, сев за стол, поглотил целый огород зелени без хлеба и соли. Затем развернул багаж, который превзошел всё необходимое и обходимое для самой капризной и взыскательной женщины, вызвав неопиcуемый интерес Журушки ко всем этим блестящим штучкам, баночкам и флакончикам. Сейчас он сидит в кабинете за письменным столом и пишет свою книгу об обэриутах. Думала, что он будет той оказией, с которой перешлю Вам Ваши книги, но оказия, оказывается, отправится дальше по городам и весям Средней Азии со всей и без того тяжелой кладью. Кажется, приезжает Миша Ардов (сын Виктора Ефимовича), и, если будет возвращаться прямо в Москву – попрошу его.

Перечитываю теперь я – «Лолиту» Набокова. Какая это удивительная книга, гениально написанная и представляющая, по-моему, последний великий роман нашей русской литературы. Из всего, читанного мной, для меня «Лолита» и «Дар» – это его вершины. Люблю его «*Speak Memory!*». Остальные – и «Ада», и «*Pale Fire*» (где присутствует много замечательного), и «Пнин», и «Защита Лужина», и «Приглашение на казнь» – все они по-разному вызывают отталкивание и порой активную неприязнь. Роман жизни нашего любимого Бориса Леонидовича – это грандиозное явление духовной жизни России и вместилище всей поэзии нашего времени, но это не роман, как он отлился, в его законченной литературной форме. А у Набокова в «Лолите» необычайно совершенна форма подлинно русского психологического повествования.

Ах, Боже мой, как мы не наговорились с Вами! Как о многом могли бы мы с Вами поведать друг другу!

Заменили ли Вы имя у Вашего милого героя, вернув ему человеческое имя^[195]? Вы даже не представляете себе, как его замысловатое, явно искусственное имя заставляет каждый раз спотыкаться, словно всё время натыкаешься на камень, лежащий на дороге.

Все вспоминаю Ваш великолепный очерк о С. Я. Эфроне^[196], и меня не покидает то ощущение, что я испытала, когда Вы его нам читали.

Милый друг мой, берегите себя и будьте всегда здоровы и полны Вашей удивительной жизненной бодростью.

У меня сейчас в саду цветут анемоны, те самые, которые у царя Соломона в «Песне Песней» зовутся «розой Сарона»^[197]. Как жаль, что ни Вы на них, ни они на Вас не могут взглянуть глазком!

Обнимаю Вас, дорогой. Любите и не забывайте меня. От Бори сердечный привет.

Ваша, как всегда,

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

1 ноября 1978

Владимир Брониславович, мой дорогой друг!

Вместо меня придет к Вам моя Наташа, которую я очень люблю. Хочу через нее испросить у Вас прощения, что не возвращаю Вам с такой прелестной okazji Ваши книжки. Но, как нарочно, все они у Бори, а он улетел внезапно в Ригу по делам. Но со следующей okazji всё будет возвращено в сохранности. Наташа Вам расскажет, как я долго и тяжело болела. Я и сейчас еще так слаба, что с трудом пишу это бестолковое письмо.

Это возмутительно – Вы совсем меня забыли и считаете, что трех строчек о Вашем вечере в Ленинграде вполне достаточно для далекого друга. Напишите мне *настоящее, большое* письмо. С больными надо быть милыми, добрыми и ласковыми. Я ведь ничего о Вас не знаю со дня Вашего отъезда в Михайловское.

Крепко обнимаю Вас и чуточку сержусь за молчание.

Ваша, как всегда,

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

30 января 1979

Дорогой, дорогой Владимир Брониславович!

Не пеняйте на меня, милый друг, за долгое молчание и что не поздравила Вас с Новым годом. Я долго болела, а затем наступили Святки, отныне для меня навеки траурные дни. Десятого января в передаче об Алексее Федоровиче дважды прозвучал записанный его голос. Запись была сделана за два месяца до его кончины, и я с нестерпимой ясностью услышала, как уже тогда он был болен и слаб. Говорил он задыхаясь, торопясь и с такой интонацией, что я не выдержала. Этот голос и сразил меня. Я впала в греховное отчаянье, какого у меня еще не было в жизни. Мне так тяжело и худо, что не хочется жить. Я целыми днями лежу в постели, не хочу вставать, не хочу есть, не в силах что-либо делать. И как мне слушать уговоры

людей – «Вы должны писать, никто, как Вы, об Алексее Федоровиче не напишет» и т. п. Ведь им и невдомек, что творится у меня в душе и что нет у меня сил не только писать, но порой даже жить. Я скрываю, как могу, свой *breakdown*, так как не терплю жалости.

Цепляюсь, за что могу, чтоб выбраться из этой черной бездны. Прочла подаренную Вами книжку Анны Андреевны о Пушкине^[198], и она необычайно вдруг приблизилась ко мне. После набросилась на Пушкина и сейчас дочитываю десятый том. Может, поможет.

Кстати, не поблагодарила Вас за книжку Мирского^[199], но признаюсь Вам, что «под елку» я ее не положила, как Вы хотели. Давно я не испытывала, как в подвздошину, такого удара – такого разочарования. Это не он – тот блистательный умница, тот парящий и свободный человек, проникавший сердцем в самые глубины искусства, каким я его помнила. Я не знаю примера более глубокого падения, более страшного самопредательства. На какие только духовные извращения не способны мы, русские; и чем древнее кровь, тем низость беспримерней. Сергей Яковлевич Эфрон искупал свои грехи чужой кровушкой^[200], Святополк на глазах у всех отрекся от себя, от своей сути, от своей души. Какое угодничество, какое пресмыкательство, какая речь – паскудная гнусная жвачка слов ширпотребного вульгаризаторства! Он ничего не стыдится! Как он сразу учуял и поплыл по вонючему фарватеру тех дней, не сохранив ни капли достоинства, ни капли самоуважения. Всё: и знак равенства между Тихоновым и Пастернаком (потому что первый – влиятельная персона), и извращенная ужимка – упаси Бог сказать «золотой фонд литературы», непременно «железный фонд», – и прочие мерзости... Не могу Вам передать, как муторно, тошно и бесконечно горько было мне после этой книжки. И зачем ее только напечатали! Она не стоит ни одного доброго слова. Еще на одну прекрасную иллюзию стало меньше. Просто вдребезги. И подумать только, ради чего он предал себя!

Не сердитесь на меня за печальное и горькое письмо. Радуюсь Вашим успехам и желаю их еще больше. Три книжки Ваши – «Лолиту», Гумилева и «В мире книг» – давно передала Вашему приятелю Сулимову. Напишите мне утешное письмо. Боря вместе со мной Вас крепко обнимает.

Ваша Г. Л.

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

21 августа 1979^[201]

Дорогой и милый друг Владимир Брониславович!

Пишу Вам в разгаре тяжелой болезни, по-видимому, в преддверии стационара. В результате невыносимой жары я простудила почки. Я спала на веранде под одной простыней и целые ночи металась в бессоннице. Всё вспоминала Киплинга «Ночь в Бенаресе»^[202]. А затем уже металась с температурой 38,9.

Все друзья в отъезде, ухаживать по-настоящему за мной некому, и хотя есть продукты и еда – нет сил что-либо для себя делать. Анализы показывают, что я обзавелась камнями. Ужасно боюсь, что надо будет оперировать, а я этого не выдержу.

Вчера наступил перелом – осень пришла ночью, а сегодня можно жить с открытыми окнами. Сад мой красив и тенист. Как еще недавно я глядела в его глубокую тень и думала о том, как прелестна жизнь и что я еще поживу на этом милом свете, – и вдруг такая печаль и беда на меня навалились.

На днях вернется из отпуска Боря, и я хоть не буду так одинока и заброшена. Я долго была мужественным человеком, а теперь нет отваги глядеть в будущее. Написала и подумала: лучше совсем не писать, чем огорчать Вас.

Вы меня совсем, совсем забыли. Где-то Вы отдыхаете? И как Ваши «сердечные» дела? Напишите мне не цидульку в три строки, а настоящее ласковое письмо. Мне сейчас очень нужны слова дружбы и любви.

Перечитываю одну прекрасную книгу Адама Меца (Швейцария) – «Мусульманский ренессанс». К вящему изумлению узнала, что арабы-бедуины ненавидели деревья и что, завоевывая страны, первым делом рубили тысячами пальмы, как головы людям, и сажали хлопок, кунжут и прочие мерзкие полезности. А я-то думала, на основании Корана, что они грезили садами, тенью, водометами и лишь напоследок гуриями.

Может, побалуете меня каким-нибудь хорошим чтивом? Потом верну.

Надеюсь, что Вы, дорогой, здоровы, бодры и много пишете.

Мне с наступлением жары нельзя было думать о какой-либо работе. Только и думалось о том, как дожить до вечера, лежа, как рыба на песке.

Обнимаю Вас, милый друг. Нехорошо так забывать меня.

Ваша Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

24 декабря 1979

Владимир Брониславович! Дорогой мой, милый друг!

Вот и сочельник. Я жду звезды, чтоб сесть за стол и при свечах так много вспомнить.

А помните, ведь в этот вечер^[203] Вы впервые к нам пришли и показали нам вандейское кольцо. Так Рождество и озарило нашу дружбу, и ничто не меркнет, хотя несется всё: и время, и Земля – куда, куда? Как никогда душа полна ужаса и тоски от того, куда, в какую черную дыру Вселенной загонит человек свою родную колыбель. И неужели кровь и жажда уничтожения – это лишь то единственное, что ему извечно присуще? Как будто не родился в эту ночь тот, кто принес людям свет, надежду, любовь и милосердие!

Во все года моя душа всегда в рождественскую ночь вмещала целый мир просветленных и высоких чувств и очищалась чистейшей отрадой. Но в этот раз безумие мира так грозно подступило, и всё так темно, что никакой свет в душе и ни в одном окне не развеет, не одолеет обступивший мрак. Мне жаль людей и весь тот мир, что жил от мирных патриарших дней до тех, когда мы все вдохнули наш первый глоток жизни, – всё, всё, что цвело, любило и творило! И как укрыть всё это от этой нависшей апокалипсической тени, неумолимой и беспощадной?

Нам заповедан грех отчаянья, и, пока мы живы, надо одолеваять его, но где взять силы и что и кто пошлет надежду? Что делать всем бедным людям? Жмуриться и закрывать глаза и ждать, что в миг единый ты взлетишь и станешь прахом по чьей-то воле. Как люди ни жалки и глупы, но такого вознесенья я бедным овцам не желаю.

Простите мне, мой друг, мои совсем не рождественские мысли и слова.

Как я скорблю, что недостаточно верю в Бога, раз ни в чем не нахожу утешения и успокоения! Быть может, нагнетает это всё та грибоедовщина^[204], что творится у нас под боком. А может, долгие, сменяющие одна другую болезни ослабили не только тело, но и стойкость и отвагу духа. Много месяцев я горю, и долгий жар приводит меня в изнеможение. Но в этом состоянии, по-видимому, этот жар воспламенил дремавшее воображение. В часы бессонниц пишу стихи; когда же сплю, вижу дивные, удивительные сны.

У нас наконец выпал первый снег. В саду белым-бело, а еще два дня тому назад было восемнадцать градусов тепла и окна и двери стояли настежь.

Мой дорогой, надеюсь, Вы здоровы и бодры и любите меня по-прежнему. Хотя молчите Вы безбожно, а если и пишете, то неприлично кратко. Ничего-то я о Вас не знаю. Вы держите меня на голодном эпистолярном пайке, что при общем нарушении питания плохо сказывается на мне. Запомните.

Обнимаю Вас нежно и шлю все самые горячие пожелания здоровья, сил, бодрости и всех великолепий в наступающем Новом году. Пусть он

будет благословенным для всех людей. Боря просит присоединить и его поздравляющий голос. Еще раз счастья Вам, дорогой.

Г. Л.

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

1 октября 1980

Владимир Брониславович, мой дорогой и бесценный друг!

Простите меня, окаянную, – и не поздравила, и не написала. Приношу Вам повинную голову – секите. Я упала и сильно расшиблась. Чудом не сломала руку, долго лежала, ничего не могла делать руками, даже нарезать себе хлеб и что-то себе сама приготовить. Теперь я отхожу, и жизнь входит в свою колею.

Меня сперва очень порадовал Саша Горянин^[205] подробным рассказом о Вашем торжестве^[206], и мне казалось, что я всё увидела воочию. Но, получив позавчера Ваше большое послание – зафиксированных чувств и слов, я в общем *tutti*^[207]. (Кстати, это письмо едва не пропало. Его бросил почтальон в чужой ящик, и человек, живущий довольно далеко от меня, не поленился меня найти и принести.) Теперь мне остается быть солирующим голосом, завершающим прелестную оду любви, пропетую в Вашу честь. Великие итальянцы не боялись повторов и пели одни и те же слова во всех регистрах:

«Мы Вас любим, мы Вас любим, мы Вас любим», – первый запев.

«Нет чудесней и милей, Нет чудесней и милей».

«Славная жизнь и прекрасная душа».

«Счастливый, солнечный дух, обнимающий мир и людей, принимающий в добрые объятия всё человеческое».

Как я всегда радуюсь, что все безобразные лики жизни не омрачили Ваш светлый взор и мир, отразившись в нем, не несет в себе и тени желчи и ожесточения!

Из всех слов, сказанных Вам Вашими друзьями, милей мне всего приветствие Саши Горянина. Передайте ему, что я считаю его приветствие самым талантливым, самым изящным и самым теплым. Он добрый и хороший человек; подтверждение тому – его искренность и любовь к Вам.

Все же, мой друг, меня снова опечалили Ваши слова о состоянии глаз. Саша было меня успокоил, что какие-то массажи принесли облегчение и операция не нужна. И вдруг... Может быть, есть какие-то средства, лекарства, которые могли бы прислать Вам Ваши зарубежные друзья? Верите ли Вы в лечение биотоками? Мой младший племянник,

физик, работающий во Фрязине, сейчас вместе со своим шефом, академиком Беляевым, занят изучением «ведьм», как они шутливо называют своих удивительных женщин. Наиболее пристально и успешно они проводят опыты с ленинградкой Кулагиной. Эта женщина наделена удивительной силой и способностями. Помимо известных видов телекинеза, когда она приближением рук заставляет двигаться и подниматься различные предметы, она заставляет оживать совершенно завядшие цветы, она останавливает кровь в случаях безнадежного кровотечения (ее официально вызывают для этого врачи больниц). Она заряжает разряженный электроконденсатор, который после ее ухода, будучи разряженным, дважды заряжается снова. Она *отклоняет луч лазера*, бегущий в аппарате, и выводит из строя аппаратуру, которой ее исследуют. Ей надо удерживать в себе чувство гнева, ибо однажды она, рассердившись на скептика профессора, метнула взгляд, от которого у него через пятнадцать минут случился микроинфаркт. Она прочитывает содержание письма в конверте. Никто не соглашается играть с ней в карты. После серьезных сеансов она теряет в весе около двух с половиной килограммов. Ее приезжают исследовать из разных стран мира, особенно освещают в печати (специальной) научные журналы Америки и Японии. Одну подругу моей знакомой в Ленинграде она вылечила от бесплодия. Кстати, ей надо регулировать силу своего излучения, ибо приближением рук она может вызвать ожог первой степени. Правда, не всегда результаты лечения бывают одинаковыми.

Исследовали они недавно и знаменитую грузинку Джуну^[208], но она им ничего не выдала. Может, она так долго лечила больших людей, что источники ее сил временно иссякли. Сейчас она уехала в Грузию отдыхать от страшного, говорят, истощения.

Мой Андрюша рассказывал, что Кулагина довольно быстро восстанавливает потерю веса, но не питанием, а от положительных эмоций – хвалы, восхищения и удивления.

Так вот, я подумала: а вдруг она может что-то сделать с Вашими глазами? Или Вы боитесь ведьм и насмотрелись их вдоволь? Как бы то ни было, но надо спасать Ваши драгоценные глаза. Напишите мне.

Мой диабет по-прежнему играет штучки со зрением, но я всё же (до своего падения) самозабвенно занималась лепкой. Я никогда в жизни не брала в руки глину, но Бог послал мне великое счастье и одарил. Я сразу начала лепить (лучше многих, что учились по десять лет). Ничто из того, что я делала в жизни, – ни мое пение, ни то, что я писала, ни любовь – не давало мне такого счастья и полноты самозабвенного упоения. Мне не важно, что мои вещи почти никто не видит, мне не нужен ничей суд и приговор. (Хотя, конечно, радостно находить одобрителный отклик.) Меня даже не так печалит, что это так поздно ко мне пришло, и я не смогу сделать что-то большое, но ведь и Танагра^[209] был целый мир. Словом, я поняла, что творить человека из глины – это божественнейшее из деяний. И я не знаю теперь прежнего

чувства одиночества и перестала грустить об ушедшей молодости и красоте.

Порадуйтесь за меня, мой дорогой.

Целую Ваши добрые и зоркие глаза и желаю им исцеления. Часто вспоминаю Вас и неизменно люблю.

Ваша Галина Лонгиновна

Р. С. Извините за ужасный почерк. Всё еще болит рука.

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

29 декабря 1980

Мой дорогой и бесценный друг!

Получила самую короткую из всех эпистол, но прочла в ней многое. Но всё же мне бы хотелось знать о Вас побольше. Правда, что и я последнее время пишу редко, частью оттого, что что-то часто стало болеть сердце, и потому хандрю. Ужасно мало сил физических стало справляться с бытовой стороной жизни, ведь дом есть дом, и не хочется ни с того ни с сего «зарастать коростой». Познала радость неделания (надо, а не делаю), но, согласно непререкаемой истине «Кто не трудится, тот не ест», я порой и не ем, чтоб ради этого не трудиться. Словом, возвращаюсь к обычаям предков и становлюсь белоручкой (порой бывает трудно избавиться от дурных привычек).

Мы вот с Борей встретили первый сочельник, со свечами, елкой и с трапезой при первой звезде. Как всегда, душа была полна светом и многое обнимала. Еще мне было хорошо потому, что в этот день один человек был очень добр ко мне. Я долго живу на Востоке и только недавно узнала мусульманское предание о Рождестве Христовом (ведь они чтут Иисуса и Деву Марию): «Когда Мария родила Младенца, ей захотелось есть. У Иосифав суме было семь орехов. Он ими накормил мать и зажег огонь, чтобы согреть Ее. Вот почему христиане на Рождество, празднуя, едят орехи и зажигают огни».

А в Средние века арабы принимали участие почти во всех христианских праздниках, и что особенно поражает – отсутствие пресловутой «нетерпимости к неверным» и взаимное человеческое доброжелательство. Описание этих празднеств ослепительно по красоте, разнообразию и выдумке. Сами халифы восседали в беседках на островах, пировали и жгли тысячи огней-ламп, свечей, светочей, чтоб освещать ликующие толпы на лодках и вдоль берегов реки. Вельможи мусульмане по неделям располагались в садах монастырей и там пили, пели, веселились от души. И никто не оскорблял другого. О,

невозвратные времена, вот нам бы такое! Как часто наша «дружба народов» в жизни оборачивается звериным оскалом!

Кстати, можете поздравить меня. Я наконец добилась мемориальной доски на домике^[210].

А с памятником на кладбище, несмотря на вмешательство ЦК, тянут душу. Не только моя судьба такова: это удел всех – погибать под тяжестью не мраморных глыб, а бумаг, «документаций и оформлений», которые вырастают в чудовищные суммы, в три раза превышающие стоимость самого памятника. Эти inferнальные *funeral* словно рождаются в головах демонов, и просто людям с ними не совладать.

У меня сейчас грустные поминальные дни. Первого января был последний день его здоровой жизни, затем девять дней беспомысленности – и конец. Тоскую невыразимо, и сердце болит. Не сердитесь, милый друг, что омрачаю это новогоднее письмо.

О воспоминаниях Рейтлингер о Марине Цветаевой – их написала Екатерина Николаевна и всё отослала Ирме Кудровой, не оставив себе даже черновика. Сама она сейчас уже получеловек и снова писать что-то не в силах. Но поскольку Вы с Ирмой Викторовной друзья, от нее можете их получить.

Попросите Сашу Горянина отписать мне о Вашем житье-бытье.

А у нас по-зимнему тепло, еще доцветают цветы, но, чтоб мы не слишком разнежались, земля под ногой гудит и выдала нам недавно доброе землетрясение, в лучших традициях 1966 года. Наше счастье, что катаклизм прошел на глубине двадцать километров. Эпицентр – в семи километрах от Бориной квартиры. Там поотваливались стены дома. Я перепугалась ужасно, с тех пор пью валерьянку. Это мое главное пойло. Боюсь, что шампанское на Новый год не будет даже пригублено. Вы же, друг мой, помяните меня и в качестве подарка пришлите мне в коробочках – здоровья, сил, молодости и красоты.

Целую Ваши глаза и желаю счастья.

Г. Л.

Вместе со мной и Боря поздравляет с Рождеством Христовым и Новым годом.

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

6 марта 1981

Дорогой мой милый друг!

Повинную голову не секут, да и что ее сечь, если она наполовину моя. Не пишу давно, но не потому, что не хочу, а потому, что не могу.
<...>

Я вижу целые завершённые новеллы, с диалогами и увлекательными действиями, – только проснись и запиши. А проснувшись и положив перед собой бумагу и начав, я очень скоро чувствую, что нет сил, простых человеческих сил. <...>

Единственная радость – это тот кусочек мира, что заключен в стенах моего сада. Я радуюсь каждому дню, каждой смене времен года и даже, прежде чем меня повалят в забытие тучи и облака, склоняюсь перед красотой и мощью их нагромождений. Не убывает во мне неистовая любовь к жизни и этому дивному зеленому миру. И для меня, как писал Китс^[211], «поэзия земли вовек жива». Поэтому не надо роптать и желать невозможного. Жажда невозможного – это наследие моих буйных и непокорных предков.

Пишу Вам на крылечке. На дворе почти весенний день, и в саду бродит божественная птица. Как всякий небожитель, он питается амброзией, превращая фиалки в подножный корм. Зимы мы в этом году в глаза не видали, выпал снежок в ночь на четвертое февраля, день моего рождения, и к вечеру стаял.

Несказанно обрадовалась приезду милой Ирмы Викторовны. Вот кого мне в жизни не хватает. И почему все милые и дорогие люди живут так далеко! Она Вам расскажет насвежо про мое житье-бытье, а от кого узнаю я о Вашем? Если Вам трудно писать, продиктуйте Саше Горянину (ему привет).

Крушение жизни Андрея К. – в значительной степени дело его собственных рук. В своей эгоцентрической эйфории он не замечал, как он обижал вокруг себя большинство людей, и наивно изумлялся, когда они в ответ кусались. Что же касается жены, то она, испив полную чашу измен и небрежения, не обязана ему уже давно женой верностью. Мне его часто и глубоко жаль и горько думать, что никакого урока из всего этого он не извлек. Эгоисты никогда не могут смотреть на себя со стороны и не могут понять, что злоречие о других (даже о друзьях) всегда оборачивается против них же самих. Всё это грустно и нелепо, потому что это в основном – порождение характера, а не обстоятельство жизни. А сказать ему правду я не решаюсь, ибо ненавижу нравственные проповеди, которые ничему не помогут к тому же.

Устала, дорогой. В последней строчке шлю мою неизменную любовь.

Г.Л.

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

4 мая 1981

Дорогой мой милый друг!

Со всеми прошедшими весенними праздниками поздравляю Вас запоздало, но жарко.

Рекомендую Вам прелестного и любимого моего друга Раузу Якубовну Бородину. Она расскажет Вам о моем житье-бытье со свойственной ей живостью. Она знает Вас по моим рассказам и жаждет воочию подтверждения Вашего шарма.

Мой сад стоит в красе неопишуемой, и дом мой полон цветами – жасминами, ландышами, ирисами и розами. Буйству и росту способствуют дожди, слегка умеряющие жару, уже вплотную приблизившуюся к нам.

Вчера два грозных толчка снова напомнили нам, что природа не дремлет. Я пугаюсь позорно. Пугаюсь и своих ночных удуший, и бесконечной скорой помощи, и всякой прочей дряни. Не будем говорить о ней.

Хочу реляции о Вашей с Беллой поездке в Ригу^[212]. Хорошо ли Вам там было?

Я прочла изумительную книгу «В тени Гоголя» А. С.^[213] После нее мне бердяевские откровения^[214] показались мельче и не столь блистательными.

Как грустно, что нам не скоро свидеться, и наши такие славные беседы не прозвучат! Давайте хоть чаще писать друг другу, минуя хвори и усталость.

Завтра я начну писать новеллу, увиденную во сне, с диалогами и совершенно законченную по форме. Ужасно забавно. Это уже вторая новелла-сновидение, и в обеих место действия – Япония. Интересно, как бы расшифровал это Фрейд? Неужели тем, что мой первый роман в двенадцать лет был с японцем двадцати двух лет, в Японии? И вдруг, нате вам, через жизнь принесло волной, как цунами, странные преобразования тогда пережитых, осознанных и неосознанных страстей и чувств. Эти сновидения совсем не биографичны, но они поразили меня яркостью и силой порабощения чувством любви. Если я их напишу так, как я их увидела, то я буду молодец. Но боюсь, что время прошло и я утрачу свежесть первичного впечатления.

Последнее время хмелею много от поэзии, и вдруг сама написала объяснение в любви поэтам.

Слова поэтов! Как слышит вас душа! Как будто знали вы, Что в мире буду я, И для меня вы жили.

Владимир Брониславович, разрешьте мне одну женскую ревность – меньше пишите другим и больше мне.

Ах, как я скучаю иногда по Вас и досаую на жизнь и судьбу! Как они всегда разводят от тех, кто дороги и милы.

Желаю Вам, милый, могучего здоровья и вечной Вашей молодости. Целую Вас нежно.

Ваша как всегда

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

9 декабря 1981

Мой бесценный друг Владимир Брониславович!

Ужасно огорчилась приписке к присланной статье – узнав о Вашем зрении и предстоящей операции. Волнуюсь и прошу Вас попросить кого-нибудь из друзей – хотя бы Сашу Горянина – написать мне, как это всё произойдет. Я больше двух месяцев болею какой-то собачьей ангиной, которая не хочет никак потухнуть. Изнурила она меня крайне. Не хочу Вас огорчать, мой милый, но погрузилась я в ужасную печаль, словно всё светлое опустилось на дно. Небывалая летаргия, и взгляд на себя, словно издали.

Мой дорогой, храните Ваши глаза, но помните, что строки, писанные мне, как никогда нужны. Очень мне нужно, чтоб меня любили, так нужно.

Саша, наверное, рассказал Вам о моем житье-бытье. Я было думала, что Вы прислали мне свои киновоспоминания^[215]. Пришлите их мне. Из статьи физика мало что извлекла.

Пожалуйста, поправляйтесь, да хранят Вас силы небесные. Помните, что я Вас очень люблю. Обнимаю нежно.

Галина Лонгиновна

Р. С. Говорят, Вы ходите «по дамам» и падаете с этажей. Ай-яй-ай! Греховодник Вы!

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

25 августа 1982

Владимир Брониславович! Мой дорогой, бесценный друг!

Прежде всего прошу не сердиться на меня за мое долгое молчание; во-вторых, позвольте Вам представить моего юного друга Эльдара. Прошу Вас отнестись к нему с нежностью. Он этого стоит. Познакомьте его с милой молодежью, что Вас окружает, и подарите ему из сокровищницы Ваших воспоминаний несколько пригоршней духовного богатства.

Я, дорогой, всё лето погибала от неопишуемой жары – сорок четыре градуса. <...> Сейчас мой сад остывает в преддверии осени, но я физически измучена до предела.

Свою радость по поводу операции я передала через Сережу^[216]. Он как будто собирался залететь ко мне снова.

Часто о Вас думаю и очень скучаю. До чего же Вы мне нужны! Друг мой, пишите мне, хоть немного, но чаще. Я же, как поправлюсь, отпишу подробно.

Крепко Вас целую и люблю.

Ваша неизменно

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

30 декабря 1982

Друг мой милый Владимир Брониславович!

Единственно, чем я могу одарить Вас в канун Нового Года, – это моя нежность и любовь, как всегда. Они Вам всегда принадлежат, неизменно во все года.

Вот и еще один стучится у ворот. Как его приветить и как он приветит нас? И так уж создал нас Бог, что мы, вечные дети, всегда надеемся, что через мглу и хмурь проглянет то, что мы называем счастьем. Каждому свое. Лишь бы «Кабан» 1983 года^[217] не взрыв злобным рылом корни древа человеческой жизни и существования. А что говорить об упованиях? Мои – это глины. Я леплю с одержимостью, словно эти хрупкие, маленькие вещи что-то значат в этом мире. Так я отстраняю от себя одиночество, беспомощность и недуги. Не только отстраняю – их просто в это время нет.

Боюсь смотреть фильм «Мать Мария», мадам Касаткина^[218] пугает меня несоответствием. Очень много думаю о том ужасном свойстве наших молодых современников не видеть, не чувствовать правду минувшего. Всё ложно, без запаха, без стиля, без претворения прелести жизни в искусстве. Так редко порадуют по-настоящему.

Поэтому давайте радоваться, мой друг, что мы еще так много и свежо помним и зорко видим, хотя время порой проводит туманом у нас перед глазами. Но внутренний взор не замутнеет, и давайте, милый, смотреть на мир и на людей с благожелательностью понимания и благословим человеческую веру в будущее.

Будьте счастливы и здоровы, дорогой. С Новым Годом.

Неизменно Ваша

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Владимиру Сосинскому

16 августа 1983

Мой дорогой и бесценный друг Владимир Брониславович!

Поздравляю Вас с Вашим днем, с великолепно прожитой жизнью. Что можно пожелать Вам лучше, чем здоровье, и его Вам желаю много, неиссякаемого, на радость Вам и нам.

Важно лишь, чтоб в минуты, когда мы теряем равновесие и, как Вы пишете, – «уравновешенность», чтоб не терялась ясность мысли и не утрачивалась прелесть воспоминаний.

Мой дорогой ровесник века, постарайтесь не расплескать ничего из Вашей прекрасной жизни. Вы не только ее доблестно прожили, но и обязаны ее достойно запечатлеть. Ведь мы с Вами, хотя я и моложе Вас, видели век во всех фазах, во всех аспектах, были свидетелями великих катаклизмов, и души наши содрогались и мужественно сопротивлялись силам уничтожения жизни, радости, поэзии и духовной независимости. Хорош наш великий Тютчев, написавший – ведь это о нас:

Блажен, кто посетил сей мир В его минуты роковые! Его призвали всеблагие Как собеседника на пир.

И если жизнь нас не укачала, то что значат мгновенья слабости уставшего тела? Будем считать, что мы – как деревья, которые качает ветром Времени. Но мы еще живем, и всё накопленное нами произрастает животворно, и мы можем еще многим одаривать юные души тех обездоленных поколений, на которые часто смотришь с грустью.

У них словно перевернут бинокль зрения – они чаще видят всё суженным, и в душах словно высохли родники восторга, и им неведома радость удивления. Им кажется, что они всё знают, всё постигли и для них в жизни нет тайн, кроме тех, что наука услужливо разложит им по полкам – и докажет, как дважды два четыре, что тайн нет и всё объяснимо. Мне их часто бывает жаль, и мне грустно видеть их перегруженную информацией опустошенность. И это вовсе не потому, что старшие не понимают младших, а тревога за младших, которые и не подозревают, что вступили в ледниковый период души, глобально несущий к духовной мели. Но еще больше жаль тех, кто понимает.

Очень жду обещанной книги^[219]. Не пропустите в ней чего-нибудь важного.

Пришлите мне, милый, какую-нибудь хорошую фотографию.

Надеюсь, что Ваш день пройдет весело и будет для Вас радостен.

Я же про свой день рождения решила забыть и запретила друзьям его вспоминать. Для меня это еще лишний рубец на сердце, как кольцо на стареющем дереве.

Заочно посылаю Вам цветы моего сада, Журушка шлет свой самый изящный поклон, а я целую Вас. Будьте здоровы и счастливы.

Р. С. Привет Сереже^[220]. Он очень славный и мне очень понравился.

Галина Лонгиновна

Переписка с Ирмой Кудровой

Ирма Викторовна Кудрова (р. 1929) – исследователь жизни и творчества Марины Цветаевой. Окончила Ленинградский университет и аспирантуру Института русской литературы АН СССР. Работала в Пушкинском доме, затем в редакции журнала «Звезда» и в издательстве «Искусство». Первая ее статья о Марине Цветаевой была опубликована в 1976 году.

Автор книг: Версты, дали... Марина Цветаева 1922–1939. М., 1991; Гибель Марины Цветаевой. М., 1995; После России. О поэзии и прозе Марины Цветаевой. М., 1997; Путь комет. Жизнь Марины Цветаевой. СПб., 2002 и 2007; На английском издана часть этой биографии «*The Death of a Poet / The Last Days of Marina Tsvetaeva*». N-Y., 2003; Просторы Марины Цветаевой. Поэзия. Проза. Личность. СПб., 2003; Прощание с мороккой. СПб., 2013.

Участница многих международных литературных конференций. Читала лекции о Цветаевой в ряде университетов Европы. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Живет в Санкт-Петербурге.

Вместо предисловия

В середине 1970-х годов я активно занималась сбором материалов для воссоздания биографии Марины Цветаевой, по крупицам собирала как книжные, так и живые свидетельства. В поисках людей, которые встречались с Цветаевой на своем жизненном пути, я шла по длинной цепочке, непредсказуемо менявшей направление: очередной собеседник вспоминал еще об одном человеке, так или иначе близком к Цветаевой, тот – о следующем... Так я познакомилась, в частности, с Владимиром Брониславовичем Сосинским и его женой Ариадной Викторовной, а они, в свою очередь, давали мне новые адреса и рекомендации. И однажды Сосинский прислал мне некий ташкентский адрес – это был адрес Галины Лонгиновны Козловской. Имя ее мне тогда еще ничего не говорило. К адресу была приложена копия письма

Козловской с яркой характеристикой цветаевской поэзии и личности. И вскоре я отправила в Ташкент первое письмо и получила обстоятельный ответ. Из него, в частности, следовало, что Козловская собирается ближайшим летом приехать из Ташкента в московские края. «Может быть, и Вы тогда же приедете?» – прочла я в письме Галины Лонгиновны. Мы сговорились о датах, и я приехала в столицу из своего Питера. Так произошла наша первая встреча – летом 1978 года, в подмосковном Переделкине, на даче Пастернаков, с которыми дружила и у которых в то лето гостила Галина Лонгиновна. Мы провели вместе несколько часов, но именно с той встречи началась наша дружба. Она держалась в основном письмами; только в самом начале 1980-х я на несколько дней приехала в Ташкент.

Еще раньше, из писем, я узнала, что с Цветаевой ей встречаться не довелось, но она любила и ценила цветаевское творчество, знала близкого друга Марины Ивановны князя Д. П. Святополка-Мирского, лекции которого слушала еще в 1920-х годах в Оксфорде. В переписке, частично представленной в этой книге, нашли некоторое отражение наши споры о личности поэта.

Ко времени моего приезда в Ташкент подробностей из жизни самой Галины Лонгиновны знала я очень немного. Между тем биография ее была сложна: детство в России, затем в Америке, юные годы в Англии, где она собиралась поступать в Оксфордский университет, затем возвращение в Москву, замужество в 1926 году, а спустя десять лет, в 1936-м, – высылка вместе с мужем в Ташкент. И тут редчайший случай: чета Козловских органично вписалась в культурную жизнь края, оказавшегося по воле случая местом их изгнания, можно сказать, влюбилась в него.

Козловский увлеченно изучал узбекскую народную музыку, выучился играть на множестве местных народных инструментов, записывал не только узбекские, но еще и уйгурские и украинские песни и мелодии. Дирижировал оперными и балетными спектаклями в Большом узбекском государственном академическом театре оперы и балета имени Алишера Навои, стал главным дирижером и художественным руководителем Ташкентского филармонического оркестра, преподавал в Консерватории, одновременно неутомимо и плодотворно работал как композитор, создавая оперы, балеты, оратории, кантаты, симфоническую и фортепианную музыку, щедро и талантливо используя в своем творчестве характерные особенности музыкального фольклора. В Ташкенте в полной мере проявилась одаренность Галины Козловской. Литературные способности, проявившиеся в ней с юных лет, расцвели в Ташкенте.

Приехав в столицу Узбекистана, я встретила женщину, поражавшую в свои семьдесят с лишним лет не просто уникальной образованностью, но интенсивно интеллектуальным существованием. Круг ее чтения вмещал литературу – художественную, историческую, философскую,

музыкальную. Она превосходно, почти профессионально разбиралась в музыке, с увлечением изучала восточную культуру, увлекалась лепкой, сочиняла стихи.

Тогда-то я и увидела сказочный цветущий сад, огороженный глинобитным дувалом, дом с большой открытой верандой, увидела важно бродившего по саду красавца журавля Гопи, никогда не покидавшего свою хозяйку, – и саму Галину Лонгиновну. Я не знала еще, что Анна Ахматова, познакомившаяся и подружившаяся с хозяевами дома в годы войны, именно ее назвала в одном из своих стихотворений Шахерезадой. Ничего не знала я и о муже Галины Лонгиновны Алексее Федоровиче Козловском, написавшем, в частности, несколько романсов на ахматовские стихи и «Пролог» к ее «Поэме без героя». Козловский был в те годы профессором Ташкентской консерватории, дирижером – и, по воспоминаниям знавших его людей, просто обаятельным человеком. За год до нашей первой встречи с Галиной Лонгиновной он ушел из жизни, и вдова тяжело переживала вдруг подступившее одиночество.

Редкостно одаренный человек, Козловская была помощницей своего незаурядного мужа, сведущие люди очень высоко оценивают созданные ею либретто.

Вскоре после нашей встречи она начала писать мемуарный очерк о муже. На страницах ее воспоминаний читатель встретит имена выдающихся людей: Анны Ахматовой, Бориса Пастернака и его первой жены Евгении Пастернак, с которой Галина Лонгиновна давно и крепко дружила, Фаины Раневской, Корнея Чуковского, Алексея Толстого, скульптора Михаила Михайловича Герасимова, врача-окулиста Владимира Петровича Филатова, певицы Халимы Насыровой, оперного режиссера Эммануила Каплана, замечательного художника Усто Мумина и многих других.

И вот теперь мы имеем возможность услышать ее голос в талантливейшей мемуарной и эпистолярной прозе, представленной в настоящем издании.

Ирма Кудрова

Галина Козловская - Ирме Кудровой

10 мая 1978

Милая Ирма Викторовна!

Спасибо Вам за письмо и все добрые слова. Мой друг Владимир Брониславович любит мне дарить своих друзей, и, надеюсь, что и Вы станете моим другом.

Боюсь, что я разочарую Вас тем, что я никогда не знала и не видала Марину Ивановну. Всё мое отношение к ней основано на любви, долгой читательской любви – очень глубокой, очень взыскательной, очень сложной, какая бывает у некоторых читателей с поэтом, который наполнил их жизнь восторгом и преклонением. Ведь никому мы, люди, не отдаем столько чувства, как лирическому поэту, подарившему нам себя, и мы ищем и шлифуем его образ с той пронзительностью сердца, с той пытливостью воображения, которые никогда не дарили самым великим гениям великой прозы, тем, которые создали всё, что сотворило наше сознание и нашу культуру, личную и народную. Странный парадокс искусства: только поэты вызывают самый страстный, самый напряженный, самый личный отклик в душах людей, тех своих читателей, в которых они пребывают. И, как всякая любовь, эта любовь сложна, и чем она сильнее, тем она, если можно так сказать, «притязательней».

С Цветаевой в нас входит мир, такой огромный, сложный и противоречивый, что мы, поработанные и ошеломленные им, никогда не постигнем его до конца, так как нет у него дна.

И Вы радуйтесь и не робейте. Прославляйте торжество ее искусства и трагическое величие ее жизни. Вы находите для этого слова, и Ваш отклик на нее рождает ответный отклик и может пробудить дремотность иных душ, не знавших и не чувявших.

То, что я написала о Марине Цветаевой после прочтения двух ее любовных писем к Родзевичу, – это было чисто спонтанное душевное излияние, мое личное ощущение, какой-то важный для меня вывод о ней как о человеке и художнике, и я никого ни в чем не собиралась убеждать или что-то доказать. Забудьте о них, если у Вас нет внутреннего согласия со мной или если мои слова Вас чем-то коробят. Я и в жизни, и в искусстве люблю человека во всех гранях его естества, и мои кумиры меня никогда не пугают. Многоликость Настоящих – это награда за безликость Подобий. Я понимаю Вашу пытливость и чту Ваше бескорыстие. Только таким и должен быть человек, отдавший себя постижению Цветаевой.

Мне жаль, что я ничем конкретным Вам помочь не могу. Вероятно, сейчас самым основательным источником сведений о ней остался Владимир Брониславович. Он давал мне читать фотокопии ее писем к нему, кажется, их было тридцать пять. Он хранит перстень, подаренный ею. Он помнит ее. Знали ли Вы Ариадну Сергеевну Эфрон? Она, эта гениальная кровиночка Марины, сотворила из себя жертвенный сосуд для служения матери. Ее исступленная ревность ко всем, кто пытался припасть к стопам или памяти матери, была безмерна и беспощадна. И всё же она бесконечно прекрасна и удивительна. Я не знаю примера более неистового посвящения, отданности одного существа другому, чем эта гениальная дочь гениальной матери.

Попросите Владимира Брониславовича, чтобы он прочитал Вам письмо Ариадны Сергеевны к нему после смерти его жены. Я считаю это письмо самым удивительным и высоким из всех писем, написанных на русском языке. И если я горюю, что я не могла знать мать, то не прощаю себе, что я не узнала эту гордую, многострадальную, страстную, такую невероятно одаренную душу. Я могу без конца перечитывать ее воспоминания «Страницы былого» (6-й номер «Звезды», 1975 г.). Так это талантливо, какая неиссякаемая родственность интонации в повествовании!

Там как раз в дневнике Марины Ивановны упоминаются сестры Рейтлингер, которые ухаживают за ней после рождения сына. Из двух этих сестер я знакома с Екатериной Николаевной только заочно, а Юлия Николаевна – глухая художница иконописи – часто у меня бывает, и мы очень любим друг друга. Она старше меня намного. Сохранила она поразительную свежесть, ясность души и чистоту детскости благодаря своей глухоте и глубокой религиозности.

Это она у Марины Ивановны – «Юлия (воплощение чистейшего долга во всей его неприкрашенности) в черном платье с широченным ремнем, строгая до суровости, художница, сидела под окном и три часа подряд молча терла наждаком доску для иконы, чем окончательно сводила меня с ума».

Я всегда расспрашиваю Юлию Николаевну о Цветаевой, но всегда житейский налет (хотя Ю. Н. совсем не приземлена по природе) снимает какой-то флер, и мне делается грустно. Они все (окружение) не любили героя «Поэмы Горы»^[221], и все воспоминания о нем идут поперек и вразрез с легендой его последующей жизни. Ю. Н. утверждает, что Ариадна Сергеевна во имя матери создала свою «возвышающую легенду» об этой любви. Всё это навеивает на меня тоску и горестную печаль: зачем мы пытаемся заглянуть в запретное? Есть повесть любви в произведении искусства, и это все, что надо знать.

Однажды Ю. Н. пришла ко мне и сунула мне исписанный листочек: «Это я написала специально для Вас – отношение М. И. к вере и Богу, всё, что могла вспомнить. Но сестра очень обрадовалась и переписала это для Кудровой». Получили ли Вы эту страничку?

Анна Андреевна, с которой мы с мужем крепко дружили, почти никогда не говорила о Марине Ивановне (тогда мы приписывали это потрясению от ее гибели); вспоминая порой ее стихи, она говорила о них как о бесспорно гениальных, с прелестной интонацией равенства. Если в разговорах упоминалась фамилия ее мужа – Сергея Эфрона, – то лицо А. А. вдруг становилось отчужденно-замкнутым, сдержанно-гневным и суровым, и она тотчас же переводила разговор.

Я долго не понимала, почему и откуда такое необычное для А. А. выражение «непрощения» при ее доброте и великодушии. Лишь всё тот же наш Владимир Брониславович рассказал мне нечто из его

биографии, после чего мне раскрылась «непрощаемость» Анны Андреевны. Спросите его сами, а я не имею права разглашать эту страшную тайну^[222]. А быть может, Вы и так ее знаете.

И лишь только раз при последней моей с ней встрече она вдруг сказала: «Нет, Марина не любила меня!» Когда у меня вырвалось: «А как же стихи?» – она подняла руку, словно смахнула что-то, и сказала: «О, это всё литература. Нет-нет, она не любила меня»^[223].

Это лето я намереваюсь провести, июль и август, в Переделкине, у своих друзей Пастернаков. Женечка (сын Бориса Леонидовича) как раз готовит к изданию переписку отца с Рильке и Цветаевой. Если узнаю что-нибудь для Вас интересное – сообщу. Может, Вы в это время тоже будете в Москве – приезжайте, познакомимся и поговорим^[224].

В Вашем письме Вы меня спрашиваете, знала ли я Святополка-Мирского. Да, знала. Я была тогда совсем юной, и мне посчастливилось прослушать несколько его лекций о Толстом и Достоевском, которые он читал на английском языке для студентов Лондонского университета. Никогда потом мне не довелось слышать ничего более блистательного. Это было такое проникновение, озаряющее до самого дна творческую суть и характер двух русских гениев, что это не имело ничего общего с литературоведческим разбором других. Он сам, его речь, потрясающая по своей стилистике, каждая мысль – всё это творилось у вас на глазах как ослепительное создание искусства. Он потрясал своих слушателей, захватывая полностью. Зал, где он читал, всегда был набит до отказа, студенты всех факультетов бросали всё, чтобы протиснуться, прилепиться на подоконниках, и при распахнутых дверях стояли, не шелохнувшись, на площадке и лестнице. Это было истинное вдохновение – все это чувствовали. Когда он кончал, молодежь обступала его тесным восторженным кольцом и, не отпуская, аплодировала безудержно и самозабвенно.

Должен он был также читать о Гоголе, но почему-то это не состоялось. Я на всю жизнь сохранила это чувство восторга перед ним. Когда он приехал в Россию, я написала ему два письма, но он мне не ответил. Вероятно, было не до меня, потому что он скоро сгинул.

Во Франции я никогда не была (она почему-то для меня была заказана), так что моими друзьями и наставниками в дни моей прелестной юности были писатели и художники Англии 1920-х годов. Мечтала я поступить в Оксфордский университет, где деканом литературно-филологического факультета был еще Редьярд Киплинг. Но отец должен был <...> [часть письма утрачена].

Когда-нибудь расскажу что-то побольше, но сейчас я очень долго была больна, и у меня мало сил писать очень большие письма.

Не сердитесь за сбивчивость и за отсутствие того, что Вас интересует. Жду от Вас ответа и шлю Вам привет от азийской земли, от моего цветущего мокрого сада и от моего милого журавля. С лучшими пожеланиями,

Галина Козловская - Ирме Кудровой

31 января 1979

Милая Ирма Викторовна!

Простите, что не сразу отвечаю Вам. Я много болею и много грущу. Корреспонденткой стала неисправной, но что поделать, диабет – болезнь изнуряющая и оставляет для жизни мало сил.

Я Вас не забыла. Вы мне очень понравились, и я очень сожалею, что Вы живете так далеко. Мы бы с Вами очень дружили, я в этом не сомневаюсь. Мне очень мила Ваша пытливость и одержимость Цветаевой.

Вы спрашиваете меня, какое у меня осталось впечатление от чтения у Пастернаков всей переписки: Цветаева – Рильке – Пастернак^[225]? Должна Вам признаться, что всё это скорее не впечатления, а чувства, причем чувства сугубо личные, мои.

Первое: было чувство некоего стыда и неловкости – зачем ты читаешь то, что никому другому, кроме адресата, читать было не положено. словно я подсматривала в замочную скважину. Никогда прежде, читая письма и дневники, я не испытывала этого чувства неловкости. Не знаю, что тому причиной, возраст ли, с новым ощущением этоса, или личность Марины Цветаевой.

Я никогда не осуждаю людей за страсть и любовные исступления, но человеку трудно стать над собственным чувством досады и даже неприязни, когда обнажаются так сильно душевная нелояльность и легкость замены одного чувства другим. Бывают случаи двух любовей одновременно, но в этом треугольнике у женщины не оказалось того такта, что, скажем, был у Б. Л., который несомненно был глубоко оскорблен ее неверностью в ответ на его безграничную в нее веру. Еще раз, но с новой силой я испытала неверность ее сердца, не поверила в подлинность ее любви к Б. Л. и, несмотря на эротические излияния к никогда не виданному Рильке, не поверила и им. Что-то головное, литературное, подхлестываемое всем чем угодно, кроме истинной любви, так и льется из этих писем.

Все они трое основательно жеманничают в этой переписке. Большие и сложные люди вдруг начинают форсировать что-то в самовыражении. И осадок остается неприятный, и, что удивительней всего, что, несмотря на «раскрытие», никого из них не начинаешь любить больше, чем до знакомства с их эпистолярным романом. А ведь это плохо. Чаще всего свидетельства любви и страсти делают художника нам ближе и дороже, и сердце наше обогащается

нежностью и душевным умиленным пониманием. Ничего этого здесь нет и в помине. Я считаю публикацию этой переписки ошибкой и плохой услугой Марине Ивановне. Это только даст повод для всяких филистерских кривотолков.

Во всяком случае, мне жаль, что Пастернаки решились на такой посмертный эксгибиционизм. Можно становиться сколько угодно на литературоведческие цыпочки, озирать с ученым видом всю разыгранную пьесу тремя великими, но можно и почувствовать просто человеческую досаду и разочарование.

И если первые будут просто снобистски смаковать литературные лихости, то просто людям, с их досадой, так и надо – не читай того, что не для тебя предназначалось. Я себя причисляю ко вторым и так мне и надо – мне и досадно, и стыдно.

Вы, вероятно, презираете меня за то, что я отвергла то, что казалось таким заманчивым и многозначительным. Не прельстилась, не поверила, не полюбила.

Нет, у Марины Ивановны не было верного сердца – она знала одну-единственную верность – это верность самой себе. Так будем же искать правду – в стихах, и *только в них*.

Надо понять, что не всегда человек раскрывается и бывает самым собой в общении с людьми, а женщина – тем более – в любви. А у поэта Цветаевой часто за словами любви стоит неистребимая жажда самоутверждения – Я, Я, Я: Я – женщина, Я – поэт, Я – человек. И никогда нет самозабвения, даже на пределе страсти.

Читала я этим летом и другие письма Пастернака к другим людям и к другой женщине, которую он в юности долго и безответно любил^[226]. И в них он прекрасен. И мне не стыдно было подслушивать шепот сердца и речь, полную и чистую, как родник. Почему? И я полюбила его еще сильнее, и обняла, и спрятала в святая святых, безоговорочно и навсегда. Всё это тайна. А исповедь, если она подлинная – предназначенная одному сердцу, – она входит и в другое, по таинственным законам правды, где нет места фальши. И никого она не смутит, не оттолкнет, даже когда признанья бывают порою страшны и даже неприглядны.

Да, главное в жизни и искусстве, решающее в конце концов, как бы мы ни любили и ни ценили другие компоненты этих двух основ бытия, была и останется – правда. Она основа нашей веры и нашей любви.

Чем больше я живу, тем крепче убеждение, что без нее всё прах. И никакие ухищрения и искусство никого не обманут, когда ее нет.

Перечла я недавно книгу Анны Андреевны о Пушкине^[227] и впервые напечатанную, а не изустно мне рассказанную, – о гибели Пушкина. Перечла и подаренную Вами цветаяевскую «Мой Пушкин».

Боже, как они различны!

Две вещи особенно меня поразили. Как удивительно, как божественно тонко слышит А. А. пушкинское стихотворное и

человеческое слово. Оно для нее всегда откровение, и она как пчела извлекает из него нектар и мед поразительных поэтических озарений, бросающих отсвет на скрытые глубины его жизни и чувств. Это поразительный по красоте феномен поэтического слышания одним поэтом другого, боготворимого, поэта.

У Марины Ивановны при встрече с Пушкиным высекается искра, но она слышит голос не его, а свой. Всегда у нее – Он и Я, Я и Он, и опять Я, Я, Я. Всё это ярко, блистательно, но эгоцентрично.

И насколько пристальной взгляд А. А. в ту жизнь, в ту гибель, что свершилась, и как она страстна и карающа в правдивом гневе непощения. Она знает всё до конца: причины, и поступки, и сердца людей. Какая обличительная сила, сила чувства и величья, и какая подлинная страсть любви!

И как невыразительны и произвольны цветаевские рассуждения о Натали^[228], почему она вышла замуж за Пушкина, и все ее отношения к ней, снисходительно-понимающие. И мы, всю жизнь живущие под впечатлением цветаевской одержимости, стихийности и мощи, здесь встречаем ум с поверхностным скольжением, без того колокола скорби и вечной боли, в которой в нас всегда живет поэт.

Я была ошеломлена. Вдруг Ахматова Кассандрой оплакала Пушкина так, как не смогла себялюбивая Марина, нашедшая много слов, но не тех, которые бы стали бессмертными словами любви, достойными поэта.

Многое в книге Цветаевой очень увлекательно, очень я люблю ее оплеухи читателям – черни. Стихи ее о Пушкине слабые. Есть у меня ее неизданные у нас вещи – дивные стихи в «Федре», но формой поэмы^[229] она и здесь не владеет. Вообще поэма как жанр женщинам-поэтам не по плечу почему-то. Ведь и Анне Андреевне «Поэма без героя» в целом не удалась как поэма. Мне было интересно узнать ранние девичьи стихи М. И. и неведомый мне ранее цикл о Георгии Победоносце^[230]. Прекрасные стихи к Эфрону (разлучные) и вообще – стихи, стихи и стихи!!! Не хочу я больше никуда вникать, ничего узнавать. Лучше не знать и любить лишь ее основу основ, ее поэзию. Для меня ее эпистолярный двойной роман был окончательным уроком.

Было у меня недавно еще одно горькое разочарование (не подумайте, что я мизантропична и брюзга). Но вот уготовила же мне судьба еще один удар. Брониславович^[231] прислал мне в дар «под елку» книгу Святополка-Мирского – «Критические статьи». Боже, какая катастрофа предстала моим глазам!

За всю мою жизнь я не знаю примера более глубокого падения, более страшного самопредательства. Это не он, тот блистательный умница, тот парящий и свободный человек, так тонко и глубоко проникавший в самые сокровенности искусства, – такой, каким его хранила память через всю жизнь.

На какие только духовные извращения не способны мы, русские; и чем древнее кровь, тем низость беспримерней! Сергей Яковлевич Эфрон искупал свои грехи чужой кровушкой. Святополк, на глазах у всех, отрекся от Себя, от своей сути, от своей души. Откуда взялось это барственное холопство? (Так, верно, предки пресмыкались у трона.)

Какое угодничество, какая ползучесть – и речь, паскудная жвачка слов ширпотребного вульгаризаторства. Он ничего не стыдится! Как он сразу учуял и поплыл по вонючему фарватеру тех дней, не сохранив ни капли достоинства и самоуважения! Всё – и знак равенства между Тихоновым и Пастернаком (потому что первый – влиятельная персона), кончая подленькой ужимкой – упаси Бог сказать «Золотой фонд литературы», непременно «Железный фонд», – и прочими мерзостями.

Ах, Ирма Викторовна, как стыдно и как горько! Еще одна иллюзия юности вдребезги. И зачем посмертно обнародовали этот его позор? Кто это сделал – изощренно злобный или безответственно глупый человек?

Читали ли Вы книгу Аверинцева «Поэтика раннего Византийского Средневековья»? Несмотря на невообразимо сложный язык (автор в плену у собственной эрудиции и подмят византийским Византизмом), это удивительная книга, с совершенно ослепительными раскрытиями человека, общества и искусства в сличениях древнего Востока, эллинизма и византийского христианства. Я продралась сквозь терновник словесной сложности и получила огромное художественное и духовное наслаждение.

Может, в этом мне помогла пытливость наследственной крови, мое генетическое греко-византийское наследие. Сейчас мало кто так охватывает историю и философскую и творческую жизнь людей, так смело и самобытно, как он. Если прочтете – напишите мне.

Не сердитесь на меня за мое несколько, быть может, Вас разочарующее письмо. И непременно напишите мне – так же правдиво и открыто. Буду ждать.

Будьте здоровы и счастливы.

Г. Л.

Ирма Кудрова - Галине Козловской

Февраль 1979

Дорогая Галина Лонгиновна!

Отвечаю не сразу, потому что надо бы сказать многое и трудное.

Прежде всего – спасибо Вам за письмо, за такой доверительный и серьезный разговор. Такого я и хотела. Все Ваши отклики мне важны, и отклики, и неприятия.

Хотите главное ощущение после того, как немного оправилась от первого впечатления? Вот оно: надо мне, невзирая на все сомнения в собственных силах и прочие еще сомнения и препятствия, продолжать свою работу о М. Ц. – как получится, потому что – если даже Г. Л. (то есть Вы) такое говорит, чего же ждать от других. Могу себе представить, как будут толковать и трактовать, сколько чепухи будет на сказано с видом «знающих».

<...> Вот так и автор комментариев к переписке Марины и Пастернака (трактующий эмоциональную сторону корреспондентов) – и не понял, и приписал согласно своим понятиям Бог весть что, я просто в отчаянии. Бедные умершие, кто их защитит?

А впрочем – я мистична, недаром же люблю Цветаеву, – как раз вчера мне сказали, что с ним – «Такое несчастье...»: дом, в котором он живет, дал трещину. Не иначе, как Марина с того света защищается.

Не писала бы этого, если бы не знала уже Вас. То самодовольный любитель успеха, а то Вы. И Вы мне это пишете – в частном письме. За Вами-то признаю все права. И с Вами хочу говорить всерьез.

Сначала – согласие: конечно, не нужно было публиковать этой переписки, разве что в отрывках или с большими сокращениями. Безнравственное время, когда простое «Да как же вам не совестно-то?» – никто не услышит. Всё на продажу. И чем более пахнет «тайнами», чем-нибудь «интимненьким», тем громче разговор о правах на издание, на публикацию и т. д. А суть еще и в том, что все они М. Ц. активно не любят и, если говорят, что отдают должное ее поэзии, – не верьте, не отличат ее стих от другого, если провести эксперимент.

Но я всё еще не о том.

Сначала о том, что Вы говорите об эгоцентризме М. Ц. и о ее «границах» в любви, о неспособности к самоотдаче, к отречению от себя и т. п. Это близко и похоже на правду, но-но-но... сказала бы многое и тут. Ну хотя бы то, что в данном-то случае говорим мы об особой любви – на расстоянии, в письмах, о любви заочной, у которой, думаю, свои законы и особенности, весьма отличные от любви «вблизи», по ним бы и надо судить. Ведь в жизни, вблизи, М. Ц. так и не встретился человек, которым можно было бы восхищаться и через три месяца после начала любви. Который бы для ее «зрячей» любви был не слаб и не мелок, да еще бы и ее любил, для «чистоты случая». Эфрону человечески она была предана – ведь это из-за него все переезды границ, только из-за него. Родзевич же был изящный неглупый краснбай, человек явно заурядный. Ариадна Сергеевна в своих воспоминаниях дала его безбожно идеализированный портрет. Но больше-то взаимной любви у М. Ц. вроде бы и случаев не было! И вот – «нерастрата» страстей, с одной стороны, и в 1926 году письменные

оклики Пастернака и Рильке, с другой. Эти ее любви судить по принятым меркам просто нельзя. Тут всё изначально нестандартно, тут, конечно, больше желания любить, неутоленной надежды на встречу с равносущным человеком, чем простой и прекрасной земной любви. И отсюда почти всё остальное. И потому Ваших оценок я не могу принять.

Нет причин говорить о неверности М. Ц. по отношению к Б. Л. в истории с Рильке. Взрыв любви к Б. Л. был у нее за три года до того – в марте 1923 года! Тогда Б. Л. откликнулся не слишком определенно; в апреле 1926 года он сам признался, что это «Поэма Конца», попавшая ему в руки, прояснила ему его любовь к М. Ц. Прекрасно, но у М. Ц. такого «освежения» чувств не было, а была привычно нежная привязанность, которую она готова была называть «люблю», но это «люблю» звучало уже совсем иначе, чем три года назад. Это было – «Люблю, рада, что ты у меня там далеко есть, и помнишь, и пишешь, и думаешь обо мне, и понимаешь меня в самом важном». И ведь ответила она ему на предложение его приехать к ней – «Не приезжай» – еще до начала переписки с Рильке!

«Это не входило в ее планы», – зло ехидничают комментаторы, игнорируя расхождение в датах. Какие планы? М. Ц. и раньше, когда очень хотела встречи, боялась ее (подозревая, что заочное «люблю» в конкретной комнате может рухнуть в минуту). Но ведь и сам-то Б. Л. в апрельском письме к ней столько оговаривал: «Может, лучше отложить?», что я бы среагировала отказом только на одно обилие этих оговорок. А отклик Рильке был невероятно нежным (его второе письмо): «Видишь, как ты мною овладела?» и т. п., и оклик был – это важно – новым неожиданным переживанием; новая любовь – на расстоянии – вступала, не спросясь, в свои права: где же тут неверность? Называть неверностью только потому, что Б. Л. как раз в это время «дозрел» и прямо заговорил о любви? Не логика.

У М. Ц. «не оказалось такта», пишете Вы. Оказался. Ошеломленная тоном рильковского ответа, она умолкла перед Б. Л. на время. А как надо было поступить, кто это знает так уж наверняка? В ней самой еще зрело и ею управляло чувство, силу и природу которого понять было совсем рано. Только молчание и было уместным – чтобы не лгать. А когда она заговорила, – перечтите письма! – из какой глубины сердца признавалась она своему другу в случившемся! Я могла бы от письма к письму... [Страница обрывается.]

...в моих глазах вовсе не уронила, не потому возражаю. Просто – Вы прочли ее письма «извне», не вспомнили, что есть Марина в безоглядности ее слов человеку, чутью которого она верит.

Теперь о «Моем Пушкине» и Ахматовой-пушкинистке. У одной – проза с отчетливым открытым «мой»: вот кем он был для меня – и для таких, как я, вот что он для потомков, вот как он входит в нашу жизнь и ее собою пропитывает, вот как мы получаем первые жизненные уроки из его рук... Это Маринина прямая установка, и эгоцентризм, мне

кажется, тут вовсе ни при чем. А Ахматова – исследователь, это абсолютно иной жанр, требующий, разумеется, совсем иной стилистики и интонации. Кстати, в «Александрине»^[232] у нее куда какая предвзятость! Я с наслаждением читаю пушкинские статьи А. А. – но зачем же сталкивать разное в самом замысле...

Вот как я расспорилась с Вами! Не сердитесь, прошу, мне так важно и дорого все, что Вы пишете. Об Аверинцеве не могу судить – этой книги не читала, но мой друг говорит о ней слово в слово за Вами, надо, видно, достать и прочесть. И ужасно грустно то, что Вы пишете о Святополке-Мирском. Я все-таки не могу понять – что же, так испугался? Загадочно и страшно.

Не болейте и не грустите. Вам бы мемуары писать с Вашим необыкновенным пером, с Вашей ясностью взгляда, изобилием богатств всяческих, которые мне слышны в каждом Вашем слове. А может быть, уже написано?..

Ваша Ирма

Галина Козловская - Ирме Кудровой

12 марта 1979

Дорогая моя Ирма Викторовна!

В искусстве всегда прав любящий, всегда неправ обвиняющий. Мне очень понравилась Ваша защита Марины Ивановны, Ваша пылкость, и если я и не во всем согласна с Вашей аргументацией, Ваша позиция великолепна.

Вы правы, в защиту надо писать, ибо хоть и говорит русский народ, что «мертвые сраму не имут» – имут. Они беззащитны перед наглым взором, перед нечистыми руками, перед подлой ухмылкой и наветом, перед клеветой и беснованием черни, которую хлебом не корми, лишь бы поглумиться и похрюкать над тайной сердца, к которой ей удалось прорваться. О, как я всё это знаю и ненавижу, ненавижу, ненавижу!

Я по-прежнему осуждаю своих друзей за публикацию злополучной переписки. Всё ее содержание, по-настоящему, по-доброму, с истинным душевным пониманием, станет достоянием двадцати от силы процентов ее будущих читателей, остальные будут – пересуды, смакования, кривотолки, словом, что-то постыдное...

На мои попытки возражать им они мне указывали на значительность в истории литературы трех прославленных корреспондентов, что после этих писем они предстанут еще полней и ярче в своей человеческой и художественной объемности. Они твердо убеждены, что делают великое для русской литературы дело, и, если

смотреть с этих позиций, казалось бы, трудно возразить. А с точки зрения какой-то высшей духовности, неприкосновенности того, что я бы назвала «тайной исповеди», – это запрещено.

Вы неправы, дорогая, приписывая им зловердство в подведении мин под репутацию М. И., хотя отчасти и правы, утверждая, что они ее не любят, и вызвано это, по-моему, глубоко затаенной и скрываеваемой ревностью Жени к отцу. Мне кажется, что он стыдится за какую-то двусмысленность положения отца в этом тройном романе. Он хорошо помнит отчаянье матери и ее попытки повеситься дважды: в первый раз – из-за Марины, второй – из-за Зинаиды Николаевны^[233], когда Б. Л. их оставил. Всё это он очень глубоко запрятал, и ему об этом нельзя напоминать (я даже не знаю, известно ли ему, что мать его мне сама много и подробно об этом рассказала). Так что, как видите, для него, для Жени, это не абстрактный литературный роман, а глубоко залегающий семейный комплекс. Мне даже порой кажется, что для него это опубликование – это подспудное желание избавиться от этого комплекса, обнародовав, доказать себе, что он стоит над ним и достиг психологической объективности.

Говоря о верности, я понимаю, что у каждого человека есть какой-то нерасторжимый от него нравственный нарост, который он носит с собой, как улитка свой домик на спине. Для меня верность в любви стала незаживающей раной, глубокой на всю жизнь травмой, не знающей излечения; вот почему при всем моем рассудочном понимании, что мука такого рода может и отсутствовать, и необязательна, – душа моя очень болезненно воспринимает то, что я понимаю под неверностью сердца.

А ведь казалось бы – чего же проще: вот передо мной письмо самой Марины – такое ясное, такое исчерпывающее... Такое женское:

«<...> Верность как постоянство страсти мне непонятна и чужда» – это ответ мне.

А вот на Вашу мельницу:

«Что бы я делала с тобой, Борис, в Москве? (езде, в жизни?)»

А дальше для себя (все-таки для погашения оскорбленности вечной женской обидой и столбнячным недоумением перед мужской сутью):

«<...> Оговорюсь о понимании. Я тебя понимаю издалека, но, если я увижу то, чем ты прельщаешься, я зальюсь презрением, как соловей песней. Я взликую от него, я излечусь от тебя мгновенно, как излечилась бы от Гёте и от Гейне, взглянув на их Katchen и Gretchen», – ну разве это презрение не исходит от глубин ревности, от изменности предмета предпочтения в любви?

«<...> Пойми меня: ненасытная исконная ненависть Психеи к Еве, от которой во мне нет ничего. А от Психеи – все.

Ни одна женщина не пойдет с рабочим (исключения естественны); все мужчины идут с девками, все поэты.

У меня другая улица, Борис, льющаяся почти как река, без людей, с концами концов, с детством, со всем, кроме мужчин. Я на них никогда не смотрю, я их просто не вижу. Я им не нравлюсь, у них нюх, я не нравлюсь полу. Пусть в твоих глазах я теряю, мною завораживались, в меня почти не влюблялись.

<...> Не сомневаюсь, что в старческих воспоминаниях моих молодых друзей я буду первая. Что до мужского настоящего, я в нем никогда не числилась.

<...> Ты не понимаешь Адама, который любил одну Еву. Я не понимаю Еву, которую любят все. Я не понимаю плоти как таковой, не признаю за ней никаких прав».

А дальше гениально, для всех нас, чтоб перехватило горло:

«<...> Знаешь, чего я хочу – когда хочу. Потемнения, посветления, преображения, крайнего мыса чужой души – и своей. Слов, которых никогда не услышишь, не скажешь. Небывающего. Чудовищного. Чуда».

Вот и развела в какой-то мере наш спор сама М. И. А что до «эротики» – что Вы, Бог с Вами. Я ли могла судить за нее великого поэта? Величайшее благословение бога любви – есть ли что прекрасней настоящего Эроса? Разве Вы забыли, что Эрос, сын Венеры, любил Психею и ей принадлежал?

Но я люблю его подлинного, первозданного, а *не литературного*.

Что до Вашего спора со мной насчет Ахматовой и «Моего Пушкина», то тут, несмотря на Ваше очень четкое понимание различия жанров и позиций, для меня речь идет о совсем ином – не о литературоведческой сути, а о силе любви, о силе защиты, о страсти непощения никому и никогда гибели Пушкина. Здесь ампераж у Анны Андреевны куда более высокого напряжения, чем у Марины. Всякое субъективное восприятие большого художника и его выражение – драгоценно. Но для меня субъективность М. И. в этой вещи не есть проекция любви для всех, тут Вы явно идеализируете результат. Вы пишете – «Вот что он был для меня и таких как я (кстати, таких до нее не было и не могло быть – она капсула), вот что он дал потомкам и поколениям, вот как он неожиданно входит в нашу жизнь и собою пропитывает, вот как мы возрастаем и получаем первые уроки из его рук», – всё это сказано Вами очень хорошо, но здесь ее его, какое бы оно ни было восхитительное, – держит Пушкина больше всего в себе, и нет у нее того разлива, речного, широкого, ошеломительного, который несет *каждого к Пушкину*, к Пушкину, Пушкину. Так что тут мы спорим о силе страсти и о потрясении, испытываемом нами. Вы утверждаете, что Цветаева в этой вещи причащает нас к Пушкину, но она, по-моему, причащает нас прежде всего к себе. Как психологический художественный опыт он правомочен. Но Пушкина он мне не вознес, не преобразил. (Не сердитесь на меня.)

Все это, конечно, сугубо субъективно, и для меня в моей любви к моему Пушкину – это любовь, неиссякаемая любовь к его стихам и

ненасытная жажда защиты, неубывающая жажда кары тем, кто его погубил, несмотря на столетия, смешная, детская, с незамутненным чувством злодеяния. Он всегда утрата. И чем прекрасней божественная сущность его искусства, тем любимей жизнь, которую он в себе вмещал. И хоть был он, как все люди, смертен – но его смерть навеки нестерпима.

У меня и радость, и беда одновременно. Я наконец начала и пишу книгу, но судьба-гонительница, наградив меня диабетом, быстро начала отнимать зрение. Я всё хуже и хуже вижу, глаза непрерывно болят, и я боюсь, что не успею написать свою книгу. Поэтому пишу и днем, и ночью. Я по природе совушка, и потому ночью пишется лучше. Книга моя о моем муже – но не обычная биографическая вещь. Неожиданно она построилась на три четверти как художественное произведение, с его личностью как стержнем, поворачивающим глобус времени, где будут проплывать люди и судьбы. Пишу неоглядно, не думая, напечатают ли теперь или нет. То, чего ждут от меня для издания, конечно, совсем не то, что я делаю, а мне наплевать. Хочу написать то, что хочу. Если Вы верите в Бога, помолитесь за меня, чтоб мои глаза увидели последнюю точку на последней странице моей книги.

Мой сад рвется цвести, но внезапные снега после теплых дней февраля, когда бывало 22 градуса тепла, гнетут и морозят землю. Бедные распустившиеся примулы выглядывают порой, такие простуженные и слинявшие. Журушка мой тоскует и сиротствует со мной дома взаперти.

Пишите мне непременно, но главное, пишите о Марине Цветаевой так же страстно и убежденно, как пишете мне.

Защищайте от посмертной казни и терзаний ее пречистую память. А ей еще долго и от многих терпеть.

Сердечно и дружески Ваша

Галина Лонгиновна

Р. S. Напишите мне, пожалуйста, кто был «Жених» – в прозаическом очерке Марины Цветаевой? Я на днях впервые прочла три ее отрывочка – «Шарлоттенбург», «Мундир» и «Жених»; напечатанную там же «Башню в плюще»^[234] я прочитала раньше, еще летом, в связи с рильковской серией писем.

Там же, в том же номере «Звезды», № 10 за 1970 год, напечатана с моей точки зрения блестящая и великолепная статья критика Калмановского о Бунине – «Эскиз к портрету». Читали ли Вы и что можете мне сказать об авторе?

Еще что я хотела Вас спросить в связи с цветаевской прозой – есть у нее нежно мною любимое – «Дом у Старого Пимена». Говорят, что жена Бунина написала раньше Марины свой «Дом у Пимена». Читали ли Вы

это произведение Муромцевой^[235], и, может, оно у Вас есть? Если бы было, каким для меня было бы счастьем ознакомиться с ним; я бы тотчас отослала в сохранности обратно. Но это всё мечты, а пока я из-за глаз очень ограничиваю свое запойное обычно чтение.

Еще – вдруг Вы мне сможете помочь – есть такая примочка для глаз, которая составляется из трех травок, а их у нас тут нет и не бывало в продаже. Вдруг у Вас в Ленинграде они где-нибудь растут на прилавке аптеки целебных трав. Этих целительниц зовут: 1) очанка, 2) льнянка и 3) календула (цветок). Может, они мне бы помогли снять непрестанную режущую боль в глазах. А о том, что творится в глубине, где диабет разрушает стенки глазного дна, не хочется и думать... Слишком страшно.

Желаю Вам, милая, всяческого здоровья, бодрости и всяческого благополучия и удач.

P. S. Посылаю Вам первую фиалочку из моего сада.

Галина Козловская - Ирме Кудровой

14 декабря 1979

Дорогая Ирма Викторовна!

Спасибо, что наконец откликнулись, а то я боялась, что мое последнее письмо, может, чем-нибудь обидело Вас.

Я рада, что Вы много работали. Это верно, когда пишешь – трудно отвлекаться. И не надо.

Что написать Вам о себе? «Я список кораблей прочел до середины» – то же могли бы сказать и Вы, если бы мне вздумалось перечислять все хвори, что волна за волной накрывали меня с головой с весны до осени. Последняя болезнь покинула меня недавно, испепеленной от долгой температуры и совсем без сил. Поэтому извините меня, если это письмо будет кратким.

Я всё это время к книге своей не прикасалась, в бессонницы писала иногда стихи, а когда спала, видела удивительные и прекрасные сны. Не знаю, то ли жар воспламенял дремавшее воображение, но сновидения мои поражали меня глубиной и невиданной красотой зримого. Ради них я не роптала на ту бездну полузабытья, в которой я пребывала.

В одном из этих сновидений я постигла тайну времени через пространство земных ландшафтов, но, проснувшись, огорчилась, что суть – тайна, открывшаяся мне, – исчезла, осталось лишь ослепительно увиденное. И я подумала, что, может, постижение тайны времени

принадлежит к тем запретным недозволенностям, куда человек не должен проникать в яви и при жизни.

Хочу пожелать Вам завершить Вашу книгу о Марине Цветаевой в 1980 году, а также удачи и вдохновения. Ну и, конечно, здоровья большого.

Вам, наверное, Владимир Брониславович дал те письма, которые М. И. писала его жене Ариадне Викторовне Черновой, когда той было 16 лет. Какое дивное, страстно горькое письмо по поводу свадьбы героя «Поэмы Горы»! Помните, как она там пишет: *«Теперь Дода знает, как венчаются герои поэм и кончаются поэмы»*.

Когда она пишет, что знает, как он женился, меня потрясают ее слова *«Стереть платком причастие – жуткий жест»*. Какая в ней всегда бездонность!

У нас сегодня 20 градусов тепла. Пишу Вам на крыльце, в саду, где Журушка справляет радость золотой осени. Только что обошла сад, хотела найти фиалочку, чтобы послать Вам рождественский подарок, но Журка склевал, по-видимому, проклюнувшиеся было цветочки. Ну, пора прощаться. Я всё еще слаба, и глаза устали от солнца и от письма.

Не забывайте меня и пишите мне, чем очень порадуете. Обнимаю Вас и шлю свои самые горячие новогодние пожелания.

Ваша Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Ирме Кудровой

Август 1981

Мы не должны судить тех, кого мы любим,
Истинная любовь слепа.

Оноре де Бальзак

Ирмочка, мой самый дорогой и милый друг!

Не сетуйте на меня, что я до сих пор не ответила на Ваше прелестное и тронувшее меня письмо. Я теперь всё больше выпадаю из категории тех, к кому можно предъявлять требования нормального общения. Казалось бы – одна, свободна от столь многих обязательств жизни, но поверьте, милый друг, что передо мною встало, вероятно, последнее из преодолений жизни.

Я овладеваю тихо и незаметно иным пульсом существования. У меня еще больше сократилась амплитуда мобильности тела.

Я стала жертвой и рабыней сна.

Еще в июне наступила такая жара, что мне с моим сердцем сразу стало невозможно бороться. Ночи с какою-то прохладой я пыталась

спать, как раньше, в саду на шипанге, но меня быстренько спустила вниз глубокая простуда. И тут начался ад – температура 38,4, жара 39. Жажда воздуха и прохлады, кондиционер и сквозняки – и никакого тебе спасения. Вот так и жила, с отвращением к еде, к движению, едва просыпавшаяся от непреодолимого сна и возрастающей слабости. Очнувшись, я искала саму себя, и находила в коротких вспышках творчества, и снова погружалась в сон.

Сейчас наступил блаженный август, уже терпимо, а вечера прохладны. Сердце справилось с отеками, но я руина, побежденная стихией. Хотя с великою печалью думаю: а стихия ли одна тому виной? Взгляни трезво и найди всему иное имя.

Но мне хочется кого-то украдкой перехитрить – написать стихи, отдаться глинам и хоть что-то сделать, предаться сну – не безжалостному, нет: в нем есть блаженство неведомого раньше чувства покоя. А сны – они по-прежнему бывают прекрасны. Был один, когда я долго ходила по анфиладам большого музея современного искусства. Передо мною вставали одна за другой удивительные картины никогда мной не виданной абстрактной живописи – своеобразные, прекрасные, ни на что не похожие по краскам, линиям и композициям. Всё это было из мира всегда вне моих эстетических и художественных ассоциаций, вкусов и личной сути. Но это было так ярко, оригинально и увлекательно, что я проснулась потрясенная и даже усталая физически. Когда я в тот день рассказала этот сон своему гостю, он мне сказал: «Да, но ведь это же были Вы, Ваше виденье и творческое воображение». И я подумала: ведь это так; поэтому, когда вскоре из Москвы приехал один мой друг, я ему, смеясь, сказала: «А знаете ли Вы, что я, оказывается, гений». Он, выслушав сон, сказал: «Ну конечно же, обыкновенный гений?»

Я радуюсь тому, что мой сократовский демон^[236] не засыпает, а бодрствует со мной в моих сновидениях. Пусть Лета еще подождет.

Ирма, дорогая, я рада, что у Вас притупилась боль и осталась бесценность истинной любви. Прощайте, милая, того, кто любим, кто нужен, кому принадлежат воспоминанья. Нам, женщинам, надо помнить – не надо создавать разлук, судьба привалит их сама. Всегда в минуты гнева, когда всё в тебе жаждет разрыва, во мне вдруг возникают слова Александра Сергеича Кочеткова^[237] как предостережение – «С любимыми не расставайтесь!», и как выстраданно звучало у него – «И каждый раз навек прощайтесь, когда прощаетесь на миг!» (Милый был человек.)

Я всем сердцем хочу Вам примиренья и настоящего счастья. Я всё понимаю, мы порой ломаем даже кости, они срастаются, и исчезает даже след. В жизни многие следы стираются, а сосуд любви не иссякает.

Я тоже сделала попытку расторжения с близким мне сыном Борей, но Боже, как я настрадалась и какой удар я нанесла ему. Быть может,

это и пошло на пользу, он словно очнулся от душевной повседневной летаргии, где мелкая текучесть дел и жизненной суеты рождала небрежение к моему существованию. Он, настрадавшись, пережил большое потрясение и наконец нашел слова смирения и мужество прийти.

Вот уже десять лет, как накануне Троицына дня он приходит ночью с огромным пучком мяты, которую срезает где-то у ручьев. Обычно Алексей Федорович в это время спал, и мы тихонько усыпали пол нагретой и благоуханной мятой. Боря нарезал еще много веток и превращал потолок и стены в душистый шатер. И в эту ночь он пришел, как всегда, просветленный и сопричастный ко всему, что мы все трое так любим. И я поняла, что я в своей взыскательности к тем, кого я люблю, была не права. Нельзя опускать натянутость струны дружбы и уступать большое мелкой жизненной мельтешне.

Недавно он сделал мне замечательный подарок. Он подарил мне девочку, восемнадцатилетнюю казашку, договорившись с ней, что два раза в неделю она будет приходить мне помогать^[238]. И, Боже мой, есть же еще на Земле такое дитя природы! Прелестное грустное лицо, милая приветливость улыбки, доброта и женственность каждого движения. Когда она входит в дом, то всё проникается спокойствием и тишиной, и я словно пью валерьянку.

Дитя одержимо желанием рисовать, но с утра до вечера терпит поношения семьи, считающей, что она урод, родившийся им в наказание. Ей толкуют, что люди должны ходить за скотиной, полоть огород, работать и выходить замуж. Словом, феодализм в двадцатом веке. Хочу устроить ее в училище живописи, если у нее окажется дарование. Но такие целеустремленность и одержимость случайно не бывают. Только всё это слишком хорошо, и я боюсь поверить, что это надолго. Если ее будут обижать, я даже готова поселить ее у себя, пока она не наладит свою жизнь. Пожелайте мне, чтоб этот лучик милоты не исчез, как солнечный зайчик.

Мне сейчас надо из последних сил крепиться и поправить здоровье, так как в октябре ко мне должен приехать из Штатов мой милый менестрель^[239] (помните, я Вам о нем рассказывала?). Он, получив аванс под запись граммпластинки, считает, что самое единственное и для него нужное – это приехать за тридевять земель, чтоб повидать меня. Меня это очень трогает, что он очень любит меня – я знаю, но на днях получила подтверждение тому со стороны.

Он только что вернулся из поездки со своим «Монголопоющим обертонным хором», побывав в Англии, Франции, Польше и Югославии. В Авиньоне они выступали на фестивале музыки. Он ведет переговоры с труппой Питера Брука^[240] (наш нынешний зарубежный Мейерхольд), что может предоставить ему возможность два года жизни в Индии, где Брук будет ставить эпопею «Махабхарата»^[241], и затем два года гастролей с ней по всему миру. Словом, жизнь всё так же сказочна.

Читала недавно примечательную книгу Поля Валери «Об искусстве». Очень блестяща, но он не мой, и нравится по-настоящему, когда он противоречит самому себе.

Ознакомилась впервые с циклом Марины «Подруга»^[242]. Понимая, что она была еще юна, я всё же удивилась какому-то жеманству, не свойственному ей. Быть может, это нужно в лесбийской страсти, но я поняла, почему меня всегда подташнивает от «Повести о Сонечке»^[243] – от этого приторного сюсюканья институтского обожания. (Зато как хороши ее цыганские стихи. Просто роскошь.) В юности я знала много людей, часто упоминавших в разговоре имя «Софья Парнок». Как я тогда поняла, она писала как будто стихи. Теперь жалею, что ничего о ней не расспросила. Но как странно видеть Божественную Марину, чистую в страстях, задыхающейся в будуарно-парфюмерных «грехах», эротических жеманностях начала века. Не будучи ханжой, я не осуждаю сафическое начало, но осуждаю дурной вкус. Да простят мне музы. Но ведь и в ранних вещах какой она бывала ослепительно гениальной! Ах, как я бываю права, когда твержу, что не надо всего знать о художнике!

Была у меня Люба^[244] с Екатериной Николаевной. Но что-то меня к ней не потянуло. Пахнуло на меня тем дамским интеллектуализмом, который я не люблю. Но, может, первое впечатление ошибочное, а Вы не выдавайте меня. Люба мила и хороший человек.

Посылаю Вам на память кусочек моего окаянного лета.

Полдень

Жаркий	день	лениво	и	дремотно
Качает	иволги	медлительный		распев.
И	бронзовая	ящерица	на	стене,
Членя	мгновенья,	мерит		время.
А я,	как в	давний	день	творенья,
Недвижна,	распростерта,	медлительно		живу
Сквозь	жаркий день,	что для	меня	качает
Сокрытой	иволги	медлительный		напев.

Как хорошо нам было бы с Вами вместе. Я верю во встречу. Хотя боюсь, что мой призыв заглушит крик новорожденного младенца^[245], что отныне перекроет все зовы дружбы и любви. Исполать ему кричать на радость бабушкам и мамам. Любите и меня, пока я есть еще на свете.

Ваша Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Ирме Кудровой

Дорогой и милый друг Ирмочка!

Пишу Вам несколько впопыхах, поэтому письмо будет кратким. Во-первых, поздравляю Вас с дитятей – отныне светом очей. Понимаю, что вся душа Ваша там, но все-таки хочу верить, что и обо мне иногда вспомняете. Рада, что Вам хорошо писалось и работалось.

У нас адово пекло кончилось. Сегодня впервые протопила печь. Я только два дня как оправилась от гнусной болезни с врачами, скорой помощью и проч. Кроме того, пережила тяжелую нервную встряску – мой сын Боря очень-очень болен корешковой пневмонией и был совсем плох.

Я, по-моему, Вам писала, что он подарил мне девочку восемнадцати лет, которая ушла из дома от побоев и увечий. Она сейчас живет со мной, и словно тихий ангел вошел в мой дом. За месяц совместной жизни не было ни одного мгновения или предложения для самого маленького раздражения или неудовольствия. Не могу вспомнить, с кем мне было бы так легко и хорошо. Тиха, мила, физически привлекательна, заботлива бесконечно. Культуры, конечно, нет, дитя природы, – но внутренняя культура, такт, деликатность и чувство всего, что добро, что зло и низко, – на самом безупречном уровне. Славное чувство незатейливого юмора и сердечнейшая доброта. Трогательная ее любовь к животным привела к тому, что Журка ходит за ней, как собака, и танцует ей, как мужчине. Чувствую к ней великую нежность и благодарность за ее доброту и заботу обо мне.

Чувствую и свою ответственность за ее судьбу. Поэтому не удивляйтесь вложенному конверту и опустите его в ленинградский почтовый ящик. Это нужно для отвода родительского гнева с посулами убийства и увечья.

Трудно поверить, что стендалевские хроники^[246] питаются и доныне и существуют во всей ярости первобытной низости.

Очень часто вспоминаю Вас и стихийность Вашей любви к Марине Ивановне, и ужасно Вы мне нужный и дорогой мой человек.

Возможно, что недели через три приедут погостить Пастернаки. Какому-то литературному боссу приглянулась дача Бориса Леонидовича, и всю их семью (двоих сыновей) выдворяют из Переделкина. Ходил хлопотать Рихтер и другие, но в ответ на Женино письмо генсеку Союза он получил повестку в суд. Всё это непостижимо и ранит душу. Как Россия, мундирная и чванливая, ненавидит своих гениев!

Получила на днях письмо от московского друга. Миланская «Ла Скала» отметила столетие Мусоргского постановкой всех его опер. Николаю Николаевичу^[247] было поручено театром и Музеем Глинки организовать выставку к этой дате – что и было сделано и прошло

торжественно и коленопреклоненно перед великим русским гением. Родина не почтила этой даты, как должно, и Большие Академические^[248] не сочли нужным поставить все его произведения, и вообще, и вообще... Всё одно к одному.

Что-то пропала Люба; она, правда, метнулась в Кемерово, там, по видимому, проклюнулся марьяжный король.

Я вылепила влюбленного в себя Нарцисса и сама влюбилась – до того он восхитителен. Это пока лучшее из всего сделанного мной. Сейчас делаю «Ракушку» и «Волну». «Волна» получилась, а «Ракушка» – пока еще не совсем.

Целую Вас, дорогая, всех Вам удач, любовей, детей и книг.

Очень любящая Вас Г. Л.

Р. С. Очень важно, чтобы конверт не был сложен.

Теодор Левин

Теодор Крейг Левин (*Theodor Craig Levin*; Тед, р. 1951) – американский музыковед и этнограф, доктор философских наук и продюсер, изучавший народное музыкальное искусство народов Центральной Азии и Тувы и прославивший тувинское горловое пение на Западе. Специалист в области народной музыки мира. Профессор Дартмутского колледжа. Автор двух фундаментальных книг, вышедших в США: *The Hundred Thousand Fools of God: Musical Travels in Central Asia (and Queens, New York)* (Сто тысяч блаженных Бога: Музыкальные путешествия в Центральной Азии (и Квинсе, Нью-Йорк)), 1999 и *Where Rivers and Mountains Sing: Sound, Music, and Nomadism in Tuva and Beyond* (Где горы и реки поют: звук, музыка и кочевничество в Туве и за ее пределами), 2006. Вторая книга создана при участии Валентины Сузукей, она издана в русском переводе: Музыка новых номадов. Горловое пение в Туве и за ее окрестностями. М., 2012. Это книга о проблемах современной жизни в их соотношении с трудностями сохранения традиционной народной музыкальной культуры.

Начиная с 1970-х годов (и в 1980–1990-х годах) Тед Левин приезжал и работал в Средней Азии, Сибири, Алтае, Туве, изучая и записывая народную музыку. В 1977 году он познакомился с Галиной Лонгиновой, стал одним из самых верных ее друзей и много раз приезжал к ней в Ташкент. Она дорожила его дружбой и с нежностью и гордостью упоминала его имя в своих письмах. Когда для нее наступили трудные времена физической немощи, через него пришла к ней неоценимая помощь^[249].

Ниже помещен фрагмент из книги Теодора Левина «Сто тысяч блаженных Бога», посвященный Галине Лонгиновне Козловской (в переводе Сергея Чудова).

О Галине Козловской

Некоторые из преподавателей Ташкентской консерватории, которые учили студентов, как строить музыкальные мосты между западными музыкальными формами и восточным музыкальным содержанием, сами пытались это сделать в своих сочинениях. Самым одаренным из этих композиторов был Алексей Федорович Козловский. Я никогда не встречался с ним – он безвременно умер в 1977 году, за полгода до моего приезда в Ташкент, – но я стал близким другом его вдовы, Галины Лонгиновны Козловской, дожившей до 1991 года. За год до своей смерти, когда ей было 84 года, Галина Лонгиновна завершила книгу, которую назвала «Дни и годы одной прекрасной жизни: Воспоминания о композиторе Алексее Козловском».

Когда я впервые встретился с ней, Галине Лонгиновне исполнилось 72 года, и она страдала от множества физических немощей, настолько подрывавших ее здоровье, что когда я уехал из Ташкента в конце 1978 года, я сомневался, что увижу ее вновь. Но она опровергла пессимистические ожидания всех своих знакомых и прожила еще тринадцать лет, в течение которых, за исключением редких визитов в больницу, никогда не покидала пышный, разросшийся сад и крохотный домик, в котором двадцать лет прожила с Алексеем Федоровичем. Она жила, совершенно не интересуясь тем Ташкентом, который заменил полумистический город ее воспоминаний, предпочитая замкнутый мир сада и домика с дорогими ей реликвиями, в котором она работала, спала, питалась и принимала гостей, ведя необычайную жизнь, заполненную воображением и памятью.

У Галины Лонгиновны никогда не было детей, но после смерти Алексея Федоровича она не осталась в полном одиночестве. Ее компаньоном был журавль по кличке Журка, который упал в обширный сад Козловских после того, как охотник отстрелил ему половину крыла, – так, по крайней мере, повествует легенда. Галина Лонгиновна страстно привязалась к этой птице, и она стала совершенно ручной. Журавль предпочитал находиться в доме, а не в саду, и часто стоял неподвижно, уставившись в экран телевизора (даже когда тот был выключен). Иногда Журка танцевал, взмахивая обрубком крыла и подпрыгивая на своих длинных, тонких ногах.

В первые годы нашего знакомства, до того, как она потеряла зрение и почти совсем слегла, Галина Лонгиновна держала у себя в доме что-то вроде салона для обожавшего ее кружка молодых

ташкентских художников, музыкантов и любителей литературы. Посещение ее салона было завидной привилегией, так как его история началась в те времена, когда большинство его тогдашних завсегдатаев еще не появились на свет, и в ранние годы в нем уже бывали знаменитые деятели культуры. В особенности в годы войны, когда Ташкент стал местом эвакуации жителей Москвы и Ленинграда, Козловские радушно принимали в своем доме также приехавших собратьев по искусству. Частыми гостями были Анна Ахматова и Алексей Толстой. Композитор Максимилиан Штейнберг и его жена Надежда – дочь Римского-Корсакова – часто присоединялись к Козловским по вечерам для импровизированных домашних концертов. Среди эвакуированных была близкая подруга молодости Галины Лонгиновны, Женя (Евгения Владимировна) Пастернак, художница, первая жена Бориса Пастернака.

Салон неизменно открывался по издавна заведенному распорядку. Поздно вечером, после нескольких рюмочек водки и сытного русского ужина, приготовленного одним из сменявших друг друга добровольных помощников по дому, которые присматривали за Галиной Лонгиновной и убирали за ее журавлем, Галина Лонгиновна преображалась. Причесанная, одетая и накрашенная в довольно броском стиле дореволюционной гранд-дамы, она, казалось, волшебным образом покидала свое непрочное тело, причинявшее ей столько физических страданий, и вновь превращалась в ту дерзкую молодую женщину, которую я уже знал по фотографиям и из удивительно подробных воспоминаний, которыми она делилась во время этих приемов, продолжавшихся до глубокой ночи.

Галина Лонгиновна Герус родилась в 1906 году в Краснодаре. «В Краснодаре я родилась по случаю, – вспоминала она. – Мой отец был заключен в тюрьму за свое участие в революции 1905 года, и моя мать поехала в Краснодар, чтобы быть рядом с ним. Когда к власти пришла II Государственная дума^[250], папа был избран депутатом, всё еще находясь в заключении. Избиратели Кубани, выбравшие его депутатом, вынесли его на руках из тюрьмы прямо к железнодорожному вокзалу и отправили его в Петербург».

«Папа – его звали Лонгин Федорович Герус – заседал в Думе, но он не был слишком тактичным человеком. Однажды он пришел в расположение Преображенского полка и якобы начал там призывать к вооруженному восстанию. Я не думаю, что он сделал именно это, но он произнес какие-то революционные слова, которые остались без ответа. Его обвинили в заговоре с целью свержения правительства, и ему пришлось бежать в Финляндию, даже не успев попрощаться с моей матерью. Какое-то время спустя он узнал, что его заочно приговорили к двадцати пяти годам каторги в Сибири. Несмотря на приговор, он пробрался обратно в Россию, чтобы попрощаться с моей матерью. Его путь лежал по рекам и озерам севернее Дона, а затем вниз по Дону до

Ростова [в родительский дом, где в это время находилась его жена с дочерью – *примеч. ред.*]. Он провел неделю в Ростове, а затем пересек южную границу России и отправился через Бессарабию в Австрию и, наконец, в Америку».

«Мы с мамой отправились в Америку позже. Мы отплыли из Антверпена в Нью-Йорк, а оттуда поехали в Чикаго, чтобы встретиться с папой. В Чикаго мы провели четыре года, а затем папа решил отправиться в штат Юта, чтобы организовать там сельскохозяйственную коммуну. Он собрал некоторое количество русских эмигрантов – не интеллектуалов, а рабочих и бывших крестьян – и они купили огромный земельный участок в месте, называемом Парк Валли близ Большого соленого озера. На этой земле не было никаких построек, и мы жили в палатках».

«Ежедневно я отправлялась пешком за семь километров в сельскую школу и по дороге встречала местных фермеров. Один из них подарил мне поросенка, хрюшку. Я назвала ее Пегги, и мы с ней очень подружились. У других мальчиков и девочек были пони или лошади, а у меня была Пегги. На нашей земле не было никакого орошения, и три года стояла такая засуха, что ничего нельзя было вырастить. Мы питались в основном консервами. Еда была однообразной, и рабочие начали спрашивать, зачем мне нужна ручная свинья, когда на самом деле это просто свинья, а им хотелось свинины. Однажды, когда я была в школе, они зарезали Пегги. Когда я вернулась домой, на столе были свиные отбивные. Я никогда не могла забыть Пегги и этих ужасных рабочих. Именно тогда я впервые очень глубоко почувствовала биологическую ненависть плебеев к интеллигентам. Это было очень четкое особое чувство, с которым они относились к моим родителям. Мои родители были одно, а они были нечто совсем другое. И это всё кончилось саморазрушением коммуны. Все разбежались, кроме моих родителей, и моему отцу пришлось зарабатывать на жизнь, вспахивая на своем тракторе поля других фермеров».

«После Февральской революции 1917 года, когда мне было 12 лет, Временное правительство прислало папе билет, чтобы он мог вернуться в Россию. Когда произошла революция, мы жили в Солт-Лейк-Сити. Папу поздравляли в газетах; он давал интервью, писал статьи и выступал с речами. Мы сели на поезд до Сан-Франциско и оттуда отправились пароходом в Японию и затем во Владивосток. Папа отправился в Петроград, а мы с мамой вернулись в Ростов к моей бабушке. Чтобы добраться туда на поезде, потребовался месяц».

Несмотря на революционную деятельность и партийные связи отца, Галина Лонгиновна на всю жизнь сохранила антипатию к советской политике, к тому, что она называла мещанством социалистической культуры, к безвкусию нового советского человека в том, что касалось

искусства, музыки и литературы. «Я люблю аристократов и крестьян», – с гордостью однажды сказала она мне с легким провинциальным акцентом на своем американском английском, который она помнила с детства, хотя не разговаривала на нем семьдесят лет. Алексей Федорович Козловский, заверила она меня, разделял эти ее чувства.

Письма Валериану Герусу

Валериан Лонгинович Герус (1912–1992) – единственный и горячо любимый брат Галины Лонгиновны. Брат и сестра были очень дружны. Имея собственную большую семью, Валериан Лонгинович в течение многих лет помогал сестре деньгами. Он был женат на Александре Александровне (Шуре) Астриной. У него было трое детей: Сергей, Андрей и Елена.

Валериан Лонгинович окончил Московский энергетический институт. Работал инженером на электровакуумном заводе «Светлана» в Ленинграде. С начала Великой Отечественной войны был призван на фронт, где, в результате ранения потерял ногу. После войны поселился во Фрязине. Был заместителем директора по научной части НИИ «Платан». Выдающийся инженер в области электронной оптики, он участвовал в разработке высококачественных телевизионных кинескопов, использовавшихся в снаряжении космического корабля «Восток-1». Награжден орденами и медалями, в том числе орденом Ленина. Автор книги «Физические основы электронно-лучевых приборов». М., 1993.

Галина Козловская - Валериану Герусу

8 февраля 1986

Котуся мой дорогой!

Вот и исполнилось твоей сестре 80 лет^[251]. Подумать только, я старше мамы и отца!

Но случилось так, что день этот вместо печали и грустных мыслей вдруг стал радостным и волнующим. Вместо дня рождения он превратился в юбилей. Что делал Боря и как он колдовал до этого, я не знаю, но он подарил мне самый удивительный день в моей жизни. Всегда чествовали Козлика, и я к этому привыкла. Но чтобы столько людей пришло ко мне, именно ко мне, – никогда не бывало. С часу дня до часу ночи ко мне люди шли и шли, всех возрастов и поколений. Для цветов не хватало посуды, и сейчас все еще благоухают во всех комнатах цветы дивной красоты.

Первыми поздравили меня писатели, прислав адрес, затем Союз композиторов и Театр оперы и балета. Вечером вдруг приехали двадцать человек детей из детского хора при Опере, который называется «Солнышко». Ими руководит преданнейшая Козликина ученица. Она села за рояль, и они спели мне «Приветственный хор с кипрскими мандолинами» из «Отелло» Верди. Юноша и девушка спели и сыграли сцену из «Бастьена и Бастьенны».

Каждый из них подносил мне гвоздики и говорил милые слова.

Там было два мальчика лет семи, которые с утра ссорились, кому из них передать мне поздравления. При их появлении пришел Журка и стал в середине. Дети обомлели от восторга и стали кричать: «Я хочу с ним дружить!» В одном месте, заглядевшись на Журку, они сфальшивили, и он, к общему восторгу, громко закричал.

Слушали сидящие за столом в моей комнате, стояли впритык в прихожей, кухне и кабинете. Множество женщин понесли мне какие-то умопомрачительные по вкусоте торты собственного изготовления.

Боря умудрился накормить и напоить уйму народу. До этого он вдвоем с зятем выдраил мне весь дом, трое суток бегал, что-то доставал, меня не пускал на кухню. Видимо, ухлопал на это всю свою зарплату.

Никогда за всю мою долгую жизнь никто так не хотел меня порадовать.

Он выложился до конца и сейчас лежит дома с болью в сердце. Надо было ожидать, что он надорвется, что и случилось. Вот и грубый заключительный аккорд этого праздника.

У меня перед тем был запой лепкой. У меня есть милая душа Милочка (вы ее с Шурой знаете, когда были в гостях у ее брата). Она тоже родилась 4 февраля, и я решила подарить ей какую-нибудь свою работу. Работала с упоением, не вставая по восемь-девять часов. Сделала Дафну, превращающуюся в лавровый куст. (Ты, конечно, помнишь миф об Аполлоне, влюбившемся в нимфу Дафну. Убегая от его страстного преследования, она, спасаясь, превратилась в лавр. Вот почему Аполлон всегда потом носил лавровый венок и почему победителей в искусстве венчают лавровым венком.)

Моя Дафна получилась такой, что художники ахнули. Она такая прекрасная, что я не знаю, как я с ней расстанусь.

Мне некоторое время тому назад предложили участвовать в какой-то выставке с моими работами. Но это, конечно, будет невозможно – вещи мои не обожжены, хрупки и нетранспортабельны.

Без лишней скромности могу сказать, что леплю я всё лучше и лучше и художники меня принимают совсем всерьез. Как мне жалко, что я не могу показать свои последние вещи тебе и Шуре.

А мне только этого и хочется в жизни. В воображении теснятся всё новые и новые образы, которые рвутся к воплощению. Одновременно с Дафной родилось и стихотворение, которое вам и посылаю. Так что

порадуйся, Котуся, что свои восемьдесят лет я встретила на гребне творческой радости и что душа моя хоть и бывает печальной, всё же не знает уныния.

Целую крепко. Хочу узнать, что вы все здоровы. Напиши мне, дорогой.

Галя

Омой	лицо	мне,	чистая	вода,
И	передай		рукам	моим
Частицу		животворной		силы.
Пусть	душа,	как	полный	водоем,
Что	отражает		вечно	высоту,
Обнимет	тишину	и	замрет,	насторожась.
Тогда	из		тех	глубин,
Где	всё	в	безмолвии	блуждает,
Всплывет		виденье,	образ	тот,
Что	воображение	тревожил	даже	в снах.
И	только	тут,	поверив	в дозволение,
Коснется	глины		осторожная	рука.
И	придут	к	тебе	тогда
Счастливые		часы		работы,
Всё	забудется		на	свете
И	время	канет	в	никуда.
Останется	единственное	в	мире	упоение:
Одни	зовут	его		бореньем,
Другие	-	вдохновеньем	самозабвенного	труда.

Р. S. Если бы ты знал, как я хочу тебя видеть и как мне никогда не сказать тебе, как я тебя люблю! Почему жизнь нас так надолго развела!

Галина Козловская - Валериану Герусу

29 апреля 1986

Мои дорогие!

Поздравляю вас с весенними праздниками. А также прошу прощения за долгое молчание. Но дело в том, что я, человек неорганизованный, вдруг попала в тиски обязательств. Надо сдавать рукопись о Козлике, а я, начав главу о ташкентском периоде, вдруг впала в отчаянье. Ворошить воспоминания – опасная штука. Столько всего всплыло – человеческой низости, негодяйства, унижения, – что у меня не хватает сил и такта обойти столь многое. В сущности, надо

обойти жизнь и прикрывать ее срам фиговым листком радужного оптимизма.

Пока писала о днях приезда и о первых годах его увлечения и влюбленности в Восток, было легко, хотя под ними был айсберг ссылки. Но молодость и увлеченность приносили много радости. Зато потом – потом я просто не знаю, как мне плыть. Ворошу дневники и свои воспоминания и много плачу, и болит душа и сердце. Если бы я знала, что будет так тяжело, я бы не взялась.

Все время вспоминаю один прекрасный рассказ Мопассана^[252]. После хорошего, приятного дня человек пришел к себе домой. Когда он зачем-то полез в секретер, из какого-то ящика вывалилось какое-то старое письмо. Он его прочитал. Открыл другие ящики и стал перечитывать давнишние письма. Утром он вынул пистолет и застрелился.

Завтра ко мне приезжает на две недели в гости Людмила Григорьевна Чудова-Дельсон.

У нас последнюю неделю прохладно, идут дожди, и сад мой свеж и прекрасен. Под окном цветет глициния, впервые по-настоящему, но из-за того, что прохладно, не слышно ее аромата. А он изумительный.

Боря послезавтра выходит из своего очередного профилактория. По-прежнему валят с ног то сердце, то голова. Он очень постарел и плохо выглядит.

У меня появились новые друзья, молодые муж и жена, которые от всей души принялись меня опекать и помогать. Хоть бы это было надолго.

Пастернаки на мой день рождения сделали мне царский подарок – вышедший двухтомник Бориса Леонидовича^[253]. У нас на черном рынке жучки торгуют по 25 рублей. И нет на них управы.

Котуся, спасибо за помощь, мне без нее не прожить. Ужасно хочу видеть. Может, осенью соберетесь ко мне? Мой молодой друг, музыкант, третий раз приезжает из Штатов, чтобы повидаться со мной. А вы же ближе.

Журушка радуется весне. А летом ему тоже тяжело от жары и он плохо ест.

Напишите мне хоть несколько слов обо всех вас, больших и малых. Берегите здоровье и не давайте Шуре наклоняться. Крепко-крепко целую. Пожелайте мне мужества.

Галя

Галина Козловская - Валериану Герусу

30 января 1987

Дорогие мои Котуся и Шура!

Не сердитесь, что так долго не писала.

Поздравьте меня – я кончила свои воспоминания об Ахматовой. От руки получилось около 90 страниц. Теперь мне их надо отредактировать, переписать и отдать машинистке. Я и так опаздываю и боюсь, что может сорваться возможность их включения в ахматовский сборник в издательстве «Советский писатель»^[254]. Мне это было обещано и резервировано место, но совершенно гнусный грипп, который все-таки меня нагнал, измотал меня до изнеможения. Я так ослабела, и у меня начались такие головокружения, что пришлось прервать работу. Я не жила, не писала, не работала и только спала, иногда по 20 часов в сутки. Вот с такой патологией и встретила Рождество и Новый год.

Только сейчас чуть начинаю приходить в себя.

Пишу вам, сидя на крылечке; светит солнышко, и очень тепло. Журушка счастлив, что кончилось затворничество, и гуляет по разрушенному зимнему саду.

У нас тоже бывали снег и холода, но, конечно, они не идут в сравнение с вашим арктическим оледенением. Я и свои-то минус 14 едва переносу, а уж как вы там справляетесь, не могу себе представить. Как сердце? Не простывали ли вы?

У нас в нашем резко континентальном климате даже в газетах печатались сводки-предупреждения, что в связи с перепадами больные сердечно-сосудистыми заболеваниями должны заранее принимать лекарства.

Интересно, какие еще опусы напишут дамы к Пушкинским дням? Что они пишут – одно невообразимее другого! По-моему, вершины достигла авторша, которая поведала, что ее прадед, крепостной конюх у Гончаровых, был влюблен в Натали и «вел дневник». Вот на основе якобы этого дневника она ошарашивает читателей, у которых и без того не очень-то просвещенные мозги, задуривая их окончательно. Самое примечательное, что эти дуры, обнаглев, становятся в позу ниспровергателей «отсталых» пушкинистов.

Кстати, свободное обращение с великими прошлого становится всё развязней, им навязывают собственное убожество и противные черты характера. Огорчил меня Тынянов – пробовала перечесть «Вазир-Мухтара» и не смогла. Боясь идеализировать Грибоедова, он вдарился в другую крайность, навязал ему всякое, отчего великий Грибоедов оказался препротивным чинушей и скверным и даже неумным человеком – и все равно не живой.

Работая над Ахматовой, я ограничила себя во всем – не прикасалась к глинам, редко смотрела телевизор, читала только немного стихов перед сном. Воспоминания очень взбудоражили, я очень выложились, и сейчас какая-то пустота и усталость.

Написала еще несколько стихотворений. Пришлю в следующем письме.

Берегите себя, мои родные, и обдумывайте возможный приезд ко мне осенью. Повидаться надо очень. Я очень слабею.

Завтра встречаю своего молодого друга из Штатов^[255].

Целую вас и всех деток. Поблагодарите Лену и Мишу^[256] за открыточку. Как там Антон и Сергей^[257]? Им тоже привет.

Боря также сердечно всем кланяется.

Давайте прыгать всем зайчикам.

Галя

О	долгий	сон	моих	ночей	осенних,
Где	сновидения	живут	и	как	стихи текут
Без	конца	и без	начала,	бесвременным	мгновеньем.
Как	порой		врываються	в	сон
Лики	живых		и	лики	ушедших,
Тех,	что	забыла,	и	тех, что	навек со мною.
<...>					

10 ноября 1986 г.

Галина Козловская - Валериану Герусу

21 июля 1988

У баронессы Гаубиц большая грудь, находящаяся в полужидком состоянии.

И. Ильф «Записные книжки»

В Ташкенте малооблачная погода,
температура 37–39 градусов тепла.

Метеосводки

*(На самом деле все термометры показывают 40–43 градуса
тепла.)*

Мои дорогие!

Из всего вышеизложенного вы можете понять, в каком я состоянии. Мозги не в «полужидком состоянии», а, как мне порой кажется, полностью расплавлены. Если прибавить к этому постоянные

магнитные бури и полную вымотанность их хроническими повторениями, то все эти два месяца, июнь и июль, я очень больна и живу на грани срыва. Из-за постоянного сжатия мозгов и сосудов не могу читать. О том, чтобы лепить, не может быть и речи.

Трогательная забота государства о нашем здоровье – это бесстыдное вранье официальных сводок о пылающей температуре вокруг в надежде, что мы от этого не подохнем как китайцы, валом уходящие к предкам, не выдерживая сорокатрехградусной жары.

Удивительно, как мы привыкли к вранью во всех областях, веря, что «сим победиши»^[258] всё и вся.

Я всё еще под впечатлением заседания Верховного Совета, посвященного армяно-азербайджанскому конфликту. Осадок очень тяжелый, ощущение полной беспомощности перед бедой – упрямство и извечные бесплодные заклинания – единственное, что мы могли противопоставить.

(Вчера узнала, что в Ташкенте забастовали строительные рабочие, потребовавшие добавку к зарплате за работу в немыслимую жару. Вот, оказывается, почему наши метеосводки занижали температуру. Приехала комиссия из Москвы, и вдруг ночью температура упала до плюс четырнадцати. Если бы и армянские дела можно было бы так уладить.)

Всю жизнь ненавидела политику, но сейчас живу публицистикой, порой поистине блистательной. Читали ли вы в «Огоньке» статью Карякина «Ждановская жидкость»^[259]?

Есть еще в России светлые головы, не всех выкорчевали. Но положение везде и во всем очень напряженное. У нас не раз оцепляют улицы и площади, предупреждая эксцессы крымских татар. Местные писатели не скрывают своих исламских тяготений, требуют издания Корана (что их право, конечно) и вообще очень агрессивно настроены. И вообще все, связанное с переменами, вызывает бешеное сопротивление, и политика выборов по-прежнему ведется по принципу народной шутки – «И привел Бог Еву к Адаму и сказал: «Выбирай жениха»».

Боря на днях улетел в Сибирь, еле живой от жары, но до этого он потратил два дня на звонки в Москву и Фрязино. Представлялась возможность послать вам всем фруктово-плодовых летних радостей. Но никто нигде не отзывался. Очень жалко.

Сад по-новому красив и буен, но я сама почти не могу ходить, даже по дорожкам. Теряю равновесие и падаю. Сплю на крылечке и днем спасаюсь с помощью кондиционера. Готовить стараюсь ночью. Даже Журка иногда просится днем в комнату.

Вчера получила перевод, за что великое спасибо. Как жаль, что ты, Котуся, не дозвонился.

В июне, когда еще дышалось, написала два стихотворения. Я задумала цикл «Несбывшиеся желанья». Пыталась написать третье,

связанное с бабушкой и детством в Новочеркасске. Воспоминания толпятся роем, очень много образов, но осуществить пока еще нет сил. Вот поостынет яростный Ярило, тогда и напишу.

Целую и обнимаю всех моих дорогих.

Письма Евгению и Елене Пастернакам

Евгений Борисович Пастернак родился в Москве в 1923 году. Он умер 31 июля 2012 года, когда работа над этой книгой еще не была окончена. Составители очень благодарны ему, а также Елене Владимировне Пастернак и Петру Евгеньевичу Пастернаку за неоценимую помощь в работе над книгой.

Е. Б. Пастернак – сын Б. Л. Пастернака от первого брака. Окончил Академию бронетанковых и механизированных войск (1946). Кандидат технических наук. Двенадцать лет, с 1942 года, когда, будучи в эвакуации в Ташкенте, был мобилизован и поступил в Академию, пробыл в армии. После окончания Академии служил инженером-механиком по военным машинам в гарнизонах Украины и Сибири. Потом преподавал электротехнику в институте, защитил диссертацию. После смерти отца вместе со своей женой Еленой Владимировной Пастернак стал заниматься его литературным наследием и издательской деятельностью. В 1970-х годах Пастернаки подружились с семьей А. И. Солженицына. Помогали им в сборах и провожали в аэропорт, когда те уезжали из Советского Союза. Из-за отказа дать этому эпизоду политическую оценку Евгению Борисовичу пришлось уйти с работы. Так в 1975 году он оказался младшим научным сотрудником Института мировой литературы.

Автор книг: Борис Пастернак. Материалы для биографии. М., 1989; Борис Пастернак. Биография. М., 1997 (наиболее полная и достоверная биография Бориса Пастернака, основанная на богатом архивном материале: документах, письмах, воспоминаниях современников); Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Е. Б. Пастернаку и его воспоминаниями. М., 1998; Понятое и обретенное. Статьи и воспоминания. М., 2009. Вместе с женой занимался составлением и комментированием ряда сборников произведений и переписки Б. Л. Пастернака. Опубликовал мемуары: Из воспоминаний // Звезда, СПб., 1996, № 7. Получил премию журнала «Знамя» (1996), фонда «Знамя» (1997).

Елена Владимировна Пастернак (р. 1936) – филолог, внучка философа Г. Г. Шпета. Окончила классическое отделение филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Стала бессменным помощником

мужа в многочисленных публикациях материалов о Б. Л. Пастернаке. Их совместными усилиями подготовлены новое издание биографии: Евгений Пастернак, Елена Пастернак. Жизнь Бориса Пастернака. Документальное повествование. СПб., 2004; Полное собрание сочинений Бориса Пастернака в 11 т. М., 2003–2005.

Евгений Борисович и его жена Елена Владимировна (Алена) Пастернаки – наследники давней и многолетней дружбы Галины Лонгиновны Козловской с художницей Евгенией Владимировной Пастернак, матерью Евгения Борисовича. Галина Лонгиновна гостила у них в Переделкине на даче, в сторожке, где они жили с детьми. Евгений Борисович с женой и дочерью Лизой приезжал к ней в Ташкент. Ее письма к ним полны любви, признательности и дружеского доверия.

Галина Козловская - Евгению Пастернаку

Январь 1974

Женичка, дорогой наш дружочек!

Спасибо за весточку. Я рада, что могу, хоть в письме, послать тебе и всем твоим милым слова привета и любви. Ведь я этим летом была очень тяжело больна, и для меня «покачивалась фельдшерица со склянкою нашатыря»^[260]. Я узнала всё, и кабину реанимации, и стояла совсем у роковой черты. Сейчас выкарабкалась. Справляемся с зимой, как можем. Очень Алексею надо было бы поехать в Рузу^[261] – поработать. Там хорошо пишется, но боимся расстояний, зимы и гололеда. Мы такие стали стеклянные. Надеюсь, что вы все здоровы и грипп английский, гонконгский, мадагаскарский, мозамбикский, тьмутараканский вас всех миновал.

Ужасно жалко, что ты не слишком рвешься залететь в наши азиатские края. Уж я бы тебя побаловала. Ведь мы только и восторгемся, когда нагрянет кто-нибудь залетный. Ты даже не представляешь себе, какой может быть духовный вакуум. А уж степень одиночества Алексея в области музыки трудно вообще представить! И всё же живем, памятуя Вагнера, который когда-то хорошо сказал: «Кто из малого не сделает многого, тому и многое не поможет».

Надеюсь, что, может, по весне увидимся. Весьма возможно, что, когда потеплеет, мы и прилетим.

Передай сердечный привет твоим друзьям. Они прелесть. Как поживают твои чудесные дети? Как мой маленький флорентинец^[262]? Алене особый, нежный привет.

Давно ли вы переехали, и лучше ли вам на новом месте^[263]?

«Коли только жив я буду – / Чудный остров навещу».

Да хранит вас Бог. Будьте счастливы и здоровы, дорогие. Не забывай нас.

Галя

Галина Козловская - Евгению Пастернаку

20 июня 1974

Женичка, дорогой!

Хочу черкнуть тебе несколько слов. Так бы хотелось, чтобы ты был в Москве, когда мы приедем, чтобы могла состояться ставшая уже традиционной наша встреча в Рузе. Мы пробудем там, если Бог даст, с первого июля по первое августа. Очень хочу повидать тебя и всех твоих милых. Столь о многом поговорить бы надо.

Нас, к сожалению, хвори гнут к земле, но мы, к счастью, из породы нескгибаемых. Все же ходим по земле с трудом и даже не имеем того преимущества прутковской попады, которая после любовных походов «чувствовала слабость во сгибах».

Итак, дружок, жду тебя. Надеюсь, что Алена и капелька Лизанька ^[264] здоровы, ты сам и оба твоих прекрасных флорентинца также. (Лучших пожеланий нет на свете.) Берегите и любите друг друга.

Кстати, было бы мило прихватить наших общих друзей, если они не уехали.

У меня в саду рай – совершеннейший рай, но, как доказали наши праотцы, человек в раю не приживается. Слишком жарко. Потому и бежим на Север, к родной черной земле, которая пахнет травами детства.

Приезжай, дорогой. Ждем. Обнимаю вас всех.

Галя

Галина Козловская - Евгению Пастернаку

9 августа 1974, Руза, ДТК

Женичка, дорогой!

Отправляю это письмо с оказией в Москву – а то тут из почтового ящика в Москву идет две недели.

Нам удалось продлить наше пребывание в Доме творчества композиторов до 21 августа, не перебираясь в ВТО ^[265]. Сейчас у нас не

целая дача, а одна комната в пансионате. Хоть и тесновато, но сухо и покойно. Так что если сможешь – приезжай. Будем очень рады.

У Людмилы Григорьевны Чудовой-Дельсон^[266] будем двадцать второго утром, а двадцать четвертого улетим в Ташкент. Так что увидимся с тобой у нее, и ты сможешь нам передать пластинку.

Мы вот уже два дня живем в волнении. Бедному Ташкенту всё не везет. Позавчера был ураган из Каракумов неслыханной силы. Вырвано с корнем больше десяти тысяч деревьев, разбиты стекла магазинов, порваны все провода – словом, наделано много беды. Мы в ужасе от неизвестности о судьбе нашей птицы Гопи. Журушка всегда в саду и приходит в дом, только когда сам захочет. Чужие люди могли в суматохе бедствия не поймать его, и его могло унести бурей. Пока не получим телеграммы – не нахожу себе места.

Очень бы хотелось услышать, что у вас всё благополучно.

Да, «Жизнь прожить – не поле перейти». И все-то она подваливает и подваливает бед и печалей.

Я от огорчения занялась йогическим дыханием и делаю очень большие успехи. Может, жизненная сила, живущая во мне, поможет мне вобрать ее извне. Все-таки она – тайна. Жизнь желанна и прекрасна, и мне очень трудно, ужасно трудно стареть. Читаю интересные книжки и не обращаю внимания на дожди. Всё равно так хорошо тут дышится.

Читал ли ты мою новеллку^[267]?

До встречи, дорогой.

Всех твоих деток обними и особенно нежно и сердечно приветствуй от нас Алену. Пусть Бог даст, чтоб все было хорошо. Козлик вместе со мной тебя обнимает крепко.

Твоя неизменно Галя

Галина Козловская - Евгению Пастернаку

8 октября 1974

Женичка, дорогой!

Так как я всё еще не выдохнула своей чудовищной пневмонии и кашляю, как старая коза, то письмо мое будет кратким и, вероятно, бестолковым. Хочу только сообщить тебе, если она сама к тебе не дозвонится, что Людмила Григорьевна Чудова-Дельсон была проездом у меня и повезла с собой для тебя три Козликиных пластинки. Это отличные записи с БСО^[268] нескольких его симфонических вещей, и нам бы хотелось, чтобы они напоминали вам азийских друзей, создавших

свою несуществующую Азию. Но по странным законам искусства только то и подлинно, что создано и никогда не существовало.

Сад же наш существует в осенней красе, но он так порой бывает хорош, что тоже кажется почти мнимостью.

Жизнь ведем почти донкихотскую. Если увидишь Милу, она расскажет тебе, как мы воюем, мягко выражаясь, с «ветряными мельницами»^[269].

Как ты и все твои милые? Хочу от души, чтобы всё было хорошо.

Так как у Людмилы Григорьевны очень больна мама и она, возможно, не ночует дома, то посылаю тебе два ее служебных телефона (энциклопедия).

Передай, пожалуйста, две пластинки милым друзьям, что были у меня. Я так и не знаю, кто из них прислал скандинавский фольклор. Поблагодари. Но сам фольклор пресен до невероятия – прямо рыба без соли. Так что пока что ничего мало-мальски интересного не мог Козлик выловить. Придется ему выдумать свою Данию, как он выдумал свой Восток. Так оно верней.

Меня только очень беспокоит Алино здоровье. Очень высокое (хронически) кровяное давление, и придется, наверное, класть в стационар.

Стараюсь изо всех сил не падать духом и не терять себя, но порою бывает очень трудно и очень грустно.

Обнимаю тебя вместе с Аленой и твоими прелестными детьми. Будьте здоровы и счастливы, мои милые. Аля сердечно всех приветствует.

Твоя всегда – Галя

Галина Козловская - Евгению Пастернаку

5 мая 1975. Пасха

Всю ночь читал я твой завет И, как от обморока, ожил.

Борис Пастернак

Женичка, дорогой!

Хочу обнять тебя и всех твоих милых и близких в дни светлого весеннего праздника, когда людям дано приблизиться к высшему постижению Скорби и Просветления.

Дружочек, не сердись на меня за то, что не написала тебе и не поблагодарила за присланное. В нашей жизни к сменам дня и ночи и временам года прибавилось новое чередование. Пребывание в болезнях в месте, называемом стационаром.

Вероятно, это двусмысленно названное учреждение является тем промежуточным жилищем между нашим весенним садом и тем конечным местом, что станет вечным домом. И живем мы в дни, когда нужно самое большое мужество, потребное человеку, ибо старость – самый страшный поединок в отпущенной человеку жизни.

И всё же ничего не хочу отдавать жестокому врагу – Времени – и стремлюсь оставаться собой и живой до самого конца. Я научилась новому искусству – в мутном мире жестокости, низости и презренного улавливать веяния доброты и прелести, как приходящие дуновения запахов зеленого и цветущего мира.

Я была очень рада повидать твоих друзей и узнать о тебе и вашей жизни.

Вероятно, в этом году мы не свидимся, так как в Москву не поедem. Мне предстоит делать ремонт в квартире – а это всё равно что пережить пожар и землетрясение вместе.

Желаю «флорентинцу» Пьетро сдать экзамен^[270] и стать живописцем, достойным предков. Быть может, в награду за испытания ему захотелось бы приехать в наши азиатские края, погостить у меня и побродить по отрогам гор. Была бы рада побаловать его, чем могу. Стоит ли говорить, как мне хочется повидать всех вас.

Алену твою милую, которая сделала тебя счастливым, особенно нежно приветствую. Будьте все здоровы, благополучны и счастливы, дорогие. Мы оба крепко обнимаем, и не забывай ты нас, затерянных в годах и азиатских пустынях, любящих тебя Козликов.

Надю М.^[271] приветствуй хорошо.

Твоя Галя

Галина Козловская - Евгению Пастернаку

7 октября 1976

Женичка, дорогой!

Хочу вместе с этим письмецом подарить тебе прелестного человека, моего нового молодого друга Александра Александровича Мелик-Пашаева. Он с мамой немножко погостил у нас, поэтому новости о нашем житье-бытье узнаешь от него совсем свежие, хотя никаких новостей в прямом смысле нет.

Мужественно и упорно сопротивляемся недугам и стараемся, чтоб они не застлали мир и наш духовный взор.

Я очень давно не имею от тебя весточки, последнее – это был приход твоего друга, который вместе учился с моим братом. Он

сообщил мне вести не слишком веселые^[272], и я очень бы хотела знать, как ты живешь и работаешь ли ты там, где прежде.

Как все твои милые? Всегда вас вспоминаю и горюю, что так невероятно далеко живем.

Врачи запрещают нам ездить теперь на север, считая, что резкая перемена климата может быть опасна при Аликином давлении. Да и я тоже хороша. Ходим мы с ним совершенно ужасно, так что представить нас ходящими по льду – невозможно. Тем не менее мы с Козликом назло своей немобильности сочиняем балеты и всё в плену у Терпсихоры. Забавно, правда?

Лето было жаркое и нелегкое, но мы спасались купанием в прудике. Но наступила осень, и я снова начала болеть до весны.

Все-таки мечтаем о Рузе. Ужасно хочется повидаться. Как Надичка^[273]? Напиши мне, милый. Очень хочу всё о вас знать.

Алик Пашаев – большой друг и знаток детей и их творчества. Мне бы очень хотелось, чтобы ты познакомил его с твоими чудесными детьми.

Обними их всех и твою милую Алену и не сердись за краткость письма. Примите чуточку даров азийской земли и любите нас, ваших старых азиатов окаянных. Жду весточку.

Будьте все здоровы, и да хранит вас Бог.

Целую – Галя

Галина Козловская – Евгению и Елене Пастернакам

Весна 1977

Мои дорогие, очень любимые друзья!

Как говорили в старину – «Податель сего» – мой молодой друг Юрий Ласский^[274], пишет стихи и верит в Литинститут. Пользуясь оказией, что он едет в Москву, посылаю вам всем, милым, чуточку азийских прелестей, а тебя, Женичка, целую и обнимаю и горячо благодарю за два царственных подарка, что ты прислал мне с Андреем. Радуюсь им беспрерывно. Ведь у меня никакой надежды не было их иметь.

Я сейчас начала писать об Анне Андреевне, и твой дар – словно благословляющее напутствие в этом моем начинании. Я сейчас начала много (для себя много) писать. Живя в великолепии своего весеннего сада, я по временам чувствовала, что мне не вынести того, что он этого не видит, впервые не видит^[275]. Ведь он для меня всегда был самый живой из всех живых.

Но странная вещь – чем больше моя печаль, тем сильнее я люблю всю чувственную прелесть мира, и тем острее мне хочется что-то

остановить, что-то восстановить. Иногда меня охватывает отчаяние, успею ли я завершить всё упущенное, что я могла бы рассказать. Слишком много я в жизни варила суп и приправляла все житейские гарниры. Правда, Алексей стал тем, чем он стал, а я... Мне вдруг делается невыразимо больно, что я не сделала того, что я могла. Сейчас здоровье, сам понимаешь, совсем уж не блестящее, и долгий труд за столом из-за отсутствия привычки и рабочего ритма мне очень нелегко. Я прихожу в состояние непрерывного возбуждения, не сплю и вообще не могу с собой сладить.

Только что закончила воспоминания об Усто Мумине (Николаеве) – помнишь художника, чья темпера висит у Алексея в кабинете? Осенью здесь готовится его персональная выставка, а затем в Москве, и выходит выпускаемая о нем книжка художников и друзей, знавших его^[276]. Он в годы войны делал декорации к нашей опере «Улугбек».

Вот я потом и разволновалась, всё вспомнила, и маму^[277], и тебя долгоногого, и как тебя – помнишь – вызывали в военкомате, выкликая: «Посернюк». Столько всего пришло ко мне и всё толпилось и толпилось, обступая, так что мне вдруг не стало так безнадежно одиноко.

Я не имею права говорить, что я одинока – люди очень добры ко мне и любят меня. Но, конечно, в душе всегда остается и останется до конца невосполнимый вакуум. Вы оба, и ты, и Алена, это всё слишком хорошо знаете. Ваши утраты^[278] очень опечалили меня. Трудно представить, что столько сразу надо вместить в себе. Что случилось с Ленечкой, таким молодым?

Читала вчера в одиннадцатом номере «Прометея»^[279] очерк о Николае Федоровиче Федорове с приведенными рисунками твоего деда^[280]. Рисунки мне очень понравились, а от философии его голова пошла кругом. И вообще я не люблю аскетов, как бы осияны они ни были, но как вместилище познания он меня поразил.

Там же есть статья Ю. Лощица «О сивиллах, философах и древнерусских книжниках». В середине статьи автор вдруг вступил в пререкания с Густавом Шпетом в нашем традиционном «галантном» стиле. Разделавшись с ним, он поехал дальше, думая про себя: «Какой же я умник».

Очень мечтаю повидаться с вами. Я всё набираюсь духа попросить одно «ясновельможное» лицо – помочь мне достать путевку в Переделкинский дом творчества^[281]. Но всё не решаюсь: никогда никого для себя ни о чем не просила, и, верно, дворянская гордыня никогда не даст это преступить. Я бы согласилась с середины июля и на Малеевку^[282]. В Рузу психологически абсолютно не могу ехать, да еще на вдовьем положении. Хочу писать книжку о Козлике, если Бог даст. В жару мне будет здесь трудно. Если бы удалось, Боря бы меня отвез, затем с рюкзаком отправился бы в свои странствия и затем, вернувшись, отвез бы меня домой.

Ну, посмотрим, может, другой человек, не ясновельможный, придет мне на помощь.

Твоя итальяночка очень мила, передай ей мои приветы.

Странная вещь – я совсем сейчас не слушаю музыки. Аликину могу слушать спокойно и радостно. Чужую, кого бы то ни было, – не могу... Так больно, так невыносимо больно! Я мало плачу, но тут я теряю всякий контроль над собой. Это такое непередаваемое чувство осиротелости, слуховой обездоленности!!! Ведь всю жизнь я слышала музыку рядом с ним, через него, через его божественный слух и понимание всей стихии музыки, и теперь этого нет, и куда всё это ушло?!!

Прощайте, мои дорогие. Да хранит вас Бог. Может, Он даст, что и увидимся.

Целую – Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

Конец декабря 1977

Дорогие мои Женя и Аленушка!

Вы оба и все кровиночки ваши – будьте все счастливы, здоровы и осыпаны благами. Новогодние мои пожелания длятся всегда, но рождественские дни всегда озарены нежностью к тем, кого любишь, и хочется им сказать об этом.

Для меня эти дни навеки связаны с последними мгновениями жизни, и канун Нового года – это последний счастливый день в моей жизни, когда Аля был со мной. Не знаю, как проживу до девятого января.

Недавно отправила в Музей Глинки всё его рукописное наследие. Они собираются открыть постоянно действующую экспозицию его персонального фонда, с рукописями партитур, фотографиями и личными вещами. Остались его дневники (он их вел с десятилетнего возраста). Женичка, посоветуй мне, как с ними быть. Я обещала, что я отдам музею, что сочту возможным. Есть годы, особенно ранние, киевского периода, удивительные. Это какая-то совершеннейшая булгаковщина по жизни и удивительный мир музыки, интенсивный и поражающий. Но как быть с тем, что не для посторонних глаз? Напиши мне, как мне со всем этим быть и что ты считаешь лучше. Если я смогла иметь дело с музыкальными рукописями, то с дневниками я еще не готова встретиться. Я начинаю дрожать и плакать.

Недавно мы пережили сильнейшее землетрясение, Матушка-земля напомнила нам худшие времена 1966 года. Падали и разбивались вещи,

потолки и крыша трещали, скрежетали и, казалось, рухнут. Я была не одна, и мы выбежали в сад, где Журушка дрожал и потом долго судорожно зевал. Мы вошли в дом, благоухающий пролитыми духами и мокрыми полами от опрокинутых цветов.

Убрав комнаты, мы с приятельницей сели ужинать и, чтобы унять дрожь и боль в брюхе от пережитого перепуга, вдвоем высадили пол-литра водки. Но эта хемингуэйщина ничему не помогла – сердце заболело еще сильнее. А ночью решила спать, не раздеваясь. Вот мы так «потрясно» (как ныне говорят) живем. Люди порой также дарят «человекотрясениями» – сокрушающими и выбивающими почву из-под ног. Трудно ходить по трясине подлости и скверности. И почему это столько сволочности развелось?

У меня стоят и пахнут две елочки, и в сочельник мы с Борей, как всегда, слушали колядки и сели за стол со звездой. На ночь читала папу^[283], его рождественские удивительные стихи^[284]. Словно мир раздвинулся, и душа вошла туда, где ей надлежало быть.

Как вы живете, мои дорогие? Хочу о вас всё знать. Ужасно хочу вас видеть и мечтаю о лете, а вдруг смогу вырваться от азийской жары к вам в прохладные леса?

Как Надя М.? Будешь писать, напиши о ней. Она совсем забыла меня.

Как о многом надо поговорить с тобой, Женичка! Доволен ли ты своими трудами?

Итак, еще раз – счастливого Рождества и Нового года! А у нас снег, дождь, зеленая трава и веселые дрозды.

Крепко целую. Будьте благословенны.

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

14 марта 1978

Мои дорогие и милые Алена и Женичка!

Простите, что, получив ваше славное письмо, отвечаю не сразу.

Долго и тяжело болела. Поверила коварному теплу. Было плюс восемнадцать градусов, как было не поддаться, и посидела два часа на крылечке. К вечеру была готова, но самое грустное было, что снова простудила больные почки, чего мне нельзя.

Кроме того, в эти же дни чуть не погиб Журушка, он простудился, не мог стоять, дважды в день кололи пенициллином, смазывали горло, делали ножную ванну. Всё это так меня разволновало, и я так испугалась, представив себе свое полное одиночество в опустелом

доме, что со мной случился мозговой спазм. Еле привели в себя. Ведь Гопи для меня – человеческое существо, очень любимое и таинственное. Его душа связана глубокими узами с его ушедшим другом, и проявления его любви всегда потрясают.

Но теперь всё как будто позади, и благословим весну, которая приступила к совершению своих чудес у меня в саду. Вот-вот брызнут фиалки и гиацинты – прячутся в листьях, смешные, еще совсем не роскошные, похожие на спаржу.

С каждым годом всё сильнее чувствую диво этого времени года и стараюсь не пропустить ни одного мгновения из его чудес. Не верю себе, что способна еще испытывать счастье, да даже виновата перед Ним, что я все-таки могу быть порой счастлива от одного дыхания этого зеленого мира. Ведь это не измена – не правда ли? И как неотступна мысль, что и для меня это скоро померкнет. Поэтому, дыша весной, стараюсь не казнить себя за радость и все-таки казнюсь и горюю.

Очень много думаю о Времени и о печали, сколько в ней граней и нету ни дна, ни пределов. Среди плохих переводов Омара Хайяма есть одна строчка, самая удивительная в мировой поэзии: «Бог создал небо, голубую даль, / Но превзошел себя, создав печаль».

Живу я за плотным забором. Вижу, что Алексея мучило, терзало, оскорбляло. На всё то зло, что его губило и ускорило его смерть, наложен запрет. Ему больше не дозволено перелетать через ограду, отделяющую меня от мира. Пусть оно существует и продолжает жить в мире, но Алексея больше нет, и всему этому его не достать, и мук для него больше нет. А меня ничто, кроме смерти, ничто не может коснуться. Я неуязвима, потому что своей боли у меня не было за себя, была только за него. Я исключила их из своего существования и тем оберегла его память. Я обрела никогда не ведомую раньше свободу, мир раздвинулся и пришел ко мне во всей множественности сотворенного людьми словно бы для меня, и я живу с чистыми и неомраченными горизонтами. И хотя сердце полно печали, оно не истерзано больше яростью, и гневом, и горьким ропотом на несправедливость судьбы и мерзость людей.

Как говорится в великой книге: «Есть время обнимать и время размыкать объятья»^[285], – так приходит и время стать над злым роком и гнев сменить на презрение, чтоб изгнать этим бичом всё, терзавшее тебя. А любви к людям стало больше, больше стала жалость и безмерность жизни – ясней.

Но об этом поговорим подробнее, когда встретимся. Если вы всё еще согласны приютить меня летом в Переделкине, то я хочу воспользоваться вашей милотой и добротой и приехать на июль и часть августа^[286]. Чувствую, что не вынесу больше здешней жары. Зачем пребывать в преисподней раньше срока? Мой Боря – помните, наш приемный сын – привезет меня в Москву, затем с рюкзаком отправится странствовать по лесным дебрям России и числа двадцатого августа

повезет меня домой. Обещаю не быть вам в тягость. Мне говорили, что можно договориться с писательским Домом творчества о доставке питания на дом. (Я, Женичка, ужасно дурно стала ходить. Не удивляйтесь, когда меня увидите.) Напишите мне, пожалуйста, что и как это делается.

Самое забавное, что Боря (я уверена, что вы его полюбите, когда лучше узнаете) самозабвенно вдруг размечтался. Сам он длинноногий бродяжка, и в странствиях ему всё нипочем, и вот внезапно стал увлекать меня планами на дивное путешествие: «До Москвы мы с Вами поедem в Сибирь – сначала сядем в поезд, потом пересядем на пароход, потом на паром, затем пятьсот километров на автобусе и таким образом приедем прямо на... пристань. Вы только подумайте – Байкал у наших ног!» Пристань – конечно, очень надежное, удобное и комфортабельное место для дамы моих лет и телосложения. Там мне, конечно, только останется, что рассыпаться и лечь рядом с самоцветными камушками, приумножив тем самым бесценные россыпи любимой родины. Отсюда уже Боре будет проще путешествовать дальше, теперь уж налегке.

Самое смешное, что это он всерьез. Поэтому хоть «пристань» – и свояченица «пристанища», я всё же хочу избежать этого фантастического вояжа, делающего честь легкокрылости Бориного воображения и его вере в мои непочатые силы молодости и выносливости, и с Божьей помощью приземлиться у вашего милого порога. Напишите мне, что мне надо привезти, чтобы как можно меньше вас чем-либо затруднять.

Недавно прочитала «Избранное» вышедшего у нас Пильняка. Станный писатель! Он, пожалуй, единственный из этого поколения, которого неудобно как-то читать. Очень старается быть таким, как надо, и всё так грубо, так примитивно, что даже стыдно. Есть и талант бесспорный, но так рабски подражать Белому, а уж с Замятина прямо сдирать шкуру – можно только диву даваться.

Очерковость броская, но поверхностная, а уж малокультурен до изумления. Я его знала в Лондоне, он был в меня влюблен и всё время хотел трогать меня руками. А они у него были покрыты рыжими волосами, и сам он был рыжий, и губастый, и противный. Как в те дни он писал, что «английский парламент заседает в Вестминстерском аббатстве», так и теперь, в изданном сорок лет спустя романе «О'Кей», он продолжает заседать всё там же.

И хотя мама и Зинаида Венгерова внушали ему, что в аббатстве можно заседать только на надгробиях бессмертных, он не внял. И всё же грустно и бесконечно его жаль^[287].

Спасибо, Женичка, за советы насчет дневников. Я только пришла в ужас – у меня не хватит жизни перепечатать шестьдесят лет человеческой ежедневной исповеди.

Ах, как много хочется всего сделать – и как мало сил, просто физических сил! У Бори много желания, но мало времени – надо работать, чтобы жить.

Я очень рада, что житейски у вас всё благополучно: хоть работать можете в полную силу и отдачу. Как поживают прекрасные флорентинцы? Не увлекают ли в свои сети длинноволосые денди на Столешниковом маленькую Лизу, ставшую уже большой?

Крепко вас всех обнимаю и очень люблю. Христос с вами, мои дорогие.

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам 15 июня 1979

Дорогие мои Алена и Женичка!

Не сердайте, что до сих пор не поблагодарила вас за помощь с лекарством. Вы, как всегда, меня спасаете и, надеюсь, что и в будущем я буду прибегать к вашей доброте без зазрения совести – так уж вам, видно, на роду написано.

Вы, наверное, слышали метеорологические сводки, где над нашей землей происходили «раз-в-стоletние» смещения небесных дел, шли ливни, грозы и перепады температуры от жары до холода в ежесуточной чехарде.

Я превратилась в «тучепоклонника», рабски поворачаясь ниц перед каждым облаком, и валялась по целым суткам в полуобморочном состоянии. Омытые травы, цветы и деревья тянулись к небесам, буйством своим славя влагу, – а я гибла в этой неестественной фантазмагории.

Едва пришла в себя, как навалилась новая беда, уже из области сверхъестественного – в виде кино.

Все началось с невинной затеи – снять Журушку для серии «В мире животных»^[288]. Но на беду режиссер фильма Талгат Нигматулин решил, что я с Гопи должна фигурировать на равных, нашел во мне залежи обаяния, раскованности и естественности и, придя в раж, загонял меня, как старую кобылу. Так, в наказание за грехи став запоздалой «звездой экрана», я снова валюсь без сил после киношных буйств и маюсь в тоске перед предстоящим в доме ремонтом. Так что, как видите, мне для моей жизни нужна выносливость верблюда.

Хочется писать, а нельзя – глаза. О, беда моя, беда!<...>

Подружилась с одной прелестной книгой. Это «Книги отражений» Иннокентия Анненского. Я его в ипостаси критика не знала, но его субъективные отклики на разные явления искусства удивительно свежи и полны свободы и большой прелести. Я теперь вполне понимаю отношение к нему Анны Ахматовой.

Порой жизнь прибывает к моему порогу милых и примечательных людей, но всё же чувствую одиночество всё чаще. Когда бывает очень жарко, смотрю на Петин переделкинский домик^[289] и вижу вас всех милых под прохладными соснами. Ничего не знаю о вас, о вашем лете. Как шли дела у Пети и Бори, и по-прежнему ли Лизанька не хочет учиться? Дайте знать хоть двумя строчками обо всем, что с вами всеми творится.

Я всегда вас люблю. Будьте благословенны, мои дорогие. Передайте сердечные приветы Леночке и Маше-Джульетте^[290]. Крепко вас всех обнимаю. Боря и Жура кланяются. Напишите хоть несколько строк. Ваша как всегда

Галя

Р. S. Ни один божественный дельфиниум не проклюнулся^[291].

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам 19 декабря 1979

Дорогие мои Алена и Женичка!

Пользуюсь оказией и вместе с письмом посылаю десять Алиных партитур. Когда придет Миша Мейлах, отдайте ему, но со строжайшим наказом, ни в коем случае ноты по почте не пересылать. Там есть копии рукописей, не принадлежащих мне, а Музфонду, и одна авторская рукопись, единственная. Так что при утрате «согдийской фрески»^[292] сочинение не может быть восстановлено. Он мне звонил и очень просил прислать, но оказия только до Москвы. Я немножко волнуюсь и успокоюсь, только когда ноты вернутся обратно...

В одном из снов мне открылась тайна времени через пространства земных ландшафтов. Но когда я проснулась, постигнутый смысл исчез, осталась лишь красота увиденного, а тайна ушла. И я подумала, может тайна времени принадлежит к тем запретным недозволенностям, куда человек не должен проникать в яви и при жизни...

Перед Новым годом, по старому дворянскому обычаю, мы повязываем на левую руку розовую ленточку. Это чтоб Новый год виделся в «розовом свете». Повяжите и вы, пусть наши надежды и молитвы перекроют то тревожное и безумное, что зреет в мире. Не знаю, как вас, но меня не покидает чувство ужаса и тоски. А тут еще эта грибоедовщина у нас под боком.

С каким-то отчаянным упоением пью из Кастальских родников, и поэты утешают меня...

Обнимаю всех вас, моих дорогих. Радуйтесь, что вы все вместе и что всё хорошо. Еще говорят, для благополучия помогает – по-датски – прыгать со стула, со Старого в Новый год, если не жалко мебели, конечно. Очень вас люблю. Кланяйтесь снегам и соснам в Переделкине и домику, и теплой печечке. Боря вместе со мной желает всем Merry Christmas and Happy New Year.

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

24 января 1980

Мои дорогие Алена и Женичка!

Только что собралась писать вам письмо с «оказией», как пришло ваше, с весьма приличным новогодним опозданием. До сих пор приходят рождественские поздравления.

«Оказия» моя – это Оксана Мерхалева (нежно мною любимая). Это дочь Нины Ивановны Татариновой, у которой, мне помнится, ты бывал по издательским делам^[293]. Ксюша может мне привезти то, что ты обещал, – отпечатанную книгу переписки – Р. Ц. П.^[294] Поищите еще в своих книжных закромах и побалуйте меня чем-нибудь. Хоть чтиво бывает, но мало. Также, если сможете, пришлите мне еще лекарства – манинил и три ампулы ретаболила. Это мой диабет и глаза. Ну, и если еще чего просить, то пришлите мне хоть какого ни есть чаю, если нет индийского или цейлонского. Я могу мириться со многими нехватками, но чай – это единственная отрада, без которой трудно. Нам сейчас приходится сожалеть, что мы не обратились своевременно к йогам, которые на трех орехах и на стакане молока бодро стоят на головах, убивают взглядом тигров и пребывают одновременно в разных концах земного шара. Теперь приходится сожалеть об упущенных возможностях.

У нас только сейчас наступила настоящая зима, со снегом и шестиградусным морозцем, хотя еще совсем недавно было шесть градусов тепла. Журушка поневоле вышагивает дома и изо всех сил пытается превратить дом в курятник. Я иногда сожалею, что я не научилась превращать швабру в ту метлу, которая носила воду по заклинанию Ученика Чародея^[295].

Вообще я много о чем сожалею. Такие наступили времена, и не знаю, что и у кого просить. Пришли мне еще, Женичка, здоровья, физических сил и сил нравственных, чтоб не погибать от отвращения ко всему, что творится в этом лучшем из миров. От лицемерия хочется сдохнуть, и от жалости разрывается сердце. Еще задолго до официальной «помощи»^[296] к нам всё везли и везли нашу юность, изуродованную и поруганную, с выколотыми глазами, с отрезанными

носами и со всеми прочими надругательствами, на которые способны фанатики-мусульмане, извечно неизменные в своей ярости. И при этом мы объявили себя защитниками ислама, оказывается, мы всегда... и проч., и проч.

Что-то вспоминаю зловещие разговоры взрослых, слышанные в детстве. И хоть смысл был непонятен, но испуг от слов «желтая опасность»^[297] – остался. Вот и теперь всё это вспоминается, и всё это под боком и крадется наступательно, как грозная туча, всё ближе и ближе.

Больше всего жалею молодых.

Жить теперь можно, только уподобляясь страусу, что и делаю по мере сил.

Видела я торжество Галины Сергеевны^[298], слышала слова Бориса Леонидовича и почему-то была уверена, что вы сидите в зале. Радовалась за нее искренней радостью и была признательна судьбе, что и ее, и всех пощадили, что одическая тональность, соответствующая случаю, не была заглушена казенными тропарями и дифирамбами и не была задумана «глубокоуважаемыми шкафами», которые мы неуклюже обрушиваем на ни в чем не повинных юбиляров. Предпочитаю лавины цветов, которые всегда прекрасны и всегда и неизменно радуют и тех, кто одаривает, и тех, кого одаривают.

Мне казалось, что их мощный запах должен был полностью сливаться с искренностью чувств, которые ей несли люди. Так и надо чувствовать Уланову. Она наша слава и слава нашего века.

Максимова и Васильев весь вечер радовали, и всё было хорошо, а заключительная выдумка мила и естественна.

Независимо от хорошего чувства, что осталось, мысль невольно обращалась к стойкости черты, свойственной людям, когда они воплощают в себе слушателя и зрителя. Почему люди наиболее щедры в выражениях своего восторга в искусстве не творцам, а исполнителям? И так было всегда. Я подумала, случись подмена, и в ложе показался бы Петр Ильич, было бы такое? Уверена, что никогда. Всегда главная слава выпадает на долю интерпретаторов. Ни гениальный поэт, прозаик, драматург или композитор не бывают одарены таким публичным восторгом, хотя знают и успех, и признание. Из всех чествуемых художников-творцов я знаю только энтузиазм итальянцев, носивших на плечах своего Верди из города в город. И не знаю ничего печальней растерянно жавшегося в ложе Стравинского, когда во Дворце Съездов шел его «Петрушка» (правда, в гнуснейшем исполнении Малого оперного Ленинграда), и ни единая душа не задохнулась оттого, что вместе с ней пребывает Гений, и ни одна голова слушателя и зрителя *en masse* не повернулась к нему – гегемону музыки полувека в большом мире.

Ну, о подобных вещах можно многое что вспомнить.

Ты спрашиваешь меня, что значит молчаливый пакет, присланный тебе для Миши Мейлаха. Объясню. Он списался со своей приятельницей в Штатах, очень близкой с Бернштейном, заинтересовал возможностью исполнения маэстро Бернштейном Козликиной музыки, и она торопит его с пересылкой нот. Но так как у меня нет лишних экземпляров партитур (это единственные, что остались), то он просил меня переслать их в Москву, где он хочет с них сделать микро пленку. Как он думает делать это технически – не постигаю, ибо я в таких делах абсолютный профан. Делать это здесь на «Эре»^[299] невозможно по двум причинам – делают тут плохо, в качестве чистого брака, во-вторых, для этого надо целое состояние, которого у меня нет.

А сделать надо, надо мне вырвать музыку Алексея из той удавки, которой и посмертно душит его наша эпоха. Я никогда не говорила с тобой о трагической судьбе Алексея как художника. Он пронес ее через жизнь мужественно и достойно, ничем не поступившись, не изменив себе ни в чем.

Но с первых же дней в Московской консерватории он нес клеймо. Из всех учившихся там ему всё время вменялось в вину его дворянство, и сама его природная композиторская маэстрия считалась проявлением и доказательством его классовой чуждости. Так и пошло, и тыкали, и заушали, в классических традициях времени.

Затем ссылка и существование репрессированного на дальней стороне, со всеми тяжкими и унижительными обстоятельствами, не имевшими конца даже тогда, когда прошла война. Но это лишь внешнее, бытийное, преодоленное.

Он был ослепительно одарен в музыке. Его композиторство и дирижирование пришли к нему Божьим даром: в семь лет – первое сочинение, в одиннадцать – дирижирование наизусть, на пеньке, в лесу, всеми симфониями Скрябина. С детства он ошеломлял всех знавших его музыкантов, и чем больше и крупней была личность музыканта, тем больше они в него верили и не стеснялись выражать ему свое преклонение.

Вырванный из своей среды и отторгнутый от своего народа на целые десятилетия, познавший всю горечь и унижения тех лет, он всё же не оказался с перешибленным хребтом, но создал свою жизнь и свой мир в музыке, сотворив свой неповторимый Восток, сделавший его «человеком легенды» для тех, кто знал его и окрестил его этим именем. Он совершил некое завоевание, что бывало по плечу только художникам русским, наделенным той славянской восприимчивостью, что умеет раскрывать глубины чужого народного духа. Он сделал нечто сродни тому, что Глинка сделал для Испании, открыв Европе и самой Испании музыкальный гений Иберии.

Алексеем переброшен мост от Запада к Востоку и от Востока к Западу, построенный на его собственном неповторимом даровании, оригинальном, ярком и всеохватном. И в этом художественном

осуществлении он остался русским художником, и им по праву может гордиться Россия.

Он родился поэтом оркестра. Его колористические оркестровые находки и новации запечатлены в исследованиях о современном оркестре в великом множестве, и те, кто понимают, считают его самым блестящим и редкостным мастером оркестра в русской музыке после Стравинского.

Все это сочеталось с огромным, неподдельным мелодическим даром и чувством музыкальной драматургии.

И, вероятно, он является последним представителем того совершенного гармонического слышания, взыскательного и непогрешимого, что через Вагнера к Скрябину, по-видимому, завершило мир слышимой, сложной гармонии в тех их грандиозных концепциях. Это то качество, которое ныне утрачено большинством современных композиторов, для многих из которых и не важно слышать в гармонии и развитии свои звуковые неподвластные им нагромождения.

И какими грустными, почти пророческими словами оказалось сказанное Михаилом Фабиановичем Гнесиным, который, как-то прослушав произведение Алексея, произнес: «Вот я умру, и никто больше до конца не поймет его маэстрии».

И я могу подтвердить – если его музыка захватывает и волнует (что, конечно же, хорошо), мало кто понимает, как и почему возникает созданный результат. Да, может, это и неважно, в конце-то концов, но сам-то художник всегда мечтает о полном, глубоком понимании своего творчества. Без этого истинного понимания он всегда одинок. А одинок он был все эти сорок лет, изредка получая радость общения и понимания от настоящих друзей и музыкантов. В стране безоблачного неба он жил в музыкальной пустыне, черпая всё и вся из себя.

Преодолел он многое, сокрушив глухую стену азийской многовековой непричастности к иной музыкальной культуре, к иным звучаниям и формам. Без малейшей робости и подлаживания он заставил их принять свое индивидуальное претворение и свою художественную личность.

При его жизни мы бывали свидетелями многих трогательных проявлений любви и преклонения там, где этого можно было меньше всего ожидать. Азию было трудней завоевать, чем Европу. Отношение к его музыке на Западе пробивалось к нам редко и скупое, выражалось оно восторженно и недоуменно, а в единственной известной нам статье в «*Revue de Deux Mondes*»^[300], написанной на самом высоком уровне, кончалось всё тем же припевом: «Нам непонятно, как композитор такого масштаба живет и творит в отдаленной азиатской республике». «Как это могло случиться?» – вопрос риторический, сами понимаете.

Клеймо, поставленное однажды, творило черное дело: ему было отказано в возможности показывать свою музыку за рубежом, ему не

разрешали поездки за границу, запросы о его творчестве и дирижерской деятельности в иностранных издательствах, на которые он отвечал, не пропускались, возвращались ему обратно нашими почтовыми ведомствами. Просьбы к Министерству культуры, приглашения на гастроли отвергались сверху, и о них он узнавал потом, случайно, от лиц, присутствовавших при этом. Так, он узнал от Касьяна Голейзовского, как при нем отказали представителям польского посольства, явившимся просить прислать в Варшаву дирижера Козловского, после концерта польской музыки в зале Чайковского, где, кстати, он играл концерт Шопена со Стасиком Нейгаузом. Генрих Густавович еще гонял сына на репетициях.

Вообще, его судьба во многом была сходна с судьбой его друга – Касьяна Ярославича, никуда не отпускаемого, десять лет запрещенного и обреченного на бездействие. Затем – безымянность блестящих миниатюр для звезд ГАБТа на экспорт как свидетельство блестящих завоеваний современного русского балета. Потом раздобрились и разрешили ставить балеты и собственную фамилию, но всё время придерживаясь девиза «Держать и не пускать». Проглотили пилюлю, когда на гастролях в «Ла Скала» после Половецких плясок в его постановке публика пятнадцать минут аплодировала, *требуя* хореографа, которого позабыли прихватить с прочим реквизитом. Министр культуры Катерина^[301] сама об этом ему свидетельствовала и с наивностью говорила: «А я и не знала, Касьян Ярославич, что Вы такой великий хореограф!»

Изумление ее еще больше возросло, когда в день его семидесятилетия после спектакля (кажется, «Лейли и Меджнун») стали зачитывать телеграммы со всех концов мира: «Реформатору современного балета, художнику, которого ведущие хореографы нашего времени называют своим учителем, счастливы тем, что живут в одно время с ним», и проч., и проч. Имена самые блистательные, перед которыми мы заискиваем и преклоняемся, вдруг затеяли такую хвалу и выразили такое преклонение перед Голейзовским, которого чествовали за закрытым занавесом, не на публике – ибо «не дозволено». Всегда, когда вспоминаешь, – горький вкус во рту. Я рада, что халат, который мы ему послали, обнял его вместо нас. Он был на нем во время его смерти...

Вспомнила еще, в связи с его письмами, как он однажды написал мне о Васильеве^[302], которого он очень любил, что он считает его гениальным, что он много выше Нижинского, который не имел той духовной силы и драматического дара. С тех пор у меня к Васильеву особое чувство.

Но возвращаюсь снова к Козлику.

После его смерти здесь решили умертвить и его наследие, окружив его удушающим кольцом молчания. Что не смогли сделать при жизни, то упорно делают после смерти; при нем не посмели заставить

умолкнуть его голос – слишком талант был очевиден и сделанное им велико. Но смерть так удобна для тишины.

Ему не простили, что он русский и что он сделал то, что они не сделают и через двести лет. Лицемеры, как только мы умеем, они, прикладывая руки к груди, смиренно поминают «учителя», а втихаря всё туже скручивают удавку «Не быть тебе, не звучать на этой земле».

Так вот, пока я жива, я хочу вернуть его музыку людям, тем, от кого он насильственной силой судьбы был отторгнут. Я хочу, чтобы она звучала в мире и России, чтобы радость, в которую он вложил себя, была услышана теми, для кого она предназначена.

Но партитура – это не книга, которая может быть прочитана всеми. До того как зазвучать, нужны исполнители, и всё это непросто, громоздко и нуждается во множестве обстоятельств, среди которых на первом месте стоит дружеское желание и целеустремленность помощи.

Вот почему я так ценю искреннее и неустанное желание Миши помочь мне передать другим и его любовь к музыке Алексея Федоровича. Я знаю, что его желание не ослабевает, и хочу, чтобы его усилия увенчались успехом. Помогите ему в этом, чем сможете.

Еще мне пришла в голову одна мысль, имеющая отношение к тебе. Как бы мне хотелось, чтобы сердце твое откликнулось на эту просьбу. Вероятно, ты помнишь нашу оперу «Улугбек». Не мне давать оценку этому произведению, но до сих пор всеми считалось, что это вещь выдающаяся, за которой волочатся шлейфом охи и ахи музыкантов и музыковедов, lamentации с различных трибун в роде: «Народ нам не простит, что такое произведение не звучит на всех сценах нашей страны», и т. п., и т. п.

Но народ простил, а громоздкие, тяжеловесные и осторожные руководители театров, расшаркиваясь, ссылаются на всё, кроме музыки. Алексей всю жизнь запрещал мне кому-либо, как он говорил, «навязывать» какие-либо предложения и разговоры о постановке его произведений. Всё это к нему пришло, пришло само собой, и его позиция была неумолима раз и навсегда. В наш деловитый и локтеотпихивательный век и младенцу ясно, что с такой позицией ни на какие подмостки не въедешь. Но теперь его нет, и я могу позволить, ради него, снять его запрет и всё, что было неприемлемо для его гордости, взять на себя.

Хорошо зная наших сценических фарисеев, для которых всё важно, кроме музыки, я решила у нас в Союзе никуда не соваться.

Слушая недавно некоторые спектакли «Ла Скала», я влюбилась в главного дирижера Клаудио Аббадо. В нем всё, что заставляет меня полностью покоряться его индивидуальности музыканта. Он, как редко кто, знает, как достигается совершенство в музыке, и его исполнение «Золушки» Россини может быть отнесено к самым высшим достижениям в области дирижерского искусства. Музыка для него – его

стихия. И вдруг я подумала: а что, если его познакомить с музыкой «Улугбека», где музыка так едина с пением, этим началом начал итальянского нутра. Вдруг она его захватит... – и затосковала.

Мне захотелось послать ему изданный клавир «Улугбека». Но как могу я это сделать? Я, живущая на краю света. У меня в Италии нет ни друзей, ни знакомых.

И тут я подумала, что у меня есть ты, а у тебя там, конечно, есть и друзья, и знакомые. Мог бы ты, захотел бы ты помочь мне в этом? Я бы могла послать тебе клавир оперы, в марте должна в Москве появиться пластинка – монтаж старой записи, с хорошими певцами, этой оперы. К сожалению, она не в последней редакции, отсутствуют динамические трагедийные хоры третьего действия, и дирижирует не сам автор. Но ничего, прилично, если фирма «Мелодия» сочла возможным сделать с этой записи диск. Можно было бы вместе с клавиром послать и пластинку. А вдруг посох Тангейзера процветет^[303] там, где поют ангелы и юные жрецы священнодействуют над таинственной глубиной «оркестра».

Но и помимо чисто личных мечтаний мне просто хочется, по-человечески хочется, просто подарить ему этот клавир, в память о наслаждении, которое испытал автор, слушая его удивительное исполнение «Золушки» Россини.

Хочешь ли ты быть мне другом в этом деле?

Мне хочется думать, что эта моя просьба ничем не будет тебя женить^[304] и что ты выполнишь ее с удовольствием. Беру Алену себе в союзницы, так как знаю ее доброту. Признаюсь еще, что мне ужасно бы хотелось досадить башибузукам местным и во всех прочих исламских пределах. В этой опере Козлик с редкой силой показал всю яростную, слепую, не знающую преград и пощады жестокость мусульманского исступления.

В опере нет лицемерия, и так как я почти уверена, что от этой тупой силы мне и суждено погибнуть, мне хочется перед смертью еще раз бросить ей вызов.

Ну и эпистолию я накатала. Дорвалась, что можно поговорить по душам, и забыла, что слишком длинные письма писать дурно. Но ничего, вы у меня по письмам – «покушала собака», как говорил один знакомый чех. Еще когда он уходил, то, стоя у дверей, говорил провожающим: «Извините. Заключите».

Да, еще: читая твое письмо, где ты благодаришь за плоды земные, почувствовала смущение самозванки. Я тут ни при чем. Это всё Боря, верный себе и той милоте, которой его наделила природа, любит и умеет баловать и доставлять удовольствие. И это хорошо.

Ужасно рада за деток и что всё у вас хорошо.

В день рождения Бориса Леонидовича буду читать его стихи и славить и благодарить за тот свет, радость и высоту, которыми он озарил нашу жизнь, сам того не зная, как всякий гений. Все годы его и

нашей жизни он был неизменным спутником, вечным утешением и наполнением нашего духовного существования. Нет со мной того, кто так его любил, знал и так прекрасно читал его стихи. Первое его пастернаковское потрясение было «Ветер треплет ненастья наряд и вуаль. Даль скользит со словами: навряд и едва ль...». С тех пор полюбил и считал своим до самого конца. Какие можно было бы написать книги о том, что делают поэты с теми, кто их любит, об этих самых платонических, самых высоких и сокровенных любовях, отпущенных людям! Прощаясь с вами, мои дорогие, крепко и любовно обнимаю. Да хранит вас Бог.

Ваша неизменно

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам 16 февраля 1980

Дорогие мои Аленушка и Женя!

Спасибо вам за всё бесценное, что прислали. Единственное, что не могу выполнить твою просьбу – послать с Валерой Молдавером^[305] обратно через четыре дня – это невозможно. Так что ты, Женичка, наберись терпения – верну в сохранности с хорошей оказией. Также спасибо за лекарство и за баловство. Мы здесь по-прежнему акридимся, но без меда.

Я здесь веду хоть и не такую сумасшедшую, раздирательную жизнь, как у вас, но всё же качаюсь на качелях от *high life*^[306] с иностранными журналистами и всякими ошеломительностями до утренних всплываний – «и всплыл Петрополь, как тритон», – но не от вод Невы, а от прорвавшейся канализации, избравшей местом разлива ванную комнату. (Приехавшая Ксюша меня утешила, что и у вас было нечто подобное.) Словом, «с Божией стихией царям не совладать»^[307].

Девятого января был трехлетний день Алексеевой кончины. Было много гостей, в том числе и глупых женщин. Одна из них умудрилась, моя посуду, взорвать колонку-обогреватель. Едва лишь уgomонились страсти и перепуг, как раздался телефонный звонок из Нью-Йорка. Это мой менестрель, вспомнив дату, трогательно позвонил. Слышно было отлично, куда лучше, чем в Ташкенте, под аккомпанемент тресков и щелчков, словно в испанской пьесе с кастаньетами.

Сейчас пишу тебе карандашом, потому что стерженек ручки иссох, и достать новый оказалось проблемой районного масштаба. В ожидании ручки у меня откладывается письмо к синьору Аббадо. Но я надеюсь его всё же написать, вложить в письмо к тебе, и ты, проверив, дурно или хорошо я написала, вложишь в приличный конверт и вместе с клавиром «Улугбека» и партитурой «Лолы» отправишь. Сам

понимаешь, что передать должен не случайный человек или студент, а человек с весом, с рекомендацией от тебя. Заранее приношу тебе глубочайшую благодарность и хочу верить, что ты будешь настоящим *porte bonheur*'ом^[308].

Как грустно, что Стасик не совладал со своим пороком, вот так самому себя сгубить – это просто ужасно^[309]. Ужасно грустно. Кстати, подобная судьба ждет Беллу Ахмадулину. У меня ярость, когда я вспоминаю, что здесь творилось вокруг нее, когда она была в Ташкенте. Ее буквально спаивали юнцы-стихоплеты. Это было какое-то завихрение взбесившихся кобелей, которые вились вокруг нее неотступно, пьяным шабашем. Они считали, что они несутся на Парнас верхом на водочных бутылках кратчайшим и вернейшим путем. А она, слабая, грешная и талантливая, пила, и пила, и губила себя. С ужасом думаю, что ждет ее впереди. Как она вдребезги разобьет свой дар, и жалею ее последнего мужа, который единственный старается ее спасти. Мужественная и смелая духом; неужели ее переборет эта губительная дрянь? <...>

Сейчас иду смотреть. Будет ли передача о Борисе Леонидовиче^[310], или Михайлов окажется талантливей?

Четыре часа пополудни. Никакой передачи для нас не было. Мы оказались недостойными слушать «поэзию». Вместо этого корреспондент по фамилии Дошлый (красота-то какая!) бодро возвестил какие-то откровения по поводу искусственных удобрений.

Но друзья поэта живут повсюду, неведомые и неподозреваемые, и несут ему свою любовь и верность.

И да охраняет нас Господь и помилует.

Как поживают Леночка с Машенькой, ты почему-то никогда о них не пишешь. Передай им сердечный поклон. Ездите ли вы в милый домик в Переделкине? Всегда его вспоминаю и каждый раз начинаю по вас тосковать. Будьте здоровы, невредимы и благополучны, мои дорогие. И да хранит вас Бог. И не забывайте меня, любящую вас крепко и неизменно.

Боря делает «лопуховые глаза» и сердечно вас приветствует.

Галя

Женичка!

Я вчера перепутала день. Сейчас слушаю передачу. Завершилось всё любимым, единственным в мире домом, стоящим в снегах^[311], мелькнули вещи, и я почему-то с невероятной силой почувствовала, что Он замолчал, что не будет больше никогда его стихов – словно лед сковал тот поток, который, казалось, никогда не будет иметь конца.

Все любимые стихи шли в меня через годы любви и обожания. И я как-то не оценивала людей и те слова, что они говорили, – всё шло мимо, только чувство утраты было особенно пронзительно. Дважды в жизни познала я эту духовную осиротелость, эту необратимость немоты, замолкшего голоса поэта^[312]. И если жизнь заставляла принимать смерть, то вдруг бывают дни и часы, когда не мирится душа, и ропщет, и не принимает.

И я сейчас словно забыла, что был благословенный день его рождения, что ведь была его жизнь, которой он одарил всех нас навсегда, и почему-то только горюю и предаюсь печали по оборванной жизни.

Но это пройдет, и жизнь снова приведет в чувство. Это она умеет.

Будьте благословенны, милые мои его кровиночки.

Среди слов и оценок, что будете слышать эти дни, принимайте только подлинные, остальные пускайте по ветру, как солому. Есть колосья, а есть труха, и нужна мудрость, чтоб не засорять душу ненужностями.

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

29 марта 1980. Вербная суббота

Мои дорогие и милые Алена и Женичка!

Пишу вам из места невеселого, при обстоятельствах весьма нерадостных. Нахожусь в стационаре. Оказалось, что у меня есть и голова, и сердце, и печень, и почки – словом, пропасть всякого добра, которое всё сразу вышло из строя.

Вспоминаю один из дней далекого детства. Как я пришла из школы, горько плача. Когда мама меня спросила, что со мной, я сказала, что у нас был урок анатомии и учительница нам сказала, сколько у нас костей, сухожилий, почек и проч. и проч. «А где же я?» – заливаясь слезами, повторяла я.

Вот и теперь, под конец жизни, задаю всё тот же недоуменный вопрос, хотя вполне усвоила урок анатомии. Я живу в некоем медицинском палаццо, где, слава Богу, хорошо лечат, но где по газганским мраморам скользят шаркающие тени бывших вершителей, чадающие огарки убогих душ, внесших в свое время свой посильный вклад пошлости в то, что они называют жизнью.

Трудно убежать от идиотического бормотания старух, охов, ахов и реляций о всех физиологических отправлениях. Но мне наконец разрешили сидеть на веранде и глядеть на цветение деревьев в прелестном саду, обезображенном лампами в виде коленчатых личинок майского жука, и вазонами на страшных тумбах.

В холлах и коридорах стоят всяческие полированные непонятного назначения, среди прочего кресла, в которых неудобно сидеть, и столы, на которых невозможно писать. В столовой для гигиены висят ковры, над которыми роятся тучи моли. Всё это осеняют резвящиеся на стенах шишкинские мишки на лесозаготовках и унылые «писажи» с водами и камышами.

Но венцом всего является некий мебельный уникум – это мечта обезумевшей амебы, получившая свое вещественное воплощение благодаря мощне толстосума-мясника, разбогатевшего в начале века. Это двадцать четыре кресла-трона, на которых нет ни единого места, не изукрашенного резьбой, изображающей каких-то диких зверушек. Медальоны на спинках обтянуты «грезами красоты» уже нашего века и покрыты сверху прозрачным целлофаном, прибитым золочеными гвоздиками. Сами понимаете, всё это позолочено и мерцает нечеловеческой красотой. По вечерам кряхтящие днем выползают, и нечесанные султанши восседают на тронах, и предаются эротическим воспоминаниям, и смакуют скабрезные анекдоты, повторить которые устыдились бы Петроний с Аристофаном.

Словом, мерзость и бесстыдство беспредельные.

Когда троны пустуют, я, проходя мимо, всегда вспоминаю одно балетное либретто, которым таджики когда-то обольщали Алексея. Этот хореографический увраж начинался словами: «Шах сидит на троне и вспоминает, что у его дяди в Кабуле родилась двойня», – кстати, о Кабуле, но о Кабуле не будем... Припишем весенним грозам небесный гул^[313].

У меня в саду всё в цвету, и Боря приносит целые пучки пармских фиалок, которые, кстати, в это время заменяют Журке подножный его корм.

С грустью обнаружила, что здесь больше не обитает мой бывший приятель – индийский дрозд-пересмешник. Он раньше прилетал ко мне и, сидя на перилах балкона, лихо изображал пишущую машинку, особенно роскошно он передвигал каретку и вообще печатал очень осмысленно и ритмично. Второй его коронный номер был визг щенячьего семейства, необыкновенно разнообразный по интонациям.

Вот так, в пустыне человеческого, вернее, человекообразного бормотания я живу – и среди сердечных и мозговых спазм пытаюсь не обезуметь и прожить в себе все святые дни, такие всегда сокровенные и нерасплескиваемые. А здесь это ох как трудно.

Вспоминаю сегодня с особой, пронзительной ясностью одну Вербную субботу у бабушки в Новочеркасске. Я помню ночь и духмяный запах почек пирамидальных тополей, темными аллеями рассекавших город. Помню службу и вынесенные на воздух горящие огоньки свечек, прикрываемые руками, и как они уплывали в темноту, движение людей в благоуханной весенней тишине, замедленное и торжественное. И

только порой крики налетающих мальчишек и злой звон их голосов: «Верба, хлест, бей до слез!» А хлестались они больно.

Но свечечки мы донесли домой, и зажгли лампадки, и спать не хотелось, и так хорошо дышалось.

Как-то один человек рассказал мне об одном обычае, что совершается в Иерусалиме каждую Вербную субботу. Когда во всех христианских храмах совершается вечерняя служба, на окрестных Иерусалимских холмах появляются всадники, неподвижно сидящие, как статуи, на своих конях. Когда молящиеся выходят со свечами из храмов, всадники стремительно несутся к ним навстречу, наклонившись, зажигают от их огня факелы и мчатся в разные стороны в свои бедуинские кочевья, где арабы-мусульмане до будущего года жгут в очагах и хранят огонь, принятый ими у христиан в Вербную субботу. Говорят, это необычайное зрелище. Хотела бы я это увидеть своими глазами.

Вернулся ли Петя домой, и как прошла его премьера^[314]? Все ли вы будете в сборе на Пасху? Я еще буду в больнице, но постараюсь выскользнуть в сад и побыть со всем притихшим миром. Шлю вам всем слова любви и упования в Светлое Христово Воскресенье.

Дома буду числа десятого апреля.

Напишите или позвоните мне.

Р. С. Женичка милый, как я поняла, вся история с нотами, затеянная Мишей Мейлахом, – совершенно беспардонная затея, к тому же взваленная на твою шею. Он говорил, что у него есть какие-то пути это всё сделать, но я не предполагала, что это будет так копироваться – всё это будет стоить просто невероятных денег, которых у меня совсем нет. Так что не задумывай себе голову и, когда будет okazия, все рукописи пришлешь мне обратно. На этом с этим покончим^[315].

В отношении маэстро Аббадо и «Улугбека» моя просьба к тебе прежняя.

Еще раз всех крепко обнимаю. Со Светлым праздником вас.

Сердечные пожелания и приветы Леночке и Машеньке. Хотелось бы думать, что Леночка меня не забыла.

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам 3 августа 1980

Дорогие, милые мои Аленушка и Женичка!

Давно не писала вам, простите великодушно. Всё никак не могла совладать с двумя стихиями, жертвой которых я стала. Первое – это год активного Солнца, повторившего впервые за триста лет свою мощь и коварство. Причем это не только жара, потому что в иные дни

температура бывала та же, но не было этого убийственного состояния, когда тебе положили на грудь доску и по ней проехал самосвал...

И вот Бог решил спасти меня и наслал на меня одержимость, и она держит меня в состоянии счастливого упоения. Я никогда в жизни не брала в руки глину и никогда не лепила. И вдруг она пришла ко мне, и оказалось, что я могу сразу делать то, чему другие учатся по многу лет. Это было для меня откровением и так захватило меня, что я забыла о времени, о бедах и недугах, о возрасте и обидах. Я поняла восторг Бога, когда он творил человека из глины. Это самое божественное из всех деяний, когда останавливается время.

И ничто из того, что я делала в жизни – ни любовь, ни пение, ни все, что я писала, – никогда не давало мне такого полного самозабвения и такого ощущения себя в жизни. Мне словно открылось, что я не нагляделась, не нарадовалась вдосталь человеческой нагоде и «лица необщему выражению», и все эти лики и тела ворвались в мою душу и требуют своего воплощения.

Мне не важно, что их никто не видит, мне не нужен ничей суд и приговор. И меня даже не печалит, что это так поздно ко мне пришло, что я никогда не сделаю ничего большого, – но ведь и Танагра был тоже мир.

И я благословляю Бога за эту новую полноту жизни, за тихую красоту моего сада, что дышит в гармонии со мной, и за то, что в обезумевшем мире во мне еще есть силы быть счастливой. Не поймите это как эгоцентризм – за всю жизнь я не знала его ни на одно мгновение, и пока был «свет очей», все помыслы принадлежали ему^[316]. Просто хорошо понимая всё, я рада, что иду навстречу концу и встречу его не жалкой, несчастной и опустошенной, а в прекрасном акме души. Это великая милость!

Вам, наверное, уже вернули мои книжные долги. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо. А возвращать мне хотелось только с верной оказией. Кстати, поблагодарите Любимова за «оказию»^[317]. Я получила очень милое письмо от Maestro Abbado. Женичка, ты, конечно, *porte bonheur*. Я в моем вольном или невольном эскапизме могу рассчитывать только на доброту других в том добром и нужном, что необходимо Козлику в большом мире для звучания его музыки.

И то, что в этом ты – его друг, радует и утешает меня. И «глухота паучья» – это не только некая суть и естество, но ее ткнут упорно и беспощадно, и трагичность Аликиной судьбы понятна лишь тем, кто знает, как убивают художника.

Я рада, что в маленьком домике, на «моей» постели, как пишет Алена, спит Наденька^[318], и знаю, что ей у вас будет так же хорошо, как было мне.

Поцелуйте ее и передайте, что мои пожелания здоровья и сил огромны и активны. Что-то вдруг ясно услышала Надин голос, как она,

играя с Козликом в шахматы, после его хода, бывало, повторяла: «Проклятый старик!».

Не знаю, рассказывал ли вам Валера^[319] о моей ярости по поводу выпущенной пластинки монтажа «Улугбека». Бедный Улугбек – не везло ему при жизни, не везет и после смерти. Случилось очередное неприличие, когда московский «художник» решил оформить конверт для рекорда. Издергив фотографию Козлика до омерзения, он водрузил ее на лазорево-незабудочную обложку, пустив по карнизу красненький узорчик, под украинский рушничок. Так обрядило царственного астронома Востока московское кувшинное рыло, совсем как на переднике, что надет на знакомой кухарке, что в отсутствие хозяев музицирует на рояле, когда их нет дома.

Поневоле вспомнишь заклинательную рецептуру алхимиков: «Возьми пять унций серы и три унции злости и, выпарив, преврати в ту мразь, что является его сутью, не человеческой, к которой он не причастен».

Запись монтажа сделана очень давно, с хорошими московскими певцами, весьма средним дирижером и с финалом антиисторическим, навязанным руководителем Усманом Юсуповым – под угрозой запрета и снятия оперы. Михоэлс уговорил нас пойти на это ради спасения спектакля.

Но москвичи любили этот монтаж и много лет транслировали его, пока не изменилось техническое оборудование радиосистемы и магнитофонная запись того типа уже не подходила.

Спектакль полностью был однажды записан (при показе в Большом театре), но срочно и тайно лента была размагничена, а Алексей так никогда и не настоял, чтобы осталась достойная запись, как не записаны удивительные его концертные выступления. Что этому причина – некая барственность и брезгливость к самоустройству себя в искусстве или какой-то рок, который над ним тяготел всю жизнь?

Читаю тонкую и умную книгу Вадима Рабиновича «Алхимия как феномен средневековой культуры» и получаю огромное удовольствие. В связи со Средневековьем вспомнила один свой спор с великим умницей Эрнстом Неизвестным. (Мы с ним подружились, и ему очень хотелось, чтобы мне нравились его скульптуры. Но я люблю лишь его блистательную графику.) И вот, споря о красоте, ее смысле и назначении в разные времена, он меня поразил тем, что спросил: «А зачем скульптор, водрузив химеры на Нотр-Дам, вставил их также внутрь водостоков?» И меня удивило, что этот большой умница не понял того, что так ясно поэтам и тем, кто верит: ведь химеры наружные – это видимые грехи и пороки человечества, но скрытые в водостоках – это тайные, невидимые грехи человека, которые должны омываться и очищаться водами небес, посылаемых Господом на землю. Глубокое таинство очищения и всепрощения. Вот как порой рацию притупляет душевную глубину и ясную высокую мудрость.

Я сейчас много бываю одна. Большинство моих друзей разъехались на каникулы. Боря умчался в свои странствия по сибирским глухomanям. Вернется в конце августа. Я подумала: поскольку вы всё лето пробыли в Переделкине, не хотели бы вы приехать ко мне, и ты, Женичка, показал бы Алене Среднюю Азию, Самарканд и Бухару, пока они совсем не затмились реставрационным изуверством? Все-таки Восток сиял, и закат его печален.

Ужасно огорчилась Петиним будущим^[320]. Хочу верить в какое-то чудо. При каждой своей трапезе я вижу перед собой написанный им для меня домик, ясно вижу вас всех, и вы всегда со мною. Да благословит вас Бог, мои дорогие, и да сохранит. Не мрачнейте, не терзайтесь и любите друг друга. Будем верить, что всё будет хорошо. Крепко вас обнимаю и люблю.

Галя

Р. С. Сегодня у нас спала жара, двадцать семь градусов и степной ветер, хороший, древний, вечный.

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам 3 января 1981

Мои дорогие, дорогие! С Новым годом!

Все самые лучшие пожелания – все ваши. Не писала раньше – веками жизни стали сердечные приступы, очень частые, падения с расшибанием рук и толчки землетрясения, от которых, как животное, пугаюсь прямо-таки позорно. Трясет нас всё время. Тридцатого очень сильно опять, тридцать первого за два часа до Нового года, первого снова. Эпицентр – Назарбек, в семи километрах от Бориного жилья. У них дом дает всё большие трещины, и кое-где отвалились стены. В Назарбеке люди живут в палатках. Положение скверное и тревожное. Образовалась трещина. Ученые всё ждут или вздутия земли, или провала. А так как под Ташкентом не одно горячее озеро, то представляете, чего только не ждет человеческое воображение.

Дома у меня пока всё, слава Богу, цело, хотя всё трещит, скрипит и вещи ходят ходуном.

Был у меня Валера, обещал узнать, как у вас там всё, и успокоить меня, почему от вас так долго нет ни единой весточки. Я начинаю тревожиться, всё ли у вас благополучно. Аленушка, милая, если Женичка так замотан, может, Вы мне черкнете несколько строк, пожалуйста!

Мы с Борей встретили андерсеновский сочельник (как будем встречать и наш), как всегда. Сели за стол со звездой, зажгли свечи. На

столе стояла душистая ветка хвои, а рядом с ней трогательно цвела японская айва, принесенная из сада. Затем мы зажгли большую прелестную елку и слушали колядки.

На дворе у нас 10–13 градусов тепла. Пишу вам на крылечке. Журушка гуляет в упоении. Еще в глаза не видели ни одной снежинки. Хоть нет листьев, двор весь зеленый, фиалки и трава свежи, и не верится, что где-то снега и метели.

Ужасно по вас соскучилась. Теперь вам надо в мои края – иначе не увидимся. Христос с вами, мои милые.

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам 6 января 1981

[Открытка]

Мычал бычок, кричало дитя, Три светлых царя распевали.

Генрих Гейне

Вот и наш сочельник.

С ним пришла ко мне весть об уходе Нади^[321], бедной, многострадальной души. Нет больше нашей Кассандры^[322]. Нет больше последнего чуда века.

Мне всё время хочется плакать обо всем, обо всех, что ушли.

Через три дня будет четыре года, что не стало Алексея.

Неотступно все эти дни звучат слова: «Завтра день молитвы и печали / Завтра память рокового дня...» Как много за всех сказал Тютчев^[323]!

Мои дорогие, я, кажется, теперь могу соотнести ваше молчание с болезнью Нади. Глухо донеслось до меня о сатанинских беснованиях после конца. Господи, сохрани и помилуй всех нас.

Хочу очень нежно обнять вас и сказать еще раз, что я вас очень, очень люблю, и никогда еще мои пожелания здоровья не были так горячи. Вы все вместе и живы, и возблагодарим Бога за эту милость и благо.

А в мире волхвы несут через века свои дары и весть о Рождении. Вот оно – упование, утешение, рассеяние печали.

С этим мы прощаемся, с этим и живем.

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам 29 сентября 1981

Мои самые дорогие!

Вот и дожила я до остывающего «ада», а ведь думала не дожить.

У нас сейчас самая блаженная осень, поэтому свой приезд не откладывайте. У меня еще много винограда, будет обидно, если вы приедете, а его переключают птички. Они во множестве слетелись отовсюду, и в саду стоит счастливый щебет. Прошли дожди, и зелень вся омытая, всё свежо и тепло – именно то, по чему вы соскучились.

У меня в жизни произошло одно событие. Боря сделал мне чудеснейший подарок. Он подарил мне девочку восемнадцати лет, полуказашку-полутатарку. Она абсолютное дитя природы, из совершенно, невообразимо темного царства восточного «феодализма». И как из этого мрака проклюнулся такой лучик света, доброты, милоты, чистоты – непостижимо. Она ушла из дому, спасаясь от угроз отца, что он ее убьет или изувечит за то, что она всё время рисует и хочет учиться живописи.

Я взяла ее к себе и ни одной минуты об этом не пожалела. Господь Бог сжалился надо мной. Я понимала, что дольше жить одной мне нельзя – слишком я слаба и беспомощна, и не представляла, как я смогу жить с чужим человеком. И вдруг как чудо пришло ко мне это милейшее существо. Она тиха, молчалива и сосредоточенна, с непритязательным славным чувством юмора. Ничем ни разу меня не огорчила и не шокировала. Вот что значит врожденное чувство такта, тонкость и душевная ясность. Сколь многим людям этого не хватает!

Вот я и живу теперь, ухоженная заботой и вниманием, ненавязчивыми, простыми и естественными, как близкий и хороший человек может заботиться о другом.

Поэтому когда вы приедете^[324], мы все будем избавлены от быта и нудных сторон жизни. Я очень жду этой встречи. Мне ведь только приезд ко мне может принести радость свидания, и те, кто меня любит, так и делают.

Очень грустно, что Боря вряд ли сможет порадоваться встрече вместе со мной. Он, бедный, тяжело болен глубокой корешковой пневмонией и вряд ли скоро выйдет из больницы. Он очень умеет баловать.

У меня в саду зреет один-единственный гранат (всё цветение смыли весенние ливни), и он ждет вас как символ дружбы и любви.

Привезите мне какое-нибудь чтиво. Один узбек принес мне своего любимого Поля Валери, и хотя он совсем не мой, не могу оторваться от его ослепительности.

Жду от вас телеграммы или звонка о дне приезда.

Аленушка, милая, – если это в человеческих возможностях в нашем ни в чем не возможном мире – не могли бы Вы мне привезти какие-нибудь домашние мягкие туфли тридцать восьмого размера. Можно без каблука, можно с маленьким каблуком.

Итак, мои милые, жду с великим нетерпением.

Галя

**Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам 10 апреля
1982. Вербная суббота**

Мои дорогие, мои самые дорогие!

Настал любимейший из праздников, и я надеюсь, что это письмецо придет к вам к светлому дню Пасхи. <...>

Французенка Аня^[325] только две недели назад принесла мне «День поэзии»^[326]. Я так счастлива, что ты, Женичка, наконец напечатал для людей гениальное и любимейшее мое стихотворение – «На Страстной»: всем, кто не знает, читаю и читаю.

У нас вся зима была теплая, бесснежная, и вдруг неделю тому назад, когда всё цвело, повалил снег три раза подряд, и пока не выморозило все фрукты, не успокоилась матушка природа. Грустно, так как фрукты – это радость здешних мест.

У меня недавно был мистический день и еще более мистическая ночь. Утром нашла на Аликином столе письмецо Касьяна Ярославича Голейзовского – верно, заложено было в книге, из которой выпало. В нем он просит Алексея прислать восемь симфонических миниатюр, которые он обещает поставить через месяц, чтобы затем они могли быть исполнены и за рубежом.

И я затосковала, затосковала люто. Так мне было больно, что никогда уже не будет больше пластических чудес Касьяна и что не будет в музыке больше ничего Алексея. Много лет эти два художника, так понимавшие и любившие друг друга, стремились создать хореографическое произведение на уровне обоюдного понимания и таланта. Но судьба и смерть решили по-своему.

Наступила ночь, и с нею бессонница, и вдруг в какое-то мгновение со мною что-то случилось, вернее, что-то во мне отключилось! Какая-то сила вне моего сознания словно начала мне *диктовать* некое хореографическое действие. В голове – перед глазами – возникли сцены балета, увиденные как бы зрением Касьяна, через его ощущение пластики и движения. Всё это совершалось на музыке Алексея, которую я ясно и стройно слышала. Когда я к утру положила на стол черновик одноактного балета, я хотела сверху положить книжку, на которой писала. И вдруг из нее выскользнуло белое бумажное сердце и легло прямо на листки. Внутри красным карандашом написано «Гал А» (через «ять»). Потрясенная, я это восприняла как благословение.

Так возникло либретто «Сны Хайяма». Обыкновенно, даря мне что-нибудь, Алексей любил придумывать какие-нибудь милые и забавные добавления. Что, и когда, и с чем связано это вырезанное им сердечко, память моя совершенно восстановить не может, значит, назначением его было явиться именно в эту ночь, возникнуть как знак. Согласитесь,

что две вести от двух ушедших случайностью быть не могут. Я хочу с помощью Бори сделать на магнитофонной ленте черновую партитуру балета, чтоб затем показать в Москве. Кому – еще не решила.

«Пируйства» чревоугодного в этом году не будет, но Пасхальная ночь будет, и будут звезды, деревья, дыхание земли и небо, и душа, наполненная светом. Благословляю вас всех и хочу, чтоб все вы были вместе. Если будете у заутрени, помолитесь обо мне. Да хранит вас Господь.

Очень люблю.

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам 9 мая 1982

Мои дорогие, дорогие!

Посылаю вам с Андрюшей Черниковым^[327] магнитофонную запись балета «Сны Хайяма», либретто и комментарии к музыке.

Спасибо вам, родные мои за то, что вы поверили мне и за то, что вы захотели передать моего «Хайяма» в руки художников, очень мною долго любимых и предельно чтимых. Как бы мне хотелось, чтобы руки эти оказались добрыми и ко мне. Если бы осуществилось то, чего так хочет душа, мне кажется, что я, уходя из этого мира, глотнула бы последний глоток великого счастья, и Алексей был бы рад этому счастью. Да будет благословенна эта мечта и новый путь Хайяма, и пусть этот его сон не будет сном забвения.

Мне бы хотелось, и удобно ли это будет, чтобы Андрюша присутствовал с вами, когда будут знакомиться с балетом. (Конечно, только если это будет со всех точек зрения удобно – люди они мне еще не знакомые, безумно знаменитые, и кто знает, что и как.)

Ко мне, вероятно, придет недели через две невестка Касьяна Голейзовского^[328]. Она хочет пожить у меня, познакомиться с Журкой и затем написать о нем книжку для детей. Буду очень рада. Кстати, он сегодня потребовал таз с водой и принял ванну.

Пишу вам на крылечке. Все приходящие ахают от красоты и благоухания сада. Уже отпустились тополя и цветут жасмины и бузина. В полной красе стоят ваши переделкинские алтайские ирисы, но по цвету они здесь почему-то бледней, чем на Севере. Зацвел гранат сейчас, вместо обычного июня, и розы набирают разгон, их будет много. Особенно радуются жизни папоротники.

Позавчера у нас вечером, в одиннадцать часов, было землетрясение, довольно сильное – пять баллов, а, главное, долгое.

Журка тут же выбежал в сад, я последовала за ним, сняв предварительно бронзу со шкафа, чтоб не зашибло, как в прошлый раз.

Эпицентр – где-то на границе Узбекистана и Киргизии. Пишут, что там было семь баллов с разрушениями.

Но главный мой испуг за этот месяц связан с Борей. У него до Пасхи было много стрессов. Кроме того он весь пост постился и в Страстную субботу пил только воду. Его мать, тяжелобольная, сказала ему, что если он не пойдет в церковь и не привезет ей освященный кулич, то она сама встанет и пойдет. Словом, Боря испек сам куличи, отстоял заутреню, отвез матери куличи (тридцать километров), приехал ко мне в шесть с половиной утра и в семь уехал на субботник, так как накануне работал. Вернувшись домой, он узнал, что его любимый дядя умирает после операции. Он помчался туда, еще двое суток не спал, и через два дня дядя умер у него на руках. Боря стал валиться, потерял координацию движений и зрения и потерял сознание. Приехавшая неотложная помощь увезла прямо в реанимацию, где две недели боролись за его жизнь. Сейчас он в нервном отделении, очень слаб, и головокружение еще не покидает его, но всё же он дважды украдкой ночью говорил со мной по телефону.

Я невероятно испугалась и наволновалась вволю.

Как иногда жизнь заверчивает людей, и кажется им, что нет предела их выносливости.

Ничего не знаю о переделкинской эпопее^[329]. Сами вы мне ничего о ней не пишете. Эпопея – в духе семнадцатисерийных кинолент, генсеков, мыслящих эпопейно, эпохально и безмерно подло. Господи, хоть бы не измотали они вас вконец! Милые, берегите себя. Ужасно боюсь, что всё это отразится на вашем общем здоровье. А оно бесценно. Знаю по опыту, ибо полтора месяца живу на каждодневных вызовах скорой помощи и уколах. Говорят, весна, перепады давления, отсюда вертижи (возраст сбрасывать, что ли, со счетов), ну, в общем, Бог знает что.

А все-таки я «Хайяма» сделала, несмотря ни на что. Напишите мне, понравился ли вам мой «продиктованный» балет, ну и как отнеслись к нему Максимова и Васильев^[330].

Целую крепко-крепко.

Галя

Галина Козловская – Евгению и Елене Пастернакам 10 сентября 1982

Мои дорогие, дорогие!

Милая, добрая прелесть Аленушка!

Ну как вы могли предположить, что я на Вас обиделась за неудачу с Васильевым? Господи Боже мой, кто же на доброту и желание помочь может обидеться! Ведь я знаю, что Вы хотели сделать мне радость, и

не огорчайтесь, дорогая, что Вам надо было меня огорчить. А я ведь телепатка, и в какой-то день я вдруг ясно почувствовала: «Ничего не будет». Получив Ваше милое письмо, я, Аленушка, огорчилась гораздо меньше, чем сама ожидала. Быть может, виной тому моя болезнь, рождающая какую-то отстраненность от внешнего мира. У меня родилось какое-то ощущение, что ничего моего и Алиного не может осуществиться и что всему, что есть и было, суждено существовать во мне, и только во мне. Это, конечно, порочно в своей сути, но из меня ушла какая-то активность желания сосуществовать с действующим, осуществляющим началом, что живет и творит в большом мире. <...>

Боря недавно вернулся после двухмесячных одиноких скитаний по Сибири и Алтаю, но его болезнь еще не изжита (читать и смотреть на движущиеся предметы не может) и выглядит, к моему огорчению, неважно.

Мой сад зарос и совсем запущен, только Журушка не дает паукам заткать всё паутиной. Дни стоят теплые, но цветы по ночам остывают. А то и ночью не было ветерка. В новолунье писала стихи, очень мало лепила. Вылепила несколько гротов и источников и радуюсь двум парам влюбленных (головы) – очень юных, прекрасных и победоносных в любовном упоении. Как никогда раньше чувствую прелесть юности и любви. Очевидно, прав мудрый Пикассо, говоривший, что художник должен прожить длинную жизнь, чтобы прийти к своей молодости.

В награду за мою физическую слабость я вижу сны – удивительные, прекрасные и своеобразные, почему-то связанные с живописью. Я вижу такие чудеса, что, проснувшись, вдруг впервые верю, что я художник (в чем не всегда, от робости, была до конца уверена). Если бы я могла написать то, что вижу в своих сновидениях, – Боже, какое это было бы богатство и откровения! Но бодливой корове Бог не дал рогов, поэтому всё это и живет и разворачивается в тиши ночей, от новолуния до рассвета.

Так что одиночество и отторгнутость от внешнего мира нисколько не делают меня несчастной – душа и воображение не знают оскудения. А от своей физической слабости, такой гнусной и унижительной, надо бежать, если можно, в минуты просвета к своим глинам и в них вспоминать здоровье и какой прелестной бывает юность.

Когда тебя вспоминают те, кто тебя помнит и любит, – это радость, и к сердцу не может подступиться ожесточение – это ужасное проклятие старости, которое так меня печалит и устрашает в других. Не дай бог!

Что касается моего поздно рожденного «Хайяма» – не выплескивать же его просто на улицу? Но я, как дурная мать, расплачиваясь за грех, просто вынуждена сделать из него подкидыша. Так как я подбросила его к Вашему порогу, то будьте к нему по-прежнему добры, если сможете, устройте его судьбу и выведите его в люди. Кто знает, быть может, с помощью друзей что-то можно сделать. Мне его жалко, и я его

люблю, а когда любишь, хочется, чтоб и другие любили. Но до того как что-то предпринимать, надо прежде всего получить обратно запись, либретто и *комментарии* к нему. Они более подробны по действию и драматургии, чем либретто. Всё это передать моему дружочку Андрею Чернихову, чтобы он со всего этого сделал две копии записи (у меня ничего нет).

После этого можно уже спокойно кому-то показывать.

Когда-то Геннадий Николаевич Рождественский говорил Мише Мейлаху, что когда он чуть разгрузится от дел с организацией оркестра для записей пластинок, то он с удовольствием бы показал балет «Тановар» Касаткиной^[331] и Василёву^[332]. Быть может, вместо трехактного балета их бы больше устроило одноактное произведение. Правда, не зная людей и их вкусы, теперь боюсь, что снова не вдохновит восточная музыка. А ведь у Алексей Федоровича не только восточная музыка, но и очень тонкая поэтика. Это очень глубоко чувствовал и любил Касьян Ярославич. Очевидно, Васильев гениально танцевал не музыку Баласаняна, а хореографию Касьяна. Иногда мне кажется, что «Хайям» мог бы хорошо лечь в киновоплощенном спектакле.

Только что мне позвонила из Москвы Люся Голейзовская, жена сына Касьяна Ярославича. Она, наверное, будет вам звонить. Примите ее дружески и в союзники. Она очень доброжелательна, знает много о балете, может, тоже сможет что-то посоветовать и сделать. Миша Мейлах (если он только не уехал навеки *abroad*) мог бы показать труппе классического балета миниатюр, созданной когда-то Якобсоном в Ленинграде. В Тарту театр «Ванемуйне»^[333] довольно подвижен и пытлив к неведомым вещам.

Больше мне ничего не приходит в голову.

На всякий случай посылаю вам телефон Андрюши Чернихова, тоже друга и союзника.

Вы мне ничего не сообщили о битве русских с кабардинцами за переделкинскую обитель. Судя по тому, что вы там провели лето, – как понимать: как затишье или как победу?

Как грустно, что Петя пришел из армии, «истекая кровью», – вот она, службишка-то. Слава богу, что хоть конец. Как жаль, что я не могу позвать мальчиков к себе на лето, как мы планировали. Кто знал, что такое со мной случится.

В довершение ко всему я два месяца, что отсутствовал Боря, порядочно-то подголаживала. Настала и наша очередь. Ни мяса, ни колбасы, овощи и фрукты все отравлены химией, да и они попадали ко мне скудно и скучно. Добрые души, что меня опекали, имеют свои семьи, и женские руки не могут таскать всё за семерых.

Вот так и живем с Журушкой, едим пшеничку – он сухую, я проросшую (для здоровья и диабета), но пока что толка не видно. Шлю вам от Журушки поклон и симпатичное перышко.

Сама же вас всех обнимаю. Крепко. Аленушка и Женичка, любите меня, как я вас люблю, и пожелайте азиатской отшельнице здоровья всерьез.

Галя

P. S. Привет сердечный от Бори.

***Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам 25 ноября
1982***

Мои дорогие, дорогие! Только вчера Аничка пришла ко мне и принесла ваш бесценный дар. А я как раз собиралась писать вам и просить прощения за долгое молчание. Признаюсь, что ужасно мечтала о книжке, о которой мне по телефону сообщил Валера. Книжка чудесная, и мне всё в ней нравится, и я радовалась всему: и встрече с «Детством Люверс», и «Картинкам», как ты говоришь, и вступлению Лихачева. Предвкушаю долгое наслаждение. Спасибо, мои милые.

Также примите поздравления с *вашей* книжкой, которую привезла Аничка. За все, что вы с Аленой делаете, вам надо сказать спасибо – а за эту особое. Ведь вы знаете, что я считаю ее книгой века, и то, что я могу держать ее в руках и с ней не расставаться, для меня радость особая и редкостная.

Вероятно, это моя последняя радость в жизни. После стационара, где я пробыла месяц, я вышла окрепшая и поздоровевшая. И казалось, что всё будет хорошо. Но через две недели после возвращения домой у меня началась гнусная и непрекращающаяся боль в области поджелудочной железы. Врачи всё никак не определяют, что это такое в конце концов. Я боюсь операции и вообще боюсь. Дамоклов ли меч наследственности пугает, и я впервые стала несчастна из-за себя и за себя. Пытаюсь не мрачнеть, но ничего не помогает. Наступает время, когда человек впервые во всей беспощадности ощущает свое одиночество, не бытовое только, но истинное, как одно из ниспосланных божьих, чтоб мы сильнее ощутили грядущее воссоединение с Ним. Вот я и жду и тоскую.

А мир стоит – зеленый да зеленый. Ивы еще не роняли своей листвы, и плети роз стремятся к ним буйной порослью. Между тем прошло два снегопада, повалили несколько деревьев, и вместе с ними лежат поверженные лианы. Гляжу на всё это растерянно и изумленно и думаю всё о том же.

Мы с Журкой теперь редко выходим в сад. Хоть и светит солнце, но холодно и зябко. <...>

Журушка делит со мной мое одиночество и зиму в доме. Скучает без мужчин, которым ему нравится танцевать.

Боря бывает редко, его мозговой весенний приступ дал ужасные последствия. Он не может читать, видетьдвигающиеся предметы. По многу дней прикован к постели и совсем одурел от всяких теорий голодания без соли, сахара, и, оказывается, всё в жизни вредно. Мне непонятны все эти усилия искусственно голодать, когда мы так неуклонно идем к этому состоянию без всяких затрат сил. У нас здесь самый большой спрос на шары, которыми «хоть покати».

Самыми ходовыми анекдотами являются:

«Какое последует новое государственное мероприятие после выполнения «Продовольственной программы?»» Ответ: «Всесоюзная перепись оставшегося населения».

Или:

«Какой будет свиная отбивная при коммунизме?» Ответ: «Кусок хлеба, отбитый у свиньи». И всё в том же высоком утробном стиле.

Люди скоро начнут лихорадочно читать оставшиеся издания мадам Молоховец, где так славно говорится: «Если к вам пришли гости, и вам нечего подать к столу, – спуститесь в погреб и...» Вкусовые ассоциации, очевидно, реют в воздухе, так в своем письме ко мне Володя Васильев определил музыку Козлика как нечто «очень вкусное». Забавно, не правда ли?

Обещаю вам, что при первом Борином просвете мы составим нотную компиляцию из Алиных партитур, переснимем и сделаем стройную партитуру балета. Тут же вышлем вам.

Наконец-то после четырех лет истязаний и мук на кладбище установлен памятник. Я еще не видала, сообщили мне это вчера.

Женичка, мне помнится, что я когда-то тебе подарила пластинку Алиной записи «Лолы» («Праздника тюльпанов») и симфонической поэмы «Тановар». У меня осталась единственная пластинка. Если будешь показывать балетик, может, пригодится проигрывать и ее. А в общем, как знаешь, всё вверяю вашим рукам и разумению.

В искусстве живу по-прежнему в своих снах. Как человек не знает, что таится в нем! Для меня мои сны стали целым миром новых, неведомых видений *живописи* (именно живописи – скульптура отсутствует), которые мне было бы трудно предположить, что они дремлют в моем подсознании такими неиссякаемыми залежами. Хотела бы я, чтобы какой-нибудь настоящий психолог объяснил мне, откуда и почему именно сейчас возникли эти зрительные оргии. Я становлюсь тайной зазнайкой и думаю про себя, как я всех перехитрила. Если бы художники знали, что я вижу, они бы от зависти меня возненавидели. Вот к чему приводят одиночество и жизнь анахорета. Мы все видим видения.

Кстати, о видениях. Познакомилась недавно впервые с поэзией и рисунками Уильяма Блейка, и возвышенный ореол утвердившейся

легенды о его визионерстве, мистических парениях и проч. – рассеялся, как дым. Исчезла еще одна иллюзия молодости. Осталось чувство разочарования: корявый, буйный самоучка, кощунственное бунтарство против всего и вся. А я с годами всё меньше допускаю кощунство в искусстве. Им отбушевал восемнадцатый и девятнадцатый век. Наш перечеркнул столь многое и увлек в пустынность своих сумасшедших автострад, техники, машин фантастического опустошения, что истинным художникам надо нести свет бережно и осторожно, как свечечку в Вербную субботу.

Но я что-то очень уж разговорилась, а всё потому, что скучаю по вас и хочу вас всех видеть.

Простите, что пишу карандашом. В нашем общем мизере нет штырей для авторучек. Скоро будем писать гусиными перьями, хотя я забыла, что и гусей тоже больше нет. Придется таскать перья из Журкиного хвоста. По крайней мере, доступно и под рукой. Так мне хотелось бы что-нибудь вам послать, но, увы, оскудение полное, и царствуют лишь шары, которыми «хоть покати».

Поэтому шлю вечную любовь и очень прошу, давайте почаще весточку о себе. Всех вас крепко-крепко целую. Да хранит вас Господь.

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам 14 марта 1983

Мои дорогие, дорогие!

Последний раз я говорила с вами в сочельник, а сегодня вот уже и Масленица. После дивных солнечных дней – хмурое небо с низкими облаками и вот-вот хлынет дождь. Недаром в народе ее прозвали Масленицей-мокрохвосткой.

Козлик меня приучил, что, если не съесть блин на Масленой, год будет плохим. Может, Ярило потому и прячется за облаками, что ему не хочется, чтоб его пожирали люди. И вот я одна и не знаю, как мне быть: есть одной блины будет чем-то сродни каннибализму. А одна я потому, что почти все мои друзья и знакомые предались модной блажи – едят морковку и жуют овес, объедая бедных лошадей, у которых прохиндеи и так воруют корм. Не знаю, какой в этом толк, разве что играют на руку пресловутой «Продовольственной программе»: чем меньше народы будут есть, тем лучше.

Вот я взяла и напилась. Сижу и пребываю «в рассуждении собственных мыслей»...

Тут мне и попалась книжка Шкловского «Жили-были», не знаю, то ли виною недавнее сотрясение мозга, то ли я остервенилась, но я стала закипать, как тульский самовар, – думала, что распаяюсь. Всю жизнь его считала умным, блестящим и настоящим – и вдруг три четверти

книги риторическая трескотня, назойливая до нудности революционная фразеология и самовлюбленное охорашивание. Кроме «Писем не о любви» и воспоминаний о Всеволоде Иванове, которые искренни и человечны, всё труха и трескотня. Нет ни Маяковского, ни Блока, ни Пастернака. Это не живые люди, которых он знал, и даже не скользящие тени кинематографа – а так, слова, слова, слова...

Тягостное впечатление произвел показ его по телевидению в связи с девяностолетием. Нельзя и неделикатно показывать старость столь обнаженную и жалкую. Помимо того, что это признак дурного вкуса и неистребимой самовлюбленности. Вероятно, когда он, запинаясь и забывая что-то, лепетал, он всё еще верил, что у него голос Дантона. Вот когда на поверку выходит, что остается последним в человеке при угасающей старости – у одного доброта, у другого злость, у третьего благожелательность, благородство, ненавистничество, мягкость и нежность – весь набор основных страстей. У Шкловского же остался главный стержень его личности – самовлюбленность и самоуверенность, самые бесплодные из всех любвей на земле.

Посылаю, наконец, всё сверенное по партитурам – музыку партитуры балета «Сны Хайяма». Задержка была из-за отсутствия магнитофона и дирижера. Наконец и то и другое осуществилось. Таким образом, осуществился предпоследний рывок к возможности его воплощения. Там, Женичка, напечатано обращение-просьба к тебе.

Теперь хочу с вами посоветоваться. Когда здесь был Валера, он сказал, что у него есть знакомая, которая может показать балет Касаткиной и Василёву. Но тут есть один момент – важный и серьезный. Не подумайте, что во мне говорит сноб, но в вопросах представления на суд музыкально-хореографического произведения важно, чтобы оно было сделано с помощью большого музыканта. Это не вопрос престижности, а вопрос понимания.

Было бы очень важно, если бы вы оба снесли с Геннадием Николаевичем Рождественским, познакомили с балетом сначала его, и затем, если ему понравится, чтобы он ознакомил с ним хореографов. Хотя, к великому сожалению, ни я, ни Козлик не были с ним знакомы, так случилось, но у меня к нему большое художественное доверие. Миша, по-видимому, выпал из игры, он доброжелателен, но папильонист. Вы же оба добрые и любите меня, и я уверена, что в своих сношениях с ним найдете общий язык. Быть может, можно подсказать хореографам возможность сделать фильм-балет. Мне очень было бы важно, чтобы Алена и ты присутствовали при беседах с Касаткиной. Личное обаяние и красноречие – великая вещь. Мне бы не хотелось, чтоб «Хайям» предстал безродным и бездомным. Судьба сделала так, что вы стали его приемными, так сказать, родителями.

А дурная мать хоть и не забывает о подкидыше, тем временем встречает весну с цветущими ивами, фиалками и гиацинтами, глушит

свою тоску лепкой лиц, что видит внутри себя. На смену «Влюбленным» пришли кораллы.

Мое последнее упоение в искусстве – это слайды с картонов Jean Picart le Doux (Жана Пикара лё Ду) для ковров, вытканых в Обюссоне. Это такой тонкий и восхитительный художник – открываешь заново удивительный мир, современный и вечный, как всё настоящее. Одно его творение находится у нас в России. Его «Знаки зодиака» подарило правительство Франции Хрущеву, когда он был в Париже.

А теперь, мои родные, прошу вырвать времечко и написать мне большое, хорошее письмо. Хочу верить, что всё у вас хорошо, и все вы, мои милые, здоровы. Как хорошо, что вы вместе. Целую всех крепко. Да хранит вас Бог. Очень люблю.

Галя

Р. С. Показывая либретто, давай читать только посылаемое мной. Прежнее уничтожь.

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам Весна 1983

Мои милые и дорогие!

Спасибо за весточку. Я, в противоположность вам, живу анахоретом, хотя, когда я сказала одному человеку, что я отшельник, он ответил мне словами Дега, сказанными им про Густава Моро: «Да, он отшельник, конечно, но который отлично знает расписание всех поездов». Для меня, конечно, это лестно, но у меня и вправду есть те свобода и досуг, когда воображение может обгонять повседневную суету и не обременено гирями и тяжестью обязательств и долга.

Долг у меня только один – это долг перед Алексеем, его искусством и его памятью. Но моя физическая беспомощность и возраст делают меня малоплатежеспособным должником.

Но когда на художника накинута посмертная удавка, это создает непробиваемости более непреодолимые, чем слабость физическая. Очень уж он при жизни не угодил, но его талант загасить было трудно, а когда ушел – вот тут-то с ним и расквитались. Я помню, как во времена депрессии, гонения на «формализм» и ему не писалось. Абрам Эфрос его всё утешал: «Пишите, ведь должно же остаться что-то, чтоб открывали потомки». Право, это было плохим утешением и дурной самонадеянностью – в это верить и утешаться.

Затем и это миновало, но всю жизнь волочилась за ним слава, что он «не такой»: «не такой по происхождению», «не такой по маэстрии», «не такой в своих мыслях», «не такой, как надо», и т. д., и т. д. И слава

Богу, что он был «не такой», а такой, каким он был. Но его искусство – это музыка, которая не может быть прочитана и увидена на полотне. Ее путь от его сердца до человеческого слуха и души куда более сложен. Разве не трагично, что Цезарь Франк свою гениальную симфонию услышал лишь однажды сыгранной оркестром?

И сколько преодолений должен пройти композитор, прежде чем организуются обстоятельства его осуществления!

Все, что пришло извне, пришло к Алексею само. Он не был никаким организатором самого себя, ни как композитор, ни как дирижер. Есть явления, которые не оспариваются, когда художник жив и творит. Но стоит ему умереть, да еще в стране, для которой он столько сделал и прославил, вот тут-то и всплывет та древняя истина: «Что я тебе сделал такого хорошего, за что ты меня так ненавидишь?» Моя гордость может отвечать на это только презрением (отчего душе не легче), но я не могу унижить его память ходатайствами, напоминаниями и доказательствами.

Но жизнь его искусства теперь не зависит от тех, кто помнит, знал и понимал его значение. Есть много людей, кто помнят, и любят, и знают, но они не определяют его посмертную судьбу. Есть преграды, которые живым не преодолеть, кто их не знает.

Но довольно lamentаций. Просто очень уж порой душа кровоточит, и я знаю, что вы меня понимаете и по-доброму пожалеете.

Мне очень досадно, что я была во власти самостоятельной устремленности во время записи «Снов Хайяма» и что с этим поспешила представить на суд мастеров. Это с моей стороны, конечно, непростительная ошибка. Надо мной довлело то, что я слышала и знала, и, конечно же, эта непрофессиональная запись и подчиненность «экстрасенсному» субъективному ощущению повредили впечатлению от всей композиции в целом. На какое-то время я пала духом и засомневалась. Но вдруг недавно увиденная мною бежаровская постановка «Айседоры» для Плисецкой, сделанная на музыку разных авторов и оказавшаяся восхитительной и целостной вещью, убедила меня, что такой принцип в балете возможен и правомочен. И я решила «вмешаться» – сознательно, с отпущенным мне Богом чувством сцены – в эту зыбкую и неясную ткань «Хайямовских музыкальных сновидений».

Я всё пересмотрю, и мы с Борей попробуем сделать что-то более убедительное.

Ты, Женичка, пишешь, что эстонцы «тяготятся к современной стилизованной Европе». Это очень жаль, жаль потому, что всякая стилизация, будь то Европа или Восток, – явление вторичное. И я заметила, что очень часто теперь в театре не чувствуют стиля одного-единственного художника, а уходят в абстрактную «стилизацию» вообще.

Алексей любил поэзию Востока и терпеть не мог любимого многими «ориентала».

И у нас был свой, неповторимый стиль, и он создал свой Восток и свою поэзию. Но, как сказал папа: «Поэзия в траве, к ней надо нагибаться».

Я очень радуюсь за Петеньку, верю в его одаренность и многого от него жду, к этому его обязывает мое давнее пристрастие к нему.

Ужасно обидно, что Боря, едва кончив институт и не окрепнув профессионально, сразу попадет в военную муштру и тоску. Пусть мужается и про себя утешается, что он настоящий мужчина.

И вы, мои милые, не горюйте. Будем верить, что это не отразится на его здоровье, как с Петей.

А что касается Лизаньки, то я верю, что она не подкачает русскую литературу. Нельзя подвести честь фамилии.

Мой Боря очень болен, и, по-видимому, навсегда. К тому же все хвори, помимо главной, льнут к нему с какой-то роковой неотступностью, и не знаешь, как ему помочь и уберечь.

Вы же все, мои дорогие, будьте здоровы, и чтоб всё было хорошо. Целую и обнимаю крепко.

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам 3 июля 1983

Мои дорогие!

Как давно не имею от вас вестей! Мне иногда кажется, что кольцо зноя сомкнулось навеки, и ни вести, ни прохлада к нам долететь не могут.

Я вынуждена в корне изменить распорядок жизни – днем сплю, ночью бодрствую и что-то делаю. Кондиционер – малое спасение, когда кругом словно пылает мироздание.

Мы с иволгой дожидаемся безветренного рассвета, за ней, как всегда, начинают свои остигато азиатские горлянки, на весь долгий день, а дрозды, робко поприветствовав утро, умолкают, напуганные надвигающейся жарой. В начале июня было много ливней, и сад мой так разросся, цветы и травы вытянулись так неправдоподобно высоко и лианы перепутали всё и вся...

Но даже Гопи редко танцует, всё ищет тени и лишь вечером приходит истово смотреть телевизор. Он, вероятно, думает, что я превратилась в черепаху, весь день не высывая головы из дома. Но я ближе к той маленькой бронзовой ящерице, что, как всегда, застывает на белой стене под окном, не мигая, часами глядит на солнце. Каждый год она на том же месте и тикает, как часы, словно заколдовывая время и буйство сада в нереальное неподвижное видение, которое то выплывает, то вплывает в мои сны. А сны долгие, почти весь долгий день. Так, в таком странном полуанабиозе протекает моя жизнь.

**Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам 20 августа
1983**

2 часа ночи, тридцать пять градусов, ничто не шелохнется.

Никогда вопрос жары не стоял так неотвязно и так безысходно. Мои друзья, живущие на четвертом этаже, стонут и плачут. Сплошное моление о влаге и свежем ветре. И ничего!

Прочла на днях прелестную книгу Натальи Крымовой о Яхонтове. И пока читала, мне снова было двадцать лет, и все, связанное с Владимиром Николаевичем, так ожило и разволновало. Вы, вероятно, не знаете, я вам никогда не рассказывала, что он явился причиной, почему мы оказались в Ташкенте.

Алексей учился в Московской консерватории вместе с Михаилом Цветаевым, а затем так случилось, что судьба распорядилась нам жить в одном доме на Новом шоссе; именовали мы его Вороньей слободкой. Наши с Мишей комнаты были в одном коридоре, напротив. Дружили мы с Мишей задолго до его знакомства с Яхонтовым. Когда Цветаев стал работать с ним в его театре «Современник», привел он его к нам, и мы, как и все, влюбились в него, сразу поддавшись его обаянию и чарам его дивного, неповторимого голоса. Но кроме голоса у него еще была жена Лиля, Еликонида Попова. Женщина с очень темными глазами и тихим, приглушенным астматическим голосом. Но Боже, как она не соответствовала тому почти иконописному лику, увиденному и воспетому Крымовой!

Пока мы любили Яхонтова, Миша влюбился в Лилю, и как будто и она в него. И не надо было подглядывать в замочную скважину для того, чтобы увидеть, как трое людей раскладывают свой марьяжный пасьянс. Лиля, по-видимому, все-таки любила Яхонтова больше, и вот началось челночное кочеванье от одного к другому. И начались рыдания и плач Миши – то у Алика на плече, то у меня на коленях. А великолепный Владимир Николаевич играл свою роль с обольстительным изяществом. Помню, в один из «уходов» Лили Миша затащил нас к себе в свою шестиметровую комнату и сидел голодный и заплаканный. Я было уже хотела принести ему еды, как раздался стук в дверь. Там стоял мальчик-рассыльный, держа в руках две корзины. В одной – горшок с дивным кустом белой сирени, в другой – бутылка вина и уйма изысканной снеди и записка: «Завтрак кавалера де Грие».

Так это длилось долго, но Владимир Николаевич по-прежнему приходил на Новое шоссе, и к Мише, и к нам, читал много и увлекательно, вместе с ним приходили поклонницы, обожательницы и любовницы и щебетали, щебетали. Нужно сказать, что избалованный поклонением Владимир Николаевич был крайне неразборчив в своих эротических похождениях. И вот среди тучи женских мошек, кружившихся неизменно вокруг него, возникла молодая, очень

красивая потаскушка, оказавшаяся высококвалифицированной стукачкой. И хотя она была приставлена к Яхонтову, она очень много поработала среди его друзей и знакомых.

Приходила и к нам, когда Алексей, Миша и еще один музыкант музицировали в дни своего увлечения Бахом, а потом Вагнером, внимательно слушала.

И грянул гром. Первого взяли Шишакова, затем Мишу. Им дали по пять лет концлагеря. Потом и Алексей прошел через чистилище допросов и получил три года ссылки в Ташкент.

Владимир Николаевич был страшно потрясен изломанной жизнью трех музыкантов. И вот тут-то и начались первые приступы его душевной болезни. Лиля очень скоро вернулась к нему совсем и продолжала вести свой прежний образ жизни. Это была тихая распутница, которая верила, что ее миссия в жизни – вдохновлять художников. Но почему-то процесс вдохновения должен был происходить в постели очередной жертвы. Так вот, Лилия неустанно вдохновляла других и пихала в Яхонтова свои чудовищные политические дифирамбы – «Монтажи» и ортодоксальные славословия. А у Яхонтова всё росла мания преследования.

Ее в 1945-м предупредили врачи, что он очень болен и что его нельзя оставлять одного. Но тяга к вдохновительным играм была сильнее. Она подолгу оставляла его одного, и ее не было с ним ни накануне, ни в день его самоубийства. Ни я, ни Цветаев ей этого никогда не могли простить.

В ее режиссерских штучках всегда поражало что-то дилетантское и мелкая претенциозность. Это сродни тем *petit jeux*, которые ввели французы в девятнадцатом веке. И даже перед Смертью она не могла от них воздержаться. Цветаев, вернувшись, застал у нее такое «режиссерское оформление» – на столе томики Пушкина, Маяковский и на них урна с прахом Яхонтова, посыпанная лепестками и крылышками бабочек.

Не знаю, сохранила ли она потом эту «композицию» – после того как Миша в ярости сказал ей, что она пошлячка. Нам, воспитанным на дерзостных взлетах Мейерхольда, Вахтангова и Таирова, с их крупномасштабностью и безупречным вкусом, всегда было как-то неловко перед этими Лилиными дамскими упражнениями. И навсегда будет загадкой, как Яхонтов, с его вкусом и аристократизмом, мог нуждаться в такого рода соратнике. Вероятно, ее трудоспособность и другие «душевные» качества были ему нужны.

Простите, что так много вам об этом писала, но книга Крымовой так много всколыхнула. Восторженность ее так трогательна, и в портрете Лили отразилась ее, автора, собственная чистота, ум и тонкость. Так часто бывает с книгами. Когда прочтешь книгу Собинова о Скрябине, подумашь: «Какой противный человек Скрябин!» На самом деле противный сам Собинов. Но, увы, Еликонида Ефимовна не была *santa*

santissima. Что ж, в чем-то всегда выше тот, кто верит и видит высокое в другом, чем тот, кто хранит в душе горечь и не может глядеть через повязку идеализма.

Крымова – прелестный человек и хороший писатель.

Еще раз простите, что окунула вас в дни, давно прошедшие. Мне о них некому рассказать. И поверьте, я в этом рассказе не была злоязычна. Пора кончать это мое не в меру растянувшееся письмо.

Это длинное письмо – доказательство тому, как я по вас, Аленушка и Женя, соскучилась и как вы мне нужны.

Радуюсь, что с детками всё хорошо. Поздравьте Петеньку с моим любимым Булгаковым. Боре желаю счастливо завершать, а Лизаньке – начать свой путь по дороге русской словесности. Поступила ли она?

На днях видела восхитительный сон – это было воспоминание о небывшем воспоминании. Участники – дивное утро, Надя, я и Аполлинер. Его стихи, которые я ему напомнила. Но хватит, надо спать. Крепко целую.

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам 1 ноября 1983 год

Мои дорогие и милые! Шлю эту маленькую цидульку впопыхах, среди разгрома ремонта. Боря вам всё расскажет «наяву».

У нас сейчас стоит дивная теплая осень. Сад возглавляет гранатовый куст – золотое чудо. Его прекрасные плоды похитили воры-мальчишки, совершавшие набеги на мою усадьбу. Они относили орешину и раскрывали настежь калитку. Я в это время читала присланные вами книжки, где благодетельные детки так мило странствуют в сказочной стране, а я жалела, что я не могу стать белой ведьмой, чтоб превратить в истуканов разбойничьи ватаги, испортившие мне Козликин день рождения. У нас всегда была традиция – в его день рождения пятнадцатого октября гости, уходя, срывали каждый себе по гранату. (Гранат на Востоке – символ дружбы и любви). И когда мы вышли, чтобы совершить традиционный обряд, дерево оказалось обобраным дочиста. Накануне плоды висели в зрелой красе, радуя глаз и умиляя сердце.

Словом, мой дом больше не моя крепость, и я, бесстрашный по натуре человек, вдруг ощутила испуг – ибо следующий этап – это врывание в дом, и кто знает, что еще.

У Льюиса изящная профессорская проза, но ему не дана та неповторимая магическая Тайна Алисы, и он уступает автору «Питера Пена» не говоря о патетической и бессмертной лирике «Маугли».

Очевидно, под сводами Оксфорда и Кембриджа ютятся видения, не исчезнувшие до сих пор, пленяя воображение умных профессоров и заставляя их писать сказочные арабески.

Женичка, если ничего не вышло с моим «Спящим Хайямом», то, значит, судьба ему спать до лучших времен. Поэтому, так как у меня нет своей магнитофонной записи балета, может, ты передашь с Борей пленку. Я здесь ее перепишу для себя.

Я по-прежнему отдаю душу глинам, и они скоро начнут теснить в доме книги. Журушка уже воплотился в композицию «Окликание журавлей».

Ужасно по вас соскучилась, и мечтаю, что вы опять меня навестите. Ведь иначе нам не повидаться. Птицы уже отпировали на винограде, поэтому шлю немножко орешков.

Что случилось с Мишей Мейлахом? Он замолк наглухо. Может, уехал навсегда?

Как осень берedit душу! И глаза смотрят на мир, как мои анемоны, с извечным изумлением.

Будьте все здоровы, мои дорогие. Даст Бог, всё будет хорошо у нас у всех, и да минует людей безумие. Крепко всех целую. Не забывайте меня.

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам 22 ноября 1984

Аленушка, Женичка, мои дорогие, дорогие!

Надеюсь, вы не сердитесь на меня за то, что только сейчас отвечаю вам. От моей гостыи вы, вероятно, знаете, что я очень больна и что вместо приятного отдыха у меня она сразу стала сиделкой и подставила плечо в трудную минуту.

Я всё никак по-настоящему не оправлюсь и пребываю в полосе глубочайшей депрессии. Не свойственное мне горевание от своего одиночества и беспомощности, конечно, связано с перемежающимися вспышками болезни.

Ваши вести влились в этот черный поток мыслей и бессильного негодования, когда ожидаемое отвергалось долго и стойко, но жизнь все-таки наехала и сокрушила надежду.

Г. Козловская имеет в виду известие о выселении Пастернаков из Переделкина. Вот отрывок из выступления П. Пастернака в Стэнфордском университете в мае 2010 г.: «Арендаторы дач Чуковского и Пастернака отказались выселяться на основании того, что их дачи

уже давно стали посещаемым музеями. Отец писал письма всем сменяющимся в те годы генсекам, нас поддерживали известные общественные деятели и люди искусства. Суды длились почти четыре года..., но весной 1984 года, в результате незамысловатой процессуальной махинации, суд, «в связи с неявкой ответчика на заседание» (отцовский бюллетень был «потерян» в суде), решил дело в пользу Литфонда. Отсрочка исполнения была выдана до конца сезона. Но 17 октября 1984 года внезапно за считанные часы пастернаковский дом был опустошен силами литфондовских рабочих самым варварским образом. <...> Поднятые телефонным звонком дежуривших на даче М. и Е. Помещиковых, мы кинулись в Переделкино. Я кое-как упаковал висевшие по стенам картины и витрины с рисунками Леонида Осиповича, родители уложили книги из дедовского кабинета в разваливающиеся чемоданы Станислава Нейгауза. Бумаги были увезены несколько лет тому назад Н. А. Пастернак к ней в Лаврушинский переулок. Поднявшаяся на Западе и в общественном мнении волна протестов защитила дом Чуковского от аналогичной участи и помешала Литфонду поселить в доме Пастернака предполагавшегося писателя. Дом несколько лет простоял пустым и незадолго до столетнего юбилея Пастернака был передан на баланс Литературного музея для устройства в нем мемориальной экспозиции». – *Примеч. сост.*]

Я как никогда чувствовала вас, душевно соприсутствовала, и по праву любви вашу беду чувствую от себя неотделимой.

Но чем мне помочь вам, мои дорогие? У вас осталось гордое превосходство победителей, несломленная сила духа, так как храните вы то, что вечно. Этого у вас никто никогда не отнимет.

Пусть будет занесен топор над вечностью, над обиталищем, над хранилищем дней прожитой жизни, и наступит неумолимость уничтожения физического естества вещей, что извечно в мире – «было и не было», – бессмертными и неподвластными ничему останутся «луч, что обещал и не обманывал»^[334], все строки гения, запечатленные навсегда в памяти и сердцах людей, его нетленный мир, вечная жизнь его поэзии. Они спасены и защищены собственным существованием.

Меня как вихрем унесло в этот мир, захлестнуло и закружило, как мощным ветром, и я живу в восторге, с всё накипающей любовью, что всё прибывает, в благодарности за то счастье, которым он нас всех одарил. Я ничего, кроме него, не читаю. И все любимые строки становятся еще любимей, становятся лучшими мгновениями моей жизни. А они, оказывается, могут быть, даже когда тело так угнетено недугом и душа удручена собственным течением бытия.

И я благословляю это бесценное общение.

Как бы мне хотелось наделить вас этим моим чувством, чтобы оградить вас от печали, чтоб не осталось в вас горечи поражения в житейской борьбе с житейскими жесткими силами! Переступите через них и, если можно, не оглянитесь. Как всегда в напряженные минуты жизни, я после вашего письма загадала на «Фаусте». Выступила строчка – «Пускай их колдуют!»

Спасибо за книжки. Я по-новому оценила переводы Лидии Леонидовны^[335]. Она очень чувствует строй и интонации и биение ритма стиха брата. Спасибо ей. В симпатичной книге Ал. Л.^[336] много интересного и славного.

За болезнью не заметила, как сад стал золотисто-прозрачным и осень глядит сквозь какую-то прелестную легкую пелену. Журка радуется дождям и всё зовет Борю. А тот больше месяца в больнице, где врачи борются с наступающей угрозой астмы. Всё очень грустно. Вот и бегу к пастернаковским волшебствам и окунаюсь в такую полную «известность».

Родные мои, да хранит вас Бог. Берегите друг друга, замените печаль гордыней! Она будет вам не в упрек. Всех вас целую и очень люблю. Извините за дурной почерк.

Я не могу найти у себя листка с «Больницей». Если можно и нетрудно, пусть Петя мне перепишет. Очень их хочу. Не знала раньше «Зверинец» и «Карусель»^[337], может, и их тоже пришлете. Еще раз обнимаю моих дорогих.

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

4 января 1985

Мои дорогие, дорогие Аленушка и Женя!

Вот и Андерсеновское рождество прошло, доброе, веселое, со свечами и запахом хвои. И Новый год уж наступил, и дни пошли обычной круговертью, но всё же, у меня почему-то зародилась надежда, что будет этот год Коровы и Быка добрым ко всем нам.

Я рада, что Крыса с Мышью канули в черные дыры безрадостных галактик, где некого губить и где хищный их оскал никого не устрасит. И когда из-за луны разом выставили рожки с Коровой Бык, я вспомнила, как дивно пахнут молоком и сеном добрые и славные их морды, которые я любила в детстве целовать. И почему-то вдруг поверила, что люди вдруг очнутся и приникнут ближе к забытым прелестям земли, к ручьям и травам и, может, вспомнят о родстве с добрейшей тварью, что целый год их будет охранять.

Я верю, что неизменно их кроткие глаза будут глядеть сквозь добрые ресницы на всех детей земли, к которым пришла жизнь с глотком первейшим молоком. Она дающая, она кормилица, а он, могучий и бесстрашный, нас охранит от бед. Мне не надо быть индусом, чтобы чтить «Мать-кормилицу», и мы едины в чувстве, что «Проклят тот, кто не видит Бога в глазах зверя».

Послезавтра будет наш русский сочельник, и хоть мы сядем за стол с Борей, когда на небе появится первая звезда, я знаю, что придут ко мне толпой иные зимы, иные кануны рождества, такие счастливые и навсегда ушедшие. Какие они были нерасплесканные в своем чувстве, как была нерасторжима связь со всей поэзией Вифлеемского чуда, и какой в душах был свет и радость. Я вспоминаю, как у бабушки в эту ночь под скатерть стелили сено и как блюда покоились в углублениях, словно в яслях. Еда была постная, в доме пахло грибами, и румянились пирожки, и во всех комнатах плыл запах оттаявшей хвои, и наряженная елка мерцала в ожидании нас в большой неосвещенной комнате.

Есть у меня и елка, и дух ее всё так же вечен, но нет живых свечей, и не услышу я колядок, так как аппарат испорчен и замолк.

В последний раз я слышала колядки, которые мне играла Аня на своей милой дудочке.

Не знаю, дошли ли до вас слухи о нашей небывалой по стуже зиме.

Больше месяца город замерзает. Он совершенно не был подготовлен и оснащен, чтобы встретить наступивший внезапный холод. По очереди вышли, а то и разом, местами, газ, электричество, вода. Помимо стихий как с цепи сорвались все виды головоугодия. Словно не люди, а бесы глумились над людьми, потому что там, где вокруг маячил рубль (и не один, а сотни), то почему-то всё можно было исправить. В домах температура была от четырех до девяти тепла, в детсадах – ноль. Вышел приказ в больницах не делать операции!!! Лед на улицах не скалывался, люди падали без конца и ломали руки и ноги. У меня в доме по утрам бывало девять, я зажигала на кухне духовку, угорала, но к вечеру у меня было плюс двадцать. Так мы с Журушкой томились до вчерашнего дня. Небо мутное, укутано всё изморозью, но уже на дворе плюс два.

...Сегодня день молитвы и печали – сегодня восемь лет тому назад мои глаза в последний раз видели Алексея, когда он уходил еще своими ногами, поддерживаемый Борей и еще одним учеником, прямо навстречу смерти. На следующий день он уже никого не узнавал, а девятого был конец.

Все казнюсь, что я ничего не делаю, не умею делать для посмертной жизни его искусства.

Недавно пришел ко мне один энтузиаст, который хочет оставить «Улугбека» прямо на площади Регистан (вернее, внутри медресе Тилля-Кари), словом, сделать нечто в роде того, что сделали итальянцы, поставившие «Отелло» Верди на древнеримской арене-амфитеатре

(*Arena di Verona*). Это было великолепно, я видела и слушала передачу по интервидению. Декорации из белого пенопласта рабочие воздвигли на глазах, и они легко обрисовали башни, переходы, площадки, второй и третий ярусы, где пел и двигался хор. На главную роль пригласили нашего Атлантова, который после работы с настоящим учителем пения в Италии из зажатого и давящегося певца, каким я его помню в Большом в роли Германа, тут вдруг предстал блистательным исполнителем Отелло, с огромным, безбрежным голосом, полным красоты и свободы. И я не удивилась тому, что он сейчас считается лучшим Отелло в мире.

То, что задумал молодой режиссер с «Улугбеком», может быть очень интересно, потому что это единственное место в Союзе, где можно ставить большую оперу на открытом воздухе, прямо под улугбековскими звездами. Но тут много сложностей и всяческих трудностей, и я поверю, когда это начнет осуществляться.

Помолитесь, чтобы получилось.

...Передайте мои поздравления Леночке и Маше, как они поживают, не вышла ли Машенька замуж? Ведь она теперь совсем взрослая. А Лизаньку трудно представить уже большой. Еще раз всех крепко целую.

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

14 января 1985

Милая, милая Аленушка!

Ваше письмо пришло на старый Новый год, вторая весточка от вас в этом году. Это хорошо, значит, чаще будет связь.

Зимую что-то тяжело, тоскую много, и лишь журавль порой кричит за нас двоих. Кричит он много, днем томясь по воздуху и воле, а ночью вдруг пронзительно кого-то призывает.

Оказывается, и до вас дошло сомовское паскудство^[338]. Черт бы побрал этих старых дур, предающихся воспоминаниям того, что было и чего не было. И корчит их всё писать, словно бес толкает их в ребро, и разливаются они, в своих реминисценциях путая всё – дома, даты, людей и их обличья, оставляя неизменной и выставляя напоказ свою пошлость и бесцеремонность.

Сомовское фамильярничанье с прошлым людей, к которым она не имела никакого отношения, развязность, с которой она говорит о вещах интимных и болячих, отвратительна.

Как она посмела разгласить по белу свету гаршиновскую драму Анны Андреевны! Залезть с грязными руками и болтливым языком в ее великую боль, о которой знали близкие, но до которой никто из порядочных людей не смел коснуться, и разводить литературные турусы гнусно, гнусно и гнусно.

Я видела Сомову один раз в жизни. Она сидела у Анны Андреевны с мокрым лицом и с помятой шляпкой. Когда она ушла, Анна Андреевна сказала мне и Козлику – «Вы не представляете, что только что была за сцена. Она пришла и, как была в шляпке, плюхнулась передо мной на колени и стала рыдать: «Вы больше меня, Вы больше меня!» Я могла только развести руками и сказать: «Ничем не могу Вам помочь». Нет, какова мизансцена!» Я помню, как мы смеялись и как потом Козлик всё повторял – «Рыдала, и, главное, в шляпке!»

Это она наглухо забыла или запрятала в своих воспоминаниях. Зачем такое вспоминать?

В дни войны цепкая пройдоха втиралась к именитым людям, прославляла, делая в своих переводах узбекских Маяковских, где в постели, где на страницах печати приклеилась к их именам, и так, мешая русскую и узбекскую знаменитость и приятельство, «выбила» себе перевод и квартиру в Москве. На том на тридцать лет и канула.

Вдруг я узнаю, что она собирается писать воспоминания об Анне Андреевне, упорно добиваясь моего адреса. Я его не давала, но она наконец его раздобыла и написала мне письмо, где изложила мне целый ряд бредовых неправд и просила меня исправить, если что не так. Я испугалась, что она навалит Бог весть что, и вдруг сдуру решила ей помочь исправить и написала кое-что о днях нашей дружбы с Ахматовой, о которой она ничего не знала. Сейчас я клянусь свою искренность и желание ей помочь.

В ответ на это мое письмо получила превыспреннюю телеграмму – «Благодарю Вас за красоту Вашей души». Затем последовало от нее письмо, в котором она вцепилась в меня мертвой хваткой. Она сообщила мне, что она уже договорилась с каким-то издательством, что напишет о дружбе Ахматовой с Алексеем статью, которая будет называться «И зацветает ветка за стеной» (из стихотворения, посвященного нам). Поэтому я должна срочно прислать ей музыку, фотографии, письма, описать его наружность, цвет глаз, и пр., и пр. Вспомнить всё, что могу, в подробностях и прислать скорей, скорей. От наглости и бесцеремонности у меня захватило дух, и я поняла, что ждать хорошего от этой пьянки нельзя. Я не ответила и замкнулась, как улитка, в раковину молчания по сей день.

Когда в журнале появилась ее публикация, я ей не ответила. Письмами и подсылаемыми ко мне людьми она старалась вывести мое мнение об ее увраже. Я молчала. Вестники спрашивали, может ли она напечатать мое письмо к ней. Я молчала.

И вдруг на Новый год получила от нее открытку, где она пишет, что мое молчание по поводу печатания моего письма она принимает как знак согласия. А! Каково! Я пришла в ярость и попросила свою приятельницу написать ей, что я решительно запрещаю ей это делать.

Письмо, написанное доверительно ей, с предполагаемым убеждением, что в порядке обыкновенной человеческой деликатности оно будет принято как таковое. Но, очевидно, все, что я там приоткрыла, оказалось слишком соблазнительным куском сведений, чтобы хищница с пустой душой отказалась набить свою суму.

Мне, всю жизнь так бережно хранившей сокровенность неомраченной дружбы, то, что было одним из прелестных даров, отпущенных нам этим любимым человеком и поэтом, чтобы всё это стала трепать пошлячка на страницах пошлого журнала, заглядывая в щели и окошко чужой жизни!!!

Эта мысль для меня невыносима, как невыносим весь этот мелкий рекламизм, рядом с чудовищной прозой дурного тона, какой дама разливается о красотах азиатской природы и гор. Боже мой, Боже мой, за что?

Я не говорю уже о том, что в воспоминаниях она сделала из меня «поклонницей таланта» и загробной сводней, привезшей с могилы Алексея горсть земли и высыпавшей ее на могилу Ахматовой. Нет, вы только подумайте, какое чудовищное, пошлейшее измышление!

Я в ярости! И что там говорить, когда она путает места, дома, стихи. Лихо пишет о могилах, а наградила Козлика серыми глазами, словно не видала его дивных карих глаз. Почти бальзаковских^[339], с золотой искринкой.

Фразу, которую Вы, Аленушка, цитируете из моего того письма, подтверждаю.

Я очень сожалею, что единственный случай, когда могла бы вспомнить, как пришла к нам Анна Андреевна и с радостной и горделивой улыбкой, показывая письмо, сказала: «От Борис Леонидовича», – и прочла, а я сейчас помню только первые слова: «Дорогая, дорогая Анна Андреевна!» Помню, что в письме он писал о своем восхищении «Поэмой без героя». Как горько, что не запомнила великолепных, точных и удивительных пастернаковских слов. Помню только чувство, что осталось – словно колокол хвалы оставил долгий гул, а слов не помню. Наверное, письмо это хранится в ее наследии^[340].

Вот это было единственное на моей памяти эпистолярное общение Борис Леонидовича с Анной Андреевной.

Но в жизни Анны Андреевны он всегда присутствовал как человек, которого она искренне и глубоко любила, и поэт, первейший из первейших. У нее было одно особое выражение, которое появлялось на ее лице, когда она говорила о трех людях – когда звучало имя Иннокентия Анненского, Михаила Булгакова и Бориса Пастернака. Что-то нежное, бережно утаенное и хранимое. Улыбка при этом как-то

растекалась, глаза сосредотачивались, а взгляд уходил куда-то внутрь, не видя собеседника. Даже очень любимый ею Осип Эмильевич не был причастен к этому выражению – вероятно, слишком велик был трагический груз сопережитого.

Я помню, как часто в беседе она вдруг восклицала: «А вот у Пастернака...» – но что смыли десятилетия, да простит мне Бог и две великие тени.

Из жен Бориса Леонидовича она сердечно и тепло относилась к Женичке. И за то, что Женичка привела меня к ней в холодную каморку в холодный хмурый день, я навек ей благодарна и благословляю этот час.

Сама Женичка как-то, мне казалось, не тянулась к ней душой и не распахнулась. Стихи скорее ценила, чем любила, и тут же брала за руку Пастернака и ставила на первое место. Вообще Женичка была очень ревнива к Пастернаку во всех отношениях.

Как вам известно, Анна Андреевна терпеть не могла Зинаиду Николаевну. Помню, как она рассказывала, как та однажды вывела ее из терпения. Каждый раз, когда Анна Андреевна звонила по телефону, Зинаида Николаевна всё время повторяла: «Мы с Борис Леонидовичем, мы с Борис Леонидовичем», – пока Анна Андреевна в раздражении сказала: «А нельзя ли просто, Борис Леонидовича?».

При упоминании об О.В.^[341] она молча поводила плечами и никогда ничего не говорила.

При моей последней встрече с ней в Москве она мне вдруг сказала: «Нет, Цветаева меня не любила, не любила». Когда я ей сказала: «А стихи, такие стихи к Вам», – она махнула рукой: «Ах, это всё литература». И была в этих ее словах убежденность и почти суровость: «Не спорьте со мной».

Еще, помню стихи Пастернака она вспоминала и повторяла наизусть («А вот у Пастернака!»), стихов же Цветаевой никогда не вспоминала и никогда о них не говорила. Может, так было только с нами – не знаю. Аленушка, если что Вам будет нужно у меня узнать, пишите, я с радостью, если смогу, постараюсь быть полезной.

Сейчас уже за полночь. Журка мне кричит, что пора тушить свет и ложиться спать. Вдруг как увидела ночной переделкинский дом. Хотелось бы знать, как «длится день» у надменного пришельца^[342], в стенах, где, как сквозняки, навеки текут флюиды вдохновения, где рождались строки и слова, пронзавшие сердца людей, бесценные для поколений, – и лишь ему, хмурому пришельцу, неслышные в паучьей глухоте. Если честолюбивая шотландка^[343] бродила по ночам, стирая кровь, своею тенью пугая стены замка, то как бродить и чем дышать пришельцу с раскосыми глазами в чужом, захваченном им доме? В чужом дому быть только беде. Не будет ему радости в чужом дому. Я знаю.

Вас же, всех моих дорогих, крепко обнимаю и люблю. Хочу вам всем здоровья и радости, что можно быть всем вместе, храните это счастье. Целую нежно.

Галина Лонгиновна

Р. С. Боря шлет свои самые теплые пожелания и поздравления.

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

26 июня 1985

Дорогие мои Аленушка и Женя!

Получила вчера ваше письмо и очень порадовалась вашей встрече с Валерианом и его многочисленным семейством^[344]. Как будто бы и я увидела и побывала со всеми вами. Очень я по брату скучаю.

<...> Прочла в Литературке статью некой дамы о Булгакове и его пьесах. Первая часть расплывчата и не очень вразумительна, вторая, о «Днях Турбинных» в театре «Современник». Кроме похвалы Пете и его напарнику^[345] ничего доброго по существу нет.

Мне стало грустно от этого отпевания изумительнейшей пьесы. И не знаешь, действительно ли виновато время, иные люди в зале, не тот режиссерский уровень, не сумевший увлечь или же дурное предрасположение автора статьи.

И вспомнились спектакли первых дней, которые потрясали душу и стали эпохой в жизни поколения. И ничто не может затмить эти впечатления, которые относятся к самым высоким переживаниям, связанным с искусством. Поэтому кислый «объективизм» дамы-критика для меня несносен.

Вкладываю письмо к Геннадию Николаевичу^[346]. Да благословит Бог Женичку на подвиг выцарапывания обратно злополучных партитур. Миша почему-то думал, что Геннадий Николаевич полюбит музыку и будет ее играть в своих концертах. Козлик в польской своей гордыне никогда никому себя не предлагал и, вероятно, очень бы на меня рассердился за эту мою попытку. Но посмертная жизнь художника имеет свою судьбу, иной раз пугающей и трагичней печальных и горестных перепетий, испытанных при жизни. И какая-то сила тянет становиться фаталистом и предоставить времени, как говорила Анна Андреевна, всё поставить на свои места. Мне, вероятно, этого не увидеть.

Крепко вас целую, мои дорогие. Жду положительного ответа о приезде в конце августа. Боря, Журушка и я ждем этого с нетерпением. Всех детей разом обнимаю.

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

Август 1985

Мои дорогие Аленушка и Женя!

Получила вашу посылочку. Спасибо за лакомства и за изысканную приправу. Мы привыкли к более ширпотребным удовольствиям, которые, тем не менее, хорошо сдабривают еду, а тут элегантность коробочек привела в восхищение, почти детское, а может, полудикарское. Но нет, я с детства любила милые коробочки больше, чем кукол.

Кстати, о детстве. У меня сейчас лежит на столе седьмой номер «Панорамы искусств», где напечатаны несколько рисунков Русудан Петвиашвили. Ее рисунки, сделанные в тринадцать лет, совершенно изумительны. Ее поразительное по оригинальности виденье и воображение стоят многих и многих взрослых потуг в искусстве. Это не детство, это высшая тайна, отпущенная детству.

В книге много лиц и людей, которых я знала. Вдруг еще раз четко ощутила, что я, оказывается, долго живу на свете. Скольким, кого знала, теперь жить только в книгах, и, когда они возникают – боже, сколько воспоминаний нахлынет вдруг.

У Алпатова есть панегирик Абраму Марковичу Эфросу. И сразу вспомнились дни войны, тогдашние долгие для нас с Алексеем волнения, связанные с постановкой «Улугбека». Вспомнились энтузиазм и удивительная преданность и помощь Михоэлса, Эфроса, Тышлера, Усто Мумина. Как они ломали копья, как преодолевали множество преград, как они любили музыку этого творения, как понимали и любили ее создателя и не жалели сил для воплощения этой оперы.

Сразу увидела в ложе сидящего Зускина, его профиль и подбородок, который он всегда держал правой рукой. Всегда, когда он не был занят в своем театре и шел «Улугбек», он неизменно сидел в одной и той же ложе на своем месте. Сколько лиц, сколько любви, сколько радости в самые тяжкие дни войны и в неописуемой гофманиане жизни и быта.

Вспомнился и ты, Женичка, – тоненький, бледный и высокий, приходивший после воинских перекличек военкоматских наборов.

Вспомнился вечер, уже много позднее, после войны, в пору сокрушения «формалистов»^[347]. Козлик получил свою долю заушательств; очень гордый и очень ранимый, он впал в состояние депрессии. Не мог и не хотел писать и замолк надолго. И вот пришел к нам тоже «раздолбанный» вдрызг Эфрос, и не могу без волнения вспоминать, как этот острый, колющий и не ко всем добродушный человек вдруг нашел такие ласковые, задушевные и высокие слова, которыми он утешал упавшего духом художника. Это только люди, впавшие в отчаяние, могли говорить, утешая: «Друг мой, Вы должны писать, Вы художник, и пусть не сейчас прозвучит, но ведь должны же потомки что-то открывать в нашем времени». И долго этот раздавленный человек, умный и с пронзительным жалом к искусству, ставший наивным и добрым, всем сердцем сострадавший опечаленному художнику, говорил, утешал и врачевал.

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

14 августа

<...> Вот уже и август перешел к своей половине. Днем еще бывает жарко, зато ночи прохладные и полны предрассветным ветром. Домик, стоявший с задраенными окнами и дверьми, как подводная лодка, всплыл навстречу воздуху и саду. Сейчас всё нараспашку. Сад так прекрасен, что каждый раз, когда я выхожу на крыльцо, я испытываю боль и пронзительную печаль, от мысли, что всего этого у меня скоро не будет.

Вся символика моих снов полна всё той же странно-светлой грустью – всё те же деревья, удивительные и прекрасные, осеняют дома и города без улиц, где таится моя конечная цель.

Почему-то именно в это время года мне особенно не хватает Алексея, и я всё с новой силой чувствую его уход.

Что-то вспомнилась сегодня одна милая привычка нашей с ним жизни. Он часто перед сном любил импровизировать мне маленькие, фантастические новеллы. Началось это всё с забавных, полудетективных приключений английского профессора, носившего почему-то имя «мистер Бизнес». Он изобрел такую машину, которая позволяла ему жить не только в будущем, но и в прошлом. В этом прошлом он разгадывал и распутывал разные таинственные загадки истории и человеческих судеб. К моему стыду, я почти все их позабыла вследствие особенности своей памяти – я плохо помню сюжет. И в стихах, и в прозе помню аромат, стиль, тайну и ауру вещи с необыкновенной стойкостью ощущения.

Из всех этих многосерийных импровизаций я особенно запомнила одну. Однажды мистер Бизнес через время и туманы Парижа проник и приблизился к дому Шопена. За стеклом двери он увидел и услышал, как Шопен сочиняет неведомое потомкам произведение. Записал, затем разорвал и выбросил листки в окно. Их умчал ветер, и мистер Бизнес бросился их собирать. Он собрал их почти все, кроме последних четырех тактов. Долго и тщетно их ищет неустоимый профессор, чтобы полностью открыть своим современникам утраченный шедевр.

Когда Козлик кончил рассказывать эту новеллу, я спросила: а что слышал Бизнес, когда играл Шопен? Тогда он встал и сыграл мне на рояле очаровательную пьесу – без конца. Вот так, вместо рисунка, новелла получила музыкальную иллюстрацию.

Ах, Боже, какое это было счастливое время!

К вам, наверное, зайдет пара моих молодых друзей. Я просила их привезти, если это им удастся, каких-нибудь даров юга, чтобы вас порадовать. Примите их хорошо. Они славные, Мила и Игорь. У себя я бы вас закармливала виноградом, который висит в великом изобилии над шипангом и под навесом. Но, увы, не можете приехать. Я должна смириться с моим разочарованием. Мои самые дорогие, целую всех крепко, и да хранит вас Бог. Лизаньке ни пуха ни пера. Всё будет хорошо.

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

26 декабря 1985

Мои дорогие, мои милые! <...>

Близок Новый год, девятый год последних часов живого еще Алексея. Он присутствует в своем доме и во мне, и смерть кажется еще более непостижимой и непонятной, чем когда-либо.

Этим летом довольно много писала стихов и жила странной ночной жизнью, когда только мрак и сад давали возможность дышать. Дни были ужасны испепеляющей жарой. У нас и сейчас бывают порой теплые дни, даже после снегопадов. Журка и сейчас бродит в саду и радуется свободе и воздуху после дней затворничества. Испытали мы в дни Ленинабадского землетрясения несколько долгих и очень напугавших минут. Всё колебалось медлительно и долго, и испуг был, как всегда, томительный. Что-то земля повсюду отдана каким-то апокалипсическим содроганиям.

Вот уже несколько дней не могу отделаться от впечатления одного сна с продолжением на другую ночь (как сказала одна маленькая

современная девочка – что она видела сон, а потом его перевели на другую программу). Хочу с вами поделиться, вдруг вы мне расшифруете его символику, которая, несомненно, в нем присутствует.

Мне снилось, что я вылепила из глины чашу, величиной с большую тарелку, а вокруг края чаши сделала выступающий обод (сантиметров десяти в ширину). Затем я зажгла свечу и поставила ее в чашу. И вдруг возник за пламенем свечи мальчик Моцарт. Он взмахнул руками и начал дирижировать, хотя оркестра не было. От взмаха его рук на ободке стали возникать нотные знаки и, сменяя друг друга, бежали по кругу чаши, вместе с ними звучала музыка, незнакомая, но очень моцартовская. Я слушала и хотела запомнить, но внезапно проснулась. Весь день вспоминала сон.

На следующую ночь я снова во сне поставила в чашу горящую свечу и увидела в какой-то комнате у дверей группу мужчин и женщин (из них многие были в зеленых нарядах). Они застыли в неподвижности, внимательно слушая. А я очутилась в соседней комнате, где за клавесином сидел взрослый Моцарт и играл. Я же сидела в кресле за его спиной в отдалении и снова слышала музыку, но, захваченная, не пыталась ее запомнить. Внезапно упала на пол моя палка, с которой я хожу, от стука Моцарт вздрогнул и обернулся. Я бросилась к нему и проснулась. Лица его я не запомнила, словно и не видала.

Всё ломаю себе голову, что стоит за этим сновидением. Но я, верно, надоела своей болтовней всё о себе, всё о себе. Что делать, ведь надо же знать друг о друге. Вы, Алёнушка и Женичка, передо мной в долгу и должны мне написать о вашей жизни, о детях и о своей работе, о здоровье и событиях. Я даже до сих пор не знаю, поступила ли Лизанька в Университет^[348]. Говорят, уже видели вышедший папин двухтомник^[349]. Вспомни, Женичка, что ты мне обещал. Порадуй, будь волхвом.

Мне грустно, что я теперь ничего никому не могу дарить. Я теперь вроде моллюска прикрепленна к днищу корабля, который плывет сам знаешь куда.

Мои дорогие и любимые, да благословенна будет ваша жизнь в наступающем Новом году и да пошлет вам Бог много, много раз зажигать елочку на Рождество в годы грядущие. Будьте здоровы, счастливы и берегите друг друга. Всех вас обнимаю и люблю. Журушка кланяется, Боря просит передать вам всем его самые теплые поздравления. Не забывайте меня, мои милые.

Ваша вполне взрослая Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

Май 1986

Я нашел в себе мужество, чтоб оглянуться назад.
Трупы прожитых дней устилают мой путь,
И я плачу над ними.

Гийом Аполлинер

Мои дорогие, мои милые!

Хочу верить, что вы не сердитесь на меня за мое долгое молчание, за то, что до сих пор не поблагодарила за бесценный дар – папин двухтомник. Но вы поймете и простите меня, когда я расскажу вам, в какой трудной полосе я нахожусь. Я все-таки обязалась написать воспоминания об Алексее как предисловие к книжке с его статьями и докладами о музыке. Пока дело шло о детстве, юности и Москве, всё было сравнительно легко. И даже первые дни и год в Ташкенте, с охватившей влюбленностью в Восток, было по-счастливому волнительно вспоминать, но чем дальше – всё трудней и мучительней. Тогда, несмотря на подводный айсберг ссылки, была пленительность изумления (самое, по-моему, счастливое из дарованных человеку свойств). Потерявший способность удивляться теряет способность видеть.

А тогда виделось и чувствовалось много и ярко. Зато дальше началась жизнь, когда художник вошел в соприкосновение с миром людей «искусства» и с гнилостностью ненастоящей жизни. И чем дальше, тем она страшней. Писать о том, что было, – нельзя. Надо писать, обходя правду жизни, и это всеми безмолвно признается как нечто само собой разумеющееся. Случилось так, что Бог хранил, и мне не надо было знать эти ухищрения.

И вот теперь я горестно буксую и падаю духом. Где мне взять нужный такт и мудрость?

И вообще, встреча с прошлым – страшная вещь... Перед каждым человеком прошлое встает по-разному, то грозно, то горестно, и часто мы в беге дней не замечаем, как много в нем было печалей.

Вот почему я бегу к своим глинам. В них нет гнетущего прошлого, а если оно и присутствует в них, то только в древности воспоминаний, неведомых мне. В них я обретаю полное ощущение настоящего, которое не дает жизнь дня. И если Баратынский, давая определение, что такое поэзия, сказал: «Это полное выражение настоящей минуты», – то я это ощущение обрела только теперь, на самом склоне лет. Но всё же оно ко мне пришло и озарило мой закат.

Вы, к сожалению, не видели моих настоящих вещей, а только мои первые робкие шаги. Я теперь делаю куда более совершенные вещи. Увидев их по телевизору, я обнаружила в них подлинную, удивившую меня самую, ту скульптурную пластичность, к которой я стремилась, но

которую я впервые увидела отстраненно увеличенной. И если до сих пор я в глубине души была не совсем уверена и боялась, что мое запоздалое творчество не достигает настоящего уровня, то тут я вдруг поверила в себя, что я настоящая.

Единственного, чего я никогда уже не достигну, это того, что мне хочется делать более смелые вещи, которые я вижу в своем воображении, но для их воплощения у меня не хватает мастерства и умения, которые, конечно, достигаются годами предварительной работы и, конечно, учением. И порой я не знаю, как отнестись к похвалам моих друзей: «Какое счастье, что Вы никогда ни у кого не учились». Недоучка, верно бы, обрадовалась.

На днях уехала от меня моя Людмила Григорьевна Чудова-Дельсон. Мне с ней было очень хорошо, я на время отвлеклась от своих мемуарных терзаний и полностью отдалась перепадам температуры – от тридцати шести градусов жары до четырнадцати сегодня днем, с ливнями и грозой. В переводе на язык сосудов – в лежку, с лекарствами и прочее, и прочее.

А на дворе, и в жару, и в ливень, дивный сад, в буйстве зелени, с розами и бузиной (это чудесный «микст»^[350], как говорят музыканты). Ирисы и маки сменили «Разбитое сердце». Привезенные из Переделкина алтайские ирисы цвели все эти годы, а нынче исчезли, словно и не были. Они словно не захотели быть, когда перестало существовать их Переделкино, без ваших глаз и без ваших рук, что их растили.

Жду на днях приезда моего друга, игравшего при вас на дудочке^[351]. Он с тех пор навещал меня дважды. Он приехал ко мне на деньги, полученные за выпущенную пластинку.

Сейчас он скооперировался с одним известным саксофонистом, который создал ансамбль, так называемый «Эко-джаз», куда он вкрапливает пение животных^[352].

Этот саксофонист прославился на весь мир своей книгой о жизни среди волков. Год он общался с волками в дебрях лесов Канады. Там он им играл на саксофоне и особенно подружился с волчицей, которая выучилась петь его мелодии. Когда он через год вернулся, волчица повторила всё, что они вместе музицировали, ничего не забыв.

Сейчас они хотят записать байкальскую нерпу, чтобы люди могли познакомиться с звуковой стихией животных. С нетерпением жду результатов этого эксперимента.

Извините меня за ужасный почерк, кроме того, стала часто спотыкаться, как пишется то или иное слово.

Если вы так заняты по-прежнему и замотаны и не можете мне написать – то хоть позвоните по телефону. Хоть голос услышу. Ужасно скучаю, и как много-много хочется о вас всех узнать. Наверное, и вам надо мне многое рассказать. Радуюсь неведомым мне раньше стихам. Какой новый подвиг затеяли вы теперь? Как дети, большие и малые?

Каково будет лето? Упаси Бог только ехать на юг. Катастрофа^[353] не покидает сознания.

Мои любимые, да хранит вас Бог. Целую крепко и жду вестей. Боря просит передать горячие приветы. Какие прелестные папины предисловия к книге^[354].

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

10 ноября 1986

Мои дорогие!

Очень давно не имею непосредственной весточки от вас, очень соскучилась, хотелось бы хоть голос услышать. Пишу вам на крылечке, теплынь восхитительная – двадцать восемь градусов. Цветут хризантемы и дивные белые розы. Журушка гуляет, хоть и постарел и одним глазиком уже не видит. Я же вдруг помолодела. Приписываю это двум вещам – во-первых, пью настой из ореховых шкурок и перемычек. Это совершенно удивительная вещь – в ней присутствует некий витамин жизни – медицинского индекса не знаю. Я на себе испытала его тонизирующее действие. Приводится в порядок и сердце, и кровяное давление, и общий обмен. Знаю бывших больных, которые совсем выбросили лекарства.

Вторая причина хорошего самочувствия – это то, что я с увлечением пишу воспоминания, в основном об Анне Андреевне. Если не собою с ритма и хорошего самочувствия, мечтаю кончить к Новому году.

Долго я хранила всё это в себе, и вдруг хлынуло. Я поняла, что то, что я напишу, будет интересно и, я надеюсь, достойно ее памяти. Преодолела шок от отвращения, полученного от чтений «дамских» мемуаров. Эти рукоделия и словоблудия, развязность и фамильярность очень травмировали. Из всего написанного единственная прекрасная и правдивая книга Лидии Корнеевны^[355]. Пожелайте мне, мои милые, удачи. Как кончу, первым делом пошлю вам – сами понимаете, как мне важно и дорого ваше мнение и впечатления. И еще сейчас мне важно получить от тебя, Женичка, совет и объяснения по одному вопросу. Некоторое время тому назад я получила письмо от Константина Михайловича Поливанова. В нем он мне писал, что «Литературное наследство»^[356], посвященное А. А. Ахматовой, поручило ему собрать всё, что имеется, для раздела дарственных надписей и автографов. Просил прислать рукописные копии того, что имеется. Я даже сначала хотела сделать фотокопии с того, что у меня есть, но из этого ничего не получилось. Затем я подумала: если я удовлетворю его просьбу, не

отразится ли это негативно для моих воспоминаний (хотя я, конечно, не всё это использую). Не будет ли мое *вторичным*? Мне некоторые люди советовали сделать публикацию того, что у меня есть, самой. Но я понятия не имею, как это делается и в каком виде и где это могло бы быть (если это, конечно, имеет какой-то интерес). Посылаю тебе список того, что у меня имеется, а ты мне, бестолковой, объясни внятно и благожелательно, что и как с этим делать. Как ты скажешь, так и поступлю. Вы оба в этой области более компетентны, чем кто-либо, а я дура дурой.

Мне бы не хотелось, чтобы на меня обиделся Поливанов. Как только ты мне всё разъяснишь, я тут же ему напишу.

Я сейчас исключила из жизни почти всё, что отвлекает от моей работы. Не смотрю телевизор, почти ничего не читаю (только немножко хороших стихов перед сном), не принимаю гостей, минимум занимаюсь хозяйством и, главное, не леплю. У меня очень мало сил физических, и хожу я совсем дурно, и всё бытовое для меня порой просто мучительно. Но, к счастью, голова и память не на ущербе, а очень как-то ясны, и есть какая-то полноводность ощущения жизни, настоящей и прошлой.

Пишу и о маме. Кстати, какую из внучек Горького она писала^[357] и каково было имя, а не кличка Тимоши^[358]? Мы очень дружили с Дмитрием Алексеевичем, ее братом (отцом Никиты)^[359]. Он был умный и прелестный человек и во много раз был красивей своей сестрицы – «самой роковой женщины нашего времени», как говорила Анна Андреевна.

Хочу поздравить вас с еще одной пастернаковской кровиночкой^[360]. Была бы феей – подарила бы всё волшебное.

Очень огорчилась, узнав, что Петю впрягли в упряжку^[361]. Козлик долго был скакуном, пока не надел ярмо постоянной службы, и, хотя это дало материальную обеспеченность, всегда жалко было свободы и независимости. Но, очевидно, в наше время это невозможно. Судя по всем моим друзьям, перегруженность и замотанность делами и обязанностями отнимают все силы и время – и нет времени просто для жизни. Очевидно, я – редкое исключение и могу считать себя счастливым человеком. Я могу не знать тех, кого я не хочу знать, я никому ничем не обязана, пока что, пока мне помогает Валериан, я ни в чем не нуждаюсь. У меня есть сад, есть Журка, есть кров, который я люблю, есть люди, которые меня любят, есть мой мир и сосредоточенность – что еще человеку нужно?! Правда, когда брат выйдет на пенсию и не сможет мне помогать, я стану бедной женщиной, а в старости это трудно и некстати.

Но сейчас у меня изобилие. Изобилие птиц и винограда. Его столько, что неведомо, что с ним делать. Вот бы я вас всех бы покормила! Если бы было проще, посылала бы вам, но он не выдержит транспортировки и с отправкой сложно.

Зато у птиц сейчас благодать, наверху творятся такие пиршества и радостные славословия, что не наслушаешься. Прилетели и те, которые здесь не живут, какие-то экзотичные и голосистые. Лучшей хвалы Богу нет на земле. А сад красив такой красой осени, что гляжу часами. К сожалению, уже даже бродить по нему не могу – падаю и вообще хожу очень дурно.

Мои дорогие, может, надумаете в какой-то из сезонов года приехать и погостить у меня? Всё можно устроить, когда Боря не будет летом в отъезде. Он совершенно погибает во время жары. А жара в этом году была ужасная, два месяца стояло каждый день от тридцати девяти до сорока двух, сорока трех градусов. Зато осень удивительная – долгая, теплая, радостная.

Пока же целую и обнимаю вас всех. Надеюсь, все здоровы. Берегите друг друга. Напишите мне непременно. Пожелайте мне удачи. Привет вам от Журки, от Бори, от сада, от осени. Будьте счастливы, мои милые. Еще раз целую.

Галя

Список ахматовских автографов и всё, к ней относящееся:

- 1) Книга «Бег времени» с надписью.
- 2) Письмо, вложенное в «Бег времени».
- 3) «Поэма без героя», машинописная, с надписью: «Дана Ал. К. (15 июля 1946 г.).
- 4) «Поэма без героя». Машинопись, с некоторыми отметками ее рукой. Подарена в 1963 г., редакция 1963 г.
- 5) Записка Алексею Федоровичу.
- 6) Открытка мне (очень ласковая) из Ленинграда.
- 7) Листок со стихотворением, посвященным мне: «Галине Герус – «Заснуть огорченной...»», 1942 г., Ташкент.
- 8) Открытка из Ленинграда со стихотворением «Явление луны». В изданиях печатается с посвящением: «А. К.». Получена как поздравление с Новым годом 15 декабря 1944 г. из Ленинграда.
- 9) Четверостишие Егише Чаренц. Перевод Ахматовой.
- 10) Надпись на исследовании «Пушкин. Исследования и материалы. Изд. Академии наук СССР». Подарено 24 сентября 1958 г.
- 11) Маленький рукописный альбомчик-книжка, написанная рукой Нади Мандельштам: поэма «Китежанка» с ее абстрактными акварельными рисунками и с дарственной надписью Анны Андреевны мне. Подарена ко дню моего рождения 4 февраля 1944 г.
- 12) Три стихотворения, машинопись с ее подписью, подаренная в 1962 г.: 1) «Говорит Дидона», 2) «Последняя роза» («Мне с Морозовой класть поклоны»), 3) «Вот она, плодоносная осень».

- 13) Четыре фотографии разных лет, с надписями.
14) Пять телеграмм разного времени, одна совместно с Надей.

Музыка:

- 15) Романс Алексея Козловского «Царскосельская статуя», с написанием ее рукой всего стихотворения на первой странице.
16) Романс Алексея Козловского «Ива».
17) Музыка к «Поэме без героя» Алексея Козловского с благословения Анны Андреевны. На первой странице – надпись ее рукой шести строчек из «Пролога» («Из года сорокового...»)
18) «Элегическое приношение» Анне Андреевне Алексея Козловского. Написано в ночь с пятого на шестое марта 1966 г.^[362]

Все эти произведения Алексея Козловского до сих пор нигде не издавались.

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

22 февраля 1987

Дорогие мои!

Женичка мой дорогой!

Посылаю тебе, наконец, мои воспоминания^[363]. Прошу перед издательством прощения за задержку, вызванную двумя болезнями.

Ко всему, я очень огорчена тем, как машинистка перепечатала материал. Первую половину (40 страниц) я кое-как исправляла в третьем экземпляре, но вторую мне должны привезти сегодня, чтобы, соединив, тут же забрать. Завтра рано утром человек с ними улетит в Москву.

Дева, которой отдали перепечатывать, внезапно ощутила божественный зуд редактора, и по всему тексту слово, не протертое до дыр, вызывало ее протест. Она беспардонно меняла, скажем, «гофманиану» на «гармонию», «голодные глаза Блока» на «голубые», «клише» на «облики», и т. д., и т. п. Так как вторая половина отсылается без всякой проверки, то я проверю по своему четвертому экземпляру и постранично исправлю и пошлю это тебе.

С нетерпением жду, какое на тебя и Алену произведут впечатление мои воспоминания. Это в первую очередь. Во вторую – как к ним отнесутся в издательстве.

Я долго не могла придумать название и остановилась на «Лебедь века». Не покажется ли, быть может, это слегка манерным? Чего бы

ужасно не хотелось. Но время есть, и, может, найдется что-нибудь получше. Женичка, если найдешь название вычурным, убери.

Писалось с увлечением, но устала я очень. Устали глаза, которые стали хуже видеть.

Последнее время мне часто портят настроение «дамы-друзья» телефонными звонками, где ахи, охи, возмущения по поводу сомовских непотребств в журнале «Москва». Настоящие друзья меня от них берегут, и я второй опус не читала. И считаю, что мне и не надо их читать. Вопли дам все сводятся к тому: «Вы должны! Вы должны». А что я, собственно, должна? И что я могу сделать, если московский журнал настолько беспринципен и невзыскателен, что печатает это вселенский срам, не щадя имени Ахматовой? Ничего себе, воздают памяти поэта! Какую-то бульварную похабщину. При просеивании всего и вся – вдруг такая зеленая улица выжившей из ума старушке, которая меня видела один раз, Козлика – дважды, совершенно ничего о нас не знала и Анну Андреевну знала только по каким-то редакционным издательским делам.

Она никогда ни к чему не имела никакого отношения, и все ее паскудные бредни – вранье и пошлость беспримерная. И куда полезла, и на что замахнулась!

То же чувство беспомощности и беззащитности, когда распоясавшийся хулиган тебя ударит и плюнет тебе в лицо.

Женичка, в рукопись вложены будут две странички о поездке папы^[364] к нам в Степановское. Могут ли они войти в воспоминания, и в каком месте? Они очень точны и правдивы, и я берегу их как один из даров жизни. Ты в это время с Пусенькой был в Степановском и, может, забыл этот день.

Пожалуйста, не щади меня и передай всё, как будет воспринят мой мемуарный дебют.

На меня сейчас навалилась одна затея. Здешнее телевидение собирается делать, как они говорят, «мой портрет». Милая девушка чего-то там придумывает, ничего мне не говоря, и с завтрашнего дня начнутся съемки.

Меня же всё это нисколько не увлекает, за исключением того, что я увижу опять свои скульптуры. Очень странно чувствовать себя в восемьдесят один год неким не то динозавром, не то плезиозавром утраченной ныне «духовности». Чего-то вдруг молодежь кинулась ко мне, пытаюсь узнать тайны сохраненной кумирни искусства и жизни и почему я «такая». Так что можешь передать Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, что у него есть соперник, открытый искателями нравственных истин, на азийской земле. Подспудно зреет опасение, что слишком рьяные прикосновения могут стереть береженое. А вздорное, неумное женское тщеславие про себя горюет: где моя бывшая краса и как я сегодняшняя гляну на себя с экрана, обласканная временем.

Мы сейчас в преддверии весны, и в развороченном неубранном саду, трогательно презирая все неустройства жизни, вознесся пахучий синий гиацинт. <...>

Журушка в ясные дни бродит по саду и всё почему-то закидывает головку, глядя в небо.

Снов удивительных давно не было, но зато многие, что были, перешли в стихи. Пребывание с Анной Андреевной словно приподняло какие-то шлюзы, и стихи во множестве заполняли жизнь.

Женичка, пришли мне имя, отчество Поливанова и его адрес. Я куда-то дела его письмо. Я в ближайшее время выполню его просьбу и пришлю всё, что он просил.

Вот всё, что я могу тебе написать. Да, вот, Миша М. дома в Ленинграде^[365]. Говорил со мной по телефону. Я ужасно рада за его мать и за него, конечно.

Как-то вы все, мои родные, в московской круговерти? Нужно ли говорить, как мне хочется вас повидать? Не теряю надежды. Мой знакомый трубадур приезжал ко мне на день рождения. А вы наполовину ближе, и есть на свете такая махина, называемая аэробус. Очень вместительна. И ничем-то я вас не смогу порадовать, кроме прекрасного солнца, сада и своей любовью. Крепко вас всех целую. Будьте благословенны, мои дорогие.

А рукопись и ее судьбу отдаю, Женичка, в твои добрые руки.

Твоя всегда Галя

Галина Козловская - Петру Пастернаку

29 ноября 1987

Петя, дорогой!

Спасибо вам за благословенного вестника^[366]. Он так вовремя утешил и успокоил меня. Я о случившемся с Женичкой^[367] узнала лишь недавно, так как живу уединенно в отшельничестве.

Меня это сразило, и с тех пор я живу в непрестанной тревоге, в неизвестности. Я не знала, что Аленушка поехала вместе с ним, и разрывалась между двумя терзаниями, написать, позвонить, и страхом, что ей будет трудно и больно мне об этом говорить, и только просила Бога...

Жила всё время до этого с сознанием, что только меня могут терзать недуги, а что вас, вашу любимую семью никакие беды не могут коснуться. Она была в моей жизни, как счастливый, светлый,

огражденный Богом островок. И так оно и будет всегда. Они вернутся, и снова всё будет хорошо, и будем вспоминать случившееся как страшный сон.

Петинька, хотя мы мало непосредственно с Вами общались, но Вы всегда были моим любимцем, и я верила в Вас как в моего человека. Поэтому, милый, возьмите на себя еще одно бремя – пишите мне обо всем до и после того, как они вернутся. Я понимаю, что первое время им будет трудно писать, – поэтому будьте для меня *speaker*’ом их сердец.

Сегодня ночью у меня впервые за все эти дни был спокойный и радостный сон, и хотя я не видела Женичку во сне, как всё это время, я спала с утешенным сердцем.

Я проживаю свой «Рим» и познаю высшее мужество – не отдать себя и свое. Так мы проходим вместе со своей птицей свои уроки дней и лет. Гопи чем-то мудрей меня, и, когда он танцует, я чувствую всю пленительность жизни и движения. Я же двигаюсь плохо, всё хуже и хуже, и, как он, живу в полкрыла. Поэтому мне важны вести о тех, кого я люблю.

25 декабря (в новый сочельник) я позвоню вам и, надеюсь, Бог даст мне радость услышать милые и любимые голоса.

Будьте все здоровы и благословенны. Христос с Вами, а моя любовь всегда с вами.

Ваша, утешенная Вами, Галина Лонгиновна^[368]

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

29 декабря 1987

Дорогие, дорогие мои!

Два дня пытаюсь дозвониться к вам, и ничего не получается. Так и не услышав милых голосов, села писать.

Мои родные! Как мне хочется обнять вас и этим объятьем сказать вам всю нежность, всю любовь! Но чем сильнее и глубже чувствуем, тем мы бываем немотней и бессловесней.

Я радуюсь, что вы вернулись, что всё хорошо, что все вы снова вместе. Как хорошо быть вместе! Через два дня Новый год. Я вижу всё словно в ауре радости и счастья. А все печали, тревоги и болезни пусть поглотят снега уходящего года, и канут, и сгинут, и не повторятся вновь.

Женичка, мой дорогой, как странно, что годы и годы прожиты, сколько всего пережито, а ты для меня всё по-прежнему тот десятилетний худенький мальчик, которого я увидела впервые. И хотя

ты рос, мужал и покорствовал времени, в сердце оставался мальчик, неотделимый от тебя нынешнего.

У меня никогда не было детей. У тебя – смотри, как много! Я пронесла тебя в душе через жизнь, отдав тебе материнскую нежность, и ты живешь в моей памяти особой жизнью невысказанной стойкой нежности. Все тебя любят, каждый по-своему. Я тебя тоже люблю по-своему. Вероятно, у тебя сейчас мало людей, носящих в памяти образ тебя-мальчика и не отдавших тебя времени!

Вероятно, и я для тебя остаюсь молодой, и молодая мама, и дом, и вещи на Тверском бульваре. А потом Алена, совсем девочка с косичками, такая светлая, добрая и прелестная. Затем Петинька, всегда такой безупречно милый...

А теперь у тебя еще один родился Петинька^[369], да будет он для вас всех вечной радостью.

Жизнь лишила нас частого общения, но не смогла порушить то, что любимо.

Я рада, что я дожила до поры, когда в моем народе раздался крик гнева, и он во всеуслышание оплакивает позор своего рабства, унижения и мученичества.

Казалось, мы были свидетелями всему – но нет предела злодействам и преступлениям.

Что же мне написать о себе? Я очень ослабела и всё больше нуждаюсь в уходе. Несколько добрых и славных людей, которые меня любят, как могут, заботятся обо мне. <...>

Писание моих воспоминаний о Козлике застопорилось. Я теперь не так часто леплю, хотя ничего не утратила. Чаще всего пишу стихи. Всё сильнее люблю зеленый мир и всё горше горюю непостижимому самоубийству рода человеческого.

Но тишина моего одиночества имеет в себе то очарование, которое позволяет мне быть счастливой, минуя физические страдания. Я ни с чем не рассталась, хотя в одиночество вошло что-то новое. Я постигла еще одну тайну мудрости. Но об этом в другой раз. Сейчас глаз начинает сердиться, что я долго пишу.

Хочу только спросить, видели ли вы в Оксфорде Исая Берлина^[370]?

Ко мне часто приходит один его ученик. Американский историк и славист, кончивший Оксфорд диссертацией «Русское государство семнадцатого века». Молодой, красивый и бесконечно музыкальный человек.

Пришло ко мне из Америки еще одно чудо (эпистолярное), удивительное, трогательное, небывалое^[371]. Но об этом напишу в другой раз.

Я всё время думаю о том, что вам надо как-то утихомирить завихрения вашей жизни. Аленушке надо встать стеной и не давать людям и делам трепать Женичке его нервы.

Будьте благословенны, мои дорогие, и да хранит вас Господь.

Все будет хорошо. Обнимаю вас и целую, мои нежно любимые дети.
Боря просит передать всю теплоту сердечных пожеланий.
Еще и еще раз благословляю вас, минуя пространства и зимнюю пургу. Ваша вечно

Галя

Р. С. Петиньке напишу, как поправляюсь. Верю в наш уговор – писать.

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

14 сентября 1988

Дорогие мои, дорогие!

Хочу думать о вас часто и нежно. Сейчас мне, наконец, принесли «Новый мир» с Женичкиной разъяснительной статьей^[372], я еще ее не читала, но мне вдруг показалось, что ты просто вошел в мой дом. Я устыдилась своего долгого молчания, хотя знаю, что вы с Аленой простите меня. <...>

Не знаю, то ли от жары, то ли вообще возраст, но что-то случилось у меня со зрением: я стала дурно видеть и боюсь, что мне уже никогда не вернуться к моим любимым глинам.

Одна приятельница приходит ко мне по вечерам и много мне читает.

Бесчисленные Вергилии всё водят и водят нас по кругам не Дантова ада, но во все бездны страданий миллионов неоплаканых мучеников, и хотя мне казалось, что я много знала, то, что хлынуло сейчас в душу, превысило возможности вместимости, и я себя не узнаю. Я никогда не была так печальна, и никогда во мне не было столько ярости и гнева. За всех, за всё, за всё. И часто думаю, что сделал бы Маяковский, писавший тогда: «За всех расплачусь, за всех расплачусь!»^[373], что сделал бы он сегодня?

И всё новые имена возвращаются к нам, и всех хочется обнять и тайком поплакать от жалости к ним, от жалости к нам, к себе.

Не странно ли, что, живя в таком уединении, я живу такой интенсивнейшей жизнью приобщенности к жизненным и культурным потрясениям наших дней? Я никогда не была столь ненасытна и спорю с поэтом: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Блаженны ли мы с вами, или поэт не знал, какими бывают «минуты роковые»?

О, милый, ничего не ведавший девятнадцатый век, какой счастливый в своем незнании! Каким их философ-пессимист

Шопенгауэр кажется плоским и наивным, и хочется ему сказать: «Эх ты, старый лохмач, что знаешь ты о страданиях и радостях? Пожил бы с нами».

Мне хочется поговорить с тобой, Женичка, о «Докторе Живаго» в издании «Нового мира». Конечно, эта публикация – победа и радость великая, и мне хочется вас всех обнять, хоть и с опозданием. Но не могу скрыть от тебя, что изъятие из романа некоторых страниц^[374] меня очень огорчило. Огорчило отсутствие мыслей Бориса Леонидовича об истории, мыслей о том, по каким законам живет наука, по каким искусство. Но больше всего огорчило, что изъятые страницы заседания старых большевиков Антипова и Тиверзина, где они приговаривают Стрельникова^[375] к расстрелу. Это одно из самых гениальных исторических прозрений Пастернака, впервые в русской литературе показавшего, как революционеры, пройдя ссылки и царские подполья, вышли в жизнь революции преображенными – зверообразными, свирепыми и беспощадными злодеями, фанатиками, утратившими человеческие чувства. Это всегда порождало в романе кульминационность смысла, и, изъяв это, вы перерезали главную артерию, и самоубийство Стрельникова не несет за собой этого *рока*, этой исторической правды, которую с такой силой описал папа, впервые, повторяю, раскрывший этот акт преображения человека в лютого античеловека. Гениальное чутье художника. И Стрельников в романе теперь повис, и его конец не производит того потрясающего впечатления, как раньше, и даже не кажется таким уж и неизбежным. Поэтому я рада, что первые издания существуют, и хочу верить, что в дальнейшем ты эти страницы вернешь.

И это чудище «стооко, стозевно»^[376] и по сей день возглавляет все сатанинские дела, что свершаются с природой, с теми апокалипсическими злодеяниями уничтожения всего, чем дышим и живем.

И крики SOS уже запоздали. В этом году Боря снова ездил глубоко на Север в Сибирь и своими глазами видел, что натворили перекрытием Ангары^[377], затопив пространство величиной с Францию. Не стало лугов, не стало сена для скота, нет пищи для зверей и для людей. Резко изменился климат от стоячей влаги – за месяц три дня солнца, остальные – непрерывные дожди, температура семь-девять градусов тепла. Ничто не вызревает. А электростанция, ради которой туполобые всё это сделали, никому не нужна и работает почти вхолостую. Но туполобым этого мало, и лезут всё дальше и дальше, и никто их не остановит в их губительной деятельности.

Этим летом и наш ташкентский оазис испытал климатические изменения из-за гибели Арала^[378]. У нас стала еще больше жара. Обмелевшая лужа соленого Арала, испаряясь, посылает в воздух тонны соли, и ранее плодородные земли, покрываясь солью, становятся бесплодной пустыней. Ставится вопрос, куда переселять народности,

оставшиеся без земли. В Хорезме из-за беспардонного злоупотребления химическими удобрениями и дефолиантами^[379] нет ни одного здорового человека. У всех поражена печень, дети рождаются уродами, а в Каракалпакии матери не могут кормить детей грудным молоком, так как оно горько-соленое^[380]. Да разве всё перечислишь!

Простите меня, что я пишу о таких мрачных и грустных вещах, но вы там, в Москве, не чувствуете это в такой степени, как мы в этом краю. Здесь, как дыни, достигающие гигантских размеров, всё тоже преувеличенных размеров – миллионеры, мафия, антируссизм и прочее. Мой маленький домик обрастает со всех сторон всё гуще автомашинами в гаражах, сверкающими наглым блеском. Хоть, как говорят в просторечии, «жрать нечего», – свадьбы, особенно осенней порой, играют всеми карнавами^[381] и сурнаями, а дымы от жареных шашлыков и пловов вздымаются, как гекатомбы времен Одиссея. Среди всего этого мой садик дремлет в тишине солнечных дней, не шелохнув порой ни единым листом. Он весь зарос, переплелся ветвями и плющом и стал похож на балетную декорацию времен Петипа. Прямо над крылечком висят зреющие кисти винограда, а плющ цветет и благоухает удивительно нежно и даже изысканно.

Журушка пасется вблизи мелеющего прудика, а ночью спит рядом со мной на крылечке. Утро мне возвещает вернувшаяся после зноя иволга, прячась, как всегда, в ветвях ивы над прудом. Днем, если я отдыхаю во дворе, над моей головой всё время вспархивают и перелетают горлянки – от Журкиной пшеницы к его чаше с водой.

Вечера мои благословенны пением дроздов, что долго не хотят спать и всё поют и поют. А я всё сплю, с каждым днем всё больше, иногда по восемнадцать часов в сутки. И вижу сны, очень важные, которые мне надо досмотреть.

Вот и всё почти о моей жизни, можно сказать, жизни в полусне.

Из того же, что случилось наяву, то очень далеко, в Нью-Йорке, в августе, в двух номерах (168 и 169) «Нового журнала» (литературный русский журнал) напечатаны полностью мои воспоминания об Анне Андреевне. Мне об этом сообщили, но я их еще в руках не держала. Мой друг Солсбери утверждает, что это самый престижный и уважаемый русский журнал в Америке. Основан он был в 1942 году Алдановым и Цетлиным.

Знаю, что вы порадуетесь за меня. Несколько дней я была счастлива и почти здорова и даже не спала.

Радовалась я также тому, что видевшие Женичку говорят, что он очень хорошо выглядит, а известие о том, что вы были во Франции, порадовало еще больше. Милые мои, напишите мне большое письмо и помните, что я всех вас люблю. Христос да хранит вас. Целую.

Галя

Р. С. Извините за ужасный почерк и ошибки. Я теперь такая.

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

9 января 1989

Мои дорогие, очень любимые!

С Рождеством и Новым годом вас, мои милые. И на Новый год, и на Рождество пыталась прозвониться к вам, но мой телефон капризничал, и мне так и не удалось услышать ваши голоса. <...>

Если писать вам о себе, то должна признаться, что от моего бывшего оптимизма не осталось следа, это не перемена характера, потому что всё остальное при мне, а апокалипсические обстоятельства мира и жизни вокруг. Синицы в небе и посулы будущих благополучий не утешают, и такая вещь, как надежда, столь же зыбка, как туман, что стал так часто застилать мои глаза. Високосный год Дракона свирепо махнул хвостом перед уходом, повергнув бедную Армению в великую беду^[382]. И весь он был полон вспышек не только на Солнце, но и свирепой ярости в людских душах, и постоянная ярость национальной ненависти бушует, как чума, во всех концах страны. И век безумной технической цивилизации стоит на шаткой и очень страшной основе первобытных эмоций и страстей, как нам казалось, давно изжитых. Во многом мы ошибались, но эта вера была самой ошибочной.

Бедное человечество уповает на мудрость Змеи. Не обладая мудростью в отдельности и совокупности, оно надеется, что мудрость Змеи их спасет. Я никогда не могла понять, почему эту рептилию облекли и возвели в сан самой мудрости. Ее первая акция в Райском саду явно это не подтверждает и привела, как известно, в дальнейшем к бедам человечества.

Из всех видов змей я люблю только бумажных с трещотками на хвостах, которые дети пускают в марте по ветряным потокам в небесах. Это слабость с детства, когда мама сама мастерила огромных красных красавцев и увозила нас за город, чтобы там ликовать и быть счастливыми. В последний раз это было в Англии, когда она увезла нас с братом на цветущие поля и холмы Кента. Поля были желтые от цветущих нарциссов (*daffodils*), а на холмах ветер был упруг и свеж, как то счастье, что мы испытывали при нашем веселом, юном беге. Теперь в городах дети всё реже пускают змеев, и я долго вижу их жалко висящими на проводах, среди тополей моего сада.

Сегодня девятое января. Двенадцать лет, как не стало Алексей Федоровича. Боря, как всегда, отслужил панихиду. Утром читала

Евангелие, и сожалею, что не знаю заупокойных молитв. Но для меня он не там, на кладбище, а со мной неразлучно, в его доме, вместе со мною в моих днях, во все времена года, и только когда снега, мне вдруг становится больно.

У нас сейчас почти настоящая зима, с красивым снегом, но который не пахнет, как в России. Мы с Журушкой зимуем вдвоем, часто взаперти. Я стала совсем дурно ходить, даже не спускаюсь в сад. Бесконечные магнитные бури играют мной непрестанно: головокружение, потеря равновесия, неуверенность каждого шага – всё это мучительно и увеличивает мою беспомощность перед обычной жизнью. У меня катастрофически ухудшилось зрение. Мне уж никогда больше не коснуться моих любимых глин.

Остались стихи, которые порой идут друг за другом. И я поняла, что в них я говорю о том или, вернее, в них всё то, что я не сказала в течение своей долгой жизни. В них вся моя свобода, и нет старости, и нет утрат. Есть чувство жизни и благодарение за этот благословенный дар.

Но едва мысль и чувство перелетят за забор моего уединенного существования, как внешний мир врывается со всеми тревогами, печалью, и деяния людей не радуют, а устрашают. От обилия, как теперь говорят, «информации» душа уже не в силах вмещать столько печали. И вдалеке и вблизи всё грозней и неотвратимей вспыхивают националистические вспышки. И у нас всё нагнетается чувство приближающейся грибоедовщины^[383].

Этим летом в Нью-Йорке в «Новом журнале» были напечатаны мои воспоминания об Ахматовой; мы с моим другом Солсбери ждали этого как радости. Но, Боже мой, что редактор со мной сделал! Мало того что он сократил рукопись на одну треть, но, в целях дальнейших сокращений, брал мою мысль и пересказывал ее своими словами. Словом, убивал мою индивидуальность как мог. В конце ему показалось, что «ветви хвои» недостаточно пышны, и он заменил их «цветами хвои».

Я долго была в ярости, затем успокоилась и закинула книжку на шкаф. А друг мой всё никак не успокоится.

Женичка, черкни мне несколько слов. Не сердись на меня, дорогой, что редко пишу. В плохие дни плохо вижу, почерк мой стал ползти вкривь и вкось. Но я люблю тебя по-прежнему, радуюсь, что ты здоров и что ты по-прежнему много работаешь. Может, побалуешь меня какой-нибудь новой работой.

Я сейчас заболела Шаламовым. Я всегда знала отношение Бориса Леонидовича к нему, и он был достоин этого отношения. Какой чистый родник чистейшей поэзии, и какая душа! Иногда улыбаюсь, читая в стихах пастернаковскую интонацию, раскат, пружинность движения. Но Бог ему простит – ведь это всё от обожания. А глядя на его лицо измученной до конца русской бабы, от жалости хочется плакать.

Порадуйте меня, мои дорогие. Будьте благословенны, и да хранит вас Бог. Грущу, что я уж не увижу вас, если вы не приедете ко мне. Не забывайте меня. Всем вам счастья.

Ваша Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

3 сентября 1989

Мои милые, дорогие!

Как давно нет весточки от вас!

Я не писала, потому что находилась в состоянии грусти в связи с моей бедой. Я катастрофически теряю зрение и живу в мире всё усиливающихся сумерек. Вот уже четыре месяца ничего не могу читать. Пишу с трудом. Так что не удивляйтесь, если это письмо будет коротким.

И всё же у меня появились планы на будущее. В конце сентября меня повезут в Москву, где я буду, вероятно, месяца два.

Дело в том, что в суматохе ахматовских юбилейных публикаций^[384] меня нашла моя родственница, которую я видела в последний раз, когда ей было восемь лет. Сейчас ей шестьдесят восемь.

Когда я была юна, я очень гордилась тем, что у меня есть племянница. Затем жизнь развела. Алла^[385] стала преуспевающей актрисой Вахтанговского театра. Я знала иногда кое-что о ней, но о себе не подавала вестей.

Даже когда времена изменились, надо мной висел комплекс «репрессированности»^[386]. Я боялась, что близость со мной может отразиться на ее карьере, как это было не раз в моей жизни.

Когда она меня обнаружила, она кинулась ко мне со всей силой нерастроченной нежности и любви. И у нас начался пылкий роман двух душ, нашедших друг друга. Она звонит и пишет мне часто, и мы часто говорим по телефону больше часа, и вообще очень добра ко мне.

Этот поток любви – очень кстати в моей ущербной ныне жизни. Он облегчил мне сиротство и одиночество. Я не имею права жаловаться на то, что люди ко мне недобры и заботливы. Но эти отношения, даже обожание порой, – всё же не то сокровенное и неповторимое родство – кровиночки.

Алла – очень энергичный и решительный человек. Она, как сирена, долго звала меня и наконец убедила приехать, чтобы показаться московским окулистам. Я мало верю в успех медицины, так как диабет сделал свое черное дело.

И вот всё запланировано, и в конце сентября меня повезут в Москву. И мы, мои дорогие, снова увидимся после стольких долгих лет. Вот и пошлет мне судьба радость встреч со всеми, кого я люблю.

Из визуальных «радостей» мне остался телевизор, который изредка смотрю. Недавно видела Женичку, который комментировал выставку Леонида Осиповича^[387]. Смотрела на тебя, милый, жадно и вспоминала тебя – десятилетнего мальчика. Зная, что вы не признаёте и не держите телевизора, я не стала предупреждать вас в июне о передачах со мной. Центральное телевидение приезжало ко мне, и засняли много всего: и сад, и Журушку, и меня. Часть заснятого материала они пустили в передачу Литературно-художественного видеоканала двадцать второго июня, в Ахматовский день. В передаче было трое – Алексей Баталов, я и Миша Ардов. Миша был во всех ризах священнического сана, но у него по-прежнему гнездились по бесу в каждом глазу – удивительно, как это в актерской семье он не смог выучить наизусть «Реквием», который ему подарила Анна Андреевна.

Телевизионная группа состояла из очень милых интеллигентных людей, которые окружили меня таким доброжелательством, что мне всё далось легко и без зажатости стеснением. Так что моя роль в этой передаче прошла просто и естественно. Выглядела я весьма пристойно, не портя роскошеств сада. Но главной звездой экрана был Журка. Он и спал, и ел, и танцевал, и любовался собой в мониторе. Телевизионщики хотят сделать из нас часовую передачу в октябре.

По приезде тотчас позвоню вам, и вы приедете ко мне, и мы обнимем друг друга. Тут я и узнаю всё о вас, всё, о чем вам не пишется.

Мой адрес будет, и хозяйкой дома является Алла Александровна Казанская. Это ей Хачатурян посвятил свой знаменитый вальс из лермонтовского «Маскарада», где она играла Нину. В свое время она была примой на сцене и одной из победоносных обольстительниц Москвы. Сейчас она продолжает много играть, серьезно доказав, что она настоящая хорошая актриса.

У нее есть дочка – Оля Барнет, которая также играет в Художественном театре (если это учреждение еще является театром и к тому же Художественным).

Но их обоих мне можно видеть только по телевидению – единственному окошку в мир, который у меня остался, хотя перехлест пошлятины бывает в преизбытке. Но иногда и что-то хорошее прорвется, и могу увидеть и твое милое лицо. Целую крепко и радуюсь скорой встрече.

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

27 октября 1989

Мои милые и дорогие!

Вот и не пришлось нам свидеться, и так грустно знать, что мне уже никогда никуда не тронуться. Тяжелый гипертонический криз и сердечный приступ свалили меня перед самым отъездом в Москву. Сначала врачи думали, что у меня инфаркт, но это оказалась в тяжелой степени межреберная невралгия. Я слегла, и упакованный чемодан стоит неразобранный как напоминание о несбывшейся последней мечте.

Но среди этих дней страданий и испугов был у меня один счастливый день. Когда мне позвонили из Нью-Йорка, что ко мне приезжает съемочная группа американского телевидения, я несколько удивилась. Но всё разъяснилось, когда вошел глава группы – ваш старый друг, а затем ставший и нашим другом – Хедрик Смит^[388]. Он автор снимаемого сценария – фильма о разных аспектах жизни в Советском Союзе. В нем будет и часть, посвященная личностям – людям, которые в годы лихолетья пронесли и сохранили духовные богатства России. Его книга *«The Russians»* до сих пор продолжает оставаться в Америке бестселлером номер один. Он подарил мне экземпляр последнего издания с надписью: «Подлинной носительнице моцартовского начала». Наша встреча была очень радостной и счастливой. Вспоминали вас, вспоминали и наши почти тайные встречи много лет тому назад. Он успел мне рассказать, что развелся с Анной и женился заново. От второй жены у него двое детей. Он, по-видимому, очень влюблен в свою новую жену. Для фильма нашу с ним беседу снимали три часа. Начал он ее словами: «Для меня всегда этот дом и вы оба были художественным, культурным и духовным архипелагом в ГУЛАГе России». Остальное время снимали сад, Журушку, записывали музыку Алексея с пластинок, снимали его портреты и партитуры. Хедрик намерен много о нем рассказать в своем фильме. Я давно не имела такой радостной встречи со счастливым человеком, который тебя ценит и который так чутко понимает даже твой безмолвный взгляд. Он прочел, что мне грустно, что я так постарела, и поспешно сказал: «Не надо, не надо, дорогая, Вас ничто не оставило, и Ваша удивительная жизненная сила вся при Вас».

Но разве в письме радость и встречу расскажешь? Не удивляйтесь краткости моего письма. Я уже скоро полгода ничего не могу читать, и с каждым месяцем вижу всё хуже и хуже. Единственное, что еще могу смотреть, – это телевизор, и то немного. Пишу с трудом, всё плывет. За пределами сада жизнь кипит яростью низменных страстей. По целым дням разные части города бывают оцеплены милицией с дубинками и воинскими частями в полном боевом вооружении. Нередки случаи, когда таксисты заявляют людям: «Я русских не обслуживаю». Общая

картина апокалипсического крушения страны заставляет больше ценить светлую тишину осени, золото гранатового куста на фоне всё еще зеленых деревьев. Всё вблизи, как затишье перед концом. Ничего о вас не знаю. Напишите мне, мои дорогие, пока я еще вижу. Будьте благословенны, и да хранит вас Бог. Очень вас люблю в сердце своем. Целую и обнимаю.

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

20 апреля 1990

Мои дорогие, дорогие!

Пыталась прозвониться к вам на Пасху. Не удалось. Шлю свои сердечные поздравления со Светлым праздником, целую и обнимаю вас и хочу влить в вас веру и здоровье.

Ваше последнее письмо раздирало мне душу на две части; первая – это радость и ликование от торжества шествия славы Пастернака по всему миру^[389]. Какая радость и гордость, и рядом с этим – ваше изнеможение и печаль «белочек без зубов»^[390]. Ваше напряжение слишком велико, оно не под силу даже тем, кто молод и здоров. Но Бог милостив и не даст вам пребывать в отчаянии. Да охранит он вас от всех печалей, мои дорогие.

Когда я видела Женичку несколько раз по телевидению, он хорошо выглядел, блистательно говорил и хорошо читал – такой милый, милый Женин голос. Может быть, сейчас вы приходите в себя от этого нечеловеческого перенапряжения. И, может, ваши дальнейшие поездки будут более спокойными и радостными. Ведь столько вам предстоит увидеть замечательного.

В моей жизни тоже произошли два события, изменившие мою жизнь.

Когда в эту дивную весну я сижу на своем крыльце, я уже не вижу цветов на земле и цветения персиков и вишен. Я вижу только зелень, чувствую солнце на своем лице и вдыхаю запах своих гиацинтов и влажной земли. И это всё же радость.

Второе – это то, что приезжал Тед, мой американский друг. Может, помните того молодого человека, который играл на дудочке, когда вы были у меня? Он меня очень любит и считает, что все должны относиться ко мне так, как он. И когда он недавно приехал и увидел меня и то, как я живу, я увидела на его лице ужасное страдание. И вот, он сделал нечто необычайное. У него есть семья узбеков, его больших друзей. Он много рассказал им обо мне, даже так, что они плакали. Он

привел их ко мне и подарил их мне и меня им. Они, и муж, и жена, оказались прелестными людьми – добрыми, умными, образованными. Чистейшей души люди, без всяких национальных амбиций, всё понимающие. Мне с ними сразу стало хорошо. А они отдались мне душой искренне и просто. Они заботятся обо мне, кормят меня, всё делают по дому и проявляют неустанную заботу и внимание. Для меня началась новая жизнь, я более не одинока.

У них есть четыре девочки от восемнадцати до тринадцати лет. Они тоже стали для меня радостью. Я давно забыла (не общаясь), какая это прелесть – девочка, это чистое очарование девичества. Они тоже добрые, открытые, ласковые и чудесно воспитанные.

Так что Бог дал моим меркнувшим глазам свет человеческой души.

Недавно мне позвонили и сказали, что Питер Брук хочет меня навестить. Я совершенно не могла сообразить, откуда он меня знает. Он пришел, полный необычайной доброжелательности и живого интереса. Из разговора с ним я так и не смогла понять, кто создатель той легенды, которая привела его ко мне. Он назвал какого-то дипломата, каких-то американцев в Москве и Париже, о которых я никогда слыхом не слыхала. Всё это было занимательно. Встреча, длившаяся больше пяти часов, была полна увлекательным общением, и нам обоим было интересно и хорошо^[391]. С ним была какая-то английская дама, актриса, играющая Раневскую в его постановке «Вишневого сада». Она всё время щелкала фотоаппаратом, и он под конец потребовал, чтобы она сняла нас вместе. Я сидела в своем кресле, а он стал на колени рядом со мной и гладил мою ручку. Он попросил у меня партитуры музыки Козлика и кассету, что мой новый «спонсор»^[392] для него и сделал.

Пасху Боря подарил мне отличную, сделав всё, чтобы стол напомнил былые времена изобилия, а сирень и ландыши дышали мне в лицо в час заутрени. Вот так протекает жизнь в домике, куда пришли одновременно и беда, и милосердие.

Не пеняйте на мой почерк, лучше не могу и, написав, едва могу прочесть, что написала.

Мои бесценные и дорогие, да хранит вас Бог. А я повторяю заклинание: «Всё, всё, всё будет хорошо». Целую и обнимаю горячо. Будьте благословенны.

Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

16 июля 1990

Мои милые, мои дорогие, дорогие!

Женичка, твое письмо было для меня такой радостью! Я пережила ваше пребывание в Италии через незабываемые впечатления своей юности, когда мне было шестнадцать лет. Правда, вы увидели больше, чем я. У меня были Неаполь, Рим и немного Милан. Но была моя юность, открытость сердца и ненасытная душа. Я увидела и пережила так много, что и поныне ничего не пожухло, всё так же свежо и ярко. Время не властно было погасить это счастье и небывалый праздник чувств.

Приехали мы в Италию из Турции, где девять месяцев пребывания наполнили душу дивным очарованием страны, тем Востоком, который откликнулся в душе как возрождение прежнего существования, как прародина и тайна предков. На ней жили и следы Византии и античности, той античности, что была поглощающей любовью детства и ранней юности. Я жила ею долго и страстно и, уезжая в Италию, предвкушала встречу как кульминацию духовного праздника.

И когда возник Рим, живой и вечный, для меня античность как бы рухнула в своих руинах, и на меня обрушился Ренессанс, как всё сметающая стихия красоты, без меры и конца.

Восторг всех душ, воспевших Рим и итальянский гений, был моим. Моя юность вбирала в себя каждую частицу живой жизни, трепетавшей среди розового разлива домов, чудес зодчества всех веков, деревьев и холмов под этим небом, таким же неповторимым, как эта земля.

Я впервые вырвалась из-под опеки родителей и открывала для себя свой Рим, и бессмертные творения искусства открывались мне не как музейные застылости веков и стилей, а как живущие в каком-то вечном ликующем потоке, радостном и бессмертном. Великие вершины гениальности, торжество этого радостного духа всех творивших на этой земле не может оставить равнодушным и отстраненным, а берет целиком в счастливый плен.

Не знаю, как сейчас, но тогда город поражал удивительной гармонией. Все, сотворенное людьми в разные века, сливалось во что-то единое и неповторимо цельное. И каждая пиния была частью этой жизни. Я помню, как у меня захватило дух, когда я увидела Рим с террас виллы Боргезе. Как этот народ творил ландшафты, все-все у них озарено той красотой, которую не ниспровергнуть снобам двадцатого века, поклоняющимся Калибану и растерзанным осколкам взорванного мира.

Мы с братом отказывались есть в респектабельных ресторанах, и я тащила родителей в какие-то маленькие харчевни, где подавались народные блюда и, конечно же, макароны, которые едоки поедали, как жонглеры, молниеносно наворачивая на вилки с помощью ложек целые лотки пахучей еды. Нас увлекала не сама еда, а веселая игра подражания. Всегда находился благожелательный доброхот, который учил нас этому гастрономическому искусству, остальные

профессионалы за другими столиками следили за нашим ученичеством. Вероятно, китайские и японские палочки куда проще.

Здесь мне впервые было разрешено выпить свое первое в жизни вино под странным названием «*Lacryma Christi*»^[393]. Тогда же мы научились пить сок граната, не разрезая плод.

Мы напрасно пытались найти фонтаны и площади, которым радовались накануне, – возникали новые, а прежних словно и не было.

Однажды у остановки трамвая (тогда они еще были) мы увидели в тени пинии две женские фигуры. Это было видение, которое живет в моей памяти и по сей день. Это были две монахини – одна старая, а другая молодая. В обрамлении накрахмаленных крыльев монашеского убора на мир глядело самое прекрасное женское лицо, виданное в моей жизни, бесконечно нежное (с тем бессмертным итальянским *Dolce*), это было нечто до слез совершенное, небывало прекрасное. Я глядела потрясенная, и затем мной овладела бесконечная печаль и гнев на судьбу: какие силы, какое горе совершили это злодеяние, скрыв от мира чудо, созданное для победоносного торжества радости и счастья? Она была так юна и беззащитна! Отчего и почему она искала у бога защиту, которую она не нашла у людей?

Было в те дни еще одно чудо. Как-то, не помню в каком музее, мы очутились в комнате, где висела картина Рафаэля «Снятие с креста». И вдруг у юноши, поддерживающего тело Иисуса, мы увидели повернутую в профиль голову моей матери. Это было такое разительное сходство, что все находившиеся в помещении люди смотрели на маму и на полотно с изумлением, пораженные, как и мы. Это было нечто вроде сенсации, и папа поспешил увести маму. Я всю жизнь хранила фото с этой картины и только недавно обнаружила, что открытка эта исчезла.

Жили мы недалеко от Святого Петра, и первую половину дня я отдавала собору и музею Ватикана. Конечно, мое девичье сердце прежде всего вело меня к ступеням, ведущим в Ватикан, где папская гвардия в ослепительных костюмах прошлых веков попарно, с алебастрами, охраняла вход в обитель Папы Римского. Где только в его королевстве находили таких близнецов по росту, типу и красоте! Начиная с мальчиков на нижних ступенях, юношей со всё возрастающим ростом и кончая чернобородами красавцами в золотых шлемах, в коричневых шелковых кофтах с золотыми прорезями, которые возникали внезапно, стоящие перед зимним садом. Я храбро поднималась вверх и останавливалась с чувством страха и ожидания – вдруг увижу Папу, а гвардейцы театрально скрещивали алебарды. Я была всего лишь девочкой, и у меня не было той дамской храбрости, что у Раисы Горбачевой, которая одна попала среди мужчин на аудиенцию к Папе Римскому и протянула ему руку для пожатия.

Тогда всякий, удостоенный приема, независимо от ранга, обязан был целовать туфлю Его Святейшества.

На ступенях двадцатилетних стояли два русских голубоглазых Ромео, в которых я влюбилась без памяти. Они, видно, к этому привыкли и понимающе мне улыбались, так славно и хорошо.

В самом соборе – всегда сияние света и огней, среди всей пышности и великолепия почему-то особенно бросалась в глаза огромная статуя святого Лонгина. Оказывается, римский воин, стоявший у Креста, когда Спаситель испустил дух, вскричал: «Верую!», и Лонгин Сотник стал первым христианским святым.

Глазу было не охватить и не запомнить все. Должна признаться, что это был единственный храм, где я не чувствовала Бога, но где я, как нигде, чувствовала Божественность человека.

Однажды мне случилось открыть одну тайну. Бродя по левому крылу собора, я вступила в нечто, что можно назвать коридором. Слева была его стена, а справа ряд гробниц усопших Пап. Они все были замечательны, но особенно прекрасно было одно надгробие – обнаженный юноша стоял, опустив к ногам факел.

Ваятель создал творение такой пронзительной красоты и скорби, равным которому не было во всей внутренности собора. Я открыла для себя это чудо и ревниво приходила одна, не желая делить ни с кем это откровение. И вот однажды я услышала заглушенный звук органа. Я стала двигаться вперед, туда, откуда звучала музыка. Вдруг поперек коридора возник огромный зеленый бархатный занавес. За ним звучал орган. Я слегка отодвинула край занавеса и остолбенела. Подо мной, на глубине, как в центре, где стоит молящийся Петр, лежал небольшой четырехугольный зал, в несколько ярусов, обшитый панелями и с рядами кресел. Во всех креслах сидели кардиналы в полном облачении сана. Это совершалась их тайная служба. Всё было неожиданно, но самым удивительным, самым потрясающим оказались лица этих людей. Среди них были и пожилые, и даже сравнительно молодые. Но все они, без исключения, были такой поразительной красоты, что не верилось, что они живые, а не творения художника – итальянского гения.

Это были то, что мы называем личности, каждый – не похожий на другого, характеры, осененные неповторимостью всего духовного и телесного облика. Я глядела на них, потрясенная, в великом волнении. Какая сила отшлифовала эту породу, и что это за край, который родит подобное?! Они всё те же, что живут на полотнах и изваяниях великих художников прошлого, ибо оказывается, что генетическая связь их нерушима.

Я приходила обычно в солнечный полдень в музей Ватикана и сразу попадала в анфиладу, где на стенах висели огромные гобелены, тканые карты Папского королевства. Города, башни и замки, окруженные бастионами, высились над реками и долинами. Латинские надписи

вились по холмам и далям. А дальше шли гобелены на библейские сюжеты, иногда условно-застылые, иногда барочно-динамичные.

Затем я спешила миновать Египетский зал, не очень обширный, но с несколькими очень интересными экспонатами, и устремлялась в восхитительный бестиарий. Там было великое разнообразие зверей и животных, изваянных из разных пород камня. Цель их была не только подобие и раскрытие внутренней сути звериного характера. Я больше потом нигде не видела такого искусства.

Затем я выходила в закрытый дворик, где под колоннами портика, в глубине темно-розовой ниши, стоял прославленный Аполлон Бельведерский. Хрестоматийность и расхожесть его открыточной славы несколько ему вредили. Но Боже, какими мелкотравчатыми и ничтожными были наши снобистские предубеждения перед этим победоносным и светозарным творением!

Он излучал какую-то чудодейственную музыкальную гармонию. Эта явленность музыки в скульптуре уникальна в мировом искусстве, и именно ей суждено поражать все поколения.

Я покидала тишину и благоуханность дворика, где царил бессмертный бог, и выходила навстречу шуму и движению города. Я шла по его улицам среди движущихся толп людей и несла в себе непередаваемую полноту счастья.

И всё было прекрасно: и солнце, и ветер, и свет, и тени на панелях. И лица людей все казались добрыми. И когда часто проходившие мимо впечатлительные итальянцы, улыбаясь, громко восклицали: «*O mia bella!*» – я смеялась и радовалась еще больше чуду своей жизни.

Уезжая из Рима, я, как и все, бросала монетки на дно фонтана *Trevi*, испрашивая возвращение. Но возвращения не было.

И, думая об Италии наших дней, под впечатлением всего, что о ней знаешь, горько осознавать, что совершенный Вечный Город ныне окружают стандартные формы двадцатого века, то, что теперь называют «массивы». В однообразии унылых квартир живут люди, с трудом прочитывающие одну книгу в год, по суткам глазеющие на экраны телевизоров. Оттуда идут волны беспробудной пошлости и дурного вкуса, и человеки пассивно глотают эту мешанину. (Как гениально это показал Феллини в своих фильмах.) А вокруг на окраинах простираются кольцом чудовищные свалки, где среди отбросов плодятся миллионы свирепых крыс, ставшие чудищем и ужасом страны.

И всё там едино: и телевизионный дурман, и крысы, бросающиеся на людей в лифте, и расслабленные юнцы, валяющиеся у подножия фонтанов, безразличные ко всему на свете. На них и иссякла преемственность творческого духа народа. И лишь прекрасное прошлое живет и поражает людей всего мира, которые приезжают, чтобы поклониться и изумиться ему.

Да что говорить, когда мой народ, взнузданный всадниками апокалипсиса, хрипит над бездной. Все духи зла, ненависть, подлость,

всё низменное и преступное вырвалось из преисподней, и страна гибнет на глазах. И напрасны запоздалые моления и запоздалые прозрения. Бог покинул нас.

Мои дорогие, простите меня, что опрокинула на вас весь этот избыток чувств, от юности до старости. Меня очень взволновало Женино письмо. Если бы я знала о путях ваших странствий, я была бы незримым вашим спутником.

Как ужасно, что у Лизаньки отняли столько радости, но хорошо, что она хоть глотнула живительной прелести Рима.

Хотя я с вами не путешествовала, зато сопереживала все папины юбилеи и несказанно радуюсь торжественному и победоносному его шествию по миру.

Недавно мне Миша Мейлах сказал, что вы снова едете в Англию на Пастернаковский праздник.

Мне пришлось попросить его позвонить в Москву одному другу, чтобы узнать, как называется одно японское лекарство, которое они изобрели для лечения помутнения хрусталика глаз. (Моя беда.) Если бы я знала его название в тот день, я бы попросила не его, а вас попытаться достать мне там это лекарство. Называется оно *Sen Catalin* (Сен Каталин, если я правильно его записала).

Это моя последняя надежда отодвинуть наступление всё надвигающихся сумерек.

Пока пишу, вижу, что пишу, – лишь отведу глаза, без лупы не вижу написанного. Отсюда мой ужасный почерк, а уж от возраста – ошибки балбеса-ученика нашей средней школы и новое непонятное пристрастие: два «лл» и два «нн» по всякому поводу.

Продолжаю жить под крылом моих новых друзей. Я избавлена от многих забот, и меня балуют всем, чем можно, любят и довольно часто читают.

Журушка одолевает разными капризами. Главная, что он даже днем хочет оставаться дома, и стоять, и спать около меня. Правда, жара у нас бывает нестерпимая. Две недели было сорок пять градусов. Год активного солнца и погибшее Аральское море изменили климат чрезвычайно.

Мне бы очень хотелось иметь интересные публикации о папе. Я подумала: в октябре ко мне собирается приехать один новый друг. С ним и можно послать мне то, что вам хотелось бы. Мне всё это будут читать. Друга этого зовут Михаил Алексеевич Давыдов – очень толстый, совсем не похожий на своего предка Дениса Давыдова. Зато очень своеобразный человек.

Куда еще вы собираетесь поехать? Какая это радость и какая награда за всю прошлую жизнь! Грустно, что детки лишены этого счастья.

Желаю вам всего много-много. Мне бы очень хотелось иметь фотографии ваших внуков и вас всех. Если есть, пришлите. Где они

проводят лето? И как себя чувствуют в обезумевшей Москве? Мы же живем слухами, правдой и полуправдой, но чаще всего задыхаемся от вранья. У нас местные страсти попритихли, но все почему-то ждут взрыва в сентябре.

Из моих домашних новостей – открылись муравьи, отрастившие себе крылья, и иволга иногда поет целый день, не только на рассвете. Ночью сплю на крыльце под запах гелиотропов.

Дорогие мои, любимые, да хранит вас Бог. Пишите мне. Мне это очень нужно. Обнимаю и целую всех. Боря шлет свои лучшие пожелания.

Ваша Галя

Галина Козловская - Евгению и Елене Пастернакам

17 декабря 1990

Мои дорогие, дорогие Аленушка и Женя!

Пишу вам, не зная, на каком полушарии вы находитесь. Присланное Лизанькой письмо из Калифорнии получила и порадовалась. Как хорошо, что хоть и поздно, но мир так полно распахнулся перед вами. Самое грустное – это, конечно, возвращение. Контраст всего будет трудно осваивать. Но всё увиденное будет еще долго греть душу и питать воображение.

Я рада, что вы повидали Хедрика. Почему-то впопыхах я забыла записать его адрес. Если он у вас есть, пришлите мне. Как смешно, что для того, чтобы увидеть меня, вам надо было поехать в Америку. Я не видела то, что Хедрик вам показал, и никто толком мне не может рассказать, что он там сделал. Он обещал много показать и рассказать о Козлике. Выполнил ли он свое обещание? Или всё потонуло в скором кинопотоке?

Я завершаю этот год с хорошими для меня событиями. Во-первых, я за лето написала книгу о Козлике. Долго мучившее вдруг обернулось легкой прозой, свободной и непринужденной. У меня появился тот такт, который был нужен для этого повествования, и та интонация, необходимая для художественной прозы.

Мне кажется, что книжка получилась лучше моих воспоминаний об Анне Андреевне. Кстати, мне только что позвонили и сообщили, что вышел сигнальный экземпляр этих воспоминаний в журнале «Звезда Востока». Раньше они грозились, что из-за перегруженности материалами, которые должен напечатать журнал, – Коран, юбилейные статьи о Навои (по настоянию ЮНЕСКО) и какую-то рукопись Елены Рерих – меня решили выпустить в апрельском номере 1991 года. И

вдруг переиграли из страха перед неведомым будущим, решили выпустить мою Ахматову раньше. Они без конца благодарят меня за честь, что я предоставила им свою рукопись, которой они дают самую высокую оценку и обещали не изменить в ней ни единого слова. Это приятно, так как редактор «Советского писателя» для «Сборника воспоминаний об Анне Ахматовой» выбирал куски по собственному усмотрению (даже не показав мне). А в сборнике «День поэзии» редактор Т. Бек также отобрала куски по своему вкусу, но всё очень благожелательно. Виленкинского сборника я еще не получила, так что не знаю, как там всё это выглядит.

Мою же книгу о Козлике будут печатать в Москве, где вторую часть займут его статьи и доклады о музыке. К моему изумлению, Хренников внезапно проявил большую заинтересованность и оперативность. В один день были решены с директором издательства и техническим редактором тираж и сроки выхода в свет. Тираж обещают десять тысяч экземпляров – пять тысяч для Узбекистана и пять для России. Срок выхода предполагают 1992 год, но, принимая во внимание всё, что творится с нашей бедной многострадальной страной, представить, что будет, невозможно.

Вот так, мои дорогие, к восьмидесяти пяти годам я вдруг расписалась. В феврале будет эта круглая, совершенно ненормальная, непостижимая дата моей жизни на земле. Всю жизнь так долго была моложе всех; теперь же старше всех, кого знала. Внезапно память всё больше разворачивает «свиток», и вдруг захотелось запечатлеть многие лики жизни и людей, потому что душа полна любви ко всему, что было. Странная вспышка этой новой озаренности побеждает мои недуги и физическую слабость.

Недавно я пережила одно потрясение, которое намного сократило мне жизнь. Двадцать второго октября какой-то негодяй, открыв калитку, украл Журку. Впервые за двадцать шесть лет этого любимого существа не оказалось рядом со мной. Не могу вам передать, как я была несчастна и как я страдала. Но благодаря усилиям друзей, объявлению в газете мы узнали, что человек, купивший журавля, не зная, как его кормить и содержать, сдал его в зоопарк. После похищения Журки я вызвала Борю из дебрей Саянской тайги, где врачи предписали ему пожить. И он, пройдя двадцать километров по льду озера и двадцать семь километров по тропе среди лесных чащоб и буреломов, приехал наконец в Ташкент десятого ноября. На другой день он пришел в зоопарк и увидел понуро, грустно стоявшего Журку. Птица, увидев его, с громким криком бросилась к нему в объятия. Они обнимались, целовались, радовались так бурно, что работники зоопарка даже прослезились и сказали, что ничего подобного никогда не видели. И вот мое танцующее перышко природы опять со мной, и мы оба счастливы. На этой птичьей Одиссее кончаю свое письмо.

Встречая Новый год и Рождество, буду думать о вас всех, дорогих, и желать вам много-много счастья, здоровья, радостей дивных странствий и буду ждать письма от вас. Крепко целую и обнимаю. Да хранит вас Бог.

Ваша старая Галя

Два письма Михаила Давыдова Галине Козловской

Михаил Алексеевич Давыдов (1939–2013) – историк, выпускник кафедры Древней истории МГУ, занимался религиоведением, работал в ИНИОН АН СССР. Его мать – Антонина Александровна Буяновская (1913–1988), гидробиолог, – познакомила его с Борисом Сергеевичем Кузиным и его женой Ариадной Валериановной Апостоловой, двоюродной сестрой Галины Лонгиновны. На многие годы Михаил Давыдов и его друг Михаил Корнилов стали их молодыми друзьями.

Борис Сергеевич Кузин (1903–1975) – ученый-биолог и философ, друг О. Э. и Н. Я. Мандельштамов, адресат стихотворения Мандельштама «К немецкой речи» («Я дружбой был, как выстрелом, разбужен...»), провел в казахстанских лагерях, а потом в ссылке девятнадцать лет. После освобождения жил вместе с Ариадной Валериановной в г. Борок Ярославской области, работая в Институте биологии внутренних вод, директором которого был знаменитый полярник И. Д. Папанин.

Вот как рассказывает о знакомстве с Кузиным сам Михаил Алексеевич: «Мы попали в Борок в 1965 г. Приехали в гости к Борису Сергеевичу Кузину. В разговоре с моей матерью Б. С. узнал, что я больше всего люблю в русской литературе Гоголя и Тютчева. «Да? – так везите его в Боро́к». Затем вскоре я встретил Б. С. в Москве и он мне полюбился с первого взгляда (так сказано было о Магомете: «Он схватил мое сердце за волосы, чтобы уже никогда больше не отпускать его»). Это была даже не приязнь, а узнавание. До самой смерти Бориса Сергеевича мы с Корниловым ездили в Борок по нескольку раз в году для «духовного окормления». А после его смерти до 1984 года с той же целью навещали несравненную Ариадну Валериановну».

Михаил Давыдов сохранил часть архива Б. С. Кузина после его смерти, публиковал материалы о нем, участвовал в издании книги Б. Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка. Н. Мандельштам. 192 письма к Б. Кузину (СПб., 1999), подружился и с родственницами А. В. Апостоловой, собирался приехать в Ташкент к Галине Лонгиновне в 1990 году, но, увы, не сложилось...

Их переписка началась по инициативе М. А. Давыдова. Галине Лонгиновне было тогда уже восемьдесят три года. По словам Б. В. Дубровина за время переписки у нее образовалась пачка писем от Михаила Давыдова. Возможно, что сохранились только эти два письма. Письма самой Галины Лонгиновны были утрачены после смерти М. А. Давыдова, как и почти весь его архив, – наследники М. А. обошлись с ним варварски.

Вместе с первым письмом он послал Галине Лонгиновне отдельные оттиски журнала «Вопросы истории естествознания и техники» за 1987 г., № 3-4 со статьями: «Материалы из архивов об О. Мандельштаме и Б. Кузине», публикация М. Давыдова, А. Огурцова и П. Нерлера и статьей Б. С. Кузина «Принципы Систематики». Ее оригинал хранился в архиве М. А. Давыдова.

На обложках – дарственные надписи: «Дорогой Галине Лонгиновне, моей «Прекрасной Даме с журавлем», от многолетнего вассала дома Апостоловых – Кузиных, скромного публикатора, М. Давыдова. Того, кто Вашим присутствием в этой жизни был очарован, и «как выстрелом разбужен».

Я делаю в письмах кучу ошибок! И даже не умею обращаться с Вашим отчеством, которое нахожу музыкальным и очаровательным: а вдруг Вы – Лонгиевна.

Посмотрите и биологическую часть. Там есть прекрасные мысли и великолепный стиль. Он [Кузин – *примеч. Е. Шубиной*] – ведь ученый-художник, как Гёте». *М. Давыдов, 6 июня 1989 г.*

В своих заметках о Борисе Сергеевиче Кузине М. А. Давыдов вспоминал, что после отпевания архимандрит Павел (Груздев), с которым они были очень близки, на вопрос «нет ведь таких людей больше?» – ответил: «Да, и *выкroeчки* у Господа Бога не осталось». То же хочется повторить и после ухода Михаила Алексеевича.

Дружба Михаила Давыдова с Галиной Козловской – это будто замыкание великолепного венка дружб: Алексей и Галина Козловские – Анна Ахматова – Осип и Надежда Мандельштам – Борис Кузин – Ариадна Апостолова – Михаил Давыдов – Галина Козловская.

Елена Шубина

Михаил Давыдов - Галине Козловской

6 июня 1989

Дорогая Галина Лонгиновна, отправляю Вам «первый корабль»^[394] и короткое письмо.

У меня сейчас, дней на десять, много нудной служебной работы. А писание писем требует душевной тишины, чтобы душа с душою говорила. А тут институтская «мелких правд пустая пряха»^[395]. (Любите ли Вы Ходасевича? Его очень любил Борис Сергеевич.)

Окна моей квартиры выходят на крышу бывшего дома Дениса Давыдова^[396], бывшую же Арсеньевскую гимназию^[397], где учились Ваши сестрицы Нина и Ариадна^[398]. Наш дом – надстройка тридцатых годов одной из боковых частей их гимназии. Из моих окон виден бывший двор гимназии, где когда-то степенно прогуливалась Нина Валериановна и неумоимо шалила Ариадна Валериановна. Иногда классная дама подзывала Н. В. и строго говорила: «Твоя сестра невозможна!», – и следовал разнообразный перечень ее «невозможностей»: связывание кос соседок, засовывание этих же кос глубоко в чернильницы и острое наслаждение живописным эффектом, когда чернильная коса перебрасывалась через плечо владелицей и многие другие славные казацкие молодецкие забавы. Вряд ли Нина могла остепенить Ариадну словом. Ведь даже «идеологически» они рано разделились. Когда «большая демократка» девяти лет, Нина, презрительно спросила младшую сестру: «Ты, что же, – за Веру, Царя и Отечество?!», – та решительно отрезала: «Да!»

Так что, где уж тут было урезонить. Ольга Александровна решительно и определенно пресекла жалобы на «невозможности» младшей дочери: «Я и плачу вам такие большие деньги, чтобы Вы мне из «невозможной» воспитали «возможную дочь»».

Иногда сестрицы в том же дворе мирно играли «во флаги»^[399] (я не знаю эту игру).

Вы догадываетесь, какая для меня огромная радость видеть этот дом и этот двор. Он навечно заселен драгоценным даром любви и памяти. С каждым годом они всё больше становятся не друзьями, а любимыми (да простит мне Валериан Алексеевич!) дочерьми. Ведь жизнь теперь давать им, облекать их в плоть и кровь (словом) должен теперь не он, а я.

Я могу говорить и вспоминать о них бесконечно. Я завтра начну Вам писать понемногу длинное письмо. А пока пусть этот «корабль» уплывет.

Мне хотелось бы описать два замечательных дома – в Борке, которые создала там Ариадна Валериановна. Которые по духу и форме были настоящим произведением искусства. В первом они жили с Борисом Сергеевичем. Во втором величаво и прекрасно угасала она. Эти ее создания были живым памятником дворянской многовековой культуры, семейной традиции и талантливости. Такая же талантливость была во внутренней жизни этих домов, в любой мелочи

быта. Друзья дома, прислуги-друзья, собаки-друзья, грачи, крысы-волшебницы и т. д. Обо всем этом хочется написать отдельно.

Борок – это Институт биологии водохранилищ^[400], находится возле Рыбинска, в бывшем имении революционера Н. Морозова, который писал забавные глупости о Христе и мировой истории (много томов). После революции ему сохранили имение, и он дожил до сороковых годов, кажется. Затем там разместился институт, куда И. Д. Папанин вытаскил Б. С. из ссылки^[401] и взял его своим заместителем по научной части. Папанин и Б. С. – это тоже целая повесть.

[Об истории этой ссылки в заметках М. Давыдова к биографии Б. С. Кузина в книге (см. выше) пишется: «В 1935 г. Кузин был арестован и очутился в Казахском лагере. После того, как органам стало известно, что он знаком с антисталинским стихотворением О Мандельштама («Мы живем, под собою не чуя страны...», 1933), арест и лагерь были неизбежны. Он сравнительно легко еще отделался – тремя годами заключения (1935–1938). Друга своего Б. С. никогда не упрекал за излишнюю откровенность... Галина Сергеевна Кузина (сестра Б. С.) рассказывала, что после предыдущего ареста Б. С. (в 1933 г.) Мандельштам, придя к его близким на Якиманку, бегал в смятении по комнате, повторяя: «Я пойду к ним туда. Я скажу им, что без него не могу. Я стихов не могу писать!» После освобождения из лагеря в середине 1938 г. Б. С. Кузин оставался до 1953 г. в Казахстане, устроившись работать на научную станцию в Шортандах, что спасло ему жизнь.» – *Примеч. сост.*]

Б. С. – поэт и ученый, занимался в науке происхождением формы живых организмов. Как видите, эта тема также требует ученого-художника.

Для формы собственной художнической жизни ему нужна была благородная простота и утонченность дворянской культуры и быта. У «трудовой интеллигенции» при всех ее моральных достоинствах такой культуры не было. Там было много мещанства, настоящей *художественной* формы не было. Поэтому его женитьба на А. В. была еще и «мистическим» союзом с дворянской культурой. А уж ее-то ваше семейство готовило ему – злодею – несколько веков. Об этом можно писать много страниц. Что касается публикации^[402], то вводную статью (мою часть) здорово урезали. Я отметил уцелевшие мои куски.

Письмо к Шагинян^[403] интересно только с одной стороны (о Б. С.).

А сами мемуары я сократил, выбросив профессорские рассуждения на высокие общие темы и некоторые невольные досадные промахи. Они очень выиграли от этого по части цельности и формы.

Встреча Бориса Сергеевича и Осипа Эмильевича – божественна.

Б. С. Кузин встретился с О. Э. и Н. Я. Мандельштамами летом 1930 г. в Эривани, участвуя в научной экспедиции в Армению. Воспоминания Б. С. Кузина об этой встрече помещены в «Вопросах истории естествознания и техники». Вот кусочек из текста М. С. Давыдова во вводной статье: «Публикуемые ниже материалы интересны во многих отношениях. Прежде всего, конечно, как свидетельство дружбы поэта и ученого. Эти материалы представляют собой драгоценные источники для биографии поэта. Они же позволяют увидеть, как ярка личность Б. Кузина, встречей с которым в 1930 г. и дружбой О. Мандельштам был «как выстрелом разбужен»». – *Примеч. сост.*

Один талантливый молодой филолог сказал, прочитавши: «Встретились двое равных, два короля». Это-то мне и нужно было.

Дорогая «Дама с журавлем», даже по этому сумбурному письму Вы почувствуете наше родство по апостольско-кузинской линии.

Мне кажется, что в этой жизни нам назначено сказать что-то важное друг другу.

Писание письма к родной душе – это удивительное занятие. Ведь одновременно рождается множество интереснейших мыслей, не лежащих на бумагу.

Я забыл имя вашего журавля. Опишите мне его. С укоризной поглядываю на фотографию Алексея Апостолова^[404]. Он висит на моей стене рядом с фотографией приятеля Ариадны Валериановны, красавца-офицера Миши Иванова (помните ли Вы его?).

Я историк, очень толстый, рожден под знаком Кота и похож на Кота.

Мой телефон (на всякий случай) 201 25 12

Целую руки.

М. Давыдов

Михаил Давыдов - Галине Козловской

5 июля 1989

Дорогая Галина Лонгиновна, не сетуйте на мое долгое молчание. Просто моя утрата^[405] еще очень свежа: ведь и для меня самое дорогое существо покинуло меня «не вчера, а сегодня» (всего десять месяцев этого «сегодня!»). И матушка тоже была из «звездных существ». Я стал

готовиться к организации последних обрядов, а горе снова подступило. А ведь оно поражает безмолвием. Простите мне это безмолвие.

Вы знаете все эти чувства.

Алле^[406] этого не объяснишь. Она очень природный человек, с глубокими корнями в земной жизни. Никаких невозвратимых утрат, никакого стирания граней между жизнью и смертью. Правда, любовь к дочери^[407] научила ее любить. Но боюсь, что она мало заботится о том, чтобы познакомить дочь с этим «необходимым чувством». А любить одного себя, – на это нужен тоже особый талант. Я очень люблю Олю и часто с грустью думаю, каково ей будет жить с неотогретым сердцем.

В начале сентября я поеду в Крым, в Карадагский заповедник^[408] (это место рядом с Коктебелем). По мнению многих поэтов – это одно из самых прекрасных мест в мире. Матушка посещала его несколько десятилетий.

Оно давало ей высшее счастье жизни.

Она могла там неделями, одна, слушать море, бродить в горах, петь и читать любимые стихи им (море и горам). А иногда просто становиться, как она говорила, камнем, растением или зеленой водорослью. Не раз любившая, она говорила, что любит Карадаг больше любого мужчины в своей жизни. Ведь эта любовь только одаривает и не заставляет страдать.

Там я хочу, выполняя ее волю, устроить поминки, раздать некоторые ее украшения. А также бросить в море любимый ее старинный бокал для шампанского. Свой любимый напиток из этого бокала она пила почти до самых последних дней.

Это будет как бы посмертным обручением ее с любимой стихией.

Вернусь я в Москву числа двадцатого сентября. И если поездка будет благополучной, прилечу в Ташкент за Вами^[409]. Алла достанет по своим театральным каналам мне билет в Ташкент и два из Ташкента в Москву для нас с Вами. Только бы в Крыму у меня всё получилось и силы не подвели. (Ведь прошлый год – это год мучительной борьбы за мамину жизнь и, что самое ужасное, барахтание в кафкианском ужасе мира врачебного и бюрократического. Да все страхи Кафки – детские страхи перед безнадежным ужасом бездушной жестокости и бездарностью профессиональной наших медиков. Целый год они ее изощренно мучили и топили).

А она, безмерно страдая, сумела и страдания свои превратить в возвышенную красоту, которой были полны ее любимые стихи и музыка, которой был полон возлюбленный ее Карадаг. Сердце разрывается от жалости к ней, и оно же полно гордым счастьем за нее и за себя. Ведь ей удалось даже смерть свою сделать подобной музыке Баха и стихам Тютчева и Ахматовой. Вот чем переполнена моя душа и вот почему я не мог писать Вам.

Простите за эти горькие излияния. Но Вы редкий человек, который может понять сам предмет их.

Вообще-то я стараюсь не обременять близких мне людей душевными излияниями. Это жестоко, эгоистично и бесцельно. У меня много прелестных и ярких друзей, нежно меня любящих. Но я щажу их, зная, что все они обременены своими трагедиями или мелодрамами жизни.

Так что обещаю Вам больше никогда не наполнять своих писем к Вам мрачными излияниями.

Очень тревожусь, удастся ли мне подружиться с Вашим журавлем. Для меня каждое животное прекрасно и таинственно.

Слова Бориса Сергеевича о их прямой связи с миром истины, добра и красоты я особенно ярко ощутил в день маминых похорон. Я выдержал их и поминки, стараясь делать всё так, чтобы и день похорон мамы был прекрасен. И в церкви она лежала в длинном парчовом платье и со старинной французской алой розой на груди, как византийская императрица. В церкви шептали: «Какая красавица!» Но когда я после поминок остался ночевать у друзей, тут-то меня и охватило отчаяние, которому помочь никто бы из людей, самых дорогих, не смог. У друзей был белый лохматый пес Тиша (помесь пуделя с кем-то). Мы симпатизировали друг другу, но не были слишком близкие. Вот именно в этот момент отчаяния, казалось бы, неисцелимого, он, потоптавшись у дверей моей комнаты, осторожно открыл дверь лапой, прыгнул ко мне на кровать, положил голову мне на грудь, а затем нежно принялся лизать мою физиономию.

Тяжесть и отчаяние отступили, и я, обняв Тишеньку, ясно и покойно заснул. (Это в день похорон-то!!) Как нежен ласковый собачий язык! Могу ли я забыть этот Тишенькин обряд высшей доброты.

Целую Ваши руки и надеюсь на скорую встречу в Ташкенте, встречу со сказочным домом с журавлем.

Любящий Вас

М. Давыдов

Переписка с Геннадием Абольяниным

Переписка известного цветаевода Геннадия Михайловича Абольянина (1931–2007) с Г. Л. Козловской возникла в 1991 году по его инициативе: он узнал о Галине Лонгиновне от одной своей знакомой. Козловская за несколько месяцев до своей смерти продиктовала ответное содержательное письмо (записывала Светлана Кахаровна Матякубова^[410]) – сама она писать не могла, была в это время уже очень больна и плохо видела.

Также он получил от нее отпечатанный на машинке текст воспоминаний о дне, проведенном в обществе Бориса Пастернака и Евгении Владимировны Пастернак. В книге текст воспроизведен по

авторской рукописи и дополнен подробностями из Абольянинского варианта^[411]. На последней странице Г. Козловская написала своей рукой: «Геннадий Михайлович, примите на память обо мне этот кусочек прозы о любимых мною людях. Желаю всяческого процветания Вашему музею и преклоняюсь перед Вашим энтузиазмом».

Материалы переписки были предоставлены Культурным центром «Дом Цветаевой» Новосибирской государственной областной научной библиотеки из архива Г. Абольянина с сопроводительной запиской:

«Геннадий Михайлович Абольянин – известный цветаевец, собиратель материалов, касающихся жизни и творчества Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, участник многих цветаевских костров в Тарусе, в том числе и самого первого памятного костра 1996 года. Активный пропагандист творчества Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой.

Геннадий Михайлович стоял у истоков Дома Цветаевой в Новосибирске, много делал для популяризации в этом городе поэзии Серебряного века, переписывался с детьми и родственниками Марины Цветаевой и Бориса Пастернака и вел большую просветительскую работу, выступая перед самой разнообразной аудиторией с рассказами о жизни и творчестве любимых поэтов. Постоянные посетители цветаевских вечеров помнят его рассказы о семье Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, основанные на общении и переписке с родственниками поэтов, о поездках в Елабугу и Тарусу, о встречах с Булатом Окуджавой, Анастасией Цветаевой, Ариадной Эфрон.

По материалам, тщательно собранным Г. М. Абольяниным, были составлены как сборники стихов Марины Цветаевой, так и книги о ней».

Геннадий Абольянин - Галине Козловской

8 мая 1991

Уважаемая Галина Лонгиновна!

Я немногим более сорока лет собираю всё-всё-всё об Анне Ахматовой, Марине Цветаевой и Борисе Пастернаке. У меня своего рода домашний Музей трех Поэтов, который открыт почти двадцать лет.

Внимательно прочел Ваши воспоминания об Анне Андреевне Ахматовой. Они великолепны своей достоверностью и многими фактами из жизни поэта и человека.

Почти со всеми, кого Вы упоминаете, мне доводилось встречаться неоднократно, и у меня зафиксированы беседы с ними.

Мне доставили большую радость добрые слова о Евгении Владимировне Пастернак, я был с нею знаком. О ней многие незаслуженно нелестно отзываются или вообще умалчивают.

Но, уважаемая Галина Лонгиновна, есть погрешности и в Ваших воспоминаниях, например, то, что касается сопоставления отношений к Валерию Брюсову^[412]. Тут, напротив, они были единодушны. Пользуясь Вашими же словами, можно аргументированно доказать, что Марина Цветаева разносила Валерия Брюсова в пух и прах. Доказательством этого могут послужить ее дневниковые записи, строки из писем ко многим людям, это и ее критические статьи. И, конечно же, ее великолепная проза «Герой труда» о Валерии Брюсове.

И второе, где Вы сказали, что Ардовы все удивительно красивые люди. Да, это так. Но не совсем это можно отнести к главе семьи – Виктору Ефимовичу Ардову. Тут можно привести много свидетельств, как при жизни Анны Андреевны, так и после ее смерти, не делающих ему чести. Вот, например, участие в суде против Льва Николаевича Гумилева, когда решался вопрос о наследстве.

Но, как принято, – об усопших ничего не говорить или не говорить плохого. Так что я умолчу об очень многих свидетельствах не в пользу, мягко говоря, Виктора Ефимовича...

Ваши воспоминания, безусловно, ценны, и их вклад весом. Всё вышеизложенное я говорю со знанием дела, которому я отдаю всю свою жизнь. Позвольте задать Вам вопросы:

– Не вели ли Вы дневниковые записи встреч с Анной Андреевной; если да, то будут ли они опубликованы?

– Будут ли у Вас воспоминания о Евгении Владимировне Пастернак?

– Будут ли у Вас воспоминания о Надежде Яковлевне Мандельштам?

Возможно, Вы знакомы с Евдокией Мироновной Ольшанской из Киева и Сергеем Дмитриевичем Умниковым из города Пушкина и знаете об их категории собирательства, – я таков же.

У Е. М. Ольшанской собрание по Ахматовой превосходит мое, но я собираю по трем поэтам. Собрание С. Д. Умникова гораздо скромнее наших.

И в заключение моего письма – обычная просьба, с которой я обращаюсь ко всем: не могли бы Вы познакомить меня с другими собирателями, в том числе и в городе Ташкенте?

У меня есть, что подарить начинающим и чем быть полезным другим.

Прошу прощения за беспокойство.

Если Вас что-либо интересует – готов ответить на все Ваши вопросы и готов быть всегда к вашим услугам.

С искренним уважением

Геннадий Михайлович Абольянин

Р. С. Ваш адрес я получил от одной дамы из Самарканда, которая посетила в начале этого года наш домашний музей.

Галина Козловская - Геннадию Аболянину

29 мая 1991

Глубокоуважаемый Геннадий Михайлович!

С удовольствием получила Ваше милое письмо. В нем Вы спрашиваете, между прочим, не собиралась ли я что-нибудь писать о Евгении Владимировне Пастернак. В своей книге о моем муже, которую я написала и отрывки из которой будут печататься в журнале «Советская музыка», я описала эпизод, связанный с моими отношениями с Евгенией Владимировной и Борисом Пастернаками. Отдельно же навряд ли я что-нибудь буду писать. Посылаю Вам этот отрывок, который может быть для Вас интересен и который проясняет мои отношения с ней и Борисом Леонидовичем.

Еще вы меня спрашиваете о моих отношениях с Надеждой Яковлевной Мандельштам. Когда Анна Андреевна Ахматова уехала в Ленинград, Надежду Яковлевну из квартиры, где они жили вместе, переселили в маленькую комнату в том же доме. Надя в те годы готовилась стать преподавателем английского языка в высших учебных заведениях^[413]. Комната была неописуемо грязная, захламленная. А она лежала на постели и повторяла одно средневековое заклинание: «ин дьяволо, ин дьяволо». Затем умолкала, начинала читать мне Осины стихи, становилась грустной и непривычно мягкой. Она была очень привязана ко мне. Затем она уехала^[414].

В последний раз я встречалась с нею много-много лет спустя в Москве^[415]. Когда она уже получила, наконец, квартиру в Москве, к ней неожиданно пришел Константин Симонов и сказал: «Надежда Яковлевна, вам нужны деньги, чтобы обставить ваше новое гнездо». И выложил изрядную сумму денег, сказав: «Не беспокойтесь, их у меня много!» Надя обставила квартиру по последнему слову элегантного вкуса. Выкрасила белым полы и обставила мебелью карельской березы.

В тот мой приезд Женя Пастернак (сын Бориса Леонидовича), у которого я жила, сказал мне, что Надя, узнав, что я в Москве, хочет меня видеть, и повез к ней. Через два слова приветствия она вдруг сказала мне: «Ты по-прежнему любишь Анну Андреевну?» На что я ответила: «А почему я не должна ее любить по-прежнему?» «Старая дура, – сказала она мне, – ни одного хорошего стихотворения не написала!» У меня от негодования перехватило горло. «Надя, и это вы говорите о своем лучшем, вернейшем, лояльнейшем друге? Никогда не изменявшем ни вам, ни Осе?!» Мне стало нехорошо.

Как ни в чем не бывало она мне сказала: «А ты не видела моих икон?» – и повела меня в другую комнату. На стенах висело несколько действительно превосходнейших икон. «Эту икону подарил мне Патриарх, эту – архимандрит такой-то», – хвасталась Надя.

«А завтра я буду исповедоваться, ко мне придет человек, крестивший меня в Христианскую веру». Этим человеком был отец Александр Мень^[416]. И я подумала: «Как же ты, христианка, будешь исповедоваться после таких слов о прекрасной, верной женщине?»

И мне не захотелось дольше оставаться, и я быстро уехала, хотя она приглашала остаться для встречи с Солженицыным, который должен был прийти.

Затем мне рассказывали, что Надежда Яковлевна, написав свои две книги воспоминаний, преисполнилась великого высокомерия ко всем и ко всему. Приходя на выставки художников, она изрекала приговоры невероятно высокомерно, чем поражала всех. Вокруг нее были люди, которые о ней заботились либо благоговейно слушали все ее изречения.

Как Вам, Геннадий Михайлович, вероятно, известно, всё это кончилось тем, что Вениамин Каверин написал ей письмо, где писал ей, что она не должна изрекать от имени поэта свои необдуманные приговоры.

Вы пишете о Марине Цветаевой, которая писала статьи, разносящие Брюсова; я их, к сожалению, не знаю, и руководствовалась воспоминаниями, как очень юная Марина и Ася выступали на концерте, устроенном в их честь Брюсовым, где молодая Марина вполне была рада этому дебюту.

Должна Вам признаться, что я не люблю Анастасию Цветаеву. Она себя воображала тенью Бога на земле.

Быть может, Вам будет интересно знать, что в Ташкенте жили по возвращении из Парижа^[417] две сестры – баронессы Рейтлингер – Юлия и Екатерина.

Старшая из них, Юлия, в молодости внезапно оглохла. Она должна была выйти замуж за знаменитого потом Струве^[418], которого за неделю до свадьбы увела другая девушка под венец.

Юлия Николаевна, несмотря на постигшую ее беду, благодаря великому религиозному чувству стала потом монашенкой в миру, принятая под свое крыло Сергием Булгаковым. Она присутствовала при его кончине. А во время немецкой оккупации, будучи другом матери Марии, много делала для спасения евреев и обреченных на казнь антифашистов.

Удивительно, что при своей глухоте она стала прекрасным иконописцем. Ею расписана церковь на русском кладбище в Париже. Она особенно прославилась расписанной церковью в Лондоне^[419].

Обе сестры Рейтлингер были в Чехословакии в то время, когда Марина родила сына Мура. А Марина Цветаева в своих воспоминаниях

написала о них очень не по-доброму. Они ухаживали за ней после родов и были чистосердечно и подлинно ей преданы.

Марина же с раздражением писала, что Юлия сидит у окна и громко трет доску для иконы, не слыша, как это ее раздражает. О Екатерине сказано (пишу не дословно, в пересказе): «И эта явилась со своим мешком извечной доброты».

Когда много лет спустя Екатерина Николаевна прочитала эти строки Цветаевой, она от потрясения тяжело заболела и очень не скоро пришла в себя.

Юлия Николаевна была человеком необычайно образованным и при нашей Патриархии считалась лучшим современным иконописцем. Она спросила моего мужа, Алексея Федоровича, какую бы он хотел, чтобы она написала икону ему. Он сказал: «Напишите царя Давида – псалмопевца, покровителя музыкантов». Она освятила ее и подарила с добрыми словами.

Общение с ней, конечно, бывало трудным. Она говорила очень громким голосом. А для нее надо было писать. Но необыкновенная святость, мудрость и чистота в ней были привлекательны и покоряющее прекрасны.

На Ваш вопрос о дневниковых записях об Ахматовой – не вела.

Хочу спросить Вас, есть ли у Вас книга, изданная Ленинградским союзом композиторов, «Анна Ахматова и музыка»? Там напечатаны «Пролог» к «Поэме без героя» и факсимиле, где воспроизведены два романса Алексея Федоровича на слова Ахматовой, на обложках которых она сама написала тексты.

Что касается Ольшанской, то я собираюсь послать ей фотографию Алексея Федоровича, который был киевлянином, и ксерокопию Ахматовой.

Я очень увлекалась произведениями Александра Меня, еще до того как он у нас прославился. Это был величайший ум, эрудит мирового класса, не имевший себе равных в образованном сословии духовенства. Если Вам случится прочитать его удивительную книгу «Магизм и единобожие»^[420], Вы получите огромное удовольствие. Мое глубокое почитание Александра Меня равно моей неприязни к официальному духовенству, устраивающему по телевидению грандиозные шоу, которые меня как человека глубоко религиозного оскорбляют.

На этом, пожалуй, кончу мое первое к Вам письмо. Желаю Вам всего доброго. Пишите. Сама я после болезни очень плохо вижу. Письмо к Вам пишет мой самый ближайший друг, Светлана Кахаровна Матякубова, которую прошу любить и жаловать.

Всего Вам доброго.

Галина Лонгиновна Козловская

Р. С. По поводу последнего предложения я возражала, но Галина Лонгиновна настояла.

С. Матякубова

Геннадий Аболянин - Галине Козловской

22 июня 1991

Дорогие и уважаемые Галина Лонгиновна и Светлана Кахаровна, здравствуйте!

По возвращении из командировки получил Ваше письмо и вложения, телеграмму. Всё исполнил согласно телеграммы.

Большое спасибо. Все опечатки в публикации выправил, хотя они и незначительны, но это необходимо. Видимо, вы правы в сказанном об Анастасии Ивановне и Надежде Яковлевне: они тоже не безгрешны, но они были добры ко мне и приветливы на протяжении почти тридцати лет...

У Марины Цветаевой увлечение было в ранней молодости^[421], так сказать, в девичестве, это даже чувствовалось в первой ее книжке «Вечерний альбом»^[422], но потом, слава Богу, наступило резкое неприятие.

Я тоже отношусь с глубоким почитанием к отцу Александру Меню. До его трагической гибели мне доводилось трижды с ним встречаться. Дважды – в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов у скульптора Зои Афанасьевны Маслениковой в Москве. Она лепила его портрет. (Кстати, в свое время Зоя Масленикова лепила Бориса Пастернака и Анну Ахматову.) И в последний раз мы встречались с отцом Александром в начале прошлого года на Международных Пастернаковских чтениях в ЦДЛ^[423], в феврале, мы оба были участниками. И потом вот такое несчастье... Да, действительно, он был удивительнейшим человеком. Мы с ним в первые две встречи в основном говорили о Борисе Леонидовиче, да и в третью тоже. Больше говорил он, а я слушал. Рассказывал о том, какое влияние на него оказали Борис Леонидович и его творчество, его весь жизненный путь. Все, что он говорил, – как будто читал мои мысли... Приглашал к себе, но вот не довелось... Теперь вот собираю всевозможные публикации и об отце Александре, и его самого.

А как обстоят дела с музеем Ахматовой в Ташкенте?

Буду следить за журналом «Советская музыка», он у нас в продаже бывает регулярно, а если Вам будет известно, в каком конкретно

номере будет, сообщите, пожалуйста. Мне будет очень интересно узнать об Алексее Федоровиче. Видимо, будут в публикации и фотографии Ваши и Алексея Федоровича? Ведь я собираю и иконографию не только Анны Ахматовой, но и ее окружения. Очень интересно Вы написали о сестрах Рейтлингер, пополнив известное мне. Да, Вы правы, Марина Цветаева погрешила в их адрес. Что поделаешь, и она была зачастую не всегда безупречной...

Да, я знаю о книге «Анна Ахматова и музыка», но у меня, к сожалению, ее нет, поиски пока тщетны.

Мне радостно, что Вы так тепло написали об отце Александре.

Книгу его «Магизм и единобожие» я читал, тешу себя надеждой, что я всё же приобрету ее и другие – это же настольные книги!

Я сам вырос в православной семье, хотя и не слишком набожной, крещен. Атеистом никогда не был, хотя и не ревностный христианин, но верующий. Как говорила моя мама: «Бог должен быть в самих нас!» Я всегда относился с уважением к религии. За свою недолгую жизнь никогда не упускал возможности по собиранию и сохранению церковных реликвий. А ведь я застал тридцатые года, когда на моих глазах разрушали храмы (это было в Астрахани) и уничтожали церковные реликвии... Всё мною собранное и сохраненное я передам храму Александра Невского, который сейчас у нас восстанавливается. Меня тоже коробят и возмущают деяния официального духовенства, напоминающие, Вы правы, правы, телевизионное шоу.

А Вы знаете о том, что Анне Андреевне доводилось быть в Новосибирске? Хотите, я расскажу в следующем письме?

Рассказал бы сейчас, да вот Ваша бандероль из-за моего отсутствия долго лежала без ответа, и Вы сочтете меня неблагодарным, так что вот буквально сейчас я добрался до дома из аэропорта, распечатал, прочитал и тут же сел за письмо, чтобы скорее отправить ответ – сейчас сын будет ехать мимо Главпочтамта и опустит его. А то наша почта сейчас не на высоте с доставкой писем.

Еще раз большое-пребольшое Вам спасибо. Буду ждать от Вас новый вариант о Борисе Пастернаке.

Большое спасибо Светлане Кахаровне за хлопоты и доброе слово.

Извините за несуразное изложение содержимого.

С искренним уважением

Геннадий Михайлович Абольянин

Письма Анне Фэвр-Дюпэгр

Анна Фэвр-Дюпэгр (*Anne Faivre Dupaigne*, р. 1957) – француженка, выпускница Высшей педагогической школы в Париже, доктор филологических наук, специалист по сравнительному

литературоведению, работает в университете города Пуатье. Анна Фэвр-Дюпэгр изучает культурные связи славянского мира и западноевропейских стран (в частности, на примере раннего творчества О. Э. Мандельштама). Она также работает над проблематикой взаимоотношений литературы и музыки и типологическим понятием «поэт-музыкант», которое она разрабатывает на материале произведений поэтов XX века – француза Фредерика Созе (известного под псевдонимом Блеза Сандрара), О. Э. Мандельштама и Б. Л. Пастернака. Анна Фэвр-Дюпэгр – автор двух книг, написанных по-французски (*Genèse d'un poète. Ossip Mandelstam au seuil du XXe siècle*, 1995, и *Poètes-musiciens: Cendrars, Mandelstam, Pasternak*, 2006) и нескольких статей, напечатанных как на французском, так и на русском языках. Сотрудник московского Центра франко-российских исследований с сентября 2010 г. Участвует в составлении Мандельштамовской энциклопедии, создаваемой по инициативе московского Мандельштамовского общества.

Анна Фэвр-Дюпэгр училась русскому языку во Франции и по окончании университета подала заявление на место преподавателя французского языка в СССР (по межгосударственному культурному обмену). Была распределена в Ташкент, где преподавала в университете с осени 1981 г. по лето 1983 г. В Ташкенте, по рекомендации Е. Б. Пастернака, она познакомилась и подружилась с Г. Л. Козловской. В то время, не без влияния общения с Галиной Лонгиновной, у нее и созрело намерение написать кандидатскую диссертацию о поэтическом творчестве О. Э. Мандельштама. На третий год пребывания в СССР (1983–1984 гг.) переехала в Москву, жила и занималась преподаванием в МГУ им. М. В. Ломоносова. После отъезда из Ташкента Анна и Галина Лонгиновна переписывались в течение ряда лет. Г. Л. Козловская посылала ей свои стихи.

Галина Козловская - Анне Фэвр-Дюпэгр

15 июня 1983

Моим обретенным глинам

Из	печали	моей	по	ушедшей	красе
Возникайте		скорее,		небывшие	лики.
Пальцам		моим		покорность	яви,
Стань		послушною,		мягкая	глина.
Нет,		юность		и	прелесть,
Вам			не		уйти,

Крепко	вас	держат	память	и	руки.
В	вашей		плоти		творимой
Плоть		и	дыханье		мое,
Отзвук					гула
Моей		ликующей			крови.
Лоно	мое		плоть		живую
Никогда		не			творило,
Но	вас		я		храню
В	глубине		Венериной		сути...
Вы,		как			живые,
Не					вечны
В		мире			этом,
Только		память			одна
Со		временем			спорит.
И	ко	мне	вы		приходите
По		ее			повелению,
И	я	вам	говорю		–
Здравствуй,		народец			мой,
Хрупкий		и			нежный.

Милой Аничке на память от полюбившей ее Галины Лонгиновны.

Галина Козловская - Анне Фэвр-Дюпэгр

9 марта 1985

Аничка, милая, с Весной Вас! В эти дни полагается прилетать жаворонкам, и в детстве добрые мамы пекли из теста смешных жаворонков, которые изумленно на нас глядели изюмными глазами.

Но сегодня они не прилетели, с неба всё падал и падал снег, и снова укутал зимой недоумевающий сад, и горькие вызвал сетования у Журки на обманы весны.

И, кажется, так будет всегда – так беспросветно и низко нависло небо. А говорящий ящик предсказывает до конца ненастный март, со снегами, холодами и метелями. Вот Вам и Азия – страна солнечных дней и ранних цветений. Так сразу войдем в жаркое лето, минуя весну, и не хочется думать, как отомстит нам жара за холод зимы. Но весь мир охватило непонятной бедой. Даже жаркие страны завалило снегом почти двухметровой высоты, и люди мерзнут в холодной глухоте, отрезанные от мира и тепла.

Получила вчера Ваше письмо с открыткой старинного Ренна. Была очень тронута Вашим переводом стихов. Должна Вам сказать, что он не просто хорош, он отличный. Как Вы умудрились сохранить не только поэтический строй, но и удивительную, прямо-таки построчную точность? Вы прямо-таки Лозинский какой-то, возросший на французской почве. Еще раз спасибо, милая Аничка.

Мне захотелось подарить Вам еще кусочек февральской зимы. Стихи эти, можно сказать, «верны природе». Посылаю их Вам.

Снега

Всё	бело,	и	небо,	и	земля.
И	неба	нет,	и	нет	земли,
Одна		лишь			белизна...
На		тишину		в	саду,
Свое		беззвучье		сыплет	снег,
И	неба	нет,	и	нет	земли.
Лишь		в		домике	моем,
Оставшись					взаперти,
Так		громко,			громко
Кричит,		кричит			один
Тоскующий					журавль.

Вы пишете, что Вы собираетесь на выставку пейзажной живописи французских импрессионистов.

Забавно, что я прочла ее описание одновременно с Вашим письмом. Заметка эта^[424] напомнила мне, что я могу послушать «Картинки с выставки» Мусоргского в инструментовке Равеля^[425]. Я так люблю это произведение. Послушайте его без меня, как бы со мною. (Я теперь могу снова слушать музыку на исправленном проигрывателе.)

Как зовут Вашего друга^[426], которому нравятся мои глины? Передайте ему от меня привет. Как жаль, что ни Вам, ни ему я не могу показать свою только что завершённую вещь – «Девушка, глядящая в воду». Мне кажется, что мне еще не удавалось так воплотить чистоту наготы и девичества. А юное ее лицо полно тайны и прелести. Я давно так не была довольна. Признаюсь Вам в этом без всякого самодовольства, просто от радости.

Мой друг менестрель недавно был в Париже. От него я узнала, что у вдовы Николая Набокова – Доминики – хранится много материалов по русской музыке и что там есть интересные вещи, касающиеся Алексея Федоровича.

Николай Набоков – двоюродный брат писателя Владимира. Я знала, что родной его брат был известным хореографом, балетмейстером, а что Николай был дирижером и композитором.

Хотелось бы знать, что там Тед обнаружил.

Получила вчера бесценный дар, вышедшую наконец книгу о Касьяне Голейзовском^[427], великом русском хореографе, горячо любимом мною друге.

Это была словно встреча с живым. Какой это был гениальный человек! Это было существо, безусловно, божественного происхождения.

Счастливы были глаза, видевшие его воплощения, но еще счастливее были те, из кого он создавал свои творения. И как жалко, что из всех искусств искусство балета, да еще у великого мастера, так хрупко и мгновенно и бывает явью очень недолго.

Но что-то я разговорилась. Скоро придут, чтоб взять письмо.

Хочу передать Вам сердечный привет от Бори. Не забывайте нас, азиатов или, как говорил один человек, «азиадов».

Крепко Вас целую.

Галина Лонгиновна

P. S. Радуюсь, что Вам хорошо работается. А в Ренн я влюбилась.

Галина Козловская - Анне Фэвр-Дюпэгр

23 апреля 1985

Дорогая моя Аничка!

Вот и Пасха прошла, а я всё собираюсь Вас поздравить. Но ко мне в это время приходили в гости не только люди, но и облака. Первым я радовалась, а вторые валили в постель с дурнотой и головокружениями, и пока они не уходили ввысь или не проливались дождем, мне бывало очень плохо.

И это обидно, ибо сейчас во всякий час и мгновение сад так прекрасен, что не наглядеться.

Боря посадил много нового – и цветов, и деревьев, и кустарников, и глаз не нарадуется.

Сейчас цветут в изобилии ирисы и ландыши, а ко мне прямо в окно просится ветка цветущей глицинии.

Пишу я Вам глубокой ночью, впервые на крылечке, и теплая весенняя ночь дышит кругом благоуханной тишиной. Был первый жаркий день, но земля еще не отдала своей прохлады и свежести. Журка спит в глубине сада, Степка – у меня на коленях, ежик снова объявился и обходит дозором все комнаты, а ленивая бессмертная

черепаха целый день медлительно возникала среди трав и цветов. Словом, «всё в этом мире по-прежнему, месяц встает, как вставал»^[428]. Вот он, мой мир, осененный небом и деревьями, которые я люблю. Он для других, наверно, мал, но мудрецы когда-то говорили, что часть равна целому. Вот так и живу, вмещая Вселенную в частице, и с грустью отпускаю уходящие мгновенья. Я научилась очень хорошо заставляя жить прошлое с настоящим и состязаться в яркости ощущения жизни.

Так, недавно написала стихи, где аффективное ярчайшее впечатление детства жило, оказывается, во мне, не померкнув ни единой гранью, и сейчас со мной, как сегодняшний день. <...> Мне хочется написать такую импрессионистическую поэмку, связанную мотивом Тени.

Как Вы живете, моя милая трудолюбивая пчелка? Весь ли мед собрали в соты?

Наверное, скоро уедете в свою прекрасную Бретань и увидите те удивительные города, заснувшие в себе и в прошлом. Они, как те умолкшие пленительные женские имена вашего французского Средневековья, которые звучат для нас, как музыка и как говор отшелестевших лесов.

Если у Вас когда-нибудь будет дочь, дайте ей имя, взяв его из родников какой-нибудь феи. Они знали толк в чудесах и дарах, и это они наградили золотом волос грустную Мелисанду.

Хотя я знаю, что Вы очень погружены в свою работу, но всё же черкните мне несколько строк. Я часто с нежностью думаю о Вас и хочу знать как можно больше о Вашей жизни. Не собираются ли в Париже отметить выставкой Шагала? Подумать только, прожить 98 лет и быть художником до конца.

Кончаю, ибо Журка, несмотря на тепло, взял за обычай ночевать дома. Очевидно, ночью пугается орды диких котов, совершающих набеги на спокойный сад. Он клюет меня, напоминая, что пора спать.

Спокойной ночи, дорогая. Нежно Вас целую и желаю счастья. Привет Вашему другу. Журка, а Боря в особенности, кланяются. Не забывают меня.

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Анне Фэвр-Дюпэгр

9 августа 1985

Дорогая моя Аничка!

Извините меня, что я не сразу ответила на Ваше последнее милое письмо. Два обстоятельства тому виной: первое – это невыносимая адская жара, от которой растапливались мозги, и я была не в состоянии думать, делать, есть – проживая с трудом день до вечера. Ослабела страшно. Вторая – это то, что я упала и очень сильно расшиблась. К счастью, ничего не сломала, чем и утешаю себя, глядя на себя в зеркале, на свою разбитую физиономию. У меня под глазом роскошный огромный синяк, о котором только может мечтать деревенская баба, которая горюет, что ее не бьет муж, потому что не любит и не ревнует. Мне жаловаться не на что.

Вот и лето перевалило в август, а у нас по-прежнему жарко, лишь по ночам прохладно. Сад мой невыразимо прекрасен, и душа моя не нарадуется подаренным мне чудом земли. Журушка несколько отчуждился, приходит только поесть и скрывается в глубокую тень в конце сада, где проживает свою одинокую птичью жизнь, изредка провожая криком пролетающие в гуле самолеты.

Боря где-то странствует в Крыму и вернется к концу месяца.

Читаю заново запоем Бунина. Когда завершите свою диссертацию, окунитесь в его изумительную серебряную прозу. Я рада, что Ваша работа хорошо строится. Когда Вы думаете перейти к другим периодам его творчества^[429], после Рима? Кстати, мы очень мало знаем об этом времени его жизни.

Читаю седьмой номер альманаха «Панорама искусств» и словно окунулась в свою прошлую жизнь. Сколько оказалось ушедших друзей, которые отныне живут в книгах.

Мы здесь пережили отголосок землетрясения, случившегося в Таджикистане. Там оно было сильным и свирепым.

Аничка, спасибо за перевод «Тени». Он снова получился у Вас замечательно. Я искренне восхищаюсь Вашим даром, если у Вас так же великолепно получались бы переводы рифмованных стихов, Вы могли бы считать, что Вы владеете еще одной профессией. У Вас чудесное чувство ритма и верность поэтической сути стиха.

Из моего летнего ночного урожая посылаю Вам еще два стихотворения. У меня было несколько запойных поэтических ночей. Не знаю, как назвать стихотворение о предке. Как все, связанное с моими глинами, оно искренно, как исповедь.

<...>

Когда	держу	в	руках
Я	влажной	глины	ком,
Мне	кажется,	что	я
Послушна	чьей-то		воле.
Со	мною	нет	живых
Со	мною	только	вы,
Что	из	безмолвной	глины
Мной			сотворены.

Откуда	вы	ко	мне	пришли,
Мои		улыбчивые		лики?
Вы	лепиться	и	оживаете	в ночи
В	согласии	с	Тайной	роста,
Откуда-то,		из	тьмы	времен
Вы	рветесь		к	воплощенью,
И	облик	ваш	я	узнаю
Со		странной		ясностью
Воспоминания		-	неведомого	мне.

<...>

Читая Ваше письмо, ясно представляла Ваши дни в Бретани – и море, и велосипед, и музицирование. Вообще, я лучше вижу Вашу Бретань, чем парижскую жизнь. Я вижу словно наяву прелестные старинные французские города, и целые вереницы видений, поэтических, музыкальных, архитектурных – вся роскошь французской культуры возникает, как пиршество. И я в моем убежденном эскапизме негодую на двадцатый век, вторгающийся в жизнь людей и природы, взрывающий все животворные ключи земли и омертвляющий многовековую духовность народов.

Аничка, как-то, несколько месяцев тому назад, посетила меня одна Ваша подруга по университету^[430]. Она очень славная и мне понравилась. Я просила ее приходить, но она, очень, по-видимому, застенчивый человек, больше не пришла. Напишите ей, что я буду рада видеть ее у себя.

Передайте привет Вашему другу, чье имя запомнилось только в поэтическом переводе «Белей, чем снег», – так, кажется.

Журушка вместе со мной и садом обнимает нашу далекую милую Аню, желаем все счастливой жизни и удачи в ее поэтическом подвиге.

Слушая хорошую музыку, вспоминайте обо мне. Ваша, любящая Вас

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Анне Фэвр-Дюпэгр

10 ноября 1985

Дорогая моя Аничка!

Только что собралась писать Вам письмецо, как пришла Ваша открыточка из Кракова. А некоторое время тому назад Танечка^[431] принесла мне от Вас дивного, любимейшего мною Боттичелли. Спасибо, моя дорогая, за доставленную радость.

Самое удивительное, что с этим связана одна история, в том духе, что со мной всегда случаются.

Дело в том, что с некоторых пор меня преследует одно женское лицо, преследует днем и в снах. Я решилась начать лепить одну композицию (поясную), где прекрасная женщина, наклонясь, утешает припавшего к ней плачущего юношу. Очень много ее обдумываю и вижу, но боюсь, что у меня не хватит дара воплотить то, что я вижу.

И когда пришла Таня, и мы раскрыли Боттичелли, на меня с обложки глянуло *мое* лицо. Я просто оцепенела. Теперь всё думаю: мне помнится, что я никогда не видела этой вещи, поэтому я не могла ее вспоминать, почему же я видела то, что уже давно осуществил великий художник?

Был у меня недавно наш московский друг^[432]. Вспоминали Вас и радовались, что Вы умница и хорошо строите свою жизнь и работу.

Я же плохо себя веду. Много болею, и, вероятно, мой диабет выкидывает со мной фокусы. Я иногда впадаю в состояние ослика, который не хочет сдвинуться с места. Не хочу вставать, двинуть рукой, ногой, есть, что-то делать. В лучшие свои дни бросаюсь в стихи, какое-то время сижу на крылечке и дивлюсь красоте осеннего сада. Он всё еще неописуемо прекрасен! Затем сплю, потом читаю до изнеможения и снова впадаю в сон.

Дом мой запущен, и у меня всё меньше и меньше сил справляться с бытом. У Журушки от старости стали курчавиться перышки, он в жару летом мало ел. Сейчас я его откармливаю огурцами, которых он ест очень много и стал лучше выглядеть. Лишь для меня нет уже в природе овоща, который бы прибавил мне сил.

Посылаю Вам несколько стихотворений осеннего урожая. Хотелось бы, чтобы они нашли отклик в Вашей душе. Еще раз спасибо, дорогая, за Боттичелли и за Таню. Мне хочется, чтоб она ко мне приходила.

Ива

Сегодня		В		полдень
Я	свои		поила	ивы.
И		свежесть		влаги
Ринулась,				ликуя,
В	давно		иссохший	водоем.
Я				прислонилась
К		любимице		своей
И		ей		сказала:
«Как	хорошо,		что	мы

С тобой вдвоем стоим
 На этой теплом и влагой
 Дышащей земле.
 Мы так давно неразлучимы,
 И ты во мне,
 И я в тебе
 Запечатлелись и слились».

<...>

Кольцо царя Соломона

Как я хотела бы надеть
 Хотя б на миг один
 Счастливый Соломонов перстень!..
 И стал бы мне понятен смысл
 Всех птичьих радостей вздох,
 Могла б узнать, как сладок стае виноград,
 Узнала бы, каков глоток воды
 В счастливом птичьем горле.
 И как меж небом и землей
 Прекрасна и легка
 Покорная полету высота.

* * *

Вчерашней ночью, перед сном
 Мой сад пахнул в окно дождем,
 Беззвучным, вкрадчивым и затаенным.
 Поутру я распахнула дверь,
 Стоял он тихий, осиянный,
 Не ведая о своем преображеньи,
 А труженица осень всё глядела
 На позолоченный ее руками сад
 И обошла лишь розу белую в цвету,
 И пожалев, навстречу солнцу подняла,
 И отдала последнее ее дыханье
 Ее счастливейшему дню.

Мои ивы только сейчас стали золотые, а то сплошным золотом на их зеленом фоне стоял гранатовый куст.

Целую Вас и желаю здоровья, счастья и много славных путешествий.

Боря шлет Вам привет, а я человеку, чье имя «Белее снега». Не забывайте меня, милая.

Ваша Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Анне Фэвр-Дюпэгр

16 декабря 1985

Дорогая моя Аничка!

Хоть и пишу Вам в преддверьи Рождества и Нового года, но пишу, сидя на крылечке, под славным солнышком. Журушка радостно вышел погулять после двух недель затворничества. Был снег и непогода. Но мы живем, как известно, в резко континентальном климате. Поэтому и физическое, и психическое самочувствия тоже резко меняются.

Вчера у меня был тяжелый сердечный приступ, третий в моей жизни, начавшийся во сне. Думала, не справлюсь. Но к вечеру пришла в себя, и сегодня – как будто и не было.

От Вас последняя весточка была из Польши. Кончили ли Вы перевод своей книги? Я так рада за Вас, моя милая, что Вам удастся так славно путешествовать и видеть чудесные вещи и места.

Скоро любимое мое Рождество, и душа моя, как обычно в это время, полна умилением и любовью. Несколько дней тому назад вылепила свою Мадонну с Младенцем. (Он виден только со спины, прижавшийся к ее плечу, весь в ней, и она очень его любит.) Я на них смотрю и очень радуюсь. Я давно не лепила, и вдруг такая удача. Как бы мне хотелось послать Вам снимок, но что-то никто не объявляется с фотоаппаратом. (Что-то я стала забывать и путать, как пишутся иногда слова.)

Вообще, я очень сдаю, стала совсем слабой и беспомощной. А иногда и просто бываю малодушной. Настало время, когда естественно, чтобы кто за мной ухаживал, а такого человека нет. Вот так мы с Журушкой стареем – у него курчавятся перышки, а меня порой заворачивает в стороны, и я теряю равновесие. Да, много надо мужества, чтобы встречать главного врага человека – старость.

Недавно две ночи подряд видела интереснейший сон. Я будто бы вылепила из глины чашу, не глубокую, и по краям ее ободок пальца в три шириной. Поставила в середину свечу и зажгла. И вдруг появился мальчик Моцарт – и начал дирижировать. Оркестра не было, но от взмаха его рук зазвучала музыка, оттого что на ободочке чаши

появлялись ноты и, сменяя друг друга по кругу, звучали – чудесная музыка.

В следующую ночь, опять после того как зажегся свет в чаше, я увидела группу людей, стоявших безмолвно в комнате и слушающих. Я же сидела в кресле в другой комнате, и ко мне спиной взрослый Моцарт играл на клавесине. И снова была музыка. И вдруг упала моя палка, Моцарт вздрогнул и обернулся, и я проснулась. Очень было удивительно и прекрасно.

Аничка, дарю Вам к Рождеству стихи и желаю Вам счастливого Нового года. Не забывайте меня, дорогая, и помните, что я Вас люблю. Боря и Журушка кланяются. Пишите.

Ваша Галина Лонгиновна

Письма Людмиле Чудовой-Дельсон

Людмила Григорьевна Чудова-Дельсон (1924–2003) – музыкальный редактор, переводчик. В 1947 году окончила романо-германское отделение филологического факультета МГУ им. М. Ломоносова. В 1948–1960-х годах была преподавателем музыкального училища при Московской консерватории им. П. Чайковского. В 1958–1967 годах – редактор издательства «Музыка». В 1967–1983 годах работала научным редактором редакции музыки, театра и кино в издательстве «Советская энциклопедия».

Виктор Дельсон, второй муж Людмилы Чудовой, познакомил ее с супругами Козловскими во время одного из их приездов в Москву.

Виктор Юльевич (1907–1970) – выпускник Московской консерватории, музыковед, с 1934 года выступал в печати под псевдонимом Д. Викторов, В. Дель. Автор книг, статей и рецензий, посвященных пианистическому исполнительскому искусству. (О Святославе Рихтере, Владимире Софроницком, Генрихе Нейгаузе, Александре Скрябине, Сергее Прокофьеве, Дмитрие Шостаковиче и др.) В 1938 году Виктор Дельсон был арестован по доносу литературоведа Якова Эльсберга и осужден по 58 статье. Получил срок, который отбывал в Воркутинском ИТЛ. Был реабилитирован и освобожден в 1955 году, а в 1956 году восстановлен в Союзе композиторов.

Знакомство Л. Г. Чудовой-Дельсон и Г. Л. Козловской положило начало их многолетней дружбе, которая поддерживалась регулярной перепиской. Несколько раз Л. Г. Чудова-Дельсон по приглашению Г. Л. Козловской гостила у нее в Ташкенте.

Как близкий друг В. Д. Дувакина, Л. Г. Чудова-Дельсон организовала встречу Козловских с Дувакиным в своей московской квартире, во время которой он сделал магнитофонную запись беседы с ними об

Ахматовой. Часть этой беседы опубликована в книге «Анна Ахматова в записях Дувакина» (М., 1999).

Галина Козловская - Людмиле Чудовой-Дельсон

5 февраля 1971

Дорогая, дорогая Людмила Григорьевна!

Простите нас за малодушие, что только теперь набрались духу написать Вам, после Вашей утраты дорогого нашего Виктора Юльевича. Бессилие слов перед лицом непоправимой беды наполняет душу чувством особой вины.

Но Вы всё понимаете.

Мы хотим, чтоб Вы помнили, что мы очень его любим и храним в сердце своем. Для нас этот год – это какой-то шквал утрат близких и любимых, и вакуум пустоты вокруг нас всё растет и ширится. Соответственно и силы душевные и физические слабеют, и держимся мы словно листья на ветке в осеннюю пору ветров и дождей.

Посылаем Вам два найденных диапозитива с Виктором Юльевичем. Тут Вы увидите такое чудесное и доброе выражение его лица, которое редко запечатлевается на фотографиях. Пусть эти изображения будут у Вас. Хотим от души пожелать Вам, дорогая, всех тех сил, которые нужны, чтоб всё пережить, для того чтоб жить. Оба обнимаем Вас и просим помнить, что у Вас есть настоящие друзья, хотя и живущие очень далеко.

Может, дадите нам знать весточкой о себе?

Как мальчик, сын Виктора Юльевича^[433]?

Ваши Галина Лонгиновна и Алексей Федорович,

в просторечии Козлики

Галина Козловская - Людмиле Чудовой-Дельсон

25 февраля 1974. Стационар

Милый, милый друг Людмила Григорьевна!

Пишу Вам из невеселого места, где меня лечат от страшной дряни (тяжелые спазмы кишечника). В основном я лежу в лежку, а когда прихожу в себя, то тоскую по низшим видам животного мира, потому что высшие виды достигают предела скотства, скудоумия и всяческого мизера. Если бы со мной были хотя бы муравьи, я бы смотрела на них,

изумлялась бы их мудрости и угощала бы их чаем с сахаром. А так – бабье мелет слова в труху, а мужчины предаются «рассуждениям несобственных мыслей», от которых можно удавиться. Так от всего грустно. Так жалко хороших людей! И тошно, тошно...

Как Вы живете? Здоровы ли? Не собираетесь ли в наши края? Так бы хотелось повидаться.

Мы живем необычно, утопаем в снегах и морозах до сих пор. Значит, лето будет жаркое и надо бы бежать на Север. Хотим в Рузу; может, смилоостивятся и дадут нам 2 месяца вместо одного (июль – август). Посмотрим. Может, там и свидимся.

Наш балет, несмотря на Государственную премию им. Хамзы, эмир Бухарский А.М.А. загрызает, как волк олененка^[434]. Он по-прежнему живет по своему закону – «Съел одного, съел другого, заморил червячка». А так как червячок размером с боа констриктора^[435], то заглатывать приходится очень много и без разбора.

Мы на всё махнули рукой и даже не пытаемся ничего делать.

Сейчас Алексей Федорович раскачался наконец на написание балета о Гансе Христиане Андерсене. Я не успела Вам показать это либретто. Меня за него хвалил Григорович и уговаривал Алексея Федоровича обязательно писать музыку. Но для аромата надо ему чуть-чуть датского и вообще скандинавского фольклора (для себя).

Не могли бы Вы узнать, где и что можно было бы достать, не выезжая из Ташкента? Может, что есть в Союзе или Музфонде? Если Вы к нам хорошо относитесь (в чем я почему-то не сомневаюсь), может быть, нам поможете в этом деле. Можно нотные записи, можно и магнитофонные, что есть, с гарантией скорого возврата. Или укажите, какие пути и что надо предпринять.

Я недавно написала одну новеллу, несколько удивившую моих друзей. Называется она «Хранитель Медного Свитка». Вы мне говорили, что Вы дружны с Амусиным. Он человек, близко стоящий, как, вероятно, никто другой в России к волнительным и увлекательным расшифровкам рукописей Мертвого моря. Если он человек не только точных слов, букв и концепций науки, а приемлет, как, мне кажется, должен всякий большой ученый, видение художника, мне бы хотелось показать ему, как то, что он делает в науке, может порой заставить играть воображение художника и оплодотворить его искусство. Если хотите, я пришлю Вам эту вещь, и Вы по своему усмотрению покажете или не покажете ему эту новеллу. Вы знаете этого человека и Вам лучше известен его душевный настрой.

Забавно, что моя увлеченность и погруженность в этот давний мир породили во мне, вернее, обострили во мне какие-то телепатические свойства. Раньше у меня было развито телепатическое чувство от человека к человеку. Но теперь у меня был недавно прямо-таки необъяснимый телепатический случай, связанный с вещью. Это почти мистика.

Мне снилось, что я иду по белой южной дороге. Я устала и присела на выступ придорожного обрыва. Я опустила руку, и она легла на серый плоский камень с выщербленным краем. Когда я перевернула камень, обратная сторона оказалась вся исписанной письменами неведомого мне, но древнего, как я знала, языка. Я удивилась и проснулась.

В этот день я пошла к своим друзьям – археологам и историкам. Среди оживленного разговора муж вдруг обратился к жене и сказал: «Верочка, а почему ты не расскажешь Галине Лонгиновне о маленькой сенсации, что была у вас на днях в Академии наук?» И она стала мне рассказывать, как два дня тому назад пришли три неизвестных человека и оставили серый плоский камень... «С выщербленным краем и на обратной стороне письма неведомого языка», – продолжала я. «Да, – ответила она, – но откуда вы знаете?» И я рассказала свой сон. Здесь мы стали гадать, что же это за язык. Она мне сказала, что неспециалисты предположили, что, возможно, это согдийская надпись, другие – что это письма времен Кушанского царства^[436]. И вдруг я, совершенно не понимая почему, заявила, что я убеждена, что надпись сделана на арамейском языке. На это мне сказали, что камень отдан на прочтение специалистам.

В эту же ночь, когда я вернулась домой, мне снова приснился сон, и я снова увидела свой камень. Но в этот раз в выщербленный край камня кто-то вделал глиняную вазу. Сосуд был дивной формы, глиняный, но отливал золотистым цветом, и в нем стояли прекрасные колосья спелой пшеницы.

Помимо того, что видели глаза, за всем этим жило что-то значительное и не поддающееся запечатлению и определению, как всегда бывает во сне. И я проснулась с чувством глубокого изумления.

Через несколько дней я узнала, что надпись на камне сделана на арамейском языке и представляет собой благопожелание какому-то Михаилу. Найден был камень в месте, где исстари обитали бухарские евреи.

Вот видите, как может увлеченная душа чувствовать вещи, пришедшие из мира, который она полюбила. А может быть, причина иная и можно ответить словами Флобера: «Каким же надо быть печальным, чтобы писать о Карфагене».

Как поживает Ваш кузен Олик^[437], как его зовет Алексей Федорович по старой памяти?

Есть ли что-нибудь отрадное в музыке? У нас ее много – в чудесных записях, этим и живем. Еще тем, что пишет Козлик вместе с журавлем.

Они сейчас живут вдвоем без меня, два бобыля.

Кошка ходит брюхатая, а дивной красоты кот Степка поражает мир великолепием хвоста и манер.

Хочу верить, что скоро будет весна и что, может, я поправлюсь, хотя излечить меня, говорят, невозможно.

Напишите мне письмецо. Очень хочется иметь весточку от Вас.

Обнимаю Вас, и не забывайте нас, Ваших среднеазиатских Козликов.

Любящая Вас Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Людмиле Чудовой-Дельсон

14 сентября 1974^[438]

Мила! Мила, милая!

Здравствуй, дорогой наш человек!

Приветствуем тебя в это солнечное осеннее утро, перед купанием в прудике моем, неуклонно выполняемом каждый мой здесь ташкентский день.

Галя поправляется, хотя и медленно: кашель всё еще донимает. Нога моя лучше^[439], хирург доволен и в восторге от моих купаний и, главное, от тех упражнений для колен, которые я в воде делаю.

Слушай, душечка Мила! У меня к тебе маленькое дело, и притом тактического свойства. Бог послал мне тебя, потому что только ты можешь такое поручение выполнить. Начну по порядку.

В последнее лето в Рузе с моим дорогим братиком, отцом Аленки, я в магазине купил два экземпляра книги Моруа «Жорж Санд». Один – себе, другой – брату Мите. После его кончины Алена мне сказала, что подаренный мной экземпляр мамаша забрала к себе, на улицу Чернышевского. Там эта книга и есть. Теперь слушай: без меня тут у меня какая-то стерва эту любимую мою книгу «увела». Мы перерыли весь дом – нет и нет!! Страшно расстроился. До смешного. Митин экземпляр я ему подарил, но не мамаше, отнюдь!

И вот – твоя задача (душечка Мила, от тебя всё зависит, честное слово!). Если я откровенно напишу всё Алене, письмо непременно прочтет мамаша, и из всей затеи ничего не выйдет. А вот если ты, Мила, позвонишь Алене и скажешь, чтобы она принесла тебе эту книгу, – тогда всё дело в шляпе. Можно сказать Алене, что книга нужна мне для работы.

А ты перешлешь книгу мне!!! Ты приобретешь друга в моем лице навечно. Всегда всё-всё для тебя сделаю.

«Гоха-Дурак»^[440] в данный момент дочитывается нашим Борькой. Напиши, прислать ли тебе его с Муртазиночкой^[441] (в октябре) или не дожидаясь?

У нас тут масса всяких консерваторских осложнений из-за сволочности неистового ректора. При встрече будет что рассказать!

Книга Дельсончика милого о Скрябине^[442] мне страшно нравится. Там есть замечательные вещи.

Ясно-ясно представляю себе твой уютнейший дом, все детали и милых людей в милом Милином доме.

Не допускаю мысли, что с книгой о Санд что-нибудь не получилось. Заранее обнимаю и благодарю тебя! Мне эта кем-то отнятая у меня книжка страшно, страшно нужна. Все кругом смеются. Это потому, что недостаточно обожают пана Фредерика Шопена.^[443]

Оставляю место Гале, «припадаю к стопам и склоняюсь почтительно и весьма элегантно», как писал пан Фредерик в письме к Водзиньским.

<...> Только доканчивая к Тебе письмо, я вдруг заметил, что давным-давно (еще в Рузе) я перешел с Тобой на «Ты», но как-то забыл Тебе сказать об этом. Не сердись: я старый, мне – всё можно!

Милый наш дружок Мила! Гляди, как Козлик вдруг разинтимничался! «У каждого кипариса свои капризы», как говорят поляки. Ну ублажите его, старого чудилу. Он нас тут всех совсем извел.

Но я еще не поблагодарила за две посылочки, которые дошли вполне благополучно. Если бы те баловства, что мы решили еще себе позволить, пришли бы к 15 октябрю, это было бы грандиозно. Это его день, и я бы могла чем-то его порадовать. А то я никак не отдохну и тлею, как лучина. Кашляю так, что приходится вызывать скорую помощь.

Козлик – молодец, и нога обошлась без гипса. С того дня, как мы прилетели, стоит дивная теплая осень. Сад стоит какой-то выжидательный перед осенним пожаром, что вот-вот запылает, весь в гомоне сотен птиц, что пасутся на ветках урючины, где они клюют недоступные кисти винограда. Телеграфируйте нам заранее, состоится ли ваш приезд семнадцатого. Очень жду. Пусть всё будет хорошо.

Мы живем напряженно и безотрадно, изнемогая от ашрафонских злодеяний. Защиты нет, а Ян Борисович^[444] находится на опаснейшей грани между жизнью и смертью. Посылаю вам образчик эпистолярного стиля^[445], чтоб вы знали, с чем и как нужно сражаться, чтоб не видеть, как на твоих глазах убивают насмерть. Вот так и живем, если это можно назвать жизнью. Много грустного, дружок, и силы на исходе. Если можно, расскажите в Москве о бесчинствах «чудища стоглава, стозевна и лайя»^[446], – может, следующее письмо будет веселей.

Привет всем милым людям, что нас помнят. Целую и люблю вас.

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Людмиле Чудовой-Дельсон

2 января 1975

Милый, милый друг Мила!

Вот и 1975-й наступил, с чем Вас и поздравляю. Хоть бы он не подкачал и оправдал все надежды, что на него возлагают. Пользуюсь случаем по-человечески поблагодарить Вас за чудесные посылки – фонарь водружен при входе в дом на столбике, на крыльце, тостер печет и варит каждое утро в ретивых, но не очень умелых руках Козлика, а я с того самого дня вся в мыле. Или тружусь, как загнанная кобыла, или же валюсь и предаюсь хворям, чем раздражаю врачей местной национальности, считающих, что жена – не человек, а только блажит при муже.

А диабет себе копит и копит сахар, как скопидом.

Козлик делает соболезнующее лицо, вздыхает, прибавляя, какой он несчастный, и тут же мечтательно говорит: «А ты не испекла бы пирожок?» – ну, или печет, или взрывается, в зависимости от процента сахара в крови.

Кстати, этот сладчайший из ингредиентов очень способствует формированию осатанелости и прочих ведьмовских качеств в характере *ci-devant*^{#4471} ангела. Так что помимо всего я еще должна бороться с внедрившимся в меня бесом гневливости – вот так и живу в подвижничестве.

Рада представить Вам подательницу этого письма, Вашу маленькую тещку. Мила и ее муж Юра – друзья нашего Валеры Молдавера, а теперь стали и нашими друзьями. Они очень добры ко мне. Прошу любить и жаловать эту крошечную маленькую женщину. Мила расскажет Вам более подробно о моем житье-бытье.

Козлику прислали наконец из Дании подарок от посольства – два тома песенного фольклора, добротное издание девятнадцатого века. Но что-то уж очень пресновато и цирлих-манирлих. Видно, гений в этой стране был только один, и еще приснился одному англичанину бедный принц, бродящий за тенью и бредами под сводами Эльсинора. Вот и всё.

Десятого января Козлик отправится в писательский Дом творчества всерьез писать Андерсена. Он как-то чуточку окреп, много читает и меньше спит. А я бы спала до второго пришествия.

Недавно познакомилась с интересным человеком, фантастической судьбы. Он давал мне читать 17 писем к нему Марины Цветаевой (в фотокопиях, естественно), где я встретила несколько имен людей, игравших роль в Козликиной и моей жизни. Мир удивительно тесен.

Как здоровье мамы? Как Ваши дела и что у Вас нового, хочу знать всё подробно. Напишите мне, дорогая. Козлик обнимает и просит, если можно, позвонить Шехониной и узнать о судьбе его симфонической Поэмы. Извините, что переполошили Вас с Вивальди, Борьке какой-то друг все-таки в Москве выбил, так что спасибо и простите за хлопоты. И еще просьба – любите и не забывайте нас, Ваших азийских Козликов.

Привет всем, кто нас помнит. Милым дамам и Дувакину. Целую Вас, дорогая.

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Людмиле Чудовой-Дельсон

21 июля 1977

35 градусов жары, вечер.

Дорогой мой друг Милочка! Пишу Вам вблизи начала таянья от жары, в состоянии Амока. У нас 35 градусов, 38, а то и 47 градусов тепла. Но всё же всё, что я Вам напишу, еще в здравом уме и твердой памяти. Но дотерпеть до начала середины августа, когда жары начнут спадать и начнется дивная, долгая среднеазиатская осень! Будут фрукты и плоды, будет Боря, который будет их привозить, и будете Вы, как я хочу верить.

Милочка, дружок, приезжайте, я жду Вас в начале сентября. Поживем вместе, а потом вместе и поедem в Москву. Я обязательно должна побывать там, и по делам, и просто для души. Невтерпеж уж без своих. Какое-то время была бы у брата, а потом, если примете, у Вас.

Только недавно было в газетах опубликовано решение правительства об увековечивании памяти Алексея:

1. Установить бюст на могиле.
2. Обязать Консерваторию, Союз композиторов и издательство напечатать его «Научные труды» (*sic!*) и музыкальные произведения.
3. Мне установлена, наконец, через полгода, персональная пенсия республиканского значения в размере 80 рублей.

Все попытки друзей добиться 120 рублей не удались. Очевидно, мое соавторство и творчество приняты во внимание не были. Также отклонили назвать его именем музыкальную школу и улицу. Сейчас я хлопочу о мемориальной доске на дом и всякую мысль о «Музее-доме» оставила до того, как это отклонили. Это больному человеку не под силу.

Союз хочет осенью пригласить Юру Фортунатова возглавить комиссию по отбору сочинений для печати. Он мне, поганец, так ничего и не написал.

Здесь Джаббаров договорился с фирмой «Мелодия» в Москве, что они сделают пластинки «Улугбека» со старого монтажа (с отличными исполнителями). К сожалению, когда изымется словесная болтовня, может не хватить музыки на две пластинки. Там нет хоров третьего акта – т. е. сердца оперы и вершины музыкальной драматургии Козлика

как оперного композитора. Может, можно было бы уговорить Геннадия Николаевича разучить эти хоры и вкомпановать в прежнюю, хорошую, дорого тогда стоившую запись. Теперь для этого не дадут таких средств, и нет таких певцов. Клавир «Улугбека» для Варшавы я отправила шестого в Москву. Не знаю, застал ли он Мартина еще там, до отъезда в Варшаву.

Жду ответа от Норы, падчерицы Виктора Станиславича. Теперь жду или письма, или звонка насчет приезда. Надо же, чтобы человек мог ждать и надеяться на хорошее, на радость.

У меня, хотя я и живу затворницей, происходят всякие забавные глобальные завихрения. Как называет меня Валера Молдавер – «Вы романтический полюс земли».

Верно, оттого – чем больше во мне печали, тем сильнее люблю жизнь.

Целую крепко, люблю и жду. Привет от «карманной» тетки.

Галя

Галина Козловская - Людмиле Чудовой-Дельсон

19 октября 1977

Милочка, мой дорогой, дорогой друг!

Просто стыд и срам, сколько я Вам не писала, но человек, находящийся в полосе таких токов и душевных потрясений, как я, не должен обременять собой своих друзей...

Вероятно, пока был жив Козлик, щитом и защитой его был талант, и хотя последние годы его были отравлены и конец был, несомненно, ускорен, но живого его всё-таки стеснялись. Сейчас же даже трудно представить, откуда в душах столь многих такая жажда «уничтожения» его, человека, никогда никому не делавшего зла, доброго, благожелательного к людям, делавшего им столько добра!

Я погибаю от проявления человеческой низости, зависти и предательства.

Последний удар был нанесен Фортунатовым в форме настолько циничной и бесстыдной, что когда я всё поняла до конца, у меня случился такой сердечный приступ – перестал работать сердечный клапан, – и я чуть не умерла. Я не в силах пересказать Вам, дружок, проще, посылаю Вам для прочтения копию письма ему. Оно даст Вам хотя бы абрис того, что случилось.

Юра!

Вы сами бросили жребий!

Скрывая от меня место Вашего пребывания и замата следы, Вы отдавали себе отчет, что создавшаяся ситуация постыдна. Остатком нравственного чувства Вы понимали, что Вам, тридцать пять лет прожившему в прекрасной легенде лучшего и вернейшего друга Алексея и его музыки, нельзя находиться там, откуда шел неиссякаемый поток хулы и диффамации, которая плескалась вокруг него, заливая тошной мутью его убывающую жизнь.

Алексей был лучезарным чудом искусства, таким сотворил его Бог, и потому беззащитным. И Вы это знали, как никто другой.

Но как случилось, что мрачная слава «гнусной четверки» не только не отпугнула Вас, но так прельстила, что Вы ринулись им навстречу, в грязные объятия карьеристов, клеветников и взяточников, без всякой безгливости и отчуждения?!

Я не хочу знать, чем и как они купили Ваше отступничество, но знаю, что отныне Вас будет сопровождать дурной запах чечевичной похлебки проданного первородства. Вы умны и не можете не понимать, что изошренные во зле знали, для чего им нужно это отступничество. Ведь это Вами они нанесли свою посмертную месть Алексею, избрав Вас своим орудием. И как же это они всё рассчитали! Но Вы, Вы-то сами почему так охотно согласились этим орудием стать? Значит, они знали Вас лучше меня. Должна сказать, что из всех неправд этого Вашего приезда Вы в одном были откровенны. Вы, не скрывая, сказали мне, что приехали по вызову Консерватории читать лекции. Этим Вы показали мне, что совсем не разбор рукописного наследия Алексея является целью Вашего приезда.

Ваши три визита обнаружили для меня всю степень Вашего «недосуга» и ошеломительного внутреннего равнодушия. С горьким чувством вспоминаю ту тщательную подготовку рукописей к Вашему приезду, чтоб Вам было удобно и легко.

Но Боже, Вы ли это были? Вас ожидала музыка всей его жизни, которая ждала встречи с Вами. Но передо мной сидел равнодушный человек, в ком не было ни радости, ни волнения, ни нетерпеливого ожидания открытий, который через силу подарил целой жизни музыканта *шесть часов своего времени*.

Я никогда не сделала Вам зла, так почему же Вы сочли нужным увертываться и унижать меня, а не сказать всё прямо. Я горда и чутка, и для меня было бы достаточно куда меньшего количества неприглядностей, чтобы всё понять. Когда Вы сделали свой выбор, вы решили, что со мной можно больше не церемониться, можно не позвонить и не предупредить, чтоб не ждали, и, уезжая, сочли излишним соблюсти хоть какое-то приличие, какие-то внешние конвенансы, этим уж совершенно выпадавая из сословия предков.

Поверьте, что я никогда больше не обращусь к Вам и не беспокою какой-либо просьбой, касающейся произведений Алексея. Вы свободны от каких-либо нравственных и человеческих обязательств.

Мертвых и слабых покидают – в этом, очевидно, гнусный закон жизни, который надо начать принимать, но который для меня понимать слишком поздно. Странно стоять перед обломками крушения того, что тридцать пять лет считал незыблемым.

Но я еще не всё сказала.

Было еще одно обстоятельство, имевшее место во время нашего единственного «совместного собеседования». Среди прочих расплывчатостей и неопределенностей Вы, говоря о публикации Алексеевых трудов, сказали, что среди прочих можно напечатать его статью об Ашрафи, прибавив, что это надо для «объективности истории».

Великий Боже! В чьем доме и из чьих уст это пришлось услышать! Так что, значит, новая ориентация в жизни уже совсем окончательная? Значит, Вы перечеркнули не только Алексея, но и самого себя, и то благородное, за что Вас уважали настоящие люди и музыканты. Вы, один из главных застрельщиков разоблачения плагиатора, теперь мне предлагаете эту двусмысленную инсинуацию. Что, решили прийти на выручку негодяям и хотите совершить амнистию вору и злодею? Ничего себе вам всем пришла идея – сотворить апологию Ашрафи устами Козловского (во имя «объективной истины истории», конечно).

Могу Вам подбросить еще – он ведь не только писал статьи, его заставляли писать музыку, говорить вступительные слова, делать доклады и даже играть на барабане. Но «объективная история» трагической судьбы репрессированного художника и злодеяния всесильного восточного сатрапа – страшное обвинение веку, еще не написанное, и я не советую Вам забегать вперед. Труссы обычно стараются не вспоминать эти позорные времена, настоящие люди содрогаются и плачут. Стыдитесь! И если Вам не стыдно за самого себя, то мне за Вас очень стыдно.

Разве над Вами сейчас нависла беда, и судьба гнет в три погибели? Это не над Вами висела горечь изгнания, беда безвыходности и кнут работодателя, грозящего двадцать пять лет лишением хлеба и крова. Я знаю, что две тени – Алексея и Дмитрия Дмитриевича – никогда не простят Вам этого отступничества от правды и самого себя.

Но что Вам до них – они только тени, тени, сотворенные из того пламени, что обжигает души, но не руки. Тому, что поселилось в Вашей неузнаваемой душе, суждено процвести. Скат вниз не знает остановок. Поэтому Вам теперь только и нестись добровольно пристяжной в квадриге Воландовских губителей, вместе с ними, к общему бесславию, теряя по пути уважение многих. За вкусом сладких пирогов и радостных застолий Вы забыли, что оставляете за собой след – постыдной скверности. Приобрели Вы мало, утратили много.

Г. Л. Козловская

Уезжая, он заявил в Союзе, что он отказывается от редактирования рукописей, и не счел нужным даже позвонить и проститься со мной.

Потом я узнала, что девушке, написавшей диссертацию об Алексее, он, кривясь и унижая ее работу, заявил: «Ну что уж Вы его так превозносите, преувеличивая его значение». Ничего себе для человека, всю жизнь не находившего достаточных слов для хвалы и преклонения. Когда умер Алексей, то Фортунатову слались телеграммы соболезнования.

Я теперь не имею никаких оснований сомневаться, что, предав и отступив прямо к злейшим врагам, отныне он присоединит свой голос к тем, кто делает всё во зло памяти Алексея Федоровича. Он будет в Москве везде вредить и пакостить.

Дело в том, что летом у меня был Митя Галынин и рассказывал, как неэтично и некрасиво держал себя Фортунатов при издании германовских вещей, к тому же вымотав все нервы неправдоподобной медлительностью.

С книжкой по инструментовке Сергея Никифоровича Василенко, изданной посмертно, тоже была какая-то пакость, и наследники не могут слышать его имени.

Мне достались остатки его великолепия, и только вера и любовь, пронесенная с нашей стороны, не хотели видеть все эти тридцать пять лет дрянности характера. И уж очень он всегда клялся, что Алексей в музыке – это для него – всё: и поэт, и мастер, и единственный наставник.

Из моего письма Вы увидите его ренегатство с Ашрафи. Тут уж просто – мое почтение. Я приложила вырезки из интервью с Метеком Вайнбергом о Шостаковиче, где он вспоминает, как в этом «деле с плагиатором» он иначе поступить не мог, хотя это и стоило ему, Дмитрию Дмитриевичу, много здоровья...

Очень страшно, Милочка, и сердце не вмещает подобных разочарований.

Я изо всех сил борюсь, чтоб не сломиться и не дать этой пакости меня убить. Я не имею права не сделать всё, что я должна. Только сейчас, наконец, сдвинулось что-то. Здешний Союз послал ходатайство Хренникову и в издательство Кунину, а также Розовскому, чтоб в Москве были напечатаны три произведения Алексея Федоровича – поэма «Празднества», увертюра «Память Гор» и две сюиты из балета «Тановар». Здесь же, несмотря на решение Правительства об увековечивании его памяти, партитуры напечатаны быть не могут. Редактировать их будет Гиенко (местный) и Л. Фейгин (в Москве,

кстати, прекрасный музыкант, отличный редактор и в высшей степени ценящий творчество Алексея).

Если Москва во всех инстанциях согласится, я тогда, с Вашего позволения, так или иначе переправлю рукописи Вам. Я верю, что Вы мой и Козликин настоящий друг и будете моей опорой в этом деле. Сейчас у меня вся надежда на Вас. Кроме того, у Фортунатова крепкие связи с Музеем Глинки. Хотя он успел мне со странной злобой и раздражением сказать, что директриса Музея «Вас обдерет, как липку и постарается всё приобрести по дешевке». Прелестная фраза, словно речь идет об охотнорядцах, оптом покупающих товар – мясо, рыбу и птицу. Меня передернуло, и стало тошно.

Конечно, при пенсии в восемьдесят рублей я далеко не Крез, на книжке никаких денег никогда не было и нет, и деньги, конечно, мне нужны, но торговаться, как на базаре, считаю постыдным и не буду. Но Музей молчит, и на мое письмо не ответили. Теперь уж буду думать, не станет ли там гадить Фортунатов.

Не могли ли Вы, Милочка, поговорить с директрисой и узнать, согласны ли они прислать ко мне Николая Николаевича Соколова. Рукописи предварительно разобраны. Я оставляю себе партитуры двух его опер и балет. Издам здесь маленькие вещи для небольших составов. Остальное всё передам Музею. Когда будут напечатаны партитуры, их тоже передам Музею.

Хотя три четверти из того, что было написано Алексеем, бродит по свету, и многое исчезло, по-видимому, бесследно, всё же много и осталось.

Насчет ЦГАЛИ, странно мне являться и говорить: «Приобретите рукописи Козловского».

...Здесь моей поддержкой, ежедневно, ежечасно, является Ян Борисович. Все, что сделано, с великими трудностями и преодолением, – это его усилиями.

Галина Козловская - Людмиле Чудовой-Дельсон

16 декабря 1977

Милочка, дорогой, дорогой дружок!

Не сердитесь, что не написала с Николаем Николаевичем и не поблагодарила за «благодатные напитки». Спасибо, милая, они были очень кстати, т. к. у нас тут «ни кофиев, ни чаев» нет в помине, если не считать грузинскую дрянь.

Не написала с ним из-за расстройства чувств, которые он не одобрял, согласно железной мужской логике. А моя логика сердца всему наперекор – здравому смыслу и полному пониманию – сокрушает

меня печалью. Для меня уход из дома рукописей – это второй вынос, на этот раз его души. Мне приходилось это от него скрывать: человек он славный, но на редкость обидчивый.

Простились мы с ним хорошо и славно дружили, пока он тут работал. Он был несколько разочарован, что основных рукописей – главных сочинений Алексея Федоровича – не оказалось в архиве. Удивительная вещь, что Козлик, такой тщательный мастер при написании своих партитур, бывал чаще всего крайне беспечен и непредусмотрителен, выпуская их в мир. Он почти никогда не делал копий, писал без черновиков и отдавал единственную свою рукопись при продаже ведомствам и издательствам. Поэтому три четверти из написанного им бродит по свету и проваливается в недра различных библиотек, где почему-то, как правило, пропадает.

По своей доверчивости и непредусмотрительности он сделал ужасную одну неосторожность после монтажа «Улугбека», для которого он предоставил дирижеру авторскую рукописную партитуру, вместо того чтобы заказать переписанные номера осуществляемого монтажа. Когда в Москве увидели запись-протокол, что на последней странице рукописи лежал череп Улугбека (М. М. Герасимов устроил нам такую встречу с героем через 500 лет), там начали уговаривать его оставить ее в библиотеке Радиокомитета. Заверяли его, что там она будет отлично храниться, в достойных условиях. Козлика также уверяли, что в Ташкенте рукопись рано или поздно пропадет. И он согласился. Когда с ним Радиокомитет производил расчеты, то они заплатили ему за *монтаж*, а не за всю партитуру оперы. Это, мне кажется, просто проверить, если поднять бухгалтерские книги.

Когда еще при жизни Козлика Николай Николаевич обратился в Радиокомитет, чтоб начать переговоры о передаче «Улугбека» Музею им. Глинки, там ему ответили, что «Козловский *продал рукопись* нам, и она является нашей собственностью». Ник. Ник. был так этим ошеломлен, что не стал огорчать Козлика и только теперь рассказал мне. Вся эта акция была совершена устно, нет ни расписок, ни договоренности.

И всё же я хочу попытаться это дело поднять и добиться передачи музею *во исполнение желания автора*. Музей согласен сделать на ротапринте номера *монтажа*, а рукопись взять. Я подключила к этому Сергея Артемьевича Баласаняна, написав ему письмо. Он тогда возглавлял Музыкальное вещание Всесоюзного радио, и это по его инициативе был осуществлен монтаж оперы.

Милочка, посоветуйтесь со знающими людьми, как лучше взяться за это дело и есть ли надежда, чтобы человеческое преодолело ведомственность.

Я тут бьюсь из последних сил с мафией, которая с удвоенной силой сопротивляется изданию Козликиных вещей в Москве. Издательство «Советский композитор» просило прислать предлагаемые рукописи,

чтобы, ознакомившись, включить в план издательства. Я хочу издать две сюиты из балета «Тановар». Здесь есть в Музфонде эти самые переписанные переписчиком сюиты, но мне их не дают отправить в Москву, чтобы там с них Л. Фейгин, будущий редактор, сделал копии для издания. Здесь в Союзе композиторов «Эра» не работает, в Консерваторию доступа нет, а переснять частным образом – это надо не меньше 250 р., а то и больше. А их у меня нет. Вот и тыкаемся с Борей и ничего добиться не можем. Мафия зорко следит, чтоб нам никто не помог.

У меня лежит подлинная рукопись «Тановара», которую я передам Музею, когда будут изданы сюиты, но выпускать из дома подлинник не могу и не стану.

Но хватит об этих делах. Они слишком волнительны, поглощают все мои мысли и подстегивают мой диабет в ужасной степени. Простите мне, дорогая, мой эгоцентризм. Люди, одержимые одной идеей, не замечают, что не знают меры, приобщая других к своим делам. Но Вы добрая и всё поймете.

У нас третий день снег. В саду было очень красиво, но сегодня тает, и красоты как не бывало.

Было 6 декабря у нас еще землетрясение, да еще какое – вспомнили 1966 год. У меня в это время была приятельница. Началось с крещендо – земля гудела и вздымалась. В доме всё валилось и тряслось. У меня было такое впечатление, что потолок и крыша трещали и подымались. Мы выскочили в сад, где Журушка дрожал на длинных ногах и затем долго и судорожно зевал.

Эпицентр – в 40 км от Ташкента, вблизи Чирчика. Там было 8 баллов, здесь сообщили – 7,5. Ночью спала одетая, боялась повтора.

Кончила только что хорошую книгу о Рубенсе (Письма, документы и воспоминания современников). Я в целом равнодушна к его фламандско-телесному исступлению (очень и глубоко люблю некоторые портреты с их поразительной живописной магией), но книга, т. е. личность, конечно, чрезвычайно впечатляет и поражает беспримерностью судьбы и дарований.

Еще порадовал меня один мой друг, прислав мне два любовных письма Марины Цветаевой к Родзевичу – герою «Поэмы Горы» и «Конца». В свое время Родзевич передал ему, для передачи Ариадне Сергеевне, двадцать ее писем к нему, что Владимир Брониславович и сделал, но не удержался и переписал в дневник два из них.

Ариадна Сергеевна передала их в ЦГАЛИ, и доступ к ним будет закрыт на двадцать пять лет. Брониславович почему-то избрал четырех людей, которым доверил ознакомление с этими двумя письмами, подарив их Ахмадулиной, Нагибину, Гейченко (хранителю Михайловского) и мне.

Меня поразило, что и в великой любви Марина не могла забыть о себе как литературном явлении. Может, я ошибаюсь, но я разочарована

в чем-то. Любовные письма надо писать самозабвенно, как Натали Герцен к Гервегу. Но об этом – при встрече.

Новый год чтоб был счастливым, радостным и богатым! Вам и всем детям Вашим.

Целую крепко

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Людмиле Чудовой-Дельсон

22 декабря 1977

Милочка, моя дорогая!

Наконец что-то сдвинулось с места. Наш Музфонд соблаговолил разрешить дать рукописи Алексея – двух сюит из «Тановара» и поэмы «Празднества», – чтобы в Москве, в музыкальном комбинате были с них сделаны копии на «Эре». Союз композиторов договорился с Музфондом СССР, что они сделают за счет Музфонда Московского союза композиторов. Копии надо будет потом отдать Игорю Павловичу Ильину в издательство «Советский композитор». Посланные же рукописи, принадлежащие Узбекскому отделению Музфонда, надо будет вернуть обратно в Ташкент (это может сделать комбинат). Боря болен уже давно и поехать не может, но оказалась прекрасная okazия доставить материалы в Москву.

Я попросила все материалы передать Вам, а затем уже кланяюсь в ножки, будьте доброй феей. Доставьте три рукописи в производственный комбинат Музфонда: Смоленская набережная, д. 2. С ними уже будет договоренность, и прилагаю сопроводительное письмо из Союза композиторов. Когда уже копии будут готовы, прибавьте к ним копию, сделанную на «Эре», симфонической поэмы «Память гор» – и все четыре отнесите Ильину. Они просили прислать отобранные комиссией по наследию Алексея Федоровича произведения для ознакомления и включения в план издательства. Только сейчас это наконец можно осуществить.

Крови мне испортили изрядно, но когда Вы уже отдадите в издательство, моей душе будет великое облегчение и утешение. Сейчас вверяю Козлика в Ваши добрые руки.

В добрый час.

Еще раз поздравляю с Новым годом. Вам и всем Вашим – милым, большим и малым, – счастья.

Пусть этот год будет для Вас благословенным и счастливым. Поздравьте от меня Эйгесов.

Крепко Вас целую и очень люблю. Ваша вечно

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Людмиле Чудовой-Дельсон

30 марта 1984

Дорогой мой дружочек Мила!

Конечно же, приезжайте, приезжайте, и как можно скорей. Буду рада и счастлива Вас обнять, наговориться, поговорить с милой сердцу душой. Я всегда Вас вспоминаю и горюю, что Вы так далеко и недоступны, понимаю, что московская круговерть не дает людям вздохнуть и не остается ничего для полноценной дружбы и настоящего общения. Эта урывочность всего и вся очень печальна. И я радуюсь, что теперь-то наконец Вы принадлежите самой себе и можете и мне подарить частицу.

Должна Вам признаться, что только теперь, когда от меня отошли все дела и люди, огорчавшие, обижавшие меня и Козлика, я вдруг обрела удивительную внутреннюю свободу, какое-то спокойствие, похожее на счастье, независимость духа, не дающего накатывать отрицательным эмоциям в мой мир. И всякий раз при соприкосновении с ними обязательно откликнется что-то дурное и безобразное. Поэтому я поняла прелесть отшельничества и пускаю в свой мир только милое, хорошее, для меня радостное.

Как ни странно, но я как-то ближе к большому миру и ко всему настоящему, чем очень-очень много людей, считающих себя активно живущими. Поэтому приезжайте, дорогая, и проживем вместе хорошо и славно. Грустно только, что физически я очень ослабела, очень дурно хожу (даже не спускаюсь в сад), кроме Бори (который много месяцев был болен), никого по-настоящему близких нету, кто бы любил меня и помогал. Мне стало очень трудно справляться с домом, так как нет силенок, и всегда не знаю, как буду жить завтра, кто мне что купит и принесет.

Словом, как говорят французы, живу *a merci de chacun*^[448]. Люди быстро устают быть добрыми, и это часто ранит и печалит. Эта зависимость от чужой доброты и одолжений – самое трудное в моей жизни, в особенности при моей гордости и ранимости.

Но если отстранить эту сторону жизни – всё главное при мне. Встречаю очередную весну, сидя на крылечке, и хотя сад после зимних разрушений и Бороного *cire*^[449] всего и вся, очистки десятилетиями не очищавшихся зарослей, похож на мамеево побоище, всё же гиацинты благоухают необыкновенно, цветут мои прелестные пармские фиалки, и земля не хочет знать, что думает и хочет человек. Налетело много

птиц, и все птичьи звуки сопровождаются непрерывным остигато горлянок, воркующих с рассвета до темна.

За стеной живет мой невидимый, но очаровательный друг – петушок, который поет и ведет счет дням и ночам. Он точно, как все петухи мира, кричит, когда на небосклоне подымается Канопус, и второй раз, когда Канопус опускается. Третьим криком он предвещает зарю. И вообще, все новости, что он сообщает, напоминают мне, что в мире есть поля, реки и леса, и что коровьи морды пахнут молоком, и что ржанье кобылиц разносит где-то ветер...

Лучше всего, Милочка, Вам приехать числа 18-19 апреля, когда всё уже будет зеленым, но не будет еще жары. В мае будет уже клубника и зелень.

Кроме того, 22 апреля будет Пасха, и если Вы привезете килограмма полтора сливочного масла, то я с Вашей помощью испеку куличи и сделаю сырную Пасху (масло у нас редкость!).

Боря очень обрадовался тому, что наконец с Вами познакомится. Я ему много о Вас рассказывала, и он полон симпатии и дружелюбия к Вам.

Между прочим, Ваше письмо чуть не затерялось. Обычно почтальон засовывает газеты и письма между рамами окна на улицу. И вот позавчера перед сном я вошла в комнату и увидела в окне белеющий квадрат бумаги. Оказалось, Ваше письмо без конверта. Боря говорит, что, по-видимому, на нем была марка, на которую позарились мальчишки. Хорошо, что все-таки письмо оставили, а то бы я и не знала, что Вы мне написали. Вообще эта поросль демографического взрыва ужасна. Я всё время выдерживаю осады: они перелезают через забор, разбивают крышу из-за орехов, что у меня растут, затем раскрывают настежь калитку (заходи кто хочет). Однажды ворвались даже в дом, схватили миску с орехами и убежали. В этом году я всё берегла 20 гранатов, что поспели осенью. По давней традиции, мы всегда в день рождения Козлика выходили в сад, и каждый уходящий гость уносил по гранату. И вот, выйдя в этот раз, мы увидели полностью оголенный куст. Я чуть не заплакала.

Никакие уговоры и угрозы взрослых не действуют на этих малолетних бандитов, и если принять во внимание, что в окружающих домах живут матери-героини, рождающие до десяти и больше детей в каждой квартире, то представляете, какая орда меня осаждает. В ответ на уговоры мне камнями выбивают стекла. И я, обычно совершенно бесстрашный человек, стала бояться и за себя, и за Журку, которого могут похитить или убить. А Журка – это такой дружок, любимый и дорогой.

Милочка, чтоб не растягивать время, позвоните мне по телефону и сообщите мне о дне приезда. Очень жду, очень радуюсь. Постараемся встретиться как можно лучше. Крепко целую и обнимаю.

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Людмиле Чудовой-Дельсон

9 марта 1985

Милочка, друг мой!

С Весной Вас! Раньше 9 марта полагалось прилетать жаворонкам. Мамы пекли детям на радость смешных птиц из теста, которые таранились на нас изумными глазами. Но, увы, сегодня вместо птиц с неба валит и валит снег, к недоумению сада, которому уже пора цвести. Журка также ропщет на обманы весны.

Мои ивушки сдуру уже распустили сережки и ночным морозом погибли. Не знаю, отойдут ли. Прогнозы дурные на весь март – снег, холод, метели. Вот вам и Азия – страна солнечных дней и ранних цветений.

Но всё же будет весна – у вас на Севере долгая и свежая. А мы, верно, из зимы сразу вступим в лето, с жарой, которая отомстит нам за суровую зиму. Не сердитесь, милая, что долго не писала Вам. Из-за резких перепадов давления в долгие хмурые дни, когда небо ложилось прямо на темя, – я тихо подыхала. Тяжкие мозговые спазмы не давали возможности ничего делать, и я, к счастью, спала, спала целыми днями. По ночам слегка отходила, чтоб утром начинать всё сызнова.

А проглянет солнце, и я счастлива: леплю и запоем пишу стихи, и у меня желание сделать всё то, что хочет душа. Очень во мне всего чего-то много бывает, и чувство жизни удивительное. Это, наверное, назло спазмам. Я даже забываю о своем одиночестве.

Боря вот уже полтора месяца в больнице, где, я надеюсь, ему вылечат наконец бронхи. Он мне звонит каждый день, но меня печалит его грустный голос.

Ко мне приходят Клавдия Ивановна и Милочка, Ваша маленькая тетка, которая приносит мне что-то с базара и благодаря которой я не умираю с голода. Она вернулась ко мне после двухлетнего пребывания в Нетях. Я очень рада. Она добрая душа и часто приносит мне прекрасные книги.

Позавчера получила царственный дар. Вдова Касьяна Голейзовского прислала вышедшую о нем книгу, которую мы ждали 12 лет. Он словно зажил заново – удивительный и неповторимый человек и художник. Я читаю и радуюсь его воскресению и горюю необратимостью утраты. Всё вместе чередуется, но радость восхищения превалирует надо всем.

Как грустно, что его искусство, в котором он был Богом мгновенья и творил, как никто, божественную красоту движения, – как оно хрупко и недолговечно. Счастливы те, кто видел своими глазами его творения,

но еще счастливее те, из которых он лепил свои создания. И я рада, что многие подтверждают это. Книга получилась хорошая. Он в ней живет, а это главное.

Хочу обратиться к Вам, Милочка, с великой просьбой. Я не могу обратиться к Вере Петровне относительно еще одного экземпляра книги. Я знаю, как Борьке важно и хочется ее иметь.

Вероятно, в Москве эту книгу проще достать. К нам она, неведомо, попадет ли. Издана она Всероссийским театральным обществом. Стоит она 5 р. 20 коп. Так вот, Милочка, если сможете, доставьте мне великую радость: вдруг представится возможность купить два экземпляра – для Бори и Милы, которой я так многим обязана. Деньги будут немедленно Вам переведены, а Вы сами будете зацелованы тремя счастливыми людьми. О том, как их доставить в Ташкент, поговорим потом.

Не знаю, писала ли я Вам, что один молодой режиссер возгорелся поставить в Самарканде «Улугбека», прямо на площади Регистан, под открытым небом. Так сказать, наподобие того, что сделали итальянцы с «Отелло» Верди на *arena di Verona* – древнеримском амфитеатре. То, что сделали они, просто сверхпревосходно. Не говоря о солистах, хоре и оркестре, вся техническая сторона – на самом высоком современном уровне.

Здесь же, несмотря на то, что площадь Регистан и опера самим Богом предназначены друг для друга, и все кричат: «Самая зеленая улица этому начинанию!» – но всё упирается в какую-то фантастическую гоголевскую нелепость типа «Повести о капитане Копейкине». У тамошнего театра нет оркестра, представляете себе, – нет совсем духовых!!! Слабенький провинциальный хор и недостаточное количество солистов. А ведь вот, поди же, на что замахнулись. Мне и грустно, и смешно.

Кстати, вспомнила, чтоб снова не забыть. В издательстве «Советский композитор» семь лет лежит партитура двух сюит из балета «Тановар». В издательстве «Музыка» – симфоническая поэма «Память гор».

Сейчас пришла Мила и заберет письмо опустить. Придет только через пять дней. Заживает хоть немного Ваша душа? Хорошо, что хоть маленькие не могут нас огорчать.

Я очень Вас жду осенью, как обещано. Обещаю Вам хорошо себя вести, изо всех сил постараюсь. Ведь не всегда же я развалюха. Написала бы еще много, но надо кончать. Крепко Вас целую и люблю.

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Людмиле Чудовой-Дельсон

11 ноября 1985

Милочка моя дорогая!

Извините, что пишу Вам только несколько строк, только чтоб сказать Вам, как я огорчена тем, что Вы не приехали. Это грустно, не только потому, что это огорчение для меня, а еще потому, что Вы лишились неопишуемой красоты этой осени.

Погоды стоят замечательные, и мой сад разворачивал день за днем одну красоту за другой. Он и сейчас еще прекрасен. Пишу Вам, сидя на крылечке, а Журка бродит по дорожкам среди золотых россыпей. Мои ивы только сейчас из зеленых стали желтыми, а раньше на их зеленом фоне стоял совершенно золотой гранатовый куст. Еще цветет одна белая роза, и стоит удивительная тишина, редкая для города.

Журушка мой постарел, летом от жары плохо ел, и у него стали курчавиться перышки. Сейчас я его откормила – в основном огурцами, – и он стал выглядеть гораздо лучше. Зато я плохо себя веду, и природа не создала для меня овоща, от которого бы у меня перестали «курчавиться перышки». <...> Вот так, мой друг, я странно живу. Мой Боря по-прежнему подолгу и часто болеет, и я бываю предоставлена жить по милости каждого. А так как сил все меньше и меньше, то у меня часто бывает запущен мой милый дом. Это меня иногда приводит в отчаянье. Просто не знаем, какой найти выход. Нужен кто-то, кто обо мне бы заботился. <...> Те, кто добр ко мне, полны забот своих и не могут дать мне больше, чем крохи внимания. Брат предлагает мне переехать к нему, но я этого совершенно не могу, об этом нечего и думать.

У нас месяц назад природа начала циклоны с небывалой жарой, весь город, и стар и млад, маялся, изнемогал и хотел непрерывно спать. <...> Причину этого мне объяснили не врачи, а милая моя подружка-физик. Оказывается, циклоновые смерчи вырабатывают невероятные истечения ультразвука. (В этом и заключается тайна Бермудского треугольника – его знаменитой «воронки».) <...>

Приезжал ко мне из Штатов на два дня мой друг музыкант, специально, чтоб повидать меня. Было очень трогательно. Так и перемежается хорошее с печальным.

80-летие Козлика встретили вдвоем с Борей. Накануне пришли лишь две верные ученицы, как всегда. Из Союза мне никто не позвонил. Мне потом сказали, что о нем была большая и очень хорошая передача, но мне никто не позвонил и не сообщил. Стараюсь не думать и не питать горечи. Бог с ними, неблагодарными. Они никто – а он был, есть и будет. Мне недавно моя американская подруга написала, что в тот час, как она распечатывала письмо от меня, диктор объявил, что ставит пластинку с музыкой русского композитора Алексея Козловского (эпизод, как всегда, в моем духе). Мы обе очень удивились совпадению. Поздравьте Олека с исполнением симфонии. Недавно по телевидению захватила лишь кусочек какого-то симфонического произведения, с

мужским хором *a capella* Отара Тактакишвили. Совершенно замечательная музыка. Что это было – не знаю...

Моя дорогая, целую и жду.

Р. С. Жду весной обязательно, хотя весна не так прелестна, как осень. Будем надеяться, что новый внучек будет здоровым. Пишите мне, Милочка. Очень люблю.

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Людмиле Чудовой-Дельсон

13 августа 1986

Дорогая моя Милочка!

<...> Я... рванулась к глинам и произвела на свет «Дух граната». Получилась вещь, вернее, лицо очень экзотическое, красивое, загадочное, хотя я допустила здесь некое стилевое озорство, вкрапив капли бус лжеграната. Хотя с точки зрения высшей чистоты стиля это может быть осуждено, но бабий глаз, на дне которого всегда живет дикарка и ворона, которая при виде блестящих камушков хлопает крыльями, – очень доволен.

Как ужасно и нелепо получилось, что Вы не оставили адреса своей дачи. Никто из летевших в Москву не хотел брать лишнюю тяжесть, чтобы взять Ваши сумочки. Но вот наконец Боря поехал в Москву поездом. Как он привез домой Ваши вещи, проводив взглядом Ваш взмахнувший самолет, так они и стояли до его отъезда...

Кому он оставит вещи, чтобы Вы могли их забрать, пока не знаю. И такая досада: он бы мог всё это привезти Вам прямо на дачу! Как Вам, дорогая моя, живется среди своих березок, сосен и дождей? И подумать только, что где-то есть черная земля, пахучая, влажная!

Вспоминайте меня и пишите. Я написала Тане Кузнецовой, чтоб она повидалась с Вами до приезда ко мне. Пришлите мне два антоновских яблока, чтоб вспомнить их запах и вкус. У нас тут яблоки твердо стоят в цене 3–4 р. кило. Вот вам и край изобильный.

Журушка, беседка со столиком и весь мой заросший, но всё же дивный сад вместе со мной вспоминают Вас. Я же скучаю и люблю.

Галя

Галина Козловская - Людмиле Чудовой-Дельсон

4 сентября 1987

Дорогой мой дружок Милочка!

Ужасно по Вас соскучилась! Размечталась, что Вы ко мне приедете. Ну, просто подавай мне Милу, как беременной – моченые яблоки. Сейчас же, получив мое письмо и напрягши воображение соображением обстоятельств и похлопав по карманам, покупайте билет и катите ко мне. Во-первых, осень теперь, слава Богу, устанавливается, адова жара кончилась (лето было нестерпимо жарким и мучительным), и, во-вторых, в первых числах октября у меня, по-видимому, будут милые гости из США – Тед и его родители (туристами). Очень бы мне хотелось Вас с ними познакомить.

Чем мне Вас еще соблазнить? Почитаете мои воспоминания об Ахматовой. Виленкин принял их на пять с плюсом, но, к сожалению, издаст только то, что касается непосредственно Анны Андреевны. Очень жаль – как уж они обкарнают рукопись из четырех печатных листов в два? Без атмосферы, без Времени. «Советский писатель» не возражает, если воспоминания будут полностью напечатаны в каком-нибудь толстом журнале. Но журналы настолько сейчас забиты рукописями, ждавшими своей очереди годами, что даже Женя, такой ныне влиятельный, ничего не может сделать. И в самом деле, чего лезть без очереди. Столько сейчас интересного печатается, что не успеваешь читать!

Кроме того, я бы с удовольствием почитала Вам письма, которые я, как нечаянную радость, получаю от одного американского журналиста и писателя. Человек видел меня всего один вечер сорок четыре года тому назад, а письма шлет удивительные. Словом, эпистолярный почти что роман. Это в мои-то года! Вы бы получили от них удовольствие, как от чего-то очень редкого, трогательного, давно забытого, – и это от человека очень современного и знаменитого.

Мы с Журушкой начинаем оправляться от чудовищного лета – он чистит перышки, я леплю и пишу стихи. Он, милый мой, стареет и теперь, едва начинает темнеть, бежит в дом, жметя ко мне в ожидании ласки и разговоров.

Я бы хотела, чтобы Вы познакомились с моим новым прелестным другом Олей, но боюсь, что дача ляжет поперек пути, и она, не повидав Вас, бросит в почтовый ящик это письмецо. Ничего о Вас не знаю вот уж сколько месяцев. А ведь о скольких вещах надо поговорить. И привязанность к Вам разгорается от Вашего молчания.

Ваша тетка – маленькая Милочка – родила ребеночка совершенно невероятной прелести. Я была в гостях и совершенно влюбилась в это воплощенное очарование. Но херувим всё же ест ее поедом, и у нее личико стало с кулачок.

Передайте мои приветы Валере Молдаверу *and family* и Фильштинским. Когда будете ехать ко мне (видите, даже не сомневаюсь), позвоните моим Пастернакам. Вдруг будут хорошие новости.

Целую Вас, моя дорогая, и жду.

Жду непременно. Ваша, как всегда

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Людмиле Чудовой-Дельсон

24 февраля 1988

Дорогой дружочек мой Мила!

Как давно Вы мне уже не пишете, а я до сих пор не поблагодарила за присланные с Валерой гостинцы. Гречка была сенсация, и угощаюсь ею в праздничные дни.

Не писала Вам, потому что тяжело расшиблась, когда упала, ударившись головой об угол шкафа. <...> Я ужасно ослабела от всего этого и теперь уже совсем дурно хожу.

Радуюсь за Вас, что Вы вся ушли в подрастающее детство, ушли совсем, с головой. Но грущу, что внуки отняли у меня надежду увидеть Вас. А это так мне нужно, и Ваш приезд был бы одной из последних радостей в моей убывающей жизни.

Чередуюсь со снегом и дождем, у нас всё чаще выпадают теплые солнечные дни. Сегодня плюс 15. Пишу Вам на крылечке. В моем всё еще по-зимнему разоренном саду уже проклюнулись гиацинты и отцвели подснежники. В эту минуту Журушка трогательно танцует трем горлянкам, сидящим перед ним на земле. Очень жалею, что Ваша тетка не повидалась с Вами. Рассказала бы мне насвежо всё про Вас. Пока Вас не захлестнули заботы весенних посевов и дачные дела, напишите мне хорошее большое письмо.

Вместе со всеми тону в разливе сенсационной литературы. Попью валерьянки и снова кидаюсь в омут. Думали ли мы с Вами дожить до такого?

У меня появилась надежда, что мои воспоминания об Анне Андреевне могут быть напечатаны в «Ардисе»: как будто мои верные друзья подключили к этому Иосифа Бродского. Говорят, у него вышла книга прозы «*Less than one*», очень примечательная. Стихов, напечатанных у нас, еще не читала.

Надеюсь, что Вы в крепком здравии и Ваша энергия, столь же жизненно мощная, как всегда, – источник радости для Вас и Ваших близких.

Целую Вас и прошу помнить, что я Вас очень люблю.

Неизменно Ваша Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Людмиле Чудовой-Дельсон

12 августа 1988

Дорогой мой дружок Милочка!

<...> Я устала огорчаться, что для меня и для Козлика в наших изданиях «мест нет» из-за обилия иных материалов. Единственно, чего Женя Пастернак мог добиться, это напечатания в сборнике «Воспоминания современников об А. Ахматовой». «Советский писатель» обкарнает меня наполовину и по усмотрению неведомого редактора. Ни в Москве, ни в Ленинграде напечатать в большом журнале полностью не удалось...

Один очень милый рижанин, Роман Давидович Тименчик, участвующий в издании книги «Анна Ахматова и музыка», обрадовался, что у Козлика есть неизданная музыка на ее стихи, и предложил издать в этой книге. Я ему всё послала, и вот мне недавно позвонила из Ленинграда редакторша, что из трех вещей – «Пролога» к «Поэме без героя» и двух романсов: «Царскосельская статуя» и «А я росла в узорной тишине» – они решили напечатать только «Пролог», так как на остальные у них «нет места из-за обилия материалов».

Признаюсь, я обиделась, как ребенок. И если я смиренно приняла отказ от меня как автора, то за Козлика я обиделась ужасно.

Больно то, что пока эти вещи жили своей жизнью в секретере, любовно хранимые моей памятью и сердцем, это было одно. Это, при их жизни, было их обоюдной радостью. Она очень любила эти вещи и всегда просила их ей петь. И вдруг это настоящее, любимое ею отсекается равнодушным секачем редактора, причем я сильно сомневаюсь, что у них будет много вещей такого художественного уровня...

Галина Козловская - Людмиле Чудовой-Дельсон

21 января 1989

Дорогой, дорогой мой дружок Милочка!

<...> В «Советский композитор» ничего не послала. Не хотят и не надо. В книге «Анна Ахматова и музыка» будет напечатан «Пролог» к

«Поэме без героя» и факсимильно (так меня заверил Миша Мейлах) два романа.

Еще приехал в Ташкент поэт и ученый Дмитрий Сухарев. Он влюбился в мои воспоминания и попросил меня сделать для журнала «День поэзии» сокращенный вариант. Я его просьбу выполнила и осталась этим вариантом очень довольна. Я в нем нашла какую-то удачную свободную форму. Первый большой вариант он затребовал, чтобы предлагать какому-нибудь большому журналу. К моему огорчению, составитель «Дня поэзии» Таня Бек уже кое-что подсократила и подправила...

Я не помню, писала ли я Вам, как в вышедшем в Нью-Йорке «Новом журнале» редактор мало того, что сократил на одну треть, но в целях сокращения в дальнейшем брал мою мысль и пересказывал меня своими словами. Хамство неопишное! Он убил мою индивидуальность и свойственную мне речь. В конце, «ветки хвои» показались ему недостаточно пышными, и он напечатал «цветы хвои». Верно, он никогда не выезжал за пределы Нью-Йорка и забыл русскую речь...

Неотправленное письмо Генриху Нейгаузу

Генрих Густавович Нейгауз (1888–1964) – выдающийся пианист, один из создателей пианистической школы России. Преподавал в Московской консерватории. Среди его учеников – Эмиль Гилельс, Яков Зак, Святослав Рихтер.

Представленное ниже письмо Галина Козловская отдала в 1963 году музыковеду В. Ю. Дельсону. Это письмо она сопровождала карандашными пометками. Интересна судьба ее предвидений. Письмо хранится в семье Чудовых.

16 апреля 1947

16 лет назад! Письмо не было послано.

[Пометка карандашом]

Глубокоуважаемый Генрих Густавович!

Почему Вы делаете каменное лицо, когда получаете письма от незнакомых или слишком мало знакомых? К Вам это никак не идет! Неужели Ваше внимание отдается только знакомым (если они даже не заслуживают внимания!), и молчанье Ваше Вы расточаете на незнакомых лишь потому, что Вам их никто не представил, в то время

как они хотят общаться с Вами духовно, на расстоянии, не беспокоя Вас визитами, приглашениями и прочими навязчивыми условностями, существующими в человеческом обществе?..

Впрочем, какие могут быть между нами объяснения на не существующую реально тему?

Я хочу с Вами поговорить сегодня о пианизме в связи с пианистами, которые у нас спорят между собой, состязаются и из которых каждый из нас выбирает себе «самого любимого».

У меня замечательный радиоприемник, я каждый вечер переносусь в залы Москвы, откуда слышу много замечательного. Мне хочется поделиться с Вами своими впечатлениями. (Неужели нельзя? Почему?..)

Друзья мне писали из Москвы о Святославе Рихтере. Послушавши его впервые, я чуть было не сдалась, но впоследствии поняла, что меня подкупила его программа из произведений моего любимого Рахманинова. Действительно, многое было исполнено замечательно, но, увы, мое разочарование началось, быть может, с мелочей с общей точки зрения, но эти мелочи, повторяясь каждый раз, стали доводить меня до раздражения, и я решилась на дерзкое снятие с пьедестала пианиста Рихтера, носящего столь трогательное имя.

Как бы я хотела знать, согласитесь ли Вы с моей критикой?! У Рихтера слишком явно слаба ритмическая сторона – у него нет внутреннего ритма! Он может, не замечая, преспокойно не выдерживать связанных нот (в самом начале «Полишинеля»). Он может прибавить лишнюю четверть в фигурации! (Средняя часть того же «Полишинеля».) Он может сплошь не выдерживать точек (в симфоническом этюде Шумана). Наконец, он может совсем плохо исполнить сонату Бетховена! (Appassionata.) [*«За 16 лет выросла только виртуозность. 3.II.63. – Пометка карандашом.»*]

Мне интересно знать, сколько ему лет и продолжает ли он работать с Вами. Его талант еще не имеет твердой почвы – ему еще нужно учиться и учиться, слушать и слушать. Ваши «образные беседы» должны оказать свое действие в данном случае, и я всё же надеюсь, что Святослав Рихтер не остановится на своем настоящем и будет еще много работать над собой, если Москва не избалует его своими восторгами с весьма поверхностной критикой вроде «грубое *forte*» (чего я как раз не замечала).

Мне очень и всегда нравился пианист Яков Зак [*уже разболтался – пометка карандашом*], часто нравится Л. Оборин и другие, но для меня непревзойденный пианист в наше время – это Эмиль Гилельс! [*«Высказано 16 лет назад!» – Пометка карандашом.*] Пианист крупного масштаба, напоминающий Иосифа Гофмана в ударе (прибавляю «в ударе», так как и Гофмана я любила только тогда, когда он был «в ударе», обычно же предпочитала Бузони). Мало сказать, что у Гилельса всё в порядке, Гилельс – это совершенство в пианизме. Его яркая стихийность, увлекающая за собой, теперь перешла в период зрелости.

Слушая Гилельса несколько лет тому назад, я была уверена в том, что этот еще не созревший плод несомненно созреет в скором времени, и я услышу этого мною избранного из всех пианистов – Эмиля Гилельса – в полном расцвете сил и подлинного фортепианного мастерства. Я не ошиблась: теперь, слушая Эмиля и ловя его стрелкой радиоприемника, я получаю огромное удовлетворение и каждый раз мысленно целую его рыжую голову, благодаря за доставленную радость.

Эмиль Гилельс и Давид Ойстрах – это два моих кумира, ни с кем не сравнимых и никем не превзойденных, даже в мировом масштабе.

3 февраля 1963. Тогда я не знала Вана Клиберна – он вне сравнений, потому что... Гений! [Пометка карандашом.]

Письма Валерию Молдаверу

Валерий Александрович Молдавер (1939–2011) – инженер-электромеханик, физик. Родился в семье потомственных инженеров. Одно время он жил в центре Москвы в большой коммунальной квартире, где его соседкой была Нина Ильинична Нисс-Гольдман (1892–1990) – известный российский скульптор, художник и педагог, старейший член Союза художников СССР. Она дорожила общением с ним и познакомила его со многими представителями старинной московской интеллигенции, в том числе с Александрой Вениаминовной Азарх-Грановской, салон которой он стал посещать и благодаря которому он познакомился со многими интересными людьми. Именно Нина Ильинична, знавшая Козловских задолго до их ссылки, передала с В. А. Молдавером письмо к ним в Ташкент. Это письмо послужило поводом для знакомства, перешедшего в дружбу.

Валерий Александрович сделал большое и очень важное для практики изобретение в области получения сверхпрочных металлов. Он искал пути для внедрения его в производство в нашей стране, считая это делом своей жизни, но не нашел поддержки у государственных чиновников. Постоянное напряжение, связанное с этими безуспешными попытками, послужило причиной его безвременного ухода из жизни.

Следующие два абзаца написаны другом семьи, Ирэн Савельевной Вербловской, по просьбе вдовы Валерия Александровича Молдавера, Анны Николаевны Богомяковой.

«Анечка, сегодня весь день просидела, почти не вставая, за чтением книги Галины Лонгиновны. И взяла меня за горло тоска – тоска по ушедшим людям, тоска от того, что за два проведенных у Г. Козловской вечера мы не сумели хорошо поговорить друг с другом. Запомнилось, как во второй вечер она говорила о враждебном

отношении местного населения, об отсутствии собеседников и о том, что в конце 1950-х годов появилась возможность уехать в Россию, но они ею пренебрегли, потому что Алексей Федорович был связан с театром, потому что, строго говоря, и ехать-то было некуда. В столицы, где были друзья, – невозможно, а в провинции, практически, нечего было делать. Посылаю тебе прошенные тобою пять строчек...».

«Валерий Александрович Молдавер часто подолгу бывал в командировках в Узбекистане, где в один из приездов познакомился с Козловскими. Ученый и инженер, в своей профессиональной сфере он пользовался международным авторитетом. К тому же он прекрасно знал и любил литературу и историю, обладал безукоризненным вкусом и был феноменально начитан. О разносторонности его интересов говорит обширная библиотека, которую он собирал всю жизнь. Это был человек глубокого аналитического ума и большого личного обаяния. Поэтому естественно сложилась дружба его с Козловскими».

Галина Лонгиновна, прекрасно умевшая дружить, вовлекала в свою орбиту замечательных людей, знакомила их между собой. Благодаря ей познакомились многие ее адресаты, в том числе, из этой книги. Так однажды, выполняя поручение Галины Лонгиновны, В. А. Молдавер встретился в Переделкине с Е. Б. и Е. В. Пастернаками, после чего стал бывать в их московском доме, и однажды в конце 1970-х годов помог Е. Б. Пастернаку устроить выступление в одном из московских клубов.

Галина Козловская - Валерию Молдаверу

20 марта 1972

Милый Валерий Александрович!

Великое спасибо за посылочки, уже пьем чай и Вас вспоминаем. Я тут же перевела денежки за две посылочки. Мы особенно Вам благодарны. Потому что ведь мы заядлые, в некотором даже роде, прославленные чаевники.

Близость Чаеуправления (где так дивно всегда пахнет кофе) и почтамта^[450] придали мне храбрости немножко злоупотребить Вашим временем и любезностью.

Что Вам сказать о нашем житье-бытье? Как говорится, «все изменилось под нашим зодиаком»^[451], etc. Нам только и остается, что пить чай, ибо всё вокруг белым-бело и не разберешь, в каких мы живем широтах – то ли тундра, то ли Заполярье. Зиме нет конца, всё снега и снега. Сколько тут ни живем, не бывало такой долгой зимы. Обычно к концу февраля у нас уже отцветают фиалки и урюк. Единственно, кто

упрямо твердит о весне «рассудку вопреки, наперекор стихиям»^[452], – это жабка, живущая под полом моей комнаты. Она в полночь начинает свои призывы, и как-то радостно становится на душе и верится, что скоро будет тепло и в саду начнутся всяческие чудеса.

На днях нас опять тряхнуло – землетрясение в пять баллов. Живо напомнило лучшее из времен. Самое неприятное, что оно было до противности долгим.

Хочу поделиться с Вами одним потрясением. Должна признаться откровенно, что чудеса науки редко потрясают мое воображение, как, скажем, откровения искусства. Но вот на днях узнала нечто, что буквально не покидает меня, и я возвращаюсь мыслями к этому по сто раз на день.

Мне рассказали (правда, со вторых рук), что в некоем научном учреждении в оранжерее росли три пальмы. К ним была подключена наисовременнейшая аппаратура, которая регистрировала все, связанное с ростом, изменениями и процессами их внутренней, так сказать, жизни.

И вот однажды в оранжерею пришел рабочий с топором и начал рубить и срубил одну из пальм. В это время с приборами на двух остальных пальмах начало твориться что-то невероятное. Они показывали смятение, ужас, и стрелки метались как безумные. Затем, когда злодеяние было совершено, они постепенно успокоились. Но главное чудо впереди.

Затем, всякий раз, когда в помещение входил *именно тот самый человек* (уже без топора), пальмы, то есть приборы на пальмах, регистрировали всё те же явления. Всё каждый раз повторялось снова.

Значит, деревья помнят и наделены душой.

Я и раньше была древопоклонница, а сейчас я гляжу на них с великим изумлением.

Вы человек науки. Найдите мне подлинный источник этого открытия (бестолковые бабы ничего толком не смогли мне рассказать, где было напечатано). Вдруг Вам повезет – тогда поделитесь со мной, тем, что узнали. Ужасно хочется узнать всё подробно^[453].

Думаете ли приехать к нам в наши края? Дайте о себе весточку. Нине^[454] и Кларе^[455] скажите, что им напишу в ближайшие дни, а пока обнимаю их. И я, и Алексей Федорович сердечно Вас приветствуем.

Ваша Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Валерию Молдаверу

Декабрь 1972

Милый, милый Валерий!

Примите от нас обоих самые сердечные, самые горячие пожелания самого большого счастья и всего прекрасного в наступающем Новом году. Мне так хочется, чтобы кому-то на свете было по-настоящему хорошо – а Вам в особенности.

И я верю, что так и будет, – вот увидите, дорогой.

Мы очень ждем Вашего приезда. Вот было бы славно встретить вместе Новый год, хотя, конечно, Вам лучше быть с мамой и сестрой, чтоб не разлучаться. (Я ужасно в этом суеверна.) Напишите, когда приедете, – может, урвете минуточку.

Мы тут попиваем чаек, Вас вспоминаем, спасибо за заботу о двух чайных пропойцах. Получили ли денежки, отправленные тотчас же? Как здоровье Нины? Всё ли хорошо?

Есть ли у Вас экслибрис? Посылаю Вам наши – работы Кедрина. Александра Федоровича – афрасиабский^[456] козлик, выбивающий копытцами па на-гора, и мой, отражающий мои хореографические устремления.

В новогоднюю ночь стряхните снег с какой-нибудь северной елки и вспомните нас, азиатских друзей.

Боже, как много вспомнится в этот час!

Будем думать о хороших людях и желать им добра, а значит, и о Вас вспомним и выпьем за Ваше здоровье и счастье. С Новым годом, дорогой.

Ваши Галина Лонгиновна и Алексей Федорович

Галина Козловская - Валерию Молдаверу

8 сентября 1973

Валера, милый!

Посылаю Вам наконец рожденный в муках *ex libris*. Бородач, хоть и попыхтел, пока сделал то, что мне хотелось, но и он, кажется, тоже доволен. Мне нравится, и очень бы хотелось, чтоб и Вам было приятно на него смотреть.

Конечно, если бы Вы были астрономом, он бы прямо и логично прочитывался, но так как Ваше ученое естество таинственно прячется в парáх (наверное, ужасно обывательское представление!) какой-то очень непостижимой и неосязаемой (во всяком случае) – плазмы, то тут пришлось закамуфлировать ее во всяких атрибутах Вселенной.

Вениамин Николаевич сейчас оформляет всю техническую сторону напечатания этого увража, поэтому он просил меня написать Вам, что если Вас не устраивает замысловатость (что как раз ценится у знатоков) эмблемы *ex libris*'а, который читается и сверху и снизу, то он может это изменить. Он спрашивает: может, Вы хотите не «*ex libris*», а «из книг»?

Также – устраивают ли Вас две Ваших буквы или Вы предпочли бы Вашу фамилию полностью по-русски, в этом случае как: из книг Валерия Молдавера или Молдавер? Всё это сообразите и точно напишите мне.

Пусть Запад и Восток, объединенные в Вашем книжном знаке, будут напоминать Вам нас, Ваших азиатских друзей, и наше с Вами сродство. А так как книга всегда с Вами, то и меня вспоминать часто будете.

Что мне написать о себе. Я веду себя просто ужасно. У меня совсем уже дурно с ногами, и, вероятно, я скоро не смогу совсем ходить. Если прибегнуть к юмору, то выражение «выкидываю коленца» будет очень мрачным и точным определением, потому что они время от времени, пронзая неслыханной болью, не дают мне возможности встать, ходить и даже лежать.

Но я должна помнить и выучить наизусть одного славного англичанина, обратившегося к Богу и к самому себе со словами «не дай».

Одним из первых «не дай» было: не дай мне всем и каждому говорить о своих болезнях, потому что они никого не интересуют, кроме самого себя. Второе, не дай мне обременять всех советами, которые, мы почему-то считаем, так всем нужны и которые никто не слушает. Ну и много еще таких прописных истин, которые мы, отвергающие житейскую плоскую и бескрылую мудрость, все-таки порой должны себе напоминать. Как всякое знание, оно порой бывает полезно.

Ну что толку, что я изо всех сил стараюсь ничего не отдать и быть такой, какой меня сотворил Бог, а не такой, какой я должна быть, подчиняясь законам Времени, которое неумолимо гнет нас к земле? А я всё не даюсь и не позволяю ему согнуть меня в бараний рог, но если оно и повергнет меня, то всё равно не поставит меня на колени (хотя бы потому, что они назло ему перестанут гнуться!).

Быть может, все-таки судьба когда-нибудь даст мне свидеться с Козыревым^[457], и он вдруг мне растолкует, что же такое Время. Хотя, наверное, лучше него сказал восточный поэт – причина печали – время^[458]. И этим исчерпано все.

Валера, надуйте какой-нибудь воздушный шар Вашей, подведомственной Вам плазмой и опуститесь на радость нам перед нашим окошком. Будет и современно, и идиллично, и очень мило. А до

тех пор, надеюсь, Вы и Ваши близкие здоровы и благополучны. Привет прелестному мимолетному видению – Регине^[459].

Напишите мне поскорей. Да, чуть не забыла, Вениамин Николаевич скоро будет читать в Москве доклад об ех *libris*'ах, а тогда обговорит с Вашим другом цветаеведом свои мысли о его книжном знаке^[460]. Ваш он пришлет сам, как только он будет готов.

Оба обнимаем Вас.

Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Валерию Молдаверу

30 января 1977. Стационар

Валера,
милый мой дорогой друг!

После Вашего отъезда мне было очень худо, и меня на носилках принесли сюда с диагнозом «нарушение мозгового кровообращения». Для меня, гипотоника, давление было непомерно высоким. Сейчас давление нормализовалось, кроме давления на душе.

Не знаю, что делать с памятью, которая сокрушает меня днем и ночью.

Рядом с этим живет странное, не покидающее чувство, что он не ушел, словно бы он уехал, но вернется^[461]. А порой вдруг охватит отчаяние и непонимание, куда ушел его талант, этот дивный поразительный слух, весь тот огромный музыкальный мир, который он нес в себе и который был его сутью. Неужели он больше уже ничего не создаст? Этому меньше всего верю, и этому не знаю, когда поверю.

Вспомнился мне рассказ Александра Николаевича Вертинского. Он как-то говорил мне о своей нелюбви к китайскому искусству и как пример бесполезности привел одно произведение. В Пекине, в огромном зале императорского дворца, стоят в противоположных концах два барабана-катушки громадных размеров. Если начать крутить рукоятку, то от одного барабана до другого протянется картина под названием: «Что видел император такой-то во время своего путешествия из столицы в провинцию такую-то». И все, что он видел, по обе стороны предстанет перед вами. Так вот, я сейчас всё время нахожусь в пытке памятью, между двумя барабанами начала и конца и от конца к началу.

Посылаю вам слова, написанные в пароксизме тоски. Побудьте со мной.

И помните дорогой, что я Вас очень люблю.

Ваш вечный друг Галина Лонгиновна

Галина Козловская - Валерию Молдаверу

15 января 1978

Валера, милый!

Я Вас помню и люблю.

Не буду писать Вам о днях с первого по девятое число. Их было очень трудно прожить, и я плохо себя вела.

Вы можете быть мною довольны. Я деятельна и наконец сдвинула с места многое, связанное с наследием Алексея Федоровича.

Во-первых – передала в Музей Глинки почти все музыкальные рукописи. Там откроют его персональный фонд с постоянно действующей экспозицией, с рукописями, личными вещами, фотографиями и проч.

Во-вторых – добилась отправки в Москву рукописей для издания в «Советском композиторе» (что было невероятно трудно и сложно). Сволочи цветет махровым цветом.

В-третьих – пустила в работу все рукописи, что будут изданы здесь.

В-четвертых – добилась, что друзья добьются передачи рукописи партитуры «Улугбека» из Всесоюзного радио в Музей Глинки.

В-пятых! Продвигается дело с выпуском монтажа «Улугбека» фирмой «Мелодия» в Москве.

В-шестых – скульптор сейчас делает макет памятника (памятник будет хороший).

Седьмое: начала активно работать с балетмейстером над экспозицией балета «Тановар», который будут ставить в Самарканде.

За истекший год – написала для книги, которая будет издана в Москве, воспоминания об Усто Мумине (там будут воспоминания и статьи разных художников)^[462]. За эту работу меня все хвалят.

Воспоминания об Анне Андреевне перечеркнула, всё буду делать заново. Плохо пока.

Написала несколько стихотворений, одно даже на английском (сама не знаю, почему, но мне самой нравится).

На днях кончила одну вещь – называется она «Повесть о трубадуре, которого обманули» (современно, не правда ли?).

Я задумала ее давно, но вдруг, в тягчайшие для меня дни, стала ее писать. Конечно, это чистое самоуслаждение, так как я убедилась, что я, по-видимому, не настоящий писатель – мои вещи нравятся только тем, кто наделен чувством времени.

Но меня это почему-то почти не занимает.

Я рада, что я способна сидеть за столом по шесть-семь часов, не вставая. Все отвлечения, как «самокормление» и прочие, вызывают ярость. Если бы не диабет – жила бы яблоками и крепким чаем.

О друзьях могу сообщить новости: Милочка вышла замуж за очень милого, в высшей степени славного молодого физика, маленького и стройного – под стать Миле. Я очень за нее рада...

У меня в кабинете стоит елочка, а на столе цветут две ветки японской айвы дивной красоты.

В сочельник я взяла вторую небольшую елочку, убранную игрушками и свечечками, и поехала к Алексею Федоровичу. Было уже совсем темно, на кладбище не было ни души, только где-то за оградой фонари. Накрапывал мягкий дождь, и было очень тихо. Мы зажгли свечи, и они горели долго и ровно. Было удивительно и благостно. И я не плакала. Но на другой день и восьмого числа у меня был такой пароксизм тоски и печали, что мне казалось, что я не смогу больше жить. С того рокового дня я не знала такого сокрушающего отчаяния.

Но вот все-таки живу. Девятого с утра по радио звучала его музыка, одиннадцатого была прекрасная теплая и трогательная передача о нем и двенадцатого и тринадцатого всё время что-то его транслировали и играли.

Друзья поехали к нему на кладбище, а потом ко мне, было много людей хороших, добрых и любящих.

И я поняла, что он все-таки живет в любви живой жизни.

Всего не скажешь. Но я в этот день часто вспоминала Вас и Ваше лицо. Ведь Вы для меня навсегда – особенный.

Очень грустно, что Вы никогда не напишете мне хоть несколько строк. Ну, преодолейте это в себе и напишите.

Разбирая рукописи и фотографии, я снова увидела увеличенные Томом старогородские снимки^[463]. Может, помните, есть такой с тенями и ослепительным светом, где я стою у подножия стены сада, с узбекским ведром.

И так вдруг что-то хлынуло и встрепенулось. Вот тут сразу и написала стихи, которые Вам посылаю. Это маленький довесочек к «Шахерезаде».

И	свет	и	тени	давних	дней
Ушли	с	прохладой	и	водой	
За	сменою	закатов	и	ночей.	
И	нет уж	больше	сада	за	стеной,
В	благоуханности	хранившего	и	мрак,	и зной,
Где	бубен	грели,	чтоб	звучал	звончей,
Где	руки	чьи-то	ладили		струну.
Там	голос	юности	моей		звучал,
В	тени	дерев	очаг		пылал,
И	знала	я,	что		ввечеру
На	тополях	спят	восемь		голубей.

5 ноября 1977

Галина Козловская - Валерию Молдаверу

19 сентября 1988

Дорогие мои Аничка и Валера!

Пишу вам после жуткого лета, которое, казалось, было не перенести. <...>

Сейчас, наконец, теплая азиатская осень, и я много лежу в саду. Через меня перепархивают всё время горлянки, устремляющиеся к кормушке с Журкиной пшеницей и чаше с водой. Сад зарос, деревья переплелись, и много тени. Стоит он, неподвижный, не шелохнувшись, а над крыльцом свисают кисти зреющего винограда и цветет плющ зелеными круглыми шариками, которые наполняют дивным благоуханием сад и дом. В своей запущенности сад красив, как балетная декорация «Спящей красавицы» времен Петипа.

То ли от жары, то ли годы накатили, но у меня очень ухудшилось зрение... По вечерам ко мне приходит Клавдия Ивановна и читает мне много всего, от чего душа наполняется печалью и гневом, а порой отчаянием.

А там, далеко в Нью-Йорке, в августе вышли в двух номерах «Нового журнала» мои воспоминания об Анне Андреевне.

Номера эти, 168 и 169, еще до меня не дошли. Мой друг, вернувшись из Китая, получил их через день после своего возвращения. Он уверяет меня, что «Новый журнал» – это самый престижный в Америке. Основан он в 1942 году Алдановым и Цетлиным.

А всё это ты, Валера, как писала Анна Андреевна, – «всех бед моих виновник»^[464]. Это ты раскачал меня на написание этих воспоминаний и остерегал от опрометчивых поступков. И я тебя первого поздравляю с этой публикацией.

Первые дни я была очень счастлива, почти здорова и даже не спала.

Вы, конечно, знаете, что в будущем году откроется ее музей в Фонтанном доме, где она прожила тридцать лет. И теперь она будет жить там уже всегда, и надпись на дворцовой арке Шереметьевского дома – «*Deus conservat omnia*» («Бог сохраняет все») – станет девизом ее посмертной славы.

Еще обрадовалась вести, что наши астрономы, открыв недавно планету, спутник Юпитера, назвали ее именем Анны Ахматовой. Уже давно наши астрономы называют звезды именами многострадальных наших поэтов, понимая, что, настрадавшись на недоброй нашей земле, они там пребудут в торжестве вечности и покоя.

Читали ли вы в № 8 «Юности» очень талантливую работу Елены Чуковской (внучки Чуковского Лелюши), сделанную совместно с Сарновым на основе одних документов, повествующую о великих муках Зощенко^[465]?

Люди теперь только узнали, как происходило это бесчеловечное уничтожение писателя и человека.

Ах, сколько всего, сколько всего, и душе не вместить...

Среди летнего зноя и своих полуобморочных дней и ночей меня стало мучить желание написать стихи о несбывшихся моих желаниях в жизни. Написала пока два, третье тревожит и диктуется изнутри, но пока нет сил воплотить. Посылаю вам первое, самое короткое, в подарок Валере за его *porte bonheur*ство. Не судите строго...

Благословляю вас всех, мои дорогие, и жду того дня, когда Валера опустится на нашу землю.

Любящая вас Галина Лонгиновна

notes

Примечания

1

По свидетельству М. А. Давыдова в книге: *Б. Кузин. Воспоминания, произведения, переписка* (СПб, 1999) – его фамилия была Кушнарев.

2

В 1830–1831 гг.

3

«Баллада» была написана по следам исполнения Г. Нейгаузом минорного концерта Шопена 15 августа 1930 г. в парке Владимирская горка.

4

Памятник князю Владимиру высится на крутом берегу Днепра в парке Владимирская горка. В руках у князя – большой крест, который в описываемое время подсвечивался по ночам.

5

Некоторые сцены романа и пьесы Булгакова разыгрывались в стенах Первой гимназии. Но, как рассказывал А. Козловский, и Вторая гимназия аналогично использовалась во время военных событий в Киеве в 1918–1919 гг.

6

А. Козловский родился 15 (2 по стар. ст.) октября 1905 г. Он стал заниматься у Б. Яворского с осени 1916 г.

7

Б. Яворский в 1916–1921 гг. был преподавателем Киевской консерватории, в 1921–1930 гг. работал в созданном им Первом государственном музыкальном техникуме в Москве, где у него позднее учился А. Козловский.

8

Впервые Баховский семинар Б. Яворского открылся в Киеве в 1916 г. В нем принимали участие как студенты, так и известные музыканты.

9

См. Альберт Швейцер «Иоганн Себастьян Бах».

10

Юдина М. В. Статьи, воспоминания, материалы. М., 1978.

11

Żal (произносится «жаль») – сожаление, скорбь, горе утраты, сочувствие, сострадание (*польск.*).

12

А. Скрябин умер в 1915 г. Его вдова Т. Шлёцер в 1918 г. переехала из Москвы с детьми в поселок Ирпень под Киевом, затем, в январе 1919 г., – в Киев. Ю. Скрябин начал заниматься в Киевской консерватории с осени 1918 г.

13

По-видимому, в апреле 1919 г.

14

Ю. Скрябин погиб в июне 1919 г. После него остались четыре прелюдии для фортепиано.

15

Дима (Владимир Александрович) Дукельский, так же как и А. Козловский, занимался в 1910-х гг. в Киевской консерватории у Б. Яворского.

16

Г. Нейгауз в 1919–1922 гг. преподавал в Киевской консерватории.

17

Ф. Blumenфельд, дядя Г. Нейгауза, – в 1920–1922 гг. профессор Киевской консерватории.

18

В. Дукельский вместе с семьей покинул Киев в конце 1919 г.

19

С 1921 г. он жил в США. Его псевдоним – Вернон Дюк.

20

Козловские выехали в это зажиточное село в ноябре 1919 г.

21

Отец А. Козловского преподавал в гимназии русский язык. Семья приехала в Масловку вслед за другими преподавательскими семьями. Родители жили здесь еще и в 1926 году.

22

Масловский институт селекции и семеноводства, просуществовавший 16 лет (1921–1937), был известен экспериментами в области селекции новых сортов зерновых, над которыми работали известные специалисты.

23

Эпическая песня о гибели казацкого полковника Данилы Нечая.

24

М. Чюрлёнису принадлежат четыре живописные картины из цикла «Соната весны»: «Скерцо», «Аллегро», «Анданте», «Финале», написанные в 1907 г.

25

Брат привез А. Козловского в Москву в августе 1923 г.; в октябре этого года ему исполнилось 18 лет.

26

После окончания Московской консерватории А. Козловский в 1931–1933 гг. был дирижером Оперного театра, созданного Станиславским (теперь Московский академический музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко).

27

М. Чехов в 1922 г. возглавил Первую студию МХАТа, которая в 1924 г. была преобразована в МХАТ второй.

28

Эквиритмический перевод – перевод текста, выполненный с сохранением стихотворного размера.

29

В то время сирень продавалась в цветочных горшках.

30

Симфоническая поэма С. Василенко на сюжет сказки О. Уайльда «Кентервильское привидение».

31

Знаменитый концертный зал в Лейпциге, Германия.

32

Рубато – варьирование темпа при исполнении академического музыкального произведения.

33

Возможно, эта история была придумана К. Станиславским.

34

ЦЕТЕТИС – Центральный техникум театрального искусства.

35

Мелос (греч.) – напев, мелодия.

36

В Красногорском районе Московской области.

37

Небольшой клавиатурный инструмент, род органа.

38

«Щедрик» – рождественская украинская народная песня, колядка, получившая всемирную популярность в музыкальной обработке Н. Леонтовича.

39

Речь идет об опере «Нюрнбергские мастера пения».

40

Рассказ Галины Козловской о поездке Бориса Пастернака в Степановское. Первая публикация: журнал «Музыкальная академия», 1991, № 1.

41

Отсылка к стихотворению Б. Пастернака «Годами когда-нибудь в зале концертной...» (1931) о Е. В. Пастернак: «...Художницы робкой, как сон, крутолобость, / С беззлобной улыбкой, улыбкой вздох, / Улыбкой, огромной и светлой, как глобус, / Художницы облик, улыбку и лоб».

42

Е. Пастернак снимала дачу в Степановском летом 1935 г.

43

Пусинька – это друг семьи Елизавета Михайловна Стеценко (1873–1961). В сведениях, которые далее приводит о ней Г. Козловская, есть ошибки. Она – урожденная Гирей, дочь крымского хана Менгли-Гирея, в первом браке Лопухина, фрейлина императрицы. Потеряла на войне сына и мужа князя Д. А. Лопухина. Ее единственный сын Георгий

Лопухин, корнет гвардии, погиб в одном из первых боев в 1914 г. –
Примеч. Е. Б. и Е. В. Пастернаков.

44

Это было в конце июля 1935 г., когда Б. Пастернак вернулся из Парижа, где он присутствовал на антифашистском Международном конгрессе писателей в защиту культуры.

45

Б. Пастернак «Город» (1916).

46

Сейчас – Тимирязевская улица.

47

Соломенная сторожка – историческая местность на севере Москвы. Топоним происходит от названия избушки сторожей, которая во второй половине XIX в. находилась на границе угодий сельхозакадемии (ныне МСХА) и Бутырского луга, где часто прятались различные преступники.

48

Воронья слободка – так называлась квартира, в которой обитали известные своей склонностью герои романа «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова.

49

Оперетта Ф. Зуппе.

50

В 1936 г.

51

М. Цветаев освобожден в 1941 г. С 1949 г. долгие годы жил и трудился в Душанбе.

52

Аркадий Алексеевич Шишаков после освобождения жил в Осинниках Кемеровской области, открыл при Доме пионеров музыкальный кружок, на базе которого была создана музыкальная школа.

53

Жена Яхонтова – Еликонида Ефимовна Попова-Яхонтова.

54

Ташкент построен на лёссовых грунтах – осадочной горной породе светло-желтого или палевого цвета, отчего земля в солнечном свете кажется розовой.

55

По-видимому, фамилия дана с ошибкой. В то время в Ташкенте жил и работал архитектор Маркевич Иван Антонович, которому, вероятно, и было адресовано одно из рекомендательных писем.

56

Местного жителя, у которого Козловские должны были снять жилье.

57

Махалля Игарчи – Квартал ремесленников, изготовителей сёдел. В нем Козловские прожили первые три года ссылки.

58

Дутар – восточный музыкальный инструмент, щипковый с двумя струнами.

59

Козлодрание – конноспортивная игра у некоторых народов Средней Азии, в которой всадники стараются отнять друг у друга обезглавленную тушу козла.

60

Катта ашуля (большая песня, узб.) – духовная песня, исполняемая на высоких тонах горловым пением двумя-тремя певцами. У рта певцы держат, покачивая, небольшие тарелочки, изменяющие высоту звука.

61

Сурнай – восточный духовой музыкальный инструмент.

62

Той – восточное празднество, сопровождаемое пением, танцами, пиршеством.

63

Сула (суфа) – небольшое возвышение из глины или кирпича во дворе или в саду, застеленное ковром и предназначенное для сидения или возлежания нескольких человек.

64

Ганч – разновидность алебаstra, материал для изготовления резного орнамента.

65

Чачван – густая сетка из черного конского волоса, закрывающая лицо; одевается под паранджу.

66

Регистан – самая знаменитая из дошедших до наших дней среднеазиатская «парадная» площадь, обрамленная уникальным архитектурным ансамблем из трех медресе.

67

Аския – жанр узбекского народного творчества – состязание в остроумии, предполагающее понимание контекста, нюансов языка и культуры.

68

«Вой дост!» (узб.) – «Браво!».

69

Гур-Эмир (Гробница эмира) – мавзолей, построенный основателем империи Тамерланом для себя и своих потомков, шедевр среднеазиатского зодчества.

70

Хранителем Гур-Эмира был в то время Масуд Алаев, позже репрессированный за отказ вскрыть гробницу Тимура ввиду старинной предостерегающей надписи, выбитой на ее дверях.

71

Мираншах и Шахрух – сыновья Тамерлана.

72

Дмитрий Федорович Козловский. Второго брата, Сергея, к этому времени уже не было в живых (покончил с собой, опасаясь ареста, в период репрессий).

73

В позднейших исследованиях эта теория не подтвердилась. Блокирование шейных позвонков не влияет на постановку головы и объём движений шеи человека.

74

Существуют и другие версии о том, как была найдена могила. Повреждены были не надбровные дуги, а края глазниц.

75

Постановка осуществлялась в Театре оперы и балета (теперь Государственный академический Большой театр им. А. Навои).

76

Мумин Усто (Благочестивый Мастер, узб.) – Николаев Александр Васильевич. Один из основателей узбекского авангарда. Приехал в Самарканд в 1920 г. с группой выпускников ВХУТЕМАСа для восстановления памятников архитектуры. Был увлечен суфизмом с его философией любви как наивысшего состояния человека. В Азии создал свои лучшие картины, изображая идею совершенной любви через образы прекрасных юношей-*бача* (подростков – музицировавших и танцевавших в чайханах, переодетыми в женское платье). За несоответствие образу советского художника Усто Мумин был осужден. После возвращения в Ташкент создал эскизы декораций и костюмов к опере «Улугбек». (По материалам книги Э. Шафранской «А. В. Николаев – Усто Мумин: судьба в истории и культуре». СПб, 2014.)

77

М. Глинка написал на испанские народные темы две симфонические увертюры.

78

Премьера состоялась в 1942 г.

79

После убийства в январе 1948 г. С. Михоэлса Еврейский театр возглавил В. Зускин, но уже в декабре 1948 г. он был арестован и в августе 1952 г. расстрелян.

80

Имеются в виду встреча с М. Герасимовым в Узбекской академии наук, когда он показывал Козловским череп Улугбека, и запись об этом событии, сделанная на партитуре оперы. См. с. 87–88.

81

В Ленинграде во время блокады так называли советскую территорию, свободную от оккупации.

82

А. Ахматова «Тот город, мной любимый с детства...» (1929).

83

По свидетельству Елены Владимировны Пастернак, А. Ахматову к Козловским привели брат А. Козловского Дмитрий и Евгения Владимировна Пастернак с сыном Женей.

84

«Поэму без героя» А. Ахматова начала писать в Ленинграде в 1940 г. Основная часть была завершена в Ташкенте. Позднее она перерабатывалась и дополнялась.

85

Балахана – легкая надстройка над первым этажом, верхний, второй, этаж дома в Средней Азии.

86

5 августа 1943 г.

87

Б. Кац, Р. Тименчик. Анна Ахматова и музыка. Л., 1989.

88

А. Ахматова уехала из Ташкента весной 1944 г.

89

Мать Г. Козловской умерла перед войной в 1941 г., а брат Валериан был на фронте.

90

Маком – в узбекской и таджикской музыке ладовая основа мелодий и песен.

91

Поэма А. Козловского «По прочтении Айни» навеяна книгой С. Айни «Воспоминания» («Бухара»).

92

В 1951 г.

93

Клычев – административный работник в Союзе композиторов и Ташкентской консерватории, от злоупотреблений которого во время войны немало страдал А. Козловский.

94

Голконда – один из мусульманских султанатов в Центральной Индии, где находились богатейшие алмазные копи, снабжавшие драгоценными камнями всю Азию.

95

Это было в 1955 г.

96

Песня *«Ванде матарам»* («Поклоняюсь тебе, мать») в Индии считается равноправной с гимном.

97

Здесь и далее курсивом даны места, подчеркнутые в рукописи Г. Козловской. – *Примеч. ред.*

98

Теперь Государственный музей искусств им. И. В. Савицкого.

99

«Поэма без героя».

100

В 1967 г. в Москве вышла книга «Лирика» Джакомо Леопарди в переводе А. Ахматовой и А. Наймана.

101

Друг семьи В. Виткович в книге «Круги жизни» так описывает историю появления журавля: «Летел в журавлином косяке, кто-то подстрелил, упал в садик Козловских, Алексей его выходил, научился и сам курлыкать по-журавлиному». Журавль был танцующий. В честь

известного индийского танцовщика Гопинатха, который гостил однажды в доме Козловских, журавля назвали Гопи.

102

Речь идет о Доме творчества композиторов (ДТК) «Руза» в Подмоскowie.

103

Радение с гранатом – восточный обряд инициации юношей, обычно сопровождался ритуальными танцами, приводившими участников в экстатическое состояние.

104

Журавль прожил в доме Козловских 27 лет, пережив своего хозяина и ненадолго – Галину Лонгиновну.

105

Арсланбоб – национальный заповедник на юге Кыргызстана с природными ореховыми и фруктовыми рощами, цветущий оазис на высоте 1600 м над уровнем моря.

106

«Праздник Пимена Гулливого, Лентя Преподобного» – украинская поговорка; ср. «ленивому всегда праздник».

107

Борис Васильевич Дубровин – композитор, ученик А. Козловского, приемный сын и наследник Козловских.

108

Первая публикация: журнал «Звезда Востока», 1990, № 12.

109

«Ту полуночную Гофманиану / Разглашать по свету я не стану...» – А. Ахматова «Поэма без героя».

110

Эпиграф к роману – библейская фраза *«Мне отмщение и аз воздам»*. В христианской трактовке: не мстите за себя, дайте место Божьему гневу.

111

Письмо Б. Пастернака о «Поэме без героя» было утрачено А. Ахматовой и нигде не публиковалось. *Примеч. Е. Б. и Е. В. Пастернаков.*

112

М. Лозинский переводил «Рай» из «Божественной комедии», находясь в эвакуации в Елабуге. Перевод был закончен 14 сентября 1942 г.

113

«Иродиада» Г. Флобера.

114

Архиепископ Парижа призвал прихожан не посещать премьеру драматического балета-мистерии итальянского поэта Габриэле

д'Аннунцио и композитора Клода Дебюсси «Мученичество святого Себастьяна». Роль святого мученика была написана специально для Иды Рубинштейн.

115

Ирина Пунина – дочь Н. Пунина, третьего мужа Анны Ахматовой.

116

Ошибочное предположение мемуариста. Эпилог к поэме «Реквием» с образом плачущей статуи был написан Ахматовой до знакомства с Козловскими.

117

Генрих Ягода был одним из главных руководителей советских органов госбезопасности в 1923–1936 гг.

118

Романс на стихотворение «Ива» (1940).

119

Абба – восточное одеяние: широкое пальто без рукавов и застёжек, скроенное из двух кусков ткани, украшенное вышивкой или сутажом.

120

А. Козловский находился в это время в ДТК «Репино» под Ленинградом.

121

А. Ахматова в последние годы подолгу жила на своей даче в Комарове под Ленинградом. Она похоронена на комаровском кладбище.

122

А. Ахматова «Я не была здесь лет семьсот...» (1944).

123

М. Цветаева «Тебе – через сто лет» (1919). Трехпрудный пер., 8 – дом, в котором родилась и провела детство М. Цветаева.

124

По счастливой случайности Н. Катаевой-Лыткиной после войны достался ордер на квартиру в бывшем цветаевском доме. Теперь известно, сколько сил и энергии понадобилось ей, чтобы дом, находившийся под угрозой сноса, стал Культурным центром «Дом-музей Марины Цветаевой».

125

Сосинский В. Она была ни на кого не похожа // Воспоминания о Марине Цветаевой. М., 1992.

126

Из стихотворения «Ламарк» (1932) О. Мандельштама – «Он сказал: «Довольно полнозвучья, – / Ты напрасно Моцарта любил: / Наступает глухота паучья, Здесь провал сильнее наших сил...».

127

Сестры Рейтлингер по возвращении из эмиграции жили в Ташкенте. Они познакомились с М. Цветаевой в Праге в 1923 г.

128

По другим сведениям Ю. Рейтлингер потеряла слух, когда ей было 30 лет.

129

14 марта 1978 г. Г. Козловская писала В. Сосинскому о том, что первоначально Ю. Рейтлингер написала текст (вернее, продиктовала его своей сестре Екатерине) об отношении М. Цветаевой к Богу специально для Г. Козловской. Видимо, в 1984 г. Галина Лонгиновна забыла, что читала его. При этом она продолжает утверждать, что автором текста является Ю. Рейтлингер. Текст был опубликован в книге «Воспоминания о Марине Цветаевой» (М., 1992) со сноской «Этот фрагмент, переданный составителям Е. Рейтлингер-Кист, написан ее рукой, но, возможно, продиктован ее сестрой – Ю. Н. Рейтлингер». Сам текст приводится ниже.

130

Речь идет о книге: Цветаева М. Фотобиография. Анн-Арбор, Мичиган, 1980. Материалы для книги были собраны М. Балцвиником и И. Кудровой.

131

Г. Козловская увлеклась лепкой в 1980 г., в возрасте 74 лет.

132

Имеется в виду статья С. Сомовой «Мне дали имя – Анна» // Москва, 1984, № 3.

133

Людвика – старшая сестра Ф. Шопена. В письме от 27 ноября 1831 г. она просила брата помочь Шиманскому (Письма Шопена. М., 1929).

134

См. с. 21.

135

Речь идет о Л. Мнухине.

136

По просьбе Г. Козловской оба портрета работы Евгении Пастернак были подарены ей с условием, что она завещает их какому-либо музею. Однако последний год ее жизни совпал с развалом СССР и, вероятно, опасаясь в это стихийное время доверить дорогие ей вещи музею, Козловская распорядилась отдать одну из картин на выбор брату Валериану, а оставшуюся – Борису Дубровину. Впоследствии, узнав об условии Е. Пастернак, Б. Дубровин вернул картину. – *Примеч. Ел. В. Пастернак.*

137

Опера «Бастьен и Бастьенна» написана Моцартом в возрасте 12 лет.

138

Скульптурки Г. Козловской демонстрировались по телевидению.

139

Художник В. Поленов скончался в своей усадьбе Борók (ныне Поленово) в Тульской области и был похоронен на сельском кладбище в селе Бёхово.

140

Жена А. Мелик-Пашаева – М. Шмелькина, его сын – Александр (Алик) Мелик-Пашаев.

141

Цитата из комментариев к сборнику И. Гёте «Западно-восточный диван». К числу этих семи великих поэтов относят Хафиза, Саади, Джами, Руми, Анвари, Фирдоуси, Низами.

142

Шемаха (-ы) – древний город в Азербайджане, располагавшийся в юго-восточных предгорьях Большого Кавказа.

143

Шумовский Т. А. У моря арабистики. По страницам памяти и неизданных документов. М., 1975.

144

Речь идет о муже Т. Кузнецовой, которой служил во флоте и часто бывал на Севере.

145

На самом деле это слово «хауз», что в переводе с арабского означает «водоем».

146

Эфрон Георгий. Дневники. В 2 т. М., 2004.

147

Чан Кайши (1887-1975) – правитель Китая во время Второй мировой войны, антикоммунист.

148

Шахи-Зинда – ансамбль мавзолеев самаркандской знати – всемирно известный памятник архитектуры.

149

Биби-Ханум (Ханым) – старшая жена Тамерлана.

150

Рассказ Г. Козловской не совсем точен. Отцом Ольги был Юлий Федорович Геккер, уроженец Петербурга. Учился в США, там женился. В Австрии во время Первой мировой войны распределял среди русских военнопленных пожертвования из США. В 1922 г., создав в Америке Фонд помощи голодающим Поволжья, вернулся с семьей в Россию. (Сведения взяты с сайта Юлия Ведерникова, внука Ю. Геккера.)

151

Речь идет о картине «Дружба, любовь, вечность».

152

Эля – подруга Татьяны Кузнецовой. Она собиралась приехать в Ташкент, но заболела и поездка не состоялась.

153

См. об этом «День, прожитый в солнечной прелести» – с. 55.

154

Речь идет о Гаррисоне Солсбери (1908–1993) – американском журналисте, историке, писателе. Он работал в СССР в годы ВОВ, был корреспондентом «Нью-Йорк таймс» в Москве после Второй мировой войны.

155

Наиболее известное произведение Солсбери – историческое исследование «900 дней. Блокада Ленинграда» (1969). В России книга вышла в 1996 г.

156

Н. И. Катаева-Лыткина.

157

Речь идет о Теодоре Левине, который познакомил Галину Лонгиновну с семьей музыковедов Матякубовых.

158

См. с. 215.

159

Имеется в виду поездка В. Сосинского во Францию.

160

Homage – посвящение, демонстрация уважения, церемония почтения (англ.).

161

Это первое письмо Галины Лонгиновны после смерти А. Козловского 9 января 1977 г.

162

Шопен писал 11 февраля 1848 г. из Парижа своим родным: «Ясь написал мне милое письмо, он справляется очень об Антеке Бартоло. Он прошел хорошую школу нужды, тот аламбик (фильтр), который необходим, чтобы стать человеком, и я бы очень желал повидать его здесь». Письма Шопена. М., 1929.

163

3 ноября 1957 г. в СССР был запущен спутник с собакой Лайкой на борту.

164

П. Н. Краснов.

165

По-видимому, речь идет о рукописи воспоминаний В. Сосинского о Марине Цветаевой.

166

Смирнова Анна Николаевна из Тбилиси – исполнительница романсов на стихи великих поэтов.

167

Архитектор, общий знакомый Козловских и В. Сосинского.

168

«Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему», – цитата из повести Н. Гоголя «Сорочинская ярмарка».

169

Для Г. Л. Козловской «Прустианский мир» – мир ее воспоминаний.

170

Л. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Париж, 1974.

171

Милочка – ташкентская приятельница Г. Козловской, первая жена Ю. Ласского.

172

Архитектору. См. сноску к началу письма.

173

15 октября – день рождения А. Козловского.

174

Faux pas – ложный шаг, бестактность (фр.).

175

Слова Л. Толстого из письма к Н. Страхову (8 апреля 1878): «Все как будто готово для того, чтобы писать – исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает энергии заблуждения...»

176

Речь идет о копиях двух писем М. Цветаевой к К. Родзевичу.

177

С. Волконский посвятил Марине Цветаевой книгу «Быт и бытие» (1923).

178

Речь идет о сестрах Рейтлингер.

179

М. Булгакова, дочь С. Н. Булгакова первым браком была замужем за К. Родзевичем.

180

Charmeur – очаровательный человек, соблазнитель (фр.).

181

«Такой ты горький, всё один, один. Нелюбимый ты какой-то!» – фраза из повести Л. Толстого «Казачья» (1863).

182

В то время Музей им. М. Глинки располагался в палатах бояр Троекуровых в Георгиевском переулке в Москве.

183

Точная цитата: «...ведь вспоминать человека – это значит, в действительности, забывать его».

184

Речь идет о Нинель Сергеевне Кулагиной, демонстрировавшей телекинез и другие аномальные способности.

185

Воспоминания Сосинского были опубликованы не полностью в книге: Владимир Сосинский. Рассказы и публицистика. М., 2002.

186

Речь идет о фантастическом рассказе, в котором Сосинский «с того света» поведал о памятных событиях своей жизни.

187

С Е. Б. Пастернаком и Б. Дубровиным.

188

Речь идет об Ангелине Васильевне Щекин-Кротовой (1910–1992) – российском искусствоведе, последней жене художника Р. Фалька (1886–1958).

189

Речь идет о встрече с Н. Мандельштам летом 1978 г.

190

Н. С. Гумилева.

191

В Переделкине находится летняя резиденция Патриарха Русской православной церкви.

192

Л. Брик покончила с собой 4 августа 1978 г.

193

Речь идет о воспоминаниях В. Сосинского.

194

Речь идет о М. Мейлахе.

195

Г. Козловской не понравилась фамилия героя повести «Срубленная ель» и романа «ООН, Восток и Запад», – Устирсын, – но она так и не

была заменена на другую. Этот герой во многом был носителем черт характера и биографии самого В. Сосинского.

196

Позже этот очерк В. Сосинского о муже Марины Цветаевой, С. Эфроне, был опубликован: А был ли другой Сергей Яковлевич? // Вопросы литературы, 1991, № 6.

197

Название «Саронская роза» возникло в результате неправильного перевода библейского текста. На самом деле это, вероятно, анемон, нарцисс или лилия.

198

Имеется в виду книга: Ахматова А. О Пушкине. Статьи и заметки. Л., 1977.

199

Речь идет о книге Д. Мирского Литературно-критические статьи. М., 1978.

200

Имеется в виду упомянутая связь мужа Марины Цветаевой с советскими спецслужбами, организовавшими похищения людей.

201

Письмо написано в день рождения В. Сосинского. Рядом с датой – восклицательный знак, поставленный его рукой.

202

На самом деле Г. Козловская имеет в виду рассказ Киплинга «Город страшной ночи», в котором описывается одна из ужасающе жарких ночей в городе Лахоре.

203

Сверху приписка рукой В. Сосинского: «Ровно 5 лет тому назад».

204

Г. Козловская называет «грибоедовщиной» мусульманские зверства, подобные тем, во время которых в Тегеране погиб А. Грибоедов. Речь идет о насилии и убийствах, совершавшихся националистами, а также о начавшейся в декабре 1979 г. Афганской войне. Вспышки насилия над европейцами повторились в 1988-1990 гг.
Примеч. Б. Дубровина.

205

Речь идет о писателе и историке А. Горянине.

206

Имеется в виду домашнее празднование восьмидесятилетия В. Сосинского в августе 1980 г.

207

Tutti - «все» (итал.). Это слово пишут в партитуре оркестровых произведений, когда после звучания отдельных инструментов или групп оркестра должен вступить весь оркестр полностью.

208

Джуна – целительница и экстрасенс Евгения Ювашевна Давиташвили.

209

Танагра – город в центральной Греции. При раскопках близ Танагры обнаружены небольшие фигурки из обожженной глины периода IV–II вв. д.н. э., изображающие сценки из обыденной жизни. Ими украшали дома и опускали в могилу вместе с умершим.

210

Речь идет об установлении мемориальной доски А. Козловскому на их ташкентском доме по адресу: Авиационный проезд, Тупик 1, дом 1.

211

Цитата из стихотворения Д. Китса «Кузнечик и сверчок» (1816).

212

Речь идет о поездке В. Сосинского с Б. Ахмадулиной.

213

«В тени Гоголя» – эссе А. Синявского. Он был реабилитирован в 1991 г., поэтому Г. Козловская не называет в письме его фамилию открыто.

214

Речь идет о статье Н. Бердяева «Духи русской революции».

215

В своих воспоминаниях Сосинский пишет о фильмах Чарли Чаплина, оформленных «как художественные произведения».

216

Здесь и дальше Сережа – это сын В. Сосинского.

217

1983 г. был годом Кабана по восточному календарю.

218

В этом фильме роль Матери Марии играет Людмила Касаткина. Мать Мария.

219

Речь идет о книге воспоминаний В. Сосинского, которую не удалось напечатать при его жизни.

220

Сережа Сосинский приезжал в Ташкент, где познакомился с Галиной Лонгиновой.

221

К. Родзевича.

222

Имеется в виду связь Сергея Эфрона с советскими спецслужбами.

223

В основе этого высказывания, скорее всего, лежит отзыв М. Цветаевой о первом наброске «Поэмы без героя», который А. Ахматова услышала от нее при их встрече в доме Ардовых 7 июня 1941 г. Этот отзыв известен в передаче самой Ахматовой: «Она довольно язвительно сказала: «Надо обладать большой смелостью, чтобы в сорок первом году писать об Арлекинах, Коломбинах и Пьеро...»».

224

Летом 1978 г. эта встреча состоялась.

225

Отрывки из книги «Р. М. Рильке. М. Цветаева. Б. Пастернак. Письма лета 1926 года», составленной Е.Б. и Е. В. Пастернаками и К. Азадовским, были опубликованы в журнале «Вопросы литературы» в 1978 г. Полностью книга была издана по-английски и по-французски в 1979 г., по-немецки в 1980 г.

226

Речь идет о письмах Б. Пастернака к двоюродной сестре О. Фрейденберг.

227

Имеется в виду книга: Ахматова А. О Пушкине. Статьи и заметки. Л., 1977.

228

См. очерк М. Цветаевой «Наталья Гончарова» // Собр. соч. в 2 т. М., 1988.

229

Неточность мемуариста: «Федра» не поэма, а лирическая драма.

230

Цикл называется «Георгий» (1921).

231

Речь идет о В. Сосинском.

232

А. Ахматова. Александрина // О Пушкине. Статьи и заметки. Горький, 1984.

233

Зинаида Николаевна Нейгауз – вторая жена Б. Пастернака.

234

Автобиографические рассказы М. Цветаевой «Башня в плюще», «Шарлоттенбург», «Мундир» и «Жених», предоставленные ее дочерью А. Эфрон, были напечатаны в журнале «Звезда», 1970, № 10, по инициативе И. Кудровой, в то время работавшей в редакции этого журнала.

235

Текст, написанный женой И. Бунина, В. Муромцевой, «У Старого Пимена» опубликован в кн.: Цветаева М. Неизданные письма. Париж, 1972.

236

Древнегреческий философ Сократ рассказывал, что по воле богов он слышит голос демона, который предупреждает его о том, чего не следует делать.

237

Г. Козловская цитирует стихотворение А. Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне» (1932).

238

Эту девочку звали Гуля, но она недолго продержалась в доме, ушла, как-то обидев Галину Лонгиновну.

239

Менестрель – здесь и далее – Теодор Левин.

240

Питер Брук – английский сценарист, кино и театральный режиссер.

241

Махабхарата – древнеиндийский эпос.

242

Цикл стихотворений «Подруга» посвящен Софье Парнок.

243

Соня Голлидэй, которой посвящена «Повесть о Сонечке» (1937), была актрисой и подругой М. Цветаевой в 1918–1919 гг. – *Примеч. Т. Кузнецовой.*

244

Любовь Попова – приятельница Е. Рейтлингер-Кист.

245

У И. Кудровой тогда только что родилась внучка.

246

Вероятно, имеется в виду рассказ «Семья Ченчи» из «Итальянских хроник» Стендаля.

247

Организацией выставки занимался Н. Соколов, старший научный сотрудник Музея музыкальной культуры им. М. Глинки.

248

Большие Академические – это ГАБТ в Москве и ташкентский ГАБТ Узбекистана.

249

См. с. 241.

250

В 1907 г.

251

4 февраля 1986 г.

252

Г. Козловская несколько неточно вспоминает рассказ *Мопассана* «Само-убийцы».

253

Пастернак Б. Избранное. В 2 т. М., 1985.

254

Воспоминания Г. Козловской частично были включены в сборник «Воспоминания об Анне Ахматовой» (редакторы В. Виленкин и В. Черных) под названием «Мангалочий дворик...» (М., 1991).

255

Речь идет о Теодоре Левине.

256

Елена и Миша – дочь и зять В. Геруса.

257

Сергей и Антон – сын и внук В. Геруса.

258

«Сим победиши!» – фраза, которую по преданию, римский император Константин I Великий увидел в небе рядом с крестом перед стратегически важной победой.

259

«Огонек», 1988, № 19. Ждановская жидкость получила название по фамилии изобретателя, инженера Н. Жданова. Применялась как средство для уничтожения трупного зловония. Ю. Карякин писал, что зловещая шутка о смертоносной «ждановской жидкости» появилась в 1946 г., когда А. Жданов организовал погром Ахматовой и Зощенко. Автор статьи предполагал, что А. Жданов – один из организаторов репрессий 1937–1938 гг.

260

Цитата из стихотворения Б. Пастернака «В больнице» (1956).
Примеч. Е.Б. и Е. В. Пастернаков.

261

Речь идет о поездке в ДТК «Руза» в Подмосковье.

262

Флорентинец, флорентинец Пьетро, Пьетро Гонзаго – так Г. Козловская называла сына Пастернаков Петра, по профессии театрального художника. – *Примеч. Е.Б. и Е. В. Пастернаков.* (Пьетро Ди

Готтардо Гонзаго – итальянский декоратор, архитектор, работавший в России.)

263

О новом месте – это о переезде Пастернаков с Дорогомиловской улицы, где бывала Г. Козловская, в Столешников переулок. – *Примеч. Е.Б. и Е. В. Пастернаков.*

264

Здесь и далее Лиза – дочь Пастернаков (р. 1967), в настоящее время Елизавета Евгеньевна Давыдова. Филолог, кандидат филологических наук, воспитывает троих детей. – *Примеч. Е.Б. и Е. В. Пастернаков.*

265

Речь идет о Доме творчества Всесоюзного театрального общества в Старой Рузе.

266

Л. Чудова-Дельсон – московская приятельница Козловских. См. о ней в предисловии к «Письмам к Людмиле Чудовой-Дельсон» – с. 507.

267

Речь идет о новелле Г. Козловской «Хранитель медного свитка». Сюжет заимствован из сочинений Иосифа Флавия об истории еврейского народа.

268

БСО – Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

269

Речь идет о борьбе с М. Ашрафи.

270

Речь идет о вступительных экзаменах Петра Пастернака в Школу-студию МХАТ на постановочное отделение. – *Примеч. Е.Б. и Е. В. Пастернаков.*

271

Здесь и дальше *Надя, Надя М.* – Надежда Яковлевна Мандельштам. Г. Козловская опасается писать ее фамилию полностью, т. к. в то время О. Мандельштам еще не был полностью реабилитирован, а его стихи и ее книги воспоминаний широко ходили в самиздате.

272

Е. Пастернак вынужден был уйти из Энергетического института, где он преподавал, из-за того, что помогал семье А. Солженицына при отъезде за границу. – *Примеч. Е.Б. и Е. В. Пастернаков.*

273

Речь идет о Н. Мандельштам.

274

Речь идет о Юрии Яковлевиче Ласском (1949) – поэте и сценаристе.

275

А. Козловский скончался 9 янв. 1977 г.

276

Эта книга не была издана.

277

Здесь и далее – мать Евгения Борисовича – Евгения Владимировна Пастернак.

278

Речь идет о кончине Леноры Густавовны Шпет, матери Елены Владимировны Пастернак, и смерти Леонида Борисовича Пастернака, сына З.Н. и Б. Л. Пастернаков, умершего в 37 лет от инфаркта. Они следовали одна за другой. – *Примеч. Е.Б. и Е. В. Пастернаков.*

279

Историко-биографический альманах «Прометей» серии «Жизнь замечательных людей».

280

Дед Е. Б. Пастернака, Леонид Осипович Пастернак (1862–1945), академик живописи, график и иллюстратор, рисовал Н. Федорова в 1904 г. – *Примеч. Е.Б. и Е. В. Пастернаков.*

281

Дом творчества писателей «Переделкино».

282

Дом творчества писателей в Малеевке.

283

¹*Папа* – здесь и дальше (в письмах к Пастернакам) это отец Е. Пастернака Б. Пастернак.

284

Г. Козловская читала стихотворение Б. Пастернака «Рождественская звезда».

285

Цитата из книги Екклесиаста, гл. 3: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом:...время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий...» (синодальный перевод).

286

Г. Козловская жила в Переделкине у Пастернаков в июле-августе 1978 г. Это был ее последний приезд в Москву.

287

Б. Пильняк в 1938 г. был расстрелян.

288

Был снят фильм «Гопи» (реж. А. Бхимсингх, 1973 г.). Он демонстрировался по телевидению. В организации съемок принимал участие Б. Дубровин.

289

Галине Лонгиновне был подарен Петин эскиз маленького домика в Переделкине, где она гостила у Пастернаков. – *Примеч. Е.Б. и Е. В. Пастернаков.*

290

Елена Вадимовна и Мария Евгеньевна Орловские (двоюродная сестра Е. В. Пастернак и ее дочь) жили с Пастернаками в Переделкине. Леночка ухаживала за Г. Козловской, когда Пастернаки уезжали на некоторое время в Сухуми, и подружилась с Борей Дубровиным, когда тот приехал. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

291

Семена дельфиниума Г. Козловская увезла с собой из Переделкина. – *Примеч. Е.Б. и Е. В. Пастернаков.*

292

Уникальность рукописи сравнивается с уникальностью *согдийских фресок* – редких многоцветных настенных росписей, найденных при раскопках древней Согдианы (Узбекистан).

293

Н. Татаринова была известным поэтом и редактором журнала «Заря Востока», где Пастернаки пытались что-то напечатать из Б. Пастернака, но безуспешно. – *Примеч. Е.Б. и Е. В. Пастернаков.*

294

Речь идет о машинописи «Р. М. Рильке. М. Цветаева. Б. Пастернак. Письма лета 1926 года», составленной Е.Б. и Е. В. Пастернаками и К. Азадовским.

295

Сюжет, известный еще из басни греческого сатирика Лукиана (ок. 150 г. до н. э.), пересказанный потом И. В. Гёте, об Ученике Чародея, который научил метлу носить воду, но не умел ее остановить. Стихотворение Гёте «Ученик Чародея» было переведено Б. Пастернаком.

296

Речь идет об Афганской войне, начавшейся с ввода советских войск, якобы для помощи афганскому народу.

297

Желтая опасность – так называли в начале XX в. опасность агрессии со стороны многочисленных и быстрорастущих азиатских народов.

298

Речь идет о юбилее балерины Г. Улановой. На юбилейных торжествах были прочитаны выдержки из письма к ней Б. Пастернака 1945 г. о балете «Золушка». – *Примеч. Е.Б. и Е. В. Пастернаков.*

299

«Эра» – название советского аппарата для ксерокопирования.

300

«Обозрение двух миров» («*Revue de Deux Mondes*») – французский журнал либерального направления. Издается с 1829 г. по настоящее время.

301

Министром культуры СССР в 1960–1974 гг. была Екатерина Алексеевна Фурцева.

302

Имеется в виду артист балета В. Васильев.

303

По германскому преданию, посох Папы Урбана, не давшего отпущение грехов поэту Тангейзеру, процвел, когда Бог простил грешника.

304

Женировать (от фр. gêner) – стеснять, беспокоить, причинять неудобство.

305

По-видимому, послать обратно нужно было книги или рукописи. В. Молдавер – см. о нем в предисловии к «Письмам к Валерию Молдаверу» – на с. 543.

306

Высшее общество (англ.).

307

Цитаты из «Медного всадника» А. Пушкина.

308

Porte bonheur – счастливый посланник (*фр.*).

309

Речь идет о смерти Станислава Генриховича Нейгауза.

310

В феврале 1980 г. отмечалось 90 лет со дня рождения Б. Пастернака.

311

Имеется в виду дом Б. Пастернака в Переделкине.

312

Галина Лонгиновна говорит о Борисе Пастернаке и Анне Ахматовой.

313

Ракетная техника и реактивные самолеты для войны в Афганистане перебрасывались через Узбекистан.

314

Речь идет о дипломной работе Петра Пастернака по окончании им Школы-студии МХАТа (декорации и костюмы к спектаклю «Вишневый сад», поставленному в Томском детском театре). – *Примеч. Е.Б. и Е. В. Пастернаков.*

315

Е. Пастернак, тем не менее, скопировал за свой счет клавиш оперы А. Козловского «Улугбек» в Союзе композиторов. После смерти Г. Козловской Пастернаки передали хранившуюся у них копию в Музей им. М. Глинки в Москве. – *Примеч. Е.Б. и Е. В. Пастернаков.*

316

Имеется в виду А. Козловский.

317

По просьбе Е. Пастернака режиссер Ю. Любимов передал Аббадо письмо Г. Козловской. Но постановка оперы «Улугбек» так и не была осуществлена в Италии. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

318

Н. Мандельштам гостила у Пастернаков в Переделкине летом 1980 г. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

319

Здесь и дальше *Валера* – это Валерий Молдавер.

320

После окончания Школы-студии МХАТа П. Пастернак должен был идти в армию. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

321

Н. Мандельштам умерла 29 декабря 1980 г. После смерти ее тело, несмотря на протест друзей, читавших псалмы над ней, забрали в морг, квартиру опечатали после обыска. – *Примеч. Е.Б. и Е. В. Пастернаков.*

322

В стихотворении «Кассандре» 1917 г., посвященном А. Ахматовой, О. Мандельштам пишет: «Когда-нибудь в столице шалой / На скифском празднике, на берегу Невы, / При звуках омерзительного бала / Сорвут платок с прекрасной головы».

323

Ф. Тютчев «Накануне годовщины 4 августа 1864 года» (1865), в этот день умерла возлюбленная Тютчева Е. Денисьева.

324

Пастернаки побывали у Г. Козловской осенью 1981 г.

325

Речь идет об Анне Фэвр-Дюпэгр. Здесь и дальше – Аня, Аничка. О ней см. предисловие к «Письмам к Анне Фэвр-Дюпэгр» – с. 495.

326

Г. Козловская читала «День поэзии» (1981) с публикацией: *Пастернак Евгений*. Борис Пастернак, 1890–1960.

327

Черников Андрей Александрович (род. 1948) – архитектор, сын архитектора А. Черникова.

328

Людмила Федоровна Голейзовская, фоторепортер.

329

Имеется в виду многолетний суд семьи Пастернаков с Союзом писателей по поводу выселения из Переделкина. – *Примеч. Е.Б. и Е. В. Пастернак.*

330

Г. Козловская просила передать В. Васильеву ноты балета «Сны Хаяма», но Васильев уезжал на гастроли за границу. Это получилось позднее. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

331

Речь идет о Наталье Дмитриевне Касаткиной – тогда главном балетмейстере театра «Московский классический балет».

332

Василёв Владимир Юдич (р. 1931) – балетмейстер, руководитель Государственного театра классического балета, который возглавляет вместе со своей женой, Наталией Касаткиной.

333

Ванемуйне – бог музыки в эстонской мифологии.

334

Эта строчка из письма Г. Козловской – неточная цитата из стихотворения Б. Пастернака «Август» (1953): «Как обещало, не обманывая, / Проникло солнце утром рано / Косою полосой шафрановою / От занавеси до дивана...»

335

Речь идет об изданной в Лондоне в 1982 г. книге стихов *Бориса Пастернака* в переводе Лидии Леонидовны Пастернак-Слейтер «*Fifty poems*» («Пятьдесят стихотворений»), которую Е. Пастернак послал Г. Козловской. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

336

Имеется в виду книга младшего брата Б. Пастернака: Пастернак Александр Леонидович. Воспоминания. Мюнхен, 1983. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

337

Г. Козловская имеет в виду стихотворения *Б. Пастернака* «В больнице» (1956), «Зверинец» (1924), «Карусель» (1924).

338

Имеется в виду статья С. Сомовой «Мне дали имя – Анна». Анна Ахматова в Ташкенте // Москва, 1984, № 3.

339

Г. Козловская считала, что глаза А. Козловского похожи на глаза, описанные Оноре де Бальзаком в романе «Златоокая девушка» (1835).

340

Письмо Б. Пастернака о «Поэме без героя» было утрачено А. Ахматовой и нигде не публиковалось. – *Примеч. Е.Б. и Е. В. Пастернаков.*

341

Имеется в виду Ольга Всеволодовна Ивинская.

342

«Длится день» – это отсылка к названию романа Ч. Айтматова «И дольше века длится день» (1980). Название романа взято из стихотворения Б. Пастернака «Единственные дни». Ч. Айтматову предложили дачу Пастернака, и он сначала согласился, но потом отказался от нее из соображений престижа; ему предложили дачу Н. Тихонова. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

343

Речь идет о леди Макбет.

344

В. Герус пригласил к себе домой в гости Е. Пастернака после его выступления в клубе во Фрязине. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

345

П. Пастернак делал декорации к спектаклю вместе со своим учителем Б. Биргером. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

346

Речь идет о дирижере Г. Рождественском. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

347

10 февраля 1948 г. состоялось совещание деятелей советской музыки под председательством члена Политбюро В. Г. Жданова. Было вынесено постановление о борьбе с формализмом. Произведения композиторов-«формалистов» долгое время не исполнялись.

348

Лиза Пастернак поступила в МГУ на русское отделение филологического факультета. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

349

Борис Пастернак. Избранное. Вступительная статья Д. Лихачева, рисунки Л. Пастернака, комментарии Е.Б. и Е. В. Пастернаков. В 2 т. М., 1985. Он был подарен Г. Козловской ко дню рождения. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

350

Микст (от лат. *mixtus* – смешанный) – регистр певческого голоса, в котором смешиваются грудное и головное резонирование.

351

Речь идет о Теодоре Левине, он пересекался с Пастернаками в Ташкенте в 1981 г.

352

Речь идет о Поле Уинтере – американском джазовом музыканте, композиторе и музыкальном продюсере, использовавшем в своих композициях записи природных звуков.

353

Имеется в виду апрельская катастрофа на Чернобыльской АЭС.

354

Имеются в виду статьи Б. Пастернака, написанные в свое время как предисловия к переводам, вошедшие во второй том «Избранного» в двух томах. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

355

Имеются в виду «Записки об Анне Ахматовой» Л. Чуковской (Париж, 1974). – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

356

Том «Литературного наследства», научного издания, составлявшегося Институтом мировой литературы им. Горького, не вышел. К. Поливанов – сотрудник Института – сын двоюродного брата Е. В. Пастернак. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

357

Е. Пастернак в Ташкенте сделала портрет внучки Горького Марфы Максимовны Пешковой. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

358

Тимоша – Надежда Алексеевна Пешкова, жена Максима Пешкова.

359

Д. Введенский (1887–1956) – врач, заведовал урологической клиникой Ташкентского мед. института. Участник двух мировых войн. Его дочь *Никита (Наташа) Введенская* – математик, живет в Москве.

360

Имеется в виду рождение внука Е. Пастернака Дмитрия. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

361

Имеется в виду работа П. Пастернака в театре «У Никитских ворот» под управлением М. Розовского. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

362

5 марта 1966 г. умерла Анна Ахматова.

363

Речь идет о воспоминаниях, которые частично были включены в сборник «Воспоминания об Анне Ахматовой» (М., 1991).

364

См. в этой книге «День, прожитый в солнечной прелести» – с. 55.

365

М. Мейлах освобожден из лагеря в 1987 г.

366

Речь идет о приезде в Ташкент Р. Тименчика. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

367

Имеется в виду онкологическое заболевание Е. Пастернака и его поездка с женой в Оксфорд для операции. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

368

Отвечая Г. Козловской, Петр Евгеньевич подробно описал трудные хлопоты и ужасные волнения в связи с опасной болезнью и операцией отца, которого чудом впервые выпустили в Англию вместе с женой, и где он смог повидаться со своими уже старыми и больными тетушками Лидией и Жозефиной.

369

В 1987 г. родился внук Евгения Борисовича, сын Бориса, названный Петром. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

370

Пастернаки познакомились с философом и писателем И. Берлином во время поездки в Англию. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

371

Галина Лонгиновна имеет в виду переписку с Гаррисоном Солсбери, писателем и журналистом.

372

Речь идет о публикации: Пастернак Б. Доктор Живаго / Окончательный авторский текст романа. Подготовка текста и комм. Е.

Б. Пастернака и В. М. Борисова // Новый мир, 1988, № 1-4. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

373

Цитата из поэмы «Про это» (1923).

374

В «Новом мире» текст романа «Доктор Живаго» дан полностью. Из романа не были изъяты страницы, но лаконизм изложения вызвал ощущение отсутствия тех мест, которые произвели сильное впечатление при первом чтении. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

375

На заседании, о котором вспоминает Козловская (часть 10, гл. 9), старые большевики высказывают недоверие военным специалистам, к которым принадлежит Стрельников (Павел Антипов). И хотя напрямую они не приговаривают его к расстрелу, Галина Лонгиновна отчетливо увидела здесь кульминационную точку романа, на что главным образом ополчились советские гонители Пастернака в 1956 г. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

376

Ср. эпиграф к книге «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Радищева: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй».

377

На реке Ангаре в советское время был построен каскад электростанций и образовано несколько больших водохранилищ, изменивших к худшему климат прилегающих районов.

378

Пересыхание Аральского моря было вызвано чрезмерным забором воды для полива сельскохозяйственных угодий.

379

Дефолиант – вещество, вызывающее опадение листьев растений. Применялось на хлопковых полях для облегчения уборки урожая.

380

На дне высохшего Аральского моря накоплено огромное количество ядовитых солей, попавших сюда вместе с водой с полей. Младенцы порой отказываются от материнского молока, так как процент содержания в нем солей в 3–4 раза превышает допустимые нормы.

381

Карнай – народный медный духовой музыкальный инструмент в Иране, Таджикистане и Узбекистане, используемый на народных праздниках или свадьбах.

382

Речь идет о катастрофическом Спитакском землетрясении 7 декабря 1988 г., во время которого от разрушений погибло, по разным данным, от 25 до 150 тысяч человек и пострадали близлежащие города Армении.

383

В 1989 г., как и в 1979 г., в Ташкенте вновь бушевали погромы и убийства на национальной и религиозной почве.

384

В 1989 г. было обилие публикаций, посвященных Ахматовой, в связи с ее столетним юбилеем. В том числе впервые в сокращенном виде были напечатаны воспоминания Г. Козловской «Ахматова в Ташкенте» (День поэзии, 1989).

385

Алла Александровна Казанская – двоюродная племянница Г. Козловской, дочь ее двоюродной сестры Нины Валериановны Казанской (Апостоловой), актриса театра и кино, театральный педагог.

386

Г. Козловская имеет в виду П. Н. Краснова, казненного в 1947 г. в Лефортовской тюрьме за преступления против Советской власти.

387

Выставка работ Л. Пастернака состоялась в Москве в 1989 г. по инициативе посла в Великобритании Л. Замятина. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

388

Хедрик Смит, писатель и журналист, был московским корреспондентом газеты «Нью-Йорк таймс» и во время работы в России познакомился с Пастернаками. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

389

10 февраля 1990 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Б. Пастернака. Этот год был объявлен ЮНЕСКО годом Пастернака. В

России и во многих иностранных университетах состоялись юбилейные конференции. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

390

Многочисленные публикации в журналах и заграничные поездки (к этому времени Пастернаки успели побывать в Швеции, Испании и Италии) требовали большого напряжения, при том что Евгений Борисович еще не совсем оправился после тяжелой болезни. Русскую пословицу о запоздалой помощи или вознаграждении: «Когда зубов не стало, так и орехов принесли», – приводил Л. Толстой в разговоре с Л. Пастернаком. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

391

Во время этой встречи Питер Брук показывал Галине Козловской свой фильм «Махабхарата» (1989).

392

Имеется в виду Теодор Левин.

393

«Слеза Христа» (лат.). – Примеч. Е. В. Пастернак.

394

«Первый корабль» – это первое письмо и статьи, посланные М. Давыдовым (отсылка к стихотворению О. Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...»).

395

Неточная цитата из стихотворения В. Ходасевича «В заседании»:
«Лучше спать, чем слушать речи / Злобной жизни человеческой, / Малых
правд пустую прю».

396

М. Давыдов жил на Кропоткинской улице (Пречистенке), 17.

397

Арсеньевская гимназия – женское учебное заведение Софьи Александровны Арсеньевой.

398

Имеются в виду двоюродные сестры Г. Козловской по матери – дочери Валериана Алексеевича Апостолова и Ольги Александровны Шамшевой.

399

Вероятно, речь идет об игре «Похищение флага». Цель игры – захватить чужой флаг.

400

Институт биологии внутренних вод им. И. Папанина.

401

В 1953 г. Сначала это была Биологическая станция, а с 1956 г. – институт.

402

Речь идет о присланной им публикации в журнале «Вопросы истории естествознания и техники». Вып. 3. М., 1987.

403

Речь идет о письме О. Мандельштама к Мариэтте Шагинян от 5 апреля 1933 г. В нем он дает яркую характеристику Б. Кузину, ручается за него, пишет о значении дружбы с ним для своего творчества в надежде, что это письмо поможет освобождению Б. Кузина от репрессий.

404

Алексей Апостолов – дедушка Галины Лонгиновны, Нины Валериановны и Ариадны Валериановны.

405

Мать М. Давыдова А. А. Буяновская умерла в октябре 1988 г.

406

Речь идет о двоюродной племяннице Г. Козловской актрисе А. Казанской.

407

Дочь – Ольга Борисовна Барнет, актриса.

408

В Карадагском заповеднике находится биостанция Института биологии южных морей. Сюда много раз приезжала А. А. Буяновская.

409

Поездка не состоялась.

410

См. с. 241.

411

См. «День, прожитый в солнечной прелести» – с. 55.

412

Речь идет о сопоставлении отношений М. Цветаевой и А. Ахматовой.

413

На время отъезда А. Ахматовой из Ташкента в мае 1944 г. Н. Мандельштам начала работать в Среднеазиатском государственном университете (САГУ) преподавателем английского языка.

414

Н. Мандельштам уехала из Ташкента в 1949 г.

415

Это было летом 1978 г., когда Г. Козловская приезжала к Пастернакам и жила у них на даче в Переделкине.

416

Н. Мандельштам была крещена при рождении, о. Александр был ее духовником. – *Примеч. Е. В. Пастернак.*

417

С 1955 г.

418

За поэта Глеба Струве.

419

В 1947 г. Ю. Рейтлингер расписала в Лондоне часовню при доме Братства преподобного Сергия и мученика Албания. Эти росписи сохранились, сейчас они в монастыре Христа Спасителя на юге Англии в Брайтоне. Росписи храма Св. Иоанна Воина в Медоне, центре русской религиозной общины под Парижем, в настоящее время находятся в Москве, в Доме русского зарубежья им А. Солженицина.

420

Мень А. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни. В 7 т. М., 1991–1992. Том 2. Магизм и единобожие.

421

Увлечение В. Брюсовым.

422

Цветаева М. Вечерний альбом. М., 1910.

423

В Центральном доме литератора, во время празднования столетия со дня рождения Б. Пастернака.

424

Г. Козловская вложила в письмо вырезанную из газеты «Известия» заметку «Картинки с выставки» о французском вернисаже с припиской: «Дурацкое название, данное автором заметке. Разве всякий знает, что подразумевает он «Картинки с выставки» Мусоргского?»

425

«Картинки с выставки» исполнялись Ташкентским филармоническим оркестром под управлением А. Козловского.

426

Речь идет об одном монахе из бенедиктинского монастыря им. святого Геноле в Бретани. – *Примеч. А. Фэвр-Дюпэгр.*

427

Вдова К. Голейзовского В. Васильева в сотрудничестве с балетоведом Н. Черновой издала книгу: «Касьян Голейзовский. Жизнь и творчество». М., 1984.

428

Цитата из стихотворения Г. Иванова «Медленно и неуверенно...» (1930).

429

Речь идет об О. Мандельштаме и о римской тематике в его первом сборнике стихов «Камень». *Примеч. А. Фэвр-Дюпэгр.*

430

Имеется в виду Татьяна Викторовна Трусевич, работавшая в то время на кафедре зарубежной литературы Ташкентского университета и переехавшая в начале «перестройки» во Францию. – *Примеч. А. Фэвр-Дюпэгр.*

431

Речь идет о Т. Трусевич.

432

В. Молдавер.

433

Речь идет о сыне В. Дельсона Валерии Дельсоне.

434

Речь идет о директоре ГАБТа Узбекистана М. А. Ашрафи и балетном спектакле «Тановар» (либретто Г. Козловской, музыка А. Козловского), получившем Государственную премию Узбекистана им. Хамзы в 1973 г.

435

Боа констриктор – удав, длина которого достигает 5-6 м.

436

Кушанское царство – древнее государство на территории современных Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии времен I-III веков.

437

Олик – Олег Константинович Эйгес, двоюродный брат Л. Чудовой-Дельсон по матери. Алексей Федорович познакомился с ним в Москве еще до своего переезда в Ташкент.

438

Далее идут два письма: первое – от А. Козловского, второе – от Г. Козловской.

439

За некоторое время до этого Козловские попали в автомобильную аварию, и он, также как и Г. Козловская, получил травму ноги.

440

Речь идет о книге А. Адес, А. Иосиповичи. Книга о Гохе-Дураке. Петроград-М., 1924.

441

Ф. Муртазинова – сотрудница фирмы звукозаписи «Мелодия».

442

Дельсон В. Скрябин. Очерки жизни и творчества, М., 1971.

443

Об отношении Козловского к Шопену замечательно вспоминает В. Виткович в книге «Круги жизни»: «Бывало, спросишь: «Как написал Шопен такой-то этюд?» – расскажет так, что возникнет живая картина:

где и когда написано, среди какой природы, среди каких людей, в каком драматическом повороте жизни, какие вокруг были разговоры, восклицания, отзвуки... Не ответ, а целая историческая новелла!»

444

Речь идет о преподавателе Ташкентской консерватории Я. Пеккере, у которого из-за служебных неприятностей случился инсульт.

445

К сожалению, «образчик» был утерян.

446

Г. Козловская имеет в виду М. Ашрафи.

447

Прежнего (*фр.*).

448

Спасибо всем (*фр.*).

449

Вощения (*фр.*)

450

В то время В. Молдавер жил в центре Москвы на улице Кирова (сейчас Мясницкая). Здесь находится почтамт и бывший чайный дом Перлова, в нем после революции помещалось Чаеуправление и магазин

«Чай-кофе» (где продавались дефицитные сорта), который москвичи, смешивая названия, именовали магазином Чаеуправления.

451

Строка из шуточного стихотворения, ошибочно приписываемого А. Пушкину.

452

Цитата из комедии «Горе от ума» А. Грибоедова.

453

На эту тему появились статья В. Черткова в «Правде» (1970 г., октябрь) «Что рассказывают нам листья?» и фильм Л. Паничкина «Могут ли растения чувствовать?»(1971 г.)

454

Здесь и далее Нина – это Н. Нисс-Гольдман.

455

Речь идет о поэтессе Кларе Соломоновне Арсеновой. С ней дружил В. Молдавер и познакомил ее с Г. Козловской. Арсенева умерла в 1972 г.

456

Афрасиаб – древнее городище в Самарканде. При его раскопках были обнаружены согдийские фрески, изображавшие бытовые сценки, людей и животных.

457

Физик Н. Козырев разрабатывал и пытался подтвердить экспериментально собственную теорию, описывающую поведение физического времени.

458

Галина Лонгиновна имеет в виду строки Абуль-Ала аль-Маарри: «Горделивые души склонились к ногам / Беспощадных времен, угрожающих нам» (перевод А. Тарковского).

459

Регина – сестра В. Молдавера.

460

Речь идет о Л. Мнухине, для которого Н. Кедров позднее изготовил экслибрис.

461

9 января 1977 г. умер муж Г. Козловской.

462

Книга не была издана. Воспоминания Г. Козловской об Усто Мумине не публиковались.

463

Фотографии, сделанные в Старом городе, где Козловские прожили первые годы ссылки.

464

А. Ахматова «Еще об этом лете» (1962).

465

Б. Сарнов, Е. Чуковская. Случай Зощенко // Юность, 1988, № 8.